ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ

МОЙ ОЧЕНЬ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ МОЙ ОЧЕНЬ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

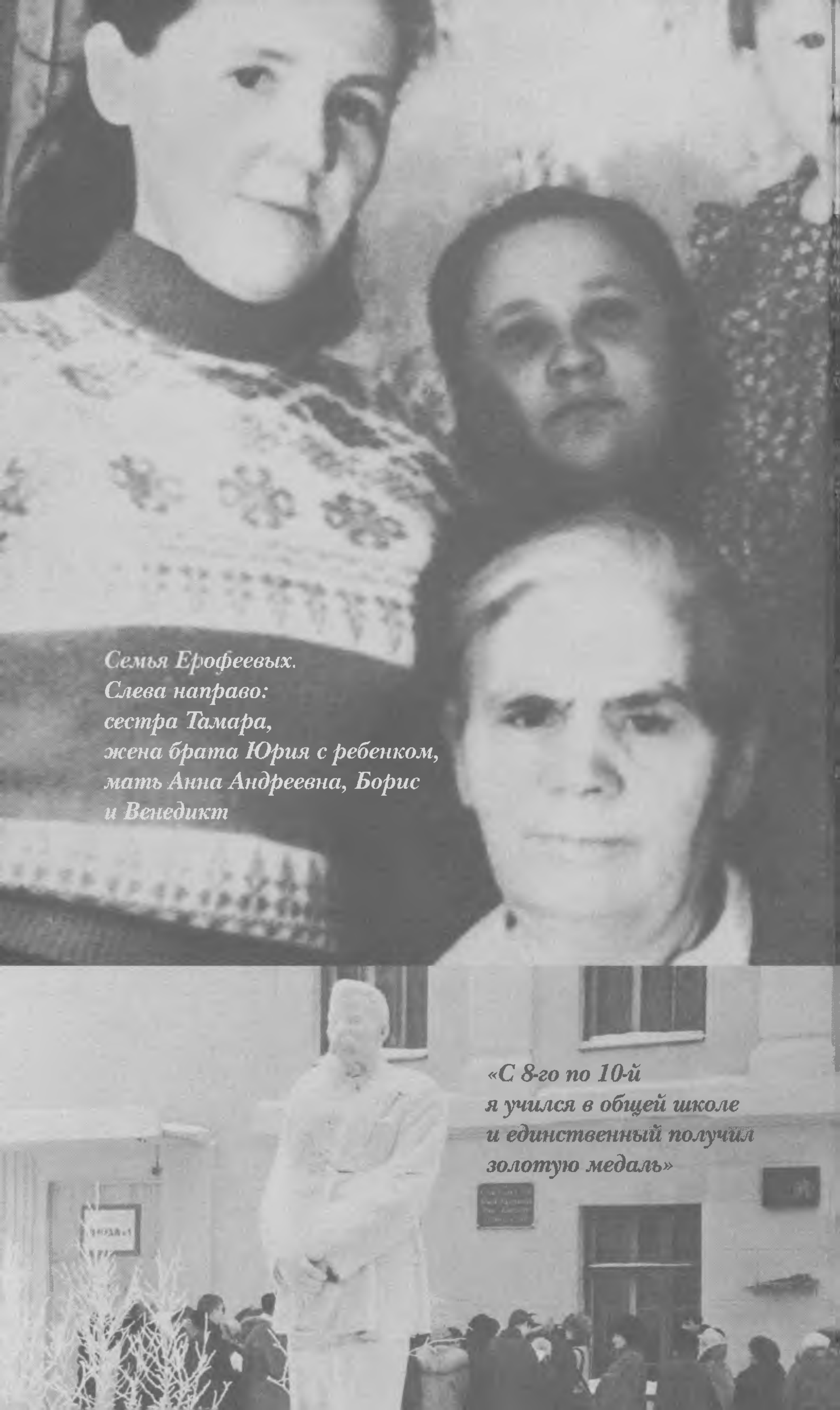




«Родился я на Кольском полуострове, за Полярным кругом»



Веничка Ерофеев (слева) с сестрой Ниной и братом Борисом. 1941



Семья Ерофеевых.
Слева направо:
сестра Тамара,
жена брата Юрия с ребенком,
мать Анна Андреевна, Борис
и Венедикт

«С 8-го по 10-й
я учился в общей школе
и единственный получил
золотую медаль»


В ЭТОЙ ШКОЛЕ
С 1952 ГОДА ПО 1955 ГОД
УЧИЛСЯ ПИСАТЕЛЬ
ЕРОФЕЕВ
ВЕНЕДИКТ
ВАСИЛЬЕВИЧ
1938 · 1990



филологический ф-т

Справка

В Приемную комиссию Московского государственного университета

Гр. Ерофеев В.В. был освидетельствован Врачебной Комиссией в поликлинике № 107 при МГУ 18/VII 1955 г.

Заключение Врачебной Комиссии: по состоянию здоровья может быть принят на филологический факультет МГУ.

Пред. Врачебн. Комиссии

Члены:

Зак. 1655. Тир. 3000



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 11/у

Ректора Московского ордена Ленина Государственного Университета
им. М. В. ЛОМОНОСОВА

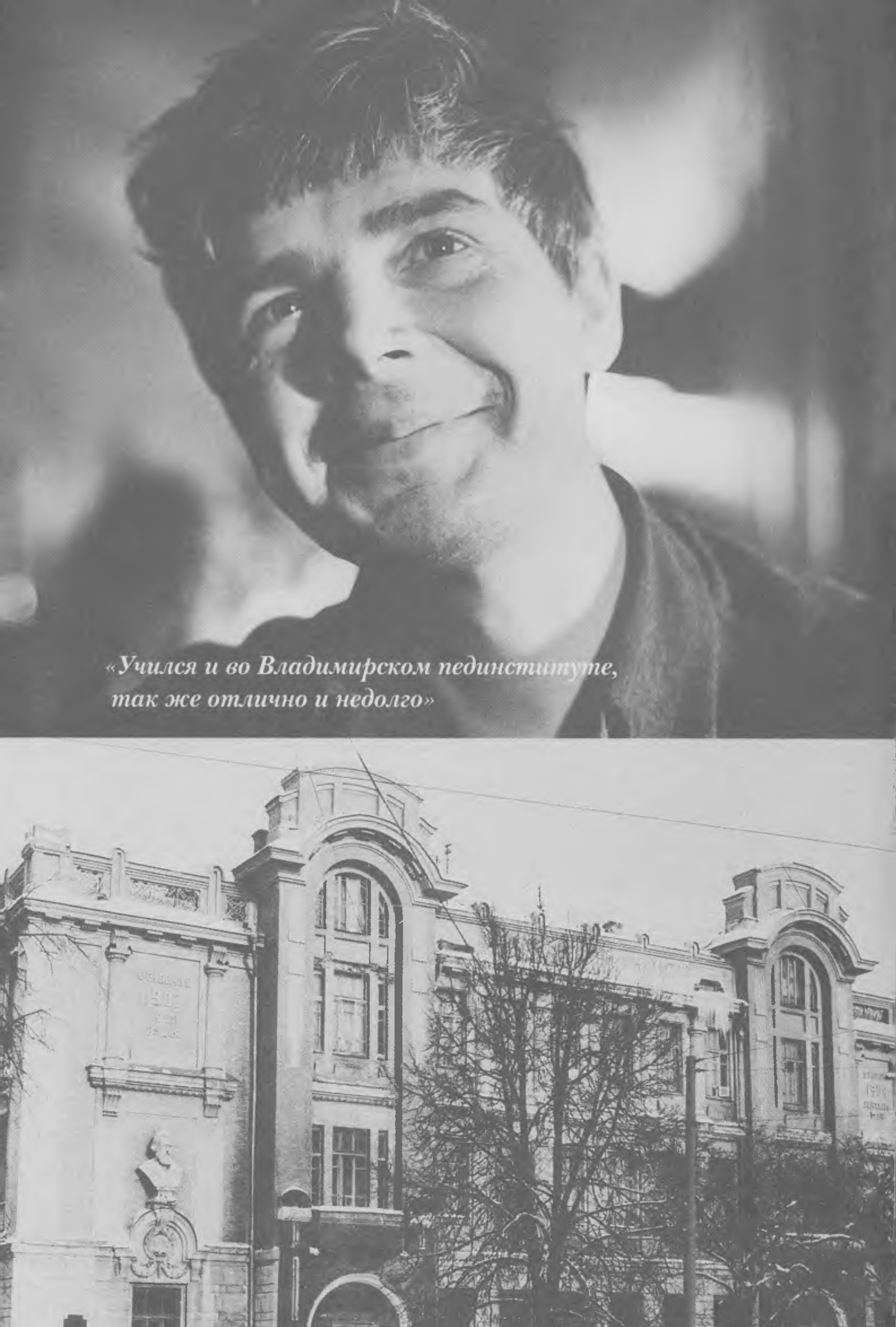
от „14“ января 1957 г.

Отчислить из университета с 24-I-57 студ. 1 к. филол. ф-та Ерофеева Венедикта Васильевича за академическую неуспеваемость и пропуски занят. без уважит. прич.

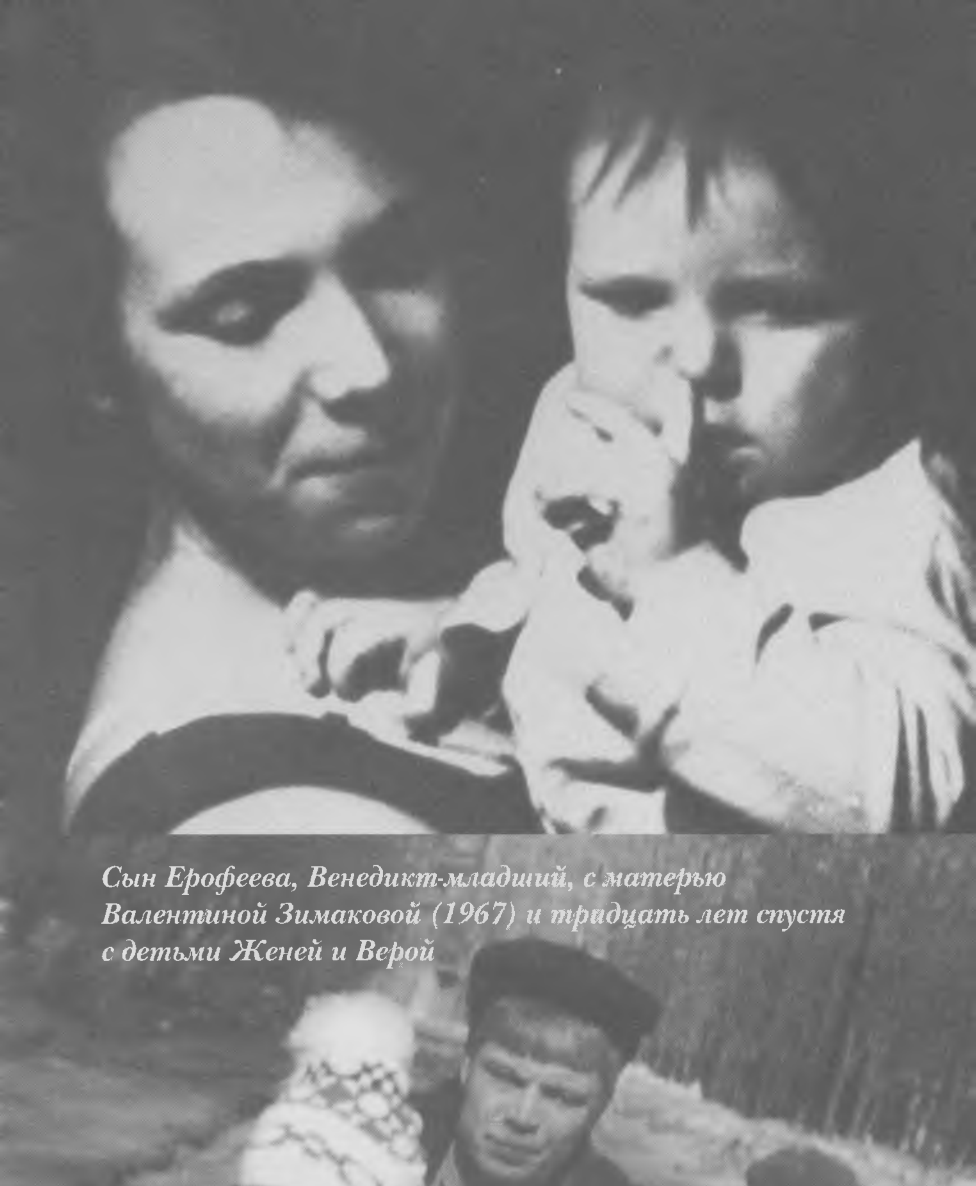
Пр. Ректор МГУ Галкин

Выписка верна: [подпись]

Зак. 1432. Тир. 20000



«Учился и во Владимирском пединституте, так же отлично и недолго»



Сын Ерофеева, Венедикт-младший, с матерью Валентиной Зимаковой (1967) и тридцать лет спустя с детьми Женей и Верой



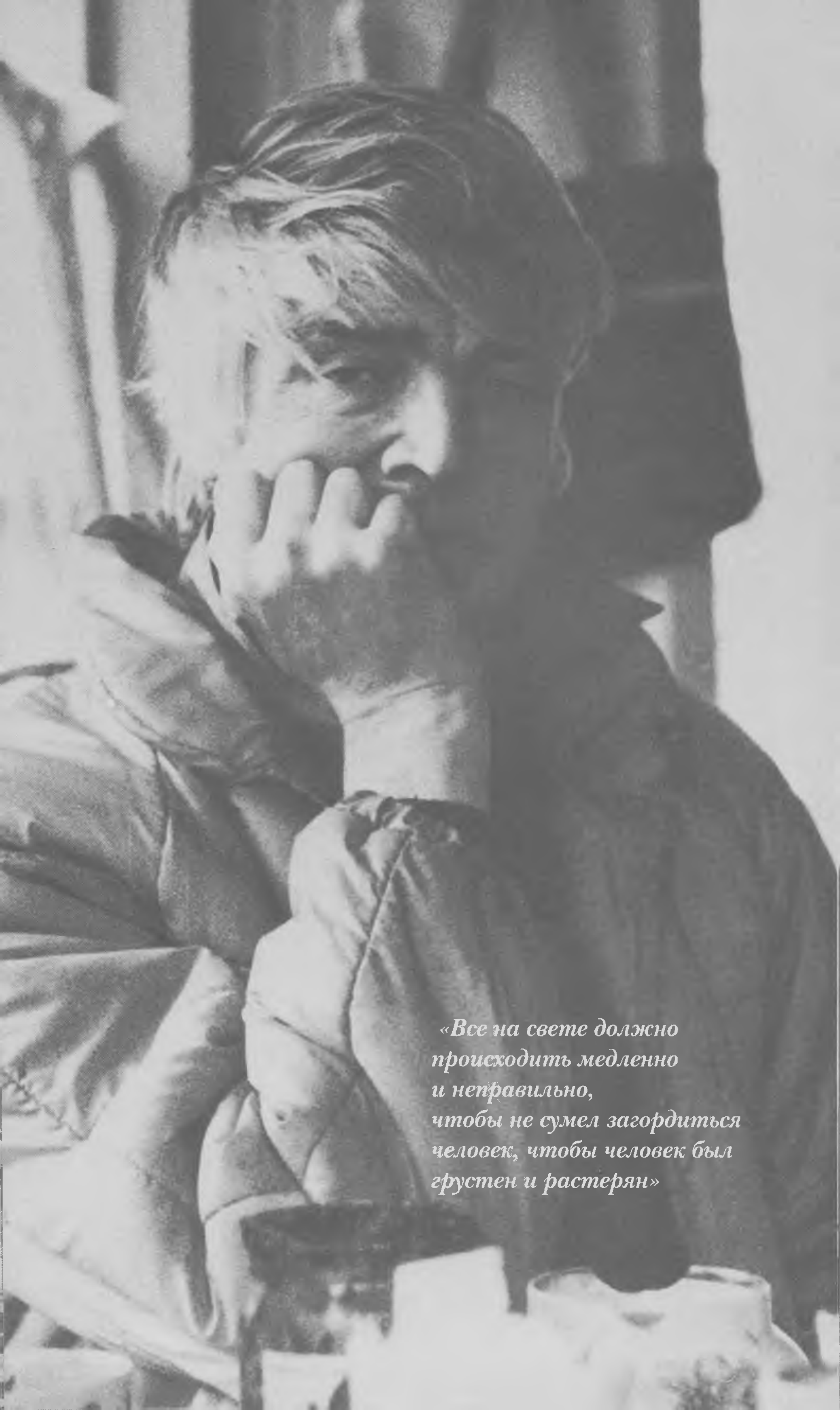
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

№ записи	Дата: Год	Месяц	Число	Сведения о приеме на работу, перемещениях по работе и увольнении (с указанием причин)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2			3	4
				До поступления в Славянский	
				ремонтный завод имеет	Со слов
				стаж работы полтора года	
				Славянский ремзавод	
1.	1958	XII	18	Принят в ст[illegible] снабжение	Пр. № 13
				грузчиком.	
	1959	01	17	Уволен по собственному желанию	№ 14 [illegible]
				Инспектор [illegible]	
				Артемовская комплексная грп	
3.	1959	IV	3	Зачислен рабочим [illegible] станции	Пр. [illegible]
				III разряда в [illegible]	[illegible]
4.	1959	VII	27	Уволен в связи с уходом на учебу.	[illegible]
				Нач-к Артемов[illegible] [illegible]	

«Я работал в разных качествах и почти повсеместно… от грузчика продовольственного магазина до лаборанта по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом»

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

№ записи	Дата: Год	Месяц	Число	Сведения о приеме на работу, перемещениях по работе и увольнении (с указанием причин)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2			3	4
				Дорожно-строительный к-н N4 Управление строительства N14 Интинская	
5.	1961	IV	26	Принят грузчиком	пр. 47 от 24.04
				В соответствии с приказом Министра транспортного строительства СССР за № 150 от 5 мая 1961 дорожно-строительный район № 4 переименован в строительное управление № 867	
				Ст. инспектор ОК СУ 867 Николаев	
6	1961	VIII	23	Уволен по собственному желанию	Пр. № 96 от 5 IX
				Ст. инспектор ОК СУ 867 Николаев	



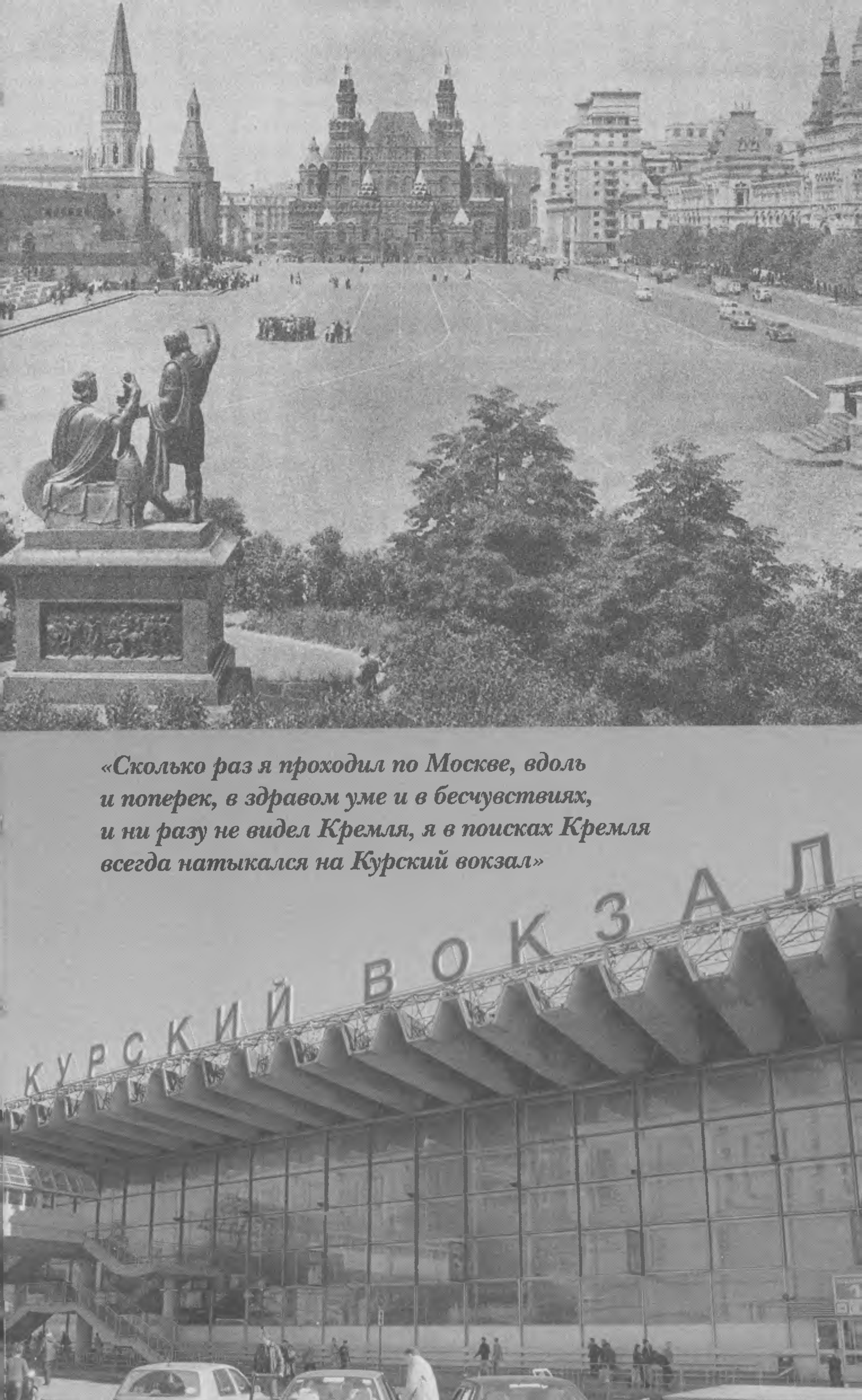
*«Все на свете должно
происходить медленно
и неправильно,
чтобы не сумел загордиться
человек, чтобы человек был
грустен и растерян»*



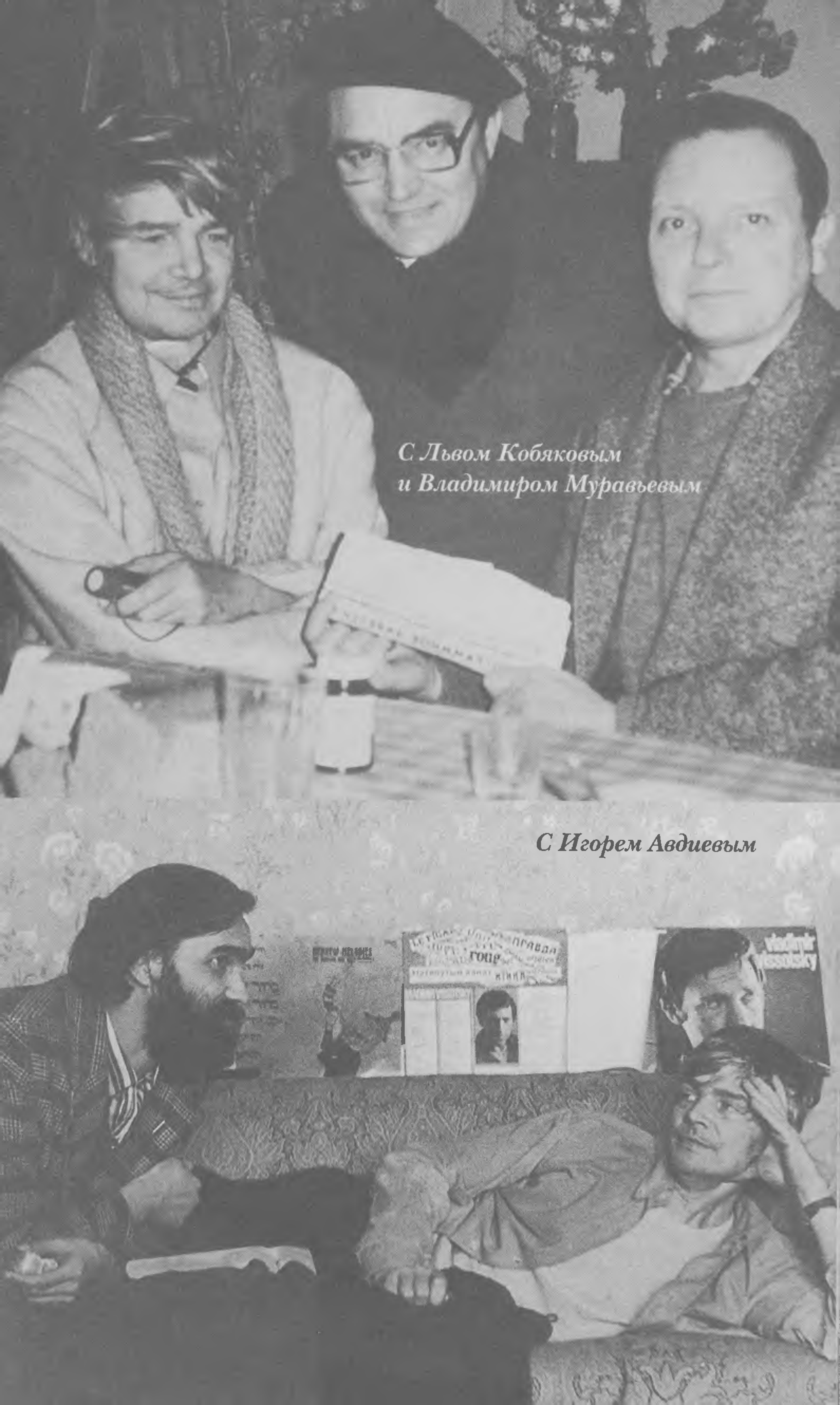
*«В Петушках – твое спасение и радость твоя, поезжай...
А там, за Петушками, в дымных и вшивых хоромах,
распускается мой младенец...»
Деревня Мышлино, где жили
жена и сын Венедикта Ерофеева*



«Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки»



«Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, и ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал»



С Львом Кобяковым
и Владимиром Муравьевым

С Игорем Авдиевым



Борис Сорокин

Ольга Седакова

Вадим Тихонов и Лидия Любчикова

«Мой путь саморастрачивания ничуть не лучше и не хуже других»

Из тёмного леса навстречу ему
Идёт вдохновенный ровесник
(ствесник)
Подобный Перуну — одни к одному.

Служай, см. вдохн. кудесник, Мамай,
губастый!

Не забывать о тех маленьких
двух ударников, кот. я вывез
в Петуш. р-н.

Середина марта. Я в Абрамцеве

[illegible]
ещё люди?) Н.б.:
Ну, конечно, с терапевтической целью.
Птичник не курятник,
человек не бабник.
Была бы шея, а хомут найдётся.
А деньги лебеди, ибо деньги
как птички летят.
[illegible]

Со второй женой Галиной Носовой



Дом №17 по Флотской улице, где Вен. Ерофеев прожил последние годы



ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ или ШАГИ КОМАНДОРА

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ

Трагедия в 5 актах

Главное управление культуры Мосгорисполкома



ПРЕМЬЕРА

20, 25 января, 1, 9, 16, 23 февраля 1990

Венедикт ЕРОФЕЕВ

МОСКВА-ПЕТУШКИ

Сценическая фантазия в 2-х действиях
Пьеса Б. Караджева и В. Портнова по мотивам повести Венедикта Ерофеева

Действующие лица и исполнители:

Веничка Ерофеев	— **Г. Я. Мартынюк**
Венедикт Васильевич Сатана Сфинкс	— **А. В. Котов**
Она Официантка в привокзальном ресторане	— **Т. Р. Кречетова**
Декабрист	— **В. Н. Лакирев** **Г. М. Лямпе**
Семеныч	— **Д. Д. Дорлиак** **Г. Р. Сайфулин**
Дедушка Митрич	— **В. С. Камаев** **Ю. В. Катин-Ярцев**
Внучек Митрич Вышибала	— **К. Е. Кравинский**
Черноусый	— **К. М. Козаков** **С. Ю. Перелыгин**
Беззубая с усами Баба в белом	— **И. Н. Кириченко** **О. Б. Левинсон**

ПОСТАНОВКА
Владимира ПОРТНОВА





Фрагмент инсталляции Бориса Мессерера «Реквием по Венедикту Ерофееву»



Музей писателя на Кольском полуострове (роспись стен и пола выполнена Дмитрием Новицким)


«Безвозвратно ушли
в прошлое те времена,
когда меня не существовало»

Книга выпущена к 65-летию
Вен. Ерофеева (1938 – 1990)

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА

МОСКВА - ПЕТУШКИ

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

ПРОЗА

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

ИНТЕРВЬЮ

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

ВЕНЕДИКТ
ЕРОФЕЕВ

МОЙ ОЧЕНЬ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

МОСКВА «ВАГРИУС» 2003

УДК 882-3
ББК 84Р7
Е78

Подготовка авторских текстов В.Муравьева

В книге использованы любительские фотографии
из архивов семьи автора, Л.Д.Любчиковой, Е.И.Славутина,
Н.А.Шмельковой, Е.Н.Шталя

Дизайн — В.Гусейнов

ISBN 5-9560-0136-4

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

...И вновь Веничка проснется на рассвете в незнакомом подъезде на сороковой ступеньке, если считать снизу... И вновь заторопится на электричку, в 8 часов 16 минут отправляющуюся из четвертого тупика на Курском вокзале... И вновь немедленно выпьет на перегоне «Серп и Молот — Карачарово»... И вновь в вагоне рекой польются алкогольные напитки и подозрительно умные беседы «простых советских пьяниц»... И вновь читатель будет ошарашен невероятным сочетанием жигулевского пива и «резоля для очистки волос от перхоти» в коктейле спиртосодержащем и не менее невероятным сочетанием Иисуса Христа, Достоевского, Ленина, Мусоргского, Герцена, Сартра, Вагнера (и пр., и пр.) в коктейле разговорном... И не иссякнут оба этих коктейля, пока в России не прекратят пить и читать Венедикта Ерофеева, а и то, и другое в обозримом будущем представляется совершенно невероятным.

Вечный Веничка. Венедикт Васильевич Ерофеев. Родился в 1938 году. Умер в 1990-м. Большой писатель, написавший до обидного мало. Но создав гениальную поэму «Москва — Петушки», он «поселил» в нашей литературе вечный русский тип — пьяницу-интеллигента (последнее определение носит не социальный, а духовный смысл), у которого «мало ли от чего могут дрожать руки — от любви к Отечеству, например».

Издательство «ВАГРИУС» приобрело эксклюзивное право на издание всех произведений Венедикта Ерофеева вскоре после того, как осенью 1998 года был отпразднован его 60-летний юбилей, на котором из-за звона стаканов, кажется, никто толком и не понял, «о чем пьем». Ерофеев-пьяница был прославлен «в полный рост». Ерофеев-писатель остался в тени. 24 октября 2003 года исполняется 65 лет со дня его рождения. И мы полагаем, что за пять лет нам удалось сделать немало, чтобы к этому юбилею литературное творчество Венедикта Васильевича было достойно представлено его многочисленным поклонникам.

До недавнего времени подавляющее большинство читателей знало Ерофеева как автора «Москвы — Петушков». Конечно, и одно это произведение гарантирует его создателю не последнее место в российской словесности минувшего столетия, однако его наследие гораздо шире. Нашим издательством было впервые опуб-

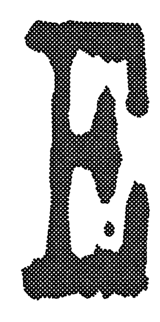
ликовано юношеское произведение Ерофеева «Записки психопата» — по словам самого писателя, его «первое заслуживающее внимания сочинение, начатое в 17-летнем возрасте, самое объемное и самое нелепое из написанного». Работа по расшифровке многочисленных записных книжек писателя завершилась изданием книги «Бесполезное ископаемое». Отдельным томом вышла поэма «Москва — Петушки» с развернутыми комментариями литературоведа Эдуарда Власова (в них детально анализируются различные «пласты» произведения — политический, бытовой, литературный, религиозный и пр.). Мы выпустили комплект аудиокассет с уникальной записью авторского чтения «Москвы — Петушков». И наконец, в 2001 году увидело свет двухтомное собрание сочинений Венедикта Ерофеева.

Тексты всех произведений были заново выверены и отредактированы в соответствии с авторскими черновиками, в них были ликвидированы многочисленные погрешности и неточности. Этот нелегкий труд взял на себя филолог Владимир Сергеевич Муравьев, друг Венедикта Ерофеева и глубокий знаток его творчества, к нашему глубокому сожалению недавно ушедший из жизни.

Книга «Мой очень жизненный путь», которую Вы, уважаемый читатель, держите сейчас в руках, — это и своеобразный отчет издательства за пять лет работы с литературным наследием Венедикта Ерофеева, и скромный подарок к его 65-летию. В нее вошли поэма «Москва — Петушки», «Записки психопата», пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», «малая проза», выдержки из записных книжек и интервью разных лет. Завершают сборник воспоминания родственников и друзей писателя. Книга иллюстрирована фотографиями из его личного архива.

Мы надеемся, что и этот капитальный сборник не станет для нас завершающим, ибо судьба многих произведений Венедикта Ерофеева и по сей день остается неясной. И не исключено, что читателям еще предстоит познакомиться с его неизвестными текстами...

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ



рофеев Венедикт Васильевич. Родился 24 октября 1938 года на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Впервые в жизни перешел Полярный круг (с севера на юг, разумеется), когда по окончании школы с отличием, на 17 году жизни, поехал в столицу ради поступления в Московский университет. Поступил, но через полтора года был отчислен за нехождение на занятия по военной подготовке. С тех пор, то есть с марта 1957 года, работал в разных качествах и почти повсеместно: грузчиком продовольственного магазина (Коломна), подсобником каменщика на строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир), дежурным отделения милиции (Орехово-Зуево), приемщиком винной посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии (Украина), стрелком военизированной охраны (Москва), библиотекарем (Брянск), коллектором в геофизической экспедиции (Заполярье), заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва — Пекин (Дзержинск, Горьковской области) и многое другое. Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи: монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец, Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия — от Гомеля до Полоцка через Могилев и пр. и пр.). Почти 10 лет в системе связи. А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер), работа в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции», и в Таджикистане в должности «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом». С 1966 года — отец. С 1988 года — дед (внучка Настасья Ерофеева).

Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым заслуживающим внимания сочинением считаются «Записки психопата» (1956—1958 гг.), начатые в 17-летнем возрасте, самое объемное и самое нелепое из написанного. В 1962 г. — «Благая весть», которую знатоки в столице расценили как вздорную попытку дать «Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, наизнанку вывернутого». В начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна о Бьернсоне, две о поздних драмах Ибсена). Все были отвергнуты редакцией «Ученых записок Владимирского Государственного педагогического института», как «ужасающие в методологическом отношении». Осенью 1969 года добрался, наконец, до собственной манеры письма и зимой 1970 года нахрапом создал «Москва — Петушки» (с 19 января до 6 марта 1970). В 1972 году за «Петушками» последовал «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которого была потеряна, однако, а все попытки восстановить ее не увенчались ничем.

В последующие годы все написанное складывалось в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжек. Если не считать написанного под давлением журнала «Вече» развязного эссе о Василии Розанове и кое-чего по мелочам.

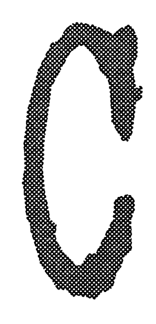
Весной 1985 года появилась трагедия в пяти актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Начавшаяся летом этого же года болезнь (рак горла) надолго оттянула срок осуществления замысла двух других трагедий. Впервые в России: «Москва — Петушки» в слишком сокращенном виде появились в журнале «Трезвость и культура» (№ 12 за 1988 год, № 1, № 2, № 3 за 1989 год), затем в более полном виде — в альманахе «Весть»... и, наконец, почти в каноническом виде — в этой книге*, в чем, признаюсь, я до последней минуты сильно сомневался.

* Ерофеев В. Москва — Петушки и пр. М.: Прометей, 1989. — *Примеч. В. Муравьева. Далее во всех неоговоренных случаях примеч. ред.*

«А МЕНЯ, ГОСПОДА, ВСЮ ЖИЗНЬ ТОМИТ ЗАУРЯДНОСТЬ»

ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА

ДНЕВНИК
14 окт. 1956 г. — 3 янв. 1957 г.



ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО. I

14 октября

топп... чоррт побери!

Интересно, какому болвану...

Какому болвану, спрашивается, интересно меня пугать в третьем часу...

В третьем ли?..

Да, вероятнее всего...

Гм, в третьем... Кто бы это мог быть... Кретинизм же это в конце концов, чорт побери...

Модернизм...

Модернизм? Ха-ха-ха-ха-ха...

Однако, милый мальчик... тебе слишком весело, я бы сказал... и совсем некстати...

Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что царственно величье...

Топ... топ... топ... топ... топ...

Топ... Однако. Веселость и романтическая интересуемость потихонечку покидают тебя, милый мальчик...

Мд-а-а... я бы сказал, романтическая обстановочка... ни одного огня... черно...

Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что...

Топ... топ... топ...

...царственно величье холодеющих могил...

15 октября

Ни хуя-а-а!

Алкоголь — спасение!

Ни хуя-а-а!

17 октября

«Выбитый из колеи и потому выжитый из университета и потому выживший из ума...»

18 октября

Сожрем этику!

Раздавим ее лошадиными зубами!

Утопим ее в безднах наших желудков и оскверним пищеварительным соком!

Зальем перцовой горькой настойкой!!

Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!

*24 октября**

18/VIII. Кировск

— Бросим! Бросим!

— Не надо норм!

— Надо! Не больше 20-и строк и не меньше восьми!

— К дьяволу максимум!

— Все равно Венька перещепит!

— Ерунда!.. Итак, начнем! Ну, тише, что ли... Даем срок 15 минут!! Рифма и ритм обязательно!! Если хоть одна строка не кончается прилагательным, автор торжественно провозглашается кретином!

— Урра!!!

— Занявший первое место провозглашается гением, шестое место — идиотом!

— Брось! Начнем! Все равно останешься идиотом!!!

— Молчи, Абг'ам!

— Все! Тишина! Я уже засек!

— Ч-ч-ч-ч-ч-ч!

. . . .

— Все, братцы, кончаем! Пятнадцать минут прошло!

— Еще три минуты! Завершить...

— Хватит!!

— У меня бессмыслица, блядство какое-то!

— У всех, блядь, бессмыслица! Венька, читай первый...

— Да-ава-й!

— Только, извините, у меня слишком длинное... и вам недоступно будет...

— А у кого это доступно-то? Валяй!

— Хгм.

Хладнокровно-ревнивая,
Дева юная, страстная,
Дева страстно-прекрасная,
Боязливо стыдливая!
Все томишься, бессильная

* День рождения Венедикта Ерофеева. — *Примеч. В. Муравьева.*

Сбросить сети, сплетенные
Жуткой жизнью, — могильною,
Точно пропасть бездонная.
Точно пропасть бездонная,
Точно призраки странные,
Вас пугает туманное
Жизни счастье стесненное...
О не ждите нежданного,
Не зовите далекого,
Навсегда одинокая
Дева страстно желанная!

Дева страстно желанная,
Вашу участь печальную
Не изменит, безумная,
Даже юность туманная
И мечтанья блестящие —
Не воскреснет бесцельное,
Не проснется мертвящее, —
Нет конца беспредельному!

Нет конца беспредельному, —
Беспредельность бесцельная, —
Как мечтанья бесплодные,
Как напрасность прекрасного,
Как бесстрастность свободного —
И опасность бесстрастного.
Только силы природные —
Сокровенность прекрасного!

Сокровенность прекрасного —
Только лик беспрерывного,
Созерцание дивного
И обман сладострастного,
Только звуки желанного,
Море смутно-прекрасное,
Небо вечно-безмолвное,
Ожиданье нежданного...

Ожиданье нежданного,
Возрожденье бесплодного...
Несказанно-туманная
Нежность силы природного
В вас разбудит желанное

Бытие несравненного,
Благодать неизменного, —
Так не жди же нежданного!

Так не жди же нежданного
И не требуй далекого,
Навсегда одинокая
Дева страстно желанная,
Дева смутно-прекрасная,
Боязливо-стыдливая,
До забвенья ревнивая,
До безумия страстная!!!

— Брррваво!
— Бррррaво!
— Я свою ерунду отказываюсь читать!
— И я тоже!
— Ерофеев — гений! Урррра!!!

Кировск. 20.YIII
— Ну, сюжет давайте...
— Сюже-эт!!
— Давайте про убийство!..
— Эк ведь сюжетик!
— Ну-ка, Фомочка, начни!..
— Гы-гы...

Иду я однажды по шпалам...

— Ну, идешь, блядь...
— «А ночка темная была», да?
— Ну вас на хер...

Иду я однажды по шпалам,
Вдруг... слышу пронзительный крик!

— На хуй! На хуй!
— Посентиментальней! Веньк! Действуй!

Вдруг, слышу пронзительный...

— На хуй! Образов нет! Венька! За 5 минут!

Последний солнца луч погас за камышами,
Безмолвье тайное окутало заливы,
Беззвучно плача, шепчут тихо ивы,
Последний солнца луч погас за камышами.

Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали,
Будящий тишину, звенит надрывным воем
Безумный, дикий крик, не знающий покоя...
Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали,
Кого-то режут...

— Пррекрасная пародия, чорт побери!
— Талант! Талант!
— Би-и-ис! Брра-аво!!!
— Веньк! Свою вчерашнюю штучку прочти нам...
— А ну ее на хуй...
— Боринька! За него!.. «На смерть пса»!

Полон жизненной энергии, сердцем жаждущий гуманности,
В краткой жизни не изведавший тайной муки наслаждения...

— Не то! Не то! Это «На смерть Сосо»!

Боже мой! Внемли рыданиям! Я убит родными братьями!

— Это оттуда же!
— Мне последняя строчка нравится:

Только тихие стенания и неслышные проклятия.

— Веньк! Читай все...
— А ну вас... Стесняюсь...

7—8 ноября

Чрезвычайно забавно.

Почти пятнадцатиминутное созерцание только что извергнутой рвоты неизбежно поставило передо мной сегодня довольно-таки актуальный вопрос:

Имеет ли рвота национальные особенности?

Мысленное сравнение грузинской рвоты, извержение которой я только что недавно имел удовольствие созерцать в метро, — и этой, раскинувшейся похабно передо мной

и всем своим крикливым видом с гордостью заявлявшей о своем русском происхождении, — не дало никакого положительного результата.

А впрочем, легкое сходство есть...

И это сходство еще раз заставило меня сожалеть о постепенном сглаживании национальных различий...

Ах, если бы был Сосо!..

22 ноября

Как явствует из достоверных сообщений:

Ерофеев на протяжении всего первого семестра был на редкость примерным мальчиком и, прекрасно сдав зимнюю сессию, отбыл на зимние каникулы.

Не то суровый зимний климат, не то «алкоголизм семейных условий» убили в нем «примерность» и к началу второго семестра выкинули нам его с явными признаками начавшейся дегенерации.

Весь февраль Ерофеев спал и во сне намечал незавидные перспективы своего прогрессирования.

С первых же чисел марта предприимчивому от природы Ерофееву явно наскучило бесплодное «намечание перспектив», — и он предпочел приступить к действию.

В середине марта Ерофеев тихо запил.

В конце марта не менее тихо закурил.

Святой апрель Ерофеев встречал тем же ладаном и той же святой водой, — правда, уже в увеличенных пропорциях.

В апреле же Ерофеев подумал, что неплохо было бы «отдать должное природе». Неуместное «отдание» ввергло его в пучину тоски и увеличило угол наклонной плоскости, по которой ему суждено бесшумно скатываться.

В апреле арестовали брата.

В апреле смертельно заболел отец.

Майская жара несколько разморила Ерофеева, и он подумал, что неплохо было бы найти веревку, способную удержать 60 кг мяса.

Майская же жара окутала его благословенной ленью и отбила всякую охоту к поискам каких бы то ни было веревок, одновременно несколько задержав его на вышеупомянутой плоскости.

В июне Ерофееву показалось слишком постыдным для гения поддаваться действию летней жары, к тому же внешние и внутренние события служили своеобразным вентилятором.

В начале июня брат был осужден на 7 лет.

В середине июня умер отец.

И, вероятно, случилось еще что-то в высшей степени неприятное.

С середины июня вплоть до отъезда на летние каникулы Еро-

феев катился вниз уже вертикально, выпуская дым, жонглируя четвертинками и проваливая сессию, пока не очутился в июле на освежающем лоне милых его сердцу Хибинских гор.

Июльские и августовские действия Ерофеева протекли на вышеупомянутом лоне вне поля зрения комментатора.

В сентябре Ерофеев вторгся в пределы столицы и, осыпая проклятиями вселенную, лег в постель.

В продолжение сентября Ерофеев лежал в постели почти без движения, обливая грязью членов своей группы и упиваясь глубиной своего падения.

В октябре падение уже не казалось ему таким глубоким, потому что ниже своей постели он физически не смог упасть.

В октябре Ерофеев стал вести себя чрезвычайно подозрительно и с похвальным хладнокровием ожидал отчисления из колыбели своей дегенерации.

К концу октября, похоронив брата, он даже привстал с постели и бешено заходил по улицам, ища ночью под заборами дух вселенной.

Ноябрьский холод несколько охладил его пыл и заставил его вновь растянуться на теплой постели в обнимку с мечтами о сумасшествии.

Весь ход ноябрьских событий показал с наглядной убедительностью, что мечты Ерофеева никогда не бывают бесплодными.

9 декабря

О-о-о! Только последнее и нужно было этим пьяным скотам...

Разом заговорили все:

— Э-эттика! Одно слово заставляет меня изрыгать тысячи проклятий по адресу... гм... гм... гм...

— О-о-о-о-о!.. поддержите меня... иначе сей же секунд семья горлодеров, осмеливающихся произносить в приличном обществе это мерзкое слово, численно понесет урон!..

— Господа! А я, между прочим, имею совершенно серьезное намерение детально изучить этику, дабы оградить себя впредь от случайных следований ее законам...

— Ах, господи, зачем толковать о таких неаппетитных вещах! Лично меня мучает один чрезвычайно любопытный вопросик... вот уже скоро 50 лет, как умолкли родовые стенания меня породившей!.. Я просуществовал полстолетия! я пережил 11 министров внутренних дел и 27 революций... — а я все еще силюсь разрешить вопрос, который отчеканит назубок заурядный школьник... дело в том, что я не вижу существенной разницы между удовлетворением полового желания — и физиологическим отправлением...

— Кошмарная парраллель, я бы сказал...

— Гм, молодой человек, я искренне сожалею, что вам, коллекционеру новейших истин, непонятно то, что выбрасывание половых секретов — не что иное, как заурядное физиологическое отправление... и в этом свете половая любовь предстает чем-то вроде мучений цивилизованного существа с переполненным мочевым пузырем, попавшего в великолепную и не менее переполненную гостиную, узревшего великолепный унитаз и не имеющего возможности извергнуть в него содержимое своих внутренностей!..

— О боже мой! Женщина — чувствительный ватерклозет!..

— Хе-хе-хе! А шестилетняя девочка — комфортабельная плевательница!..

— Лирика — плод томления человека, не знающего, куда высраться!

— Ха-ха-ха-ха!

— Да, да... По крайней мере, в половом влечении я не вижу положительно ничего высокого! Мне лично гораздо более удовольствия доставляет сидение на унитазе после сытного обеда, чем половые наслаждения и ласки самой что ни на есть умопомрачительно любимой, ччорт возьми!.. Ннет, господа, уж лучше срать в унитаз и заниматься онанизмом, чем овладевать предметом бешеной страсти, одновременно испражняясь на пол... Хе-хе...

— О господи! Неужели же нельзя без половых извращений! Меня приводит в бешенство одно слово — «онанизм»!

— А я считаю, что поползновение к онанизму — признак чувственной трусости, да, да, чувственной трусости... В лучшем случае — вторжения интеллекта в неприкосновенную, даже, я бы сказал, святую область эмоций!..

— Ах, какой вы, право, Утонченный Негодяй! Я лично, извините за нескромность, чрезвычайно страдаю интеллектностью своих эмоций: но, говоря откровенно, статья профессора Рихтера отбила у меня охоту к поискам новейших методов мастурбации...

— Ох, уж эта пресса! Мне подобные статейки, наоборот, прививают любовь к извращениям; по крайней мере, шофер, изнасиловавший шестилетнюю девочку, в продолжение почти получаса был моим кумиром!..

— Между прочим, я не без успеха подражал вашему кумиру... и я могу вас ошарашить истиной, которая осенила меня в процессе «подражания» — «духовно богатый человек склонен к удовольствиям, не приносящим наслаждения оппоненту — источнику удовольствия»...

— Шестилетняя девочка — оппонент!.. Гм...

— Ну и как, истина помогла вам убедиться в богатстве своего духовного мира?

— Перестаньте зубоскалить, молодой человек!.. и не считайте эрудированность показателем духовного богатства... у вас — искусство имитации мрачного скепсиса и мировой скорби — и тем не менее вы совершенно бездушны!!.

— Ах, какое, я бы сказал, глубочайшее проникновение в тайны моей психологии!..

— У вас — психология!!. Гм...

— Кстати — о психологии! Не встречали ли вы, господа, тип людей, сознательно бегущих счастья и обрекающих себя на страдания, которым мысль о том, что только его сознательные действия превратили его в страдальца и что он был бы счастливым, если бы предусмотрительно не лишил себя счастья, — дает ему почти физическое наслаждение!..

— Это, так сказать, проституция жалости!

— Мастурбация страданий! Ха-ха!

— И кроме того, не заметили ли вы, господа, что совершенно необязательно быть тонким психологом, чтобы прослыть им... Не нужно только уходить из области больной психологии и касаться психически уравновешенных...

— О-о-о! Психическая неуравновешенность — моя мечта! — и, смею сказать откровенно, в мечтах я уже — сумасшедший! О, вы не знаете, что такое бессонница мечты... и мечты, воспаленные от бессонницы...

— Боже мой! Как это плоско — кичиться своей мечтательностью! Лично я, еще будучи младенцем в стадии утробного развития, искренне ненавидел мечтателей!.. Мечты — презрение к воспоминаниям!..

— Ах! В таком случае вы должны восхищаться мной! Для вас я — Заурядный Болван, а ведь я в некотором роде неповторим... Я, может быть, единственный человек, который живет исключительно воспоминаниями... и, смею вас заверить, я — единственное цивилизованное двуногое, тщетно жаждущее найти среди разноцветной груды своих воспоминаний хоть одно — приятное...

— А меня, господа, всю жизнь томит заурядность... О-о! Сколько раз уже я посылал проклятия по адресу всевышнего и «Исключений из закона наследственности»!.. Я неутомимо удовлетворял похоти самок, пользующихся самой что ни на есть двусмысленной славой — и не заразился триппером! я бешено ударялся головой о Кремлевскую стену — и не мог выбить ни одной капли здравого разума! в продолжение трех суток без перерыва я безжалостно резал свое ухо диссонансами пастернаковских сти-

хов и национального гимна Эфиопии — и, как видите, не сошел с ума!.. Ах, господа, я плакал, как ребенок! Я проклинал чугунность своего хуя, лба и нервов и коварство вселенной...

— Боже мой! Как все это извращенно!

. . . .

Все мгновенно смолкли.

И мне пришлось почти с благодарностью взглянуть на торжествующего негодяя.

Хотя все произнесенное мне импонировало, унисонило, — как вам угодно.

17 декабря

А собственно говоря, какого чорта позавчера я вспомнил о Ворошниной?

Неужели мне мало августа?

И я не радовался в октябре ее «аресту за преднамеренное устройство взрыва» на 3-м горном участке?..

И ведь это — ее вторая судимость!..

Собственно говоря, я только на зимних каникулах заинтересовался ее выходками... и если бы не статья в «Кировском рабочем», я, может быть, и вообще бы не вспоминал о ней...

Но ведь, что бы там ни говорили, она — моя одноклассница... и притом — единственная из всех наших выпускников, с которой мне пришлось школьничать с первого по десятый класс включительно...

И даже получением аттестата она в некоторой степени мне обязана...

Нет, нельзя сказать, чтобы я действительно питал к ней нежные чувства... А детское увлечение постепенно улетучилось...

Просто — мы несколько откололись от основной массы школяров и в 10-м классе были водонеразливаемы, совершенно не поддерживая связи с классом...

Откровенно говоря, меня пленяли ее хулиганские выходки на занятиях, тем более что я поражал всех скромностию и прилежанием... А после инцидента с ком. билетом она уже бесповоротно стала кумирить в моих глазах... хотя в школе слыла легкомысленной идиоткой с проституционными наклонностями...

Меня же лично мало интересовали ее наклонности... Я даже не удивлялся ее провалу при поступлении в институт и слишком легкомысленному восприятию этого провала. Меня взбесило только ее исчезновение из Кировска как раз в момент моего триумфального возвращения, — я даже не мог похвастаться перед ней поступлением в Величайший.

С первых же групповых занятий в университете меня несколь-

ко заинтересовала Ант. Григ. — «усеченная и сплюснутая Ворошнина» — и я искренне ее возненавидел...

В декабре, признаться, я был несколько ошарашен письменными извещениями Бориньки о привлечении Ворошниной к суду за недостойность...

Тем более, что после «самоповешения» отца она должна была несколько охладить свой пыл...

Прибыв на зимние каникулы, я с удовлетворением воспринял экстренное сообщение Фомочки, весь смысл которого сводился к тому, что он (т. е. Фомочка) — может быть, единственный представитель мужской половины Кировска, не испытавший удовольствия покоиться на пышных прелестях моего кумира... и сразу же вслед за этим сообщение Бориньки о том, что соревноваться с Ворошниной в изощренности мата не решается сам Шамовский...

Я без промедления благословил ее выносливость и изобретательность...

...И единственное, чего я опасался теперь, — случайного столкновения с ней...

Последнее, может быть, и не состоялось бы вообще, если бы 1-го февраля Бориньку, Минечку и Витиньку не пленило звучание одного из шедевров индийского киноискусства.

Сказать откровенно, я слишком туманно воспринимал трели Бейджу Бавры, потому что беспрерывная трескотня соседок, циничная поза сидящей справа Ворошниной — и вследствие этого тоска по цивилизации убили во мне способность к восприятию классических творений джавахарлаловых подданных...

Назавтра Витинька, удовлетворенно зубоскаля, констатировал: «Ерофеев дико смутился, когда увидел, что Ворошнина покинула веселые передние ряды и в сопровождении трех подозрительных девиц двинулась прямо по направлению к нему, презрительно окидывая взглядом переполненный кинотеатр и неестественно кривляясь»...

Правда, Витинька одновременно выражал сожаление в связи с тем, что они втроем вынуждены были внять вызывающе деликатной просьбе Ворошниной «поменяться местами» — и бросить меня на произвол пьяных девиц...

И я, признаться, тоже сожалел... Во всяком случае, меня не восхищала перспектива в продолжение двух часов вдыхать запах водки и пережженных семечек изо рта Ворошниной, невообразимо краснеть и деликатно приобщаться к ее бесстыдной и стесняющей позе... Впрочем, я покинул кинотеатр чрезвычайно довольный собой — я вежливо отказался навестить ее в общежитии и, кроме того, уже не ощущал на себе кошмарного нажатия ее пышных прелестей...

Последующие 8 дней пребывания в Кировске протекли целиком в пределах четырех стен Юриковой квартиры, — в стороне от трезвости, Ворошниной, снежных буранов и северного сияния...

На первом же занятии по немецкому Антонина Григ. Муз. попала в поле моего зрения, и мне, без преувеличения, сделалось дурно...

В продолжение всего второго семестра я неутомимо прославлял дегенерацию и, стиснув зубы, романтизировал...

А лето совершенно уронило взбесившегося кумира в моих глазах...

Правда, и я летом числился уже в сознании кировских граждан не как «единственный медалист» и «единственный лениногорец», а скорее как неутомимый сотрапезник Бридкина...

К началу августа я вынужден был выработать иммунитет на восприятие любопытных взглядов — и, между прочим, не без благотворного влияния Лидии Александровны, представшей передо мной уже на следующий день после моего приезда в героический заполярный город...

Правда, в этот раз я несколько удивил ее утратой скромности и смущаемости и удачным ответом на традиционное приветствие...

Она же, в свою очередь, поразила меня изумительной способностью к бесконечному округлению даже при ежедневном воздействии алкоголя и еженощном испытывании давления со стороны комсомольских тел...

Кроме того, разминая онемевшую конечность, я внутренне пособолезновал всем тем, кому приходится здороваться за руку с этой смеющейся скотиной, а внешне сделал неудачную попытку отказаться от приглашения.

В этот день она была несколько сдержанна и даже извинилась, когда случайно вставила мат в сногсшибательную характеристику проходившей мимо рыжей девицы...

Два последующие совместные культпохода в «Большевик» несколько нас сблизили, и потому в начале августа я даже без трепета перешагнул порог ее комнаты.

В продолжение 2-х часов я тщетно пытался привыкнуть к одуряющему запаху духов и охотно внимал трескотне своего оппонента...

Сначала я устно выразил восхищение кротостию ее соседки, которую грубое приказание Ворошниной вынудило незамедлительно и безропотно покинуть «постоялый двор кировских Дон Жуанов»...

Потом с напускной неохотой помог ей допить «Столичную» и совершенно искренне восхищался ее изобретательностью в отношениях с посетителями...

Правда, последний ее рассказ настолько меня смутил, что я в продолжение 5-и минут безуспешно пытался согнать краску со своего лица и поднять глаза от стакана...

Дело в том, что как-то весной к ней пожаловали три первокурсника МУ, видимо чрезмерно распаленные хвалебными отзывами о ней и подстрекаемые сообщениями о «легкости» ее «уламывания»... И она, радушно встретив пьяных студентиков, не замедлила выкинуть несколько невероятных штук перед их восхищенными взорами... В конце концов, она заставила всех трех пасть на колени и лизать свои подошвы... — и, в довершение всего, прогнала распаленных посетителей, предварительно избив одного за «недостойность»...

И все это — с непременным хохотом, умопомрачительным смакованием фактов и периодическим потягиванием из стакана... Положительно в этот вечер она мне безумно нравилась...

Нет, я совершенно искренне восхищался ее умением требовать у кировских самцов раболепного поклонения в отношении к своей особе... Правда, я с трудом верил ее пьяным рассказам... ведь незадолго до этого она даже попросила меня отвернуться, когда подтягивала чулок...

Я решительно не понимал ее... Созерцая эту самодовольную, милую, пьяную физиономию, я никак не мог поставить ее рядом с той чистенькой первоклассницей, которая сидела со мной за одной партой и поминутно меня обижала...

Часов в 9 я покинул общежитие в состоянии романтически пьяной влюбленности... До самой железной дороги идущая рядом Ворошнина беспрерывно была встречаема насмешливыми приветствиями, которые вызывали в ней почему-то дикий хохот...

Признаться, я был оскорблен, когда уже на следующий день Рощин через Бориньку выразил сожаление по поводу того, что мне «не повезло с Лидкой», а Тамаре Васильевне порекомендовали «держать в руках своего медалиста»... Впрочем, я и сам лично убедился 7-ого августа в неизлечимой тупости молодого поколения Кировска.

Меня просто взбесило нахальство ГХТ-товцев, которых не отрезвляли даже пощечины Ворошниной. А эта отвратительная сцена у киоска даже ослабила мою охоту иметь дальнейшее общение со своим благодетелем...

И, главное, меня раздражало ее легкомысленное отношение к своим собственным действиям и к своей популярности... Нет, я совсем не собирался ее убеждать, потому что единственной реакцией на мои убеждения было бы идиотское ржание... к тому же я слишком боялся ее, чтобы решиться на убеждение...

Единственный раз я почувствовал к ней что-то вроде жалости — в воскресенье 12-ого числа на вечере отдыха в Парке... Ее отвратительный вид чуть не вызвал у меня тошноту, — тем более что Бридкин в этот день был навеселе и с полудня неумолимо вливал в меня какую-то бурду, орошая слезами память моего родителя и судьбу единоутробного брата... Веселость моментально покинула меня, когда я узрел в распластавшейся за ларьком девице Лидию Александровну... Ее, вероятно, только что бешено рвало, белая кофточка была вымазана в чем-то отвратительном, мокрое платье слишком неэстетно загнуто... Уговоры Бориньки заставили меня оторваться от созерцания страдалицы... Но удивительно — я совершенно не чувствовал брезгливости, я только бешено ненавидел этих мерзких типов, которые ее споили и, изнасиловав, оставили в грязи под проливным дождем... Придя домой, я снова перечитал полученное накануне письмо Муз. с жалобой на жизненные страдания — и дико расхохотался...

А во вторник мне пришлось вновь возмущаться веселостью Ворошниной... Она бессовестно восторгалась прошедшим воскресеньем, поминутно извинялась за нецензурность — и я, к ужасу своему, убедился, что она и сегодня пьяна ввиду увольнения с РМЗ.

...Нет, ее совершенно не волновало лишение работы, она воинственно восседала на перилах Горьковской библиотеки, жонглируя моим Ролланом и качая ногами перед самым моим носом, и продолжала невозмутимо язвить по адресу МГУ, любви, человечьих страданий, Надсона, Муз. и — моей детскости...

А 16-ого числа, с этого противного вечера одноклассников, началось самое главное... И удивительно то, что я упивался ее действиями, явно рассчитанными на то, чтобы отравить атмосферу школьным питомцам... Она хорошо знала, что пользуется дружным презрением «девушек-одноклассниц» и тем не менее решила явиться на вечер без приглашения, дабы произвести сенсацию сначала своим приходом, а потом своими очаровательными шалостями.

Правда, наш совместный с ней приход на вечер произвел далеко не сенсацию; я вынужден был констатировать всеобщее уныние и одновременно, затаив злобу, отразить несколько мрачных взглядов... Однако я понял с первой же минуты, что «очаровательными шалостями» Ворошнина если не произведет фурор, то, по крайней мере, заставит разойтись эти полторы дюжины впавших в уныние одноклассников.

Последние нисколько не были удивлены, когда Лидия Ал. церемониально извлекла из внутренних карманов пальто 2 прозрач-

ных бутылки и цинично заявила, что «даже Веничка» считает их содержимое чрезвычайно полезным для желудка... Я, стараясь усилить невыгодное впечатление, произведенное ее словами, поспешил подтвердить гигиеническую верность гениальной фразы моего кумира...

В продолжение получаса Ворошнина торжествовала... И, казалось, ее совершенно не смущало то обстоятельство, что только я один осмеливаюсь разговаривать с ней и что мы в некоторой степени обособились.

...Захарова своим неуместным затягиванием «Школьного вальса» развязала, наконец, ей руки — и с этого момента я с нескрываемым восхищением следил за всеми ее движениями...

Прежде всего, заслыша робкую «пробу» Захаровой, она дико заржала, вызвав недоумение всех собравшихся, затем флегматично сообщила всем о своем презрении к песням вообще — и, в довершение всего, ошарашила милых одноклассников нецензурной приправой к своему лаконичному признанию... Фурор был неотразим... Я, признаюсь, проникся даже пьяной жалостью к этим девицам, которые — вместо того чтобы прогнать возмутителя спокойствия, — уныло справились друг у друга о времени, о погоде и стали медленно одеваться... А Ворошнина продолжала неутомимо хихикать, ерзая по стулу и по моей ноге...

Нет, я нисколько не жалел о безжалостном разрушении вечера... Я охотно помогал ей смеяться над письмом Муравьева и допивать водку из горлышка. Я так же охотно согласился бы сидеть до конца летних каникул на этой куче ж/д шпал под моросящим дождем и позволять обращаться с собой, как с грудным ребенком... Я преклонялся перед этой очаровательной пьяной скотиной, которая могла делать со мной все, что хотела...

На следующий день я от нее же узнал, что она не могла добрести до своей комнаты — и на лестнице ее мучительно рвало...

Вечер 18-ого числа совершенно неожиданно отрезвил меня... Первый же рассказ, которым меня встретила Ворошнина и который больше походил на похабный анекдот, до такой степени озлобил меня, что я утратил всякую боязнь — и осторожно послал ее к черту... В ответ она по традиции глупо заржала и пообещала завтра же всем сообщить, что она послана к черту самим Ерофеевым...

В тот же вечер ее в совершенно пьяном состоянии и отчаянно ругающуюся вывели из танцевального зала 2 рослых милиционера и препроводили в отделение... При этом ей за каким-то дьяволом понадобилось громогласно вопить, что она не виновата и что ее споил Ерофеев...

Наконец, ее поведение 21-ого числа на «Пламени гнева» вынудило меня даже удалиться из кинотеатра под дружный хохот окружающих ее девиц и всеобщее недовольство зрителей..:

С этого вечера я уже совершенно ее не понимал; меня бесило то, что она слишком чутко внимала Рощинской клевете; я не мог себе представить, чтобы Ворошнина мне верила меньше, чем оскорбительным сообщениям заурядного Петеньки; я положительно возненавидел ее...

23-его числа, заметив ее, возвращающуюся из рудника в сопровождении 2-х чумазых подростков, я вынужден был предусмотрительно свернуть вправо и профланировал параллельно.

Когда же до меня донесся веселый смех этих трех скотов, гоняющихся друг за другом и осыпающих матом все и вся, мне стало дурно, у меня помутилось в глазах... Я готов был сию же минуту исплевать Заполярье и благословить Московскую непорочность... Меня тошнило от Кировска и от беспрерывного пьянства...

И 24-ого я уже действительно плевался, когда, сидя ночью на скамейке, узрел Ворошнину, проплывающую мимо школы. Я до такой степени растерялся, что не успел убраться в темноту — эта скотина уже предстала перед скамейкой и, умопомрачительно изогнувшись, затрясла передо мной всеми своими прелестями... Я поспешил справиться, что должна означать эта многозначительная пантомимика — она ошарашила меня в ответ довольно остроумным контрвопросом: «Хотите ирисок, Веничка?», — и затем, видимо удовлетворенная моим отказом, не меняя дикции, выразила сожаление по поводу того, что более многоградусное осталось дома, флегматично погладила свои бедра и, мазнув меня по лицу всей своей массой, вразвалку направилась к шоссе. А в ответ на свое душевное: «С-с-скотина!» я опять услышал это идиотское ржание — и застучал зубами от холода...

Возвращаясь домой, я почему-то вспомнил, как, будучи семиклассником, мелом разбил стекло и потом робко укорял Ворошнину за то, что она взяла вину на себя... Тогда она смеялась ласково, по-детски...

Вечером 26-ого я уже переехал Полярный Круг, совершенно не вспоминая об утраченном кумире...

В конце октября, уже будучи в Москве, я с удовлетворением узнал о ее аресте и с тех пор ее судьбой не интересовался... Да и, собственно, какого дьявола меня должна волновать ее судьба... если она сама за всю жизнь не смогла выдавить из себя ни одной слезы...

...и ее участь никто никогда не оплакивал...

18 декабря
Пи-и-ить!
Пиииииить!
Пи-и-ить, ттэк вэшшу ммэть!!!

30 декабря
Да, да! Войдите! Тьфу, ччорт, какая идиотская скромность...

Ну, так как же, Вл. Бр.? Вы отказываетесь? А у вас, это, между прочим, так неподражаемо: «На-а-а земле-е-э-э ве-эсь род...»

А мнения все-таки бросьте, пожалуйста... И «жен-скую душу», и «женскую натуру» — тоже бросьте... Да и возлагать на меня не стоит...

Да входите же, еби вашу мать! А! Это вы! Стоило так долго стучаться! Хе-хе-хе, ну как, что новенького? Что?! Даже откровенничать! Ха-ха! Откровенничать! Обнажаться, значит... Ну, что ж — прреподнесем, препподнесем!

Совершенно одна! Хи-хи-хи-хи!.. Да, да, конечно, это до чрезвычайности трагедийно... Единственное — старушка-мать... И не издохла?.. Да нет же, я хотел спросить: «И вы очень ее любите?»... Да неужели?! И вы — не спились, не взрезали перси?.. Ну да, конечно, конечно, «единственное — старушка-мать» и больше никого, совершенно никого... И тем не менее — уйдите!..

Да нет же! Не на хуй!.. Просто — уйдите...

Да не глядите же на меня так! Чем я, собственно, провинился?.. Бросьте это, А. Г., серьезно вам советую — бросьте!.. Ведь мы же, в конце концов, вчера снова обменялись взаимными плевками и теперь, по меньшей мере на неделю, зарядились злобой... И у меня сегодня просто нет настроения торговать звериными инстинктами... Угу! всего!

Да, да! А. Г., вас давно сняли с веревки?.. Как! Вас и не поднимали?! Ха-ха-ха! Вы только послушайте — как она мило острит!.. Значит, вас серьезно не снимали?.. Ах, да! Как я мог снова перепутать? Эй!..

Да нет, это я не вам... угу, до свиданья...

Эй! Лидия Александровна!.. Ну, как вы там? А? Хе-хе-xxe-хе-хе! Ах, ну дайте же, я паду ниц! Что? Как это так! — не стоит! Как будто бы я не падал шестнадцатого!..

Фу! Какие у вас ледяные ноги!.. И этот ебаный буран еще раскачивает их! Чччоррт побери, ведь ровно год назад и в такой же буран *он* здесь качался!.. И ваш покойный родитель тоже... ха-ха-ха... тоже! Ах, как вы плакали тогда, Лидия Александровна, как мило вы осыпали матом вселенную и неудачно имитировали сумасшедший бред... Хи-хи... Нет, не врите... Вы не были потрясены! Вы издевались, чччорт, вы хихикали!..

Да прекратите же, в конце концов, раскачиваться... Хоть после смерти-то ведите себя прилично и не шуршите передо мной ледяными прелестями... Я не горбун Землянкин! Хе-хе!.. Вот видите — вы даже можете хорошо меня понимать!.. Когда речь заходит об августовских испражнениях, вы непременно все понимаете...

Ах! Вы уже не сможете теперь испражняться так комфортабельно и так... *непосредственно...* А ведь он, смею вас заверить, трепетал от умиления... И я почти завидовал ему! Слышите ли? — завидовал!! Еще месяц — и я раболепствовал бы в высшей степени... Как вы были очаровательны тогда, тьфу!..

Вы мне позволите, конечно, еще раз прикоснуться губами... Да нет же! Что еще за буран! Вы — каменная глыба! Вы — лед! И тем не менее вы продолжаете гнуться! Какой же еще, к дьяволу, буран!

Ха-ха-ха, вы притворяетесь, что не слышите меня! Вы нагло щуритесь! Вы — прельщаете!.. Хе-хе... Прредьщаете!

А водка-то льется, Лидия Александровна! Льется... еби ее мать!.. щекочет трахею... сорок пять градусов! Хи-хи-хи-хи, сорок пять градусов!.. Шатены... хи-хи-хи... брюнэты... блондины... Триппер... гоноррея... шанкр... сифилис... капруан... фильдекос... крепжоржет... Их-хи-хи-хи-хи!.. А Юрик-то... помните... кххх — и все!.. Кххх! — И все!!! И северное сия-яние! Северное сия-а-ание!..

3 января

Вот видите — вам опять смешно.

Вы не верите, что можно вскармливать нарывом. А если бы вы имели счастье наблюдать, то убедились бы, что *это* даже достойно поощрения.

И сейчас я имею полное право смеяться над вами. Вы не видите, вы не внемлете моим гениальным догадкам — и не собираетесь раскаиваться.

А я созерцаю и раздраженно смиряюсь.

«Значит, так надо».

«Мало того — может быть, только потому-то грудь матери окружена ореолом святости и таинственности».

Ну, посудите сами, как это нелепо!

Я пытаюсь даже рассмеяться... И не могу. Меня непреодолимо тянет к ржанию — а я *не умею* придать смеющегося вида своей физиономии...

Я сразу догадываюсь — мороз, бездарный мороз. Мороз сковывает мне лицо и превращает улыбку в идиотское искривление губ.

Я воспроизвожу мысленно фотографию последнего номера «Московской правды»... обмороженные и тем не менее улыбаю-

щиеся физиономии... Проклинаю мороз и разуверяюсь в правдивости социалистической прессы.

Дальнейшее необъяснимо.

Ребенок обнажает зубы, всего-навсего — крохотные желтые зубы... Обнажение ли, крохотность или желтизна — но меня раздражает... Я моментально делаю вывод: «Этому тельцу нужна вилка. И не просто вилка, а вилка, исторгнутая из баклажанной икры».

Ребенок мотает головой. Он не согласен. Он кичится своей разочарованностью и игнорирует мою гениальность. И эта гнойная... эта гнойная — торжествует!

Я вынужден вспылить!

Как она смеет... эта опьяненная сперматозоидами и извергнувшая из своего влагалища кричащий сгусток кровавой блевоты...

Как она смеет не удивляться способности этого сгустка к наглому отрицанию!..

Но рука не подымается. Мне слишком холодно, и я парализован. Я сомневаюсь — достанет ли сил протереть глаза...

Можно и не сомневаться.

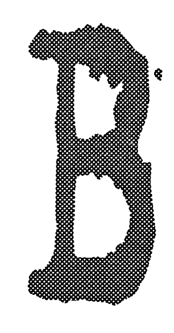
Я лежу и выпускаю дым. В атмосфере — запах баклажана. А в пасти хрипящего младенца все тот же сосок, увенчанный зеленым нарывом...

Сам! Сам встану!

ДНЕВНИК
4 января — 27 января 1957 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПИСОК ПСИХОПАТА. II

4 января



стретив лицом к лицу, робко опустить голову и пройти мимо в трепетном восторге и смущении...

...проводить взглядом удаляющуюся фигуру — и, хихикнув, двинуться вослед...

...осторожно ступая, подкрасться — и нанести искросыпительный удар по невидимой сзади физиономии...

...не предпринимая никаких попыток к бегству, по-прежнему робко опустить голову и безропотно упиваться музыкой устного гнева...

...неутомимо льстить, лицемерить, петь славословия, свирепо раскачиваться, яростно извиняться, — пасть на колени и лобызать все что угодно...

...рабским взглядом поблагодарить за ниспосланное прощение и убедить в *неповторимости* происшедшего...

...на прощание — ласково солидаризироваться в вопросе о нерентабельности поэтической мысли...

...при возобновлении удаления — издалека нанести удар чем-нибудь тяжелым — и тем самым обнажить отсутствие совести и способность на самые непредвиденные метаморфозы...

...и продолжая свой путь, заглушать тыловые всхлипывания и мстительные угрозы напевами из Грига.

5 января

Утром — окончательное возвращение к прошлому январю.

Тоска по 21-ому уже не реабилитируется. Нелабильный исход — не разочаровывает.

Даже по-муравьевски тщательное высушивание эмоций и нанизывание на страницы зеленых блокнотов — невозможно.

Высушивать нечего.

Впервые после 19-го марта — нечего.

Пусто.

7 января

Помните, Вл. Бр.? — Вы говорили:

«Ерофеевы — тля, разложение, цвет, гордость. О Гущиных не говорю... Мамаша эта твоя, Борис и сестры — просто видимость, Гущины, мамашин род... Эти — просуществуют... А Ерофеевыми горжусь... Папаша в последние минуты всех посылал к ебеней матери... а тебя не упоминал вообще... Мать, наверное, говорила тебе?..

...Еще налить?

Двадцать лет в лагере — это внушительно... И Юрик прямо по его стопам... Водка и лагерь — ничего нового... Совершенно ничего нового... А это — плохо... Скверно... Спроси у любого кировчанина — каждый тебе ответит: Юрий — рядовой хулиган, Бридкина наместник — и больше ничего... На тебя все возлагают надежды... Ты умнее их всех, из тебя выйдет многое... Я уверен, я еще не совсем тебя понимаю, но уверен...

А за университет не цепляйся... И не бойся, что в Кировске взбудоражатся, если что-нибудь о тебе услышат... Все равно — ты уже наделал шума с этими своими тасканиями, Тамара уже смирилась и мать — тоже...

И не бойся тюрьмы... Главное — не бойся тюрьмы... Тюрьма озверивает... А это — хорошо. Бандиты эти грубые, бесчувственные — но не скрывают этого... Искренние... А ваши эти университетские — то же самое, а пытаются сентиментальничать... Умных мало — а все умничают... Чувствовать умно надо, чувствовать не головой, но умно... А ваши эти все — холодные умники... Тебе с ними не по пути... Они просуществуют, как твои Гущины...

Они не хотят существовать просто так... Они в мечтах — мировые гении... И, мечтая, существуют... Я знаю этих типов, я сам учился в университете... и — знаю... Они чувствуют — когда есть свободное время... И даже сладострастничают — только внешне... Я — знаю...

Они могут доказать ненужность того, чего у них нет... и для них это — признак ума... Главное для них — чистота... чистота своих чувствий... А их, этих чувствий, у большинства, почти у всех — немного — и содержать их в чистоте — нетрудно... Они, эти циви-

лизованные, будут ненавидеть тебя — говорю совершенно серьезно — ненавидеть! Все запоминай... и всем — мсти... Извини, что я, пьяный, учу тебя — вместо родителя... Ты — особенный, только на тебя и можно возлагать надежды... Главное — избегай всегда искренности с ними, — немного искренности — и ты прослывешь бездушным, грязным, сума-сшедшим...

Ты! — бездушный и грязный! Хе-хе-хе-хе...

Налить еще, что ли?»

8 января

О! Слово найдено — рудимент! Рудимент!

9 января

Даже для самого себя — неожиданно:

Оскорбленный человек первый идет на примирение, а я не удостаиваю взглядом, спокойно перелистываю очередную страницу «Карамазовых» и — не подымая головы — лениво:

Катись к чорту.

И ничуть не смущает ответное скрежетание:

Ид-диот.

Все — спокойно, умеренно злобно, внешне — почти устало, без излишней мимики, а тем более — дрожи...

Удивительно, что спокойствие — не только внешнее...

По-прежнему шуршат «Карамазовы» — и никакого волнения.

10 января

. . . .

11 января

Каюсь публично! — Пятого числа бессовестно лгал! И эти мои словечки — все ложь!!

И — никакой «пустоты»! Очередное кривляние — только и всего! И я вам докажу, что нет никакой «пустоты»! Докажу!! Сегодня же! Вечером!!

Прощайте!

12 января

Темно. Холодно. И завывает сирена.

Отец. Медленно поднимает седую голову из тарелки; физиономия — сморщенная, в усах — лапша, под столом — лужа блевоты. «Сыннок... Иззвини меня... я так... Мать! А, мать! Куда спрятала пол-литра? ...А? Кккаво спрашиваю, сстарая сука!! Где... поллитра? Веньке стакан... а мне... не могу... Тттьі! Ммать! Куда...»

Шамовский. Отодвигая стул. «Бросьте, Юрий Васильевич, это вам не идет!.. Хоть жены-то постесняйтесь... ведите себя прилично...» Встает, длинный, изломанный, с черной шевелюрой... делает два шага — и падает на помойное ведро...

Харченко. Нина. Лежит в красном снегу, судорожно извивается. «И-ирроды! За что!.. В старуху... Тюррре-э-эмни-ки-и!.. Тюре-е...» Юрий. Невозмутимо. «Пап, заткни ей глотку».

Ворошнин. Вскакивая. «Не позволю! Не позволю! Без меня никто работать не будет! Директора убью! Сам повешусь!! А не позволю!.. Боже мой... Сил моих нет!.. Все, все — к ебеней матери!»

Викторов. Совершенно пьяный. Кончает исповедываться, хватает вилку и, упав на стол, протыкает себе глаз.

Бридкин. Недовольно поворачивая оплывшую физиономию. «А-а-а... опять... москвич... Ну-ну... Ты слышал про Шамовского? Нет?.. Вчера ночью... застрелился... И мне за него стыдно, не знаю — почему, а стыдно... Садись, я заплачу... Эй! Ты! Толстожопая! Еще триста грамм... Застре-лил-ся... Никого не предупреждал, кроме сына... Это — хорошо...»

Юрий. Прохаживается взад и вперед. Пинает все, что попадается под ногу. Взгляд тупой. «Тюрьма все-таки лучше армии. Народ веселый... Вчера в дробильном цехе работали, двоим начисто головы срезало под бункером, все смеялись... и я тоже. Бригадир споил, ни хуя не понимали, я даже ничего не помню... Я вообще пьяный ничего не помню... и не соображаю... делаю, что в голову придет... забываю вот только вешаться... пришла бы в голову мысль — обязательно бы повесился. Это, говорят, интересно, — вешаться в пьяном виде, один у нас хуй вешался, рассказывал — как интересный сон, говорит...»

Андрей Левшунов. Вдруг поднимает голову и, схватившись за грудь, начинает яростно изрыгать в стакан. В бессилии откидывается на спинку стула; затем неожиданно хватает стакан, выпивает до дна — и снова наполняет. И так — бесконечно, и под хохот одобрения.

Ворошнина. Лежит под одеялом. Потягивается. «Ба-а-а... Веничка!.. проходи, проходи, садись сюда... (Валинька! Вышвырнись-ка, милая, на полчасика... угу...) ...да ближе, вот сюда, на постель, какого черта еще стесняешься... Ну, тепло?.. хи-хи-хи-хи... скромность-то где... и по-матерински согревать нельзя... ребенок — и все... может, тебе еще свою титьку дать... вот уж интересно, как бы ты стал сосать... хи-хи... а мне целовать нельзя, — хуй знает — может я вся — заразная, венерическая... Ну, чего ты пугаешься? Уй, какой ребенок... Ну-ка, Веньк, наклонись, от меня пахнет? Нет? Ну — ты, наверно, сам наглотался и не чуешь... Хи-хи-хи...»

Бридкин. Оживляясь. «Хе-хе-хе-хе... Вчера ваш этот, Сашка, был у меня... Слышал? Баба-то недосмотрела... В собственной блевоте задохнулся. Насмерть. Лежал вверх лицом и задохнулся... Все перепились, гады, и не обратили внимания... Жаль, ты вот не пришел... Тебя ждали... А этот теперь уже в больнице. На «скорой помощи» ночью увезли... Все равно уже... Говорят, из легких капустные листы вынимали... Врут, наверное...»

Фаина. Закрыв лицо. «А ты думаешь — я не плачу, я больше ее плачу, если хотите знать, больше всех... Ей «душно»! А мне — нет, что ли? Душно ей!.. Ха-ха-ха! Ведь выдумает тоже — душно!..»

13 января

Сначала — странное помутнение перед глазами. Помутнение, которое бывает у людей болезненных от резкого перехода в вертикальное состояние... Потом и все существо заволакивается той же мутью... И я засыпаю...

Я не просто засыпаю. А засыпаю с таким ощущением, будто усыпление идет откуда-то со стороны: меня «засыпают», а я осторожно и безропотно, дабы не огорчить их, поддаюсь усыплению... Постель, оставаясь верной традиции, опускается куда-то вниз (в Неизвестность или куда-нибудь еще... — безразлично), — а я словно отделяюсь от нее и на ходу моментально соображаю, что мое «отделение» — совсем даже и не вознесение в бесконечность, а самая что ни на есть заурядная потеря ощущений...

Каждый день я засыпаю именно так — и нисколько не жалею, что широчайший диапазон всех прочих методов засыпания мне недоступен...

А сегодня со мной творится нечто странное. Даже не со мной, а с постелью, которая в категорической форме изъявляет свое нежелание опускаться в отведенную ей Неизвестность... И не только отказывается; а словно издевается над тем, что я не могу, в силу ее статического состояния, теряя одно за другим свои наглые ощущения, потихоньку улетучиваться в Бесконечность... (ну, да ладно, пусть — «Бесконечность»).

Но я ничуть не разгневан. Наоборот, я чрезвычайно доволен тем, что мое ложе наконец-то вышло из повиновения... Это — своего рода восторг, выражаемый по поводу пробуждения национального самосознания чего бы то ни было... черта, свойственная мне... да еще, может быть, паре миллионов самых оголтелых коммунистов...

Но в данном случае мой восторг несколько умеряется тем, что мой (мой собственный! хе-хе) круп играет незавидную роль гори-

зонтально распластавшейся метрополии и потому не может испытывать особенной радости от созерцания обнаженных суверенитетов...

И самое непредвиденное — и самое раздражительное для меня — это зверский холод, который охватывает понемногу мое ложе и, следственно, — меня самого. Я поворачиваюсь на бок и силюсь разгадать причины беспочвенного похолодания. Я пробую вслух проследить температурную эволюцию моего ложа — но вслушавшись в свою речь, с неудовольствием замечаю, что с уст моих срываются рассуждения на темы слишком далекие от каких бы то ни было эволюций...

В конце концов, меня заинтересовывает тот факт, что моя устная речь, как будто из презрения к ходу моих мыслей, течет в совершенно другом направлении... Ччорт побери... Значит, я сплю! Сплю! Потому что только во сне может иметь место такой безнравственный разлад!

И мысль о том, что я все-таки заснул, заснул несмотря ни на что, — очаровывает меня до тошноты... со слезами умиления я прощаю своему ложу и отказ от эвакуации в Неизвестность, и попытку спровоцировать температурный путч... Все! Все прощаю! И уже с нескрываемым интересом слежу за направлением своих устных высказываний, кому-то возражаю, озлобляюсь, угрожаю 51-ой статьей...

— Ну да, конечно, я вполне с вами согласен... И удои, и удои повысятся непременно! Еще бы — не повысились удои!.. Ну, уж а это, пожалуйста, бросьте... Где она может помещаться, эта задняя нога... И почему — именно у Кагановича — задняя нога!.. Чорт побери, если бы вы заявили, что у Энвера Ходжи — два хуя, я бы и не стал возражать вам... как-никак, принадлежность к албанской нации — веский аргумент... Но... у Кагановича — задняя нога!.. Это уже слишком, молодой человек!..

Мне, в сущности, все равно, кому я возражаю. Мне абсолютно наплевать, кто мой оппонент — Спиро Гуло, Вавилонская башня или Бандунг... Мне просто доставляет удовольствие разбивать положения вымышленного оппонента — и в пылу дискуссии я имею полное право называть его не только «молодым человеком», но и, если угодно, ослом. Кто, в конце концов, сможет меня убедить, что я имею дело не с ослом, а с Вавилонской башней?

В сущности, и сам предмет нашей дискуссии мало меня интересует; и если бы аксиома о задней ноге не была выдвинута в такой категорической форме, я бы, может быть, даже поспешил солидаризироваться... Но все дело в том, что я не терплю категоричности, тем более если эта категоричность подмывает репутацию

партийного вождя, а следовательно, и международный авторитет моей нации... Я продолжаю дискутировать — из чисто патриотических побуждений...

— Вы говорите, у Кагановича — задняя нога... Но (дьявол вас побери и извините за выражение) где же гарантия того, что у Шепилова есть кадык? — или — что у Шепилова не три, а четыре кадыка? И потом — 56 млн. тонн чугуна сверх плана в первый же год шестой пятилетки — это что? Ззадняя нога?!.. А новогодний бал в Кремле? А отставка Идена! А Низами! А удои! Чоррт побери, удои! — о которых вы с таким жаром распространялись! — возможно ли все это при наличии у Кагановича задней ноги!..

И меня охватывает неудержимая радость от сознания бессилия моего оппонента и способности моего мышления ко всеразрушающей логичности... В упоении я размахиваю руками, дабы и физически доконать своего противника — и с удовлетворением сознаю, что мои удары приходятся точно по ее (ее!) толстым икрам... Говорю — «ее» — потому что угрожающее движение со стороны этих же икр заставляет меня очнуться и узреть, наконец, и свое состояние, и позу моего загадочного противника...

— Молодой человек! Как вам не стыдно!

Собственно, о каком стыде идет речь? Неужели эта женщина думает, что я лежу перед ней в снегу, только потому что я пьян?! Но ведь я только сейчас почувствовал, что лежу в снегу, — и, может быть, я и вообще не лежу в снегу, а мне просто снится, что я лежу... Нет, пусть она сначала докажет мне, что окружающий меня белый комфорт — не сновидение и что она сама — не Вавилонская башня и не Дух Женевы... Нет, пусть все-таки докажет, — а потом уже укоряет меня в отсутствии стыдливости...

— Послушайте, гражданка! — Вы... это... серьезно говорили об удоях?..

Ну вы подумайте! Она еще смеет прикидываться дурочкой! Она, видите ли, не понимает, о чем я говорю!.. Что-о? Вы — студентка Юридического факультета?.. Ну да, это очень, очень похвально... но не обязывает же это вас, в конце концов, прикидываться ничего не понимающей или разыгрывать роль мраморной Галатеи!..

— И потом: что вам собственно от меня надо? Я же вам кажется убедительно доказал, что ваши рассуждения насквозь нелояльны...

О-о-о! Она даже не скрывает этого!.. Но если вы не скрываете — для чего же говорить мне о каких-то утренних разочаро-

ваниях... Неужели вы серьезно пробуете меня уверить в том, что утром я буду еще в чем-то разочаровываться?.. Или вы считаете меня неизлечимым идиотом!.. (Хи-хи-хи-хи)... Нет, вы послушайте:

— Вот вы говорите: разочаровываться, интуиция, предчувствие, тревога, симпатия, стремление и пр. и пр. — так ведь это же одна видимость, комбинация звуков, а понятий — нет... вернее, в психике-то нет таких моментов. Я хочу сказать — не просто «нет» — а «не было бы», если какому-нибудь первобытному дурню не посчастливилось бы так удачно подставить одну букву к другой — и не получить что-нибудь вроде «стремление»...

Что? Зад чешется? Ну да, это конечно...

— Но все это я к чему говорю? Да дело в том просто, что эти-то комбинации звуков и действуют на меня, вызывая определенные эмоции... Ну, сами посудите, если бы я не знал слова «разочарование» и не знал бы, что после «р» (непременно — «р»!) следует «а» (а не «и» и ничто другое) и т. д. и т. д. — разве же могла бы прийти мне в голову мысль когда-нибудь и в чем-нибудь — «разочаровываться»...

Да перестаньте же! Ведь я, как-никак, — мужчина...

— И потом — признайтесь! — у вас конечно же часто бывает эдакое неуловимое настроение, даже не «неуловимое» — а... «несказанное»... да нет, не «несказанное»... ну да ччерт с ним; одним словом — признайтесь, вы часто заявляете, что у вас... гм... настроение, не находящее, так сказать, выражения словесного... А вот я вам не верю! Не верю — и все! Где у вас гарантия того, что ваше настроение действительно «не находящее выражения словесного» — если оно не находит словесного выражения! Потом — само выражение: «не находящее словесного выражения» — это просто отказ от словесного выражения вашего настроения, но никак не его выражение! Значит — нет! Нет у вас ничего! И быть — не может! Все эти дамы вашего возраста имеют обыкновение хвастаться эмоциональной неуловимостью! А ваше хвастовство — зауряднейшая стыдливость!.. Вы даже себе самой боитесь признаться, что, так или иначе, — а все ваши эмоции, как сдобные баранки, нанизаны на чешуйчатый член какого-нибудь стремительного сына Кавказа!..

Я хорошо понимаю, что говорю нелепости. Говорю нелепости, потому что еще не сознаю толком, сон ли — мои нелепости или в самом деле я околачиваюсь в сквере Стромынского студгородка. Если я действительно извиваюсь перед этой корректной дамой (говорю — корректной — и закрываю глаза на ее без-

нравственные почесывания, — оцените по достоинству мою склонность к уважению недостойных!) — если это действительно так, то не могу же я *молча* пускать дым в носовую полость этой дамы. Но, чччорт побери, если я сплю — зачем напрягать ум и гениальничать? — в конце концов, навеки останется тайной, высказывал ли я во сне мировые истины — или безбожно играл словами! Мало того — я сплю — и никто не имеет права обязывать меня к разговору, я могу замолчать вообще — и никто не будет удивляться моему молчанию, потому что и удивляться в сущности — некому... А что касается этой дамы, так она — (дьявол меня побери, если это не так!) — обыкновеннейший объект моего сновидения и, следственно, своего рода собственность моей фантазии, — и я имею вполне законное право ею распоряжаться...

Да и не только ею, но и вкусами, наклонностями ее и т. д. и т. д... Почему бы мне не сделать ее женщиной оригинальной, принимающей, например, любую нелепость за гениальную догадку, исходящую от уст партийного руководителя или божьего праведника... Не снизойдет же ко мне в сновидении женщина с твердой и последовательной философской системой — (избави бог! хотя, заверяю вас, в ее ежеминутных почесываниях было что-то философское и уж, конечно же — последовательное). Да почему бы мне, в конце концов, не представить ее существом зоологическим, способным понимать исключительно лишь язык дворовых собак, — и тогда кто мне запретит встать на задние лапы и лаять по-собачьи? Что бы вы там ни говорили, — а в сновидении я существо вполне суверенное. И потому плюю на все и продолжаю паясничать...

— Вы еще недостаточно ясно, барышня, представляете себе «половую стыдливость»... Это не просто боязнь обнажения. Если вы серьезно считаете, что это исключительно боязнь полового обнажения, то вам просто... несколько не хватает тонкости... Неужели же в общении с представителями противоположного пола вас никогда не охватывала эдакая своеобразнейшая стыдливость — стыдливость, проистекающая от опаски признания со стороны представителя противоположного пола вашей принадлежности к своему полу... Или даже не так: от опасения признания в себе признаков своего пола перед лицом представителя противоположного пола, отрицающим в себе наличие данных признаков... Или — нет... ну, да ладно... Если вы действительно студентка Юридического факультета, то я, пожалуй, поспешу прекратить вдавания в подобные тонкости...

— Вы, кажется, что-то говорили о симпатиях?.. Да, да, я с вами с совершенностию солидарен!.. Обязательно! Обязательно —

противоестественность! В самом естестве человека заложена жажда противоестественности — и ваши эти пресловутые «симпатии» — ярчайшее тому доказательство... Обычнейший примерчик — вы (о, извините, если я буду несколько груб) — вы никогда — никогда! — не почувствуете настоящего, убедительного влечения к мощному звероподобному самцу... потому что сами вы с гордостию осознаете выдающийся (выдающийся до крайности!) характер ваших гениталий... Точно так же — здоровенному самцу гораздо более по вкусу создания легкие, хрупкие, — если угодно: прозрачные, миниатюрные... — и он в то же время с чрезвычайным раздражением взирает на переполненные до отказа бюстгальтеры... Половому удовлетворению всегда предпочитается половое упрямство... Это — чисто человеческое; это — оригинальничанье мыслящих...

— Мыслящих! Именно — мыслящих! Потому что даже симпатизирует человек — половым органом с примесью разума! — но уж никак не левым предсердием и не правым желудочком!.. Что? Жар в крови!? (Хм... Отрадный факт! Юристка — и... «жар в крови»...) Ну да, собственно, есть и жар; никто не отрицает, что жар действительно имеет место, — но не будете же вы мне возражать, если я замечу, что ваш пресловутый жар вызывается движением бешено несущихся курьеров — от разума к половому органу и от полового органа к разуму!.. И ваше сердце (о, не обижайтесь, прошу вас!) ваше сердце — банальнейший постоялый двор, в котором вышеупомянутые курьеры имеют обыкновение (и довольно похвальное обыкновение) инсценировать пьяный дебош и богохульствовать...

— Вот вам жар в крови и усиленное сердцебиение!.. Вы меня понимаете?

Ну, еще бы не понимать! Она не только меня понимает, но даже выражает полнейшее согласие и игнорирует мое поползновение к грубоватости... Ну, уж а это, пожалуй, лишнее... — издавать мои гипотезы массовым тиражом! — что за убожество, подумайте сами! Вот лечь в постель — это я сделаю с преоткровеннейшим удовольствием... и даже сопроводить вас до комнаты готов с безграничной охотой...

«Лечь в постель»... «с преоткровеннейшим удовольствием»... — но, собственно, зачем мне ложиться в постель, если я уже заснул? и зачем засыпать, если я и без того лежу в постели и сплю... Мне просто стыдно (стыдно!) засыпать во сне — и погружаться в сновидения только для того, чтобы ложиться в постель и снова засыпать!.. Тьфу, что за дьявольщина! Какой черт растолкует мне теперь эту галиматью!..

Нет, ну почему же мне должно быть стыдно чувствовать во сне погружение в сон?.. И нисколько даже не стыдно! Наоборот, до чрезвычайности интересно! И вообще, смею вас заверить, во сне все интересно, — тем более когда чувствуешь, что все ваши действия — не ваши... да нет же, ччерт побери, — ваши! — но действия человека, отчетливо сознающего, что все происходящее — сон и потому получающего неограниченные возможности в области изучения своих сонных действий...

Ну, вот неужели мне не интересно знать в данный момент, какое движение произведет моя передняя конечность, — тем более что я не властен над нею... Неужели же не любопытно: быть самому вершителем — и одновременно наблюдать себя со стороны! Чрезвычайно! чрезвычайно любопытно!..

— Послушайте, гражданка, вы все-таки не верьте себе... Не верьте, что вы его любите... (я говорю просто так... меня заставили говорить — и я говорю... (заставили!)... Я с любопытством внимаю каждому своему слову — и не знаю, что последует за этим словом... Я мучаюсь незнанием того, какое же следующее слово вытянут из меня... Я смеюсь над своей беспомощностью — и радуюсь тому, что эта беспомощность — только во сне...) Вы все-таки не верите, что любите его! Вы просто убеждаете себя, что любите! Человек не может любить, он может только *хотеть* любить того или иного человека — и в зависимости от размера *охоты* — убедить себя в большей или меньшей степени в том, что он действительно любит данного человека! Вот вы — вы совершенно убеждены, что вы его любите... Но — представьте себе — вы попадаете под трамвай, обрушиваетесь с небоскреба или выигрываете 100 000 рублей по облигации государственного 3%-ного внутреннего выигрышного займа!.. Как бы вы меня ни уверяли, но в данный момент вам такое же дело до него и его эмоций, как моему мизинцу на левой ноге — до эволюции звука «и» в древневерхненемецком наречии... Потому что у вас нет, нет времени убеждать себя в том, что вы любите его!..

И почему я уверил себя, что все эти словоплетения вливаются в меня со стороны? Если я все-таки не сплю, — то кто же помешает мне сейчас быть самим собой, исплевать «это пресловутое внешнее воздействие, взять в собственные руки инициативу», — и ударить в затылок эту чересчур уж любящую женщину?.. Ну, а если (боже!) я действительно заснул, — так это опять же до невыносимости интересно — видеть себя во сне прикидывающимся неспящим и одновременно наблюдать со стороны, как же это я буду освобождать себя от наблюдения со стороны!..

Опять парадоксы! Но, чорт побери, они давно уже надоели мне, эти парадоксы!.. Я устал!.. Устал! И если бы положение мое действительно не было парадоксальным, я бы давно уже махнул рукой на все и лег спать... («лег спать»!.. Ддьявол!!)

— Извините, гражданочка, — это ваша комната?.. Ну, в таком случае я отказываюсь бить вас в затылок и удаляюсь со стремительностью существа нравственно гармонического!.. Спокойной ночи!..

В конце концов, я даже не рад, что освободился от этой дамы... Кто бы она ни была — объект сновидения или комплекс явных ощущений — но она могла бы внести некоторую ясность в вопрос о моем теперешнем состоянии!.. А сейчас я разрываюсь от непонимания! — и одновременно от незнания того, разрываюсь ли я во сне или действительно разрываюсь от непонимания своего теперешнего положения и причин разрывания!!

Ннет, господа, я обязан сейчас же заняться делом практическим — иначе я сойду с ума! Во имя спасения собственного разума — я должен, я обязан гладить брюки, в конце концов!..

Выгладить брюки... тщательно выгладить... — и завтра утром найти их неглаженными!! Это — невыносимо! Это — хуже сумасшедших перспектив!..

...Хе-хе... Выгладить брюки!.. Это гениально! гениально! — «выгладить брюки»!.. Нет, черт меня возьми, это действительно гениально задумано! Я сию же секунду исплюю парадоксы и примусь высасывать все возможное из электронагревательных даров цивилизации!.. И если завтра утром я обнаружу свои брюки действительно выглаженными, то какой же дьявол заставит меня сомневаться в явности всего происшедшего... ну а если они в прежнем состоянии будут покоиться на спинке моей кровати, то... ну конечно! конечно!..

...Я раздеваюсь, аккуратно складываю брюки, ложусь, традиционно погружаюсь в сон, — все прекрасно, по исстари заведенному порядку, без внешних помех, без стука, без размышлений и парадоксов...

...Но — пробуждение!.. пробуждение!! Если бы я очнулся в образе Петергофской статуи или Валаамовой ослицы, я не был бы так раздосадован! Но... представьте себе! — проснуться в штанах!!! — это мучение! это сумасшествие! бред! средневековая фантазия! И все что угодно!.. Это, в конце концов, — пробуждение во сне! Да, да, пробуждение во сне! Я не проснулся — мне приснилось, что я проснулся!! Приснилось!! В таком случае — будьте вы все прокляты, но я не завидую тем, кому каждую ночь снятся пробуждения!!

Я вскакиваю, я хватаю себя за горло — и пробуждаюсь окончательно!..

...«Окончательно»!.. А кто сумеет уверить меня в окончательности моего пробуждения! Тем более что мне каждый день снятся люди, пытающиеся доказать явность моих манипуляций!.. Тем более что...

Но... боже мой... боже мой... неужели же мне без конца хватать себя за горло и из-за легкого каприза моей постели осуждать себя на вечное самоистязание?!!

12 ч. — 6 ч. ночи

27 января

«Главное — занести руку, а ударить — ...почти бездумно... это легко...» И в шевелениях рук — гордость. Эти руки убили трех. Парадоксально то, что все три — женщины. И две — совершенно невинные. Третье убийство — единственное, за которым последовало раскаяние... И «ручная» гордость — понятна.

Точные детали университетского инцидента до сих пор остались невыясненными. Единственно кто располагает достоверными сведениями, — так это Ст. Ш., внесший своими новогодними излияниями некоторую ясность в вопрос о начале Б-ской карьеры. Ясно одно — жертвой убийства оказался объект нежных помышлений самого Б., — вполне невинная 19-летняя студентка, не сумевшая, впрочем, оценить по достоинству весовую категорию Б-ской эмоциональности.

Неизвестно, пользовался ли Б. взаимностью, но имевший место инцидент убеждает в противном. Впрочем, даже и не убеждает, потому что Б-ская психология никак не входит в рамки человеческой.

Убийство было совершено в апогее самой невинной ситуации. Злополучный «объект» освятил своим присутствием квартиру Б. накануне его отъезда в Петрозаводск, никак не предполагая, что в тот же вечер вынуждена будет с неменьшим успехом «освятить» мертвецкое отделение Ленинградской больницы.

Первый удар Б. был неожиданным, вероятно, и для него самого. По крайней мере, невинное перешучивание и совместная упаковка чемоданов никак не могла быть источником Б-ской злобы. Удар был нанесен неожиданно, из-за спины, в тот момент, когда «невинная» тщательно кропила одеколоном содержимое чемодана; — она мгновенно рухнула на пол и (удивительно!) совершенно безропотно, без единого крика принимала на себя все последующее.

Неизвестно, какие инстинкты руководили Б., когда он ударял сапогом по любезным его сердцу ланитам и персям. Он бил долго,

равнодушно, выбивая глаза, обесформивал грудь — и в заключение без устали наносил удары в ее «естество» с серьезностию животного и удивительно механически...

Второй «инцидент» был еще более неприглядным... но зато менее юмористичным, чем третий... Два месяца психиатрической больницы и затем 3 года тюремного заключения несколько обогатили Б-ский жизненный опыт и обострили наклонность к романтике. Что и не замедлило сказаться после второго побега из заключения...

Этот инцидент был действительно романтическим, — тем более что имел место в пригороде только что выстроенного Кировска...

Возвращаясь однажды из Апатитского «Буфета» и имея чрезвычайно неприглядный вид, Б. тем не менее мог даже в темноте явственно различить распластавшуюся в переполненной канаве пьяную женщину... Побуждаемый жаждой не то полового общения, не то общения с равными, он не замедлил свалиться туда же — и в течение, по меньшей мере, пяти минут усиленно предавался побуждениям инстинкта в талой воде, снегу и помоях...

Утреннее пробуждение несколько Б. разочаровало. Он с явным неудовольствием узрел перед собой женщину почти старую, с лицом изрытым оспой и залитым «обоюдной» блевотой... Неудовольствие перешло в бешенство, которое и побудило Б. без промедления выползти из канавы, наступить на горло ночной подруги, вероятно уже мертвой, и до отказа погрузить ее физиономию в скользкую весеннюю грязь...

Этот рассказ — у papan вызывал почему-то дикий смех. Мне же гораздо более смешным и нелепым казалось третье убийство. К тому же призыв на фронт ограничил Б-скую ответственность за его совершение — до 2-х месяцев тюремного заключения...

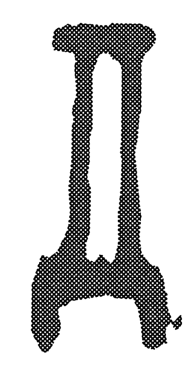
Уже будучи человеком свободным и осуждающим чистоту и трезвость северной цивилизации, он (Б.) буквально — «нашел» в одном из захолустий Кандалакши законную спутницу жизни. Ничем примечательным, кроме персей и склонности к тихому помешательству, она не обладала, — и самое неудобное в этой склонности была непериодичность ее проявлений.

Но для Б. — это была «единственная любимая» им за всю жизнь женщина. И он неутомимо угождал ей и потакал всем ее странным прихотям...

Как-то ночью она осторожно соскользнула с постели — и в ночной рубашке принялась ходить по эллипсу, поминутно оста-

навливаясь и извергая содержимое кишечника, — что не мешало ей, впрочем, беспрестанно напевать «Вдоль по улице метелица метет...»

Супруг лежал спокойно и по обыкновению курил папиросу. Но когда оригинальная «спутница» опустилась на колени перед портретом Косыгина и меланхолически зашептала: «...задушите меня... задушите... задушите...» — Б. несколько вышел из состояния задумчивости. Он аккуратно стряхнул пепел на бумагу, встал... И задушил.



ЕЩЕ РАЗ ПРОДОЛЖЕНИЕ. И ОКОНЧАНИЯ НЕ БУДЕТ. III

4 февраля

а я тебя понимаю, Вениамин, я вообще хорошо понимаю тебя и тебе подобных... Просто — люди, которые обо всем судят из книг... Вас лелеяли мама с папой, заставляли учиться, держали в руках... А теперь, значит, вы предоставлены самим себе, вам все кажется, так сказать, ничтожным, легким и радостным... Заиграла молодость... легкомыслие молодости, если можно так выразиться... хочется оригинальничать, на все плевать, пускать пыль в глаза... А ты вот посмотри жизнь... Ты узнаешь, какой ты был глупый, когда оригинальничал... А все-таки все действительно не так просто, легко... и не так весело, как тебе кажется... Ты даже еще и любовь-то не знаешь, что такое... А порешь такую чушь про семенники... Я вот тебя уверяю, — если ты полюбишь кого-нибудь, то любовь тебя перевернет... Вас всех не так трудно и понять... Вы у меня как на ладони...»

«Тебе просто вредно читать Достоевского... Обязательно будешь таким мрачным, если запрешься в комнате... ощущать там всякие ужасы будешь... и тебе все будет казаться мрачным и ужасным... Тебе вот правильно говорили... что в действительности все не в таких мрачных красках... Ты вот ненавидишь смех, на всех смотришь, как зверь, со своей кровати... И на что тебе жаловаться, интересно?.. Насчет девчонок у тебя всегда будет прекрасно... В твоих способностях никто не сомневается, учиться ты можешь замечательно... И непонятный ты, ччорт... Все ведь живут хорошо, как люди... Ты не забывай никогда, что ты живешь в советском обществе... а не в какой-нибудь там...»

«В таком случае, о чем ты думаешь вообще?.. Вот ты говоришь — читаю книгу и вдруг бросаю ее и без движения лежу подряд несколько часов... Так интересно все-таки, ты ведь о чем-нибудь думаешь... Ну, не о будущем, предположим... хотя я в первый раз встречаю человека, который совершенно не думает о будущем... Ну, вот хотя бы твое отчисление из университета... Я понимаю, человек, у которого в перспективах — хорошая, трудовая жизнь, человек, жаждущий нового — ну тогда понятно, он может выражать радость или равнодушие... Но ведь ты-то, ччерт побери... не понимаю!! Ты что, насквозь легкомысленный?.. Так это на тебя не похоже... Легкомыслие у тебя показное... Я сразу тебя распознал... Я всю ночь слушал твою беседу с этим... албанцем... и убедился, что ты человек чертовски умный... Что касается твоей лени, так я совершенно ничего не понимаю!.. В жутких семейных условиях быть первым в школе по прилежанию... и тут вдруг... Не понимаю, не понимаю... Я сегодня даже хотел побеседовать с твоей посетительницей... Между прочим: будь более воспитанным в отношениях с женским полом — а то что же это такое — дымить девочке в нос и тут же посылать ее к черту... Удивительная терпеливость... Ты, собственно, к ней ничего... этакого... не имеешь? Нет? Ну, тогда тем более...»

«Брось это все, Венидикт! Как-никак жизнь-то ведь она хороша, черт возьми! Солнце... любовь... радость... и остальное... Прославлять веселье надо, Венидикт, — у тебя все к этому данные!.. Читай Кольцова! Бернса! Улыбайся. Хотя бы потому, что тебе слишком идет улыбка! Люби!.. И в старости тебе приятно будет вспомнить молодые годы! А ты... Глядишь на невинную, приятную девочку — а видишь... блевоту, сифилис, животность какую-то... Да я бы на месте этой толстенькой... а-чччорт... Как это вы оба... меланхолика... не понимаете, что ведь жизнь-то! жизнь!..»

13 февраля

Дева Ночная Романтика жаждет приять меня в свои объятия.

А мне гораздо более по вкусу рослый армянин Ночлег. Дыхание закавказской силы выбивает из меня половые откровения, и тешит мои взоры светолюбивый член, почерневший от нежности...

Все духовное заглушается во мне единением с армянской нацией...

Все дофевральское растворяется в привокзальной атмосфере...

И я совсем не намерен спохватываться или приходить в сознание. Что касается сознания, — так теперешнее мое горизонтальное состояние — высшее из всех 18-летних проявлений моего практического разума.

Хотя само горизонтальное состояние несколько неразумно. В этом смысле, — я готов отдать должное практичности инвалидов. Им гораздо теплей; у них еще есть желание оставаться вертикальными и отдавать оставшиеся конечности в фонд национального фольклора.

А я не намерен поддаваться агитации заводов Главспирта. Меня вполне удовлетворяют каменные ступени и вокзальные сквозняки. Я с наслаждением запахиваюсь в пальто и пытаюсь переключить внимание на что-нибудь более двуногое.

Двуногое нарочно меня избегает. А инвалидный грохот переполняет черепную коробку.

Что бы ни олицетворяли грохочущие костыли — объемистость жизненности или пролетарскую неумолимость — мне важен сам факт соприкосновения шести символов с транзитным паркетом...

Голове моей, жаждущей торможения, в данный момент ненавистны все соприкосновения, убивающие замкнутость шумовыми эффектами...

Моему горизонтальному положению несимпатично массовое падение пролетарских костылей...

Мне нужен сон хотя бы с точки зрения гигиенической.

Однообразие ощущений убеждает меня в рентабельности гигиены...

Я засыпаю...

И не массовое падение раздвигает теперь подо мной отходы деревообрабатывающей промышленности. Не инвалиды, а самые заурядные двуногие стряхивают с себя опилки и ковыряют в пальцах нижних конечностей, сопровождая беспрецедентное ковыряние оглушительным грохотом...

Грохот не возбуждает.

Грохот слетел ко мне вместе с источником шума и трупного запаха. Оба они убеждены в непогрешимости мозговой биологии — и предпочитают ненужное мне усыпление.

Я слишком хорошо понимаю их...

От моих восприятий не скроется искривление белорусского лика, в который преображается источник... Оно мне давно знакомо, это искривление... И физиономии всех сбегающихся на шум давно уже опостылели мне, — только испуг, начертанный на знакомых лицах, скрашивает однообразие...

«Как отвратительно пахнет!»

Толпа окружает страдальца, и каждый высказывает внутреннее раздражение.

«Как отвратительно пахнет!»

Каждому хочется еще раз дотронуться до пострадавших ко-

нечностей, зафиксировать размеренные движения хозяина трупного запаха, раздразнить, убежать...

«Ничего не поделаешь... Придется... отрезать».

И толпа не шарахается, не выражает удивления. Толпа продолжает следить за вычищением пальцев, которым уже не суждено быть пальцами...

И лицо снискавшего людской интерес освещается виноватой улыбкой...

«Ничего не поделаешь... Придется... отрезать».

Неизвестно, для чего нужно было выражение сострадания, но на минутные улыбки толпы оно возымело желаемое действие. Никто не жаловался —

«Как отвратительно пахнет!»

Никто не оспаривал у соседа права на лучший костыль. Всех объединило склонение к пальцам собственных ног. И каждый убеждал другого в неповторимости своего уродства, ощупывал забытые травмы, плакал, нюхал базарный чеснок...

Никто не верил, что существуют двуногие.

12 ч. — 1.30

14 февраля

«Извините... Это вам кажется, что я пьяный... Я уже давно... протрезвел... Ну, раз вы говорите, — я пойду... уберусь... Меня ждут комфортабельные канавы... Еще раз — извините».

15-16 февраля

Ни голода, ни эмоций, ни воспоминаний, ни перспектив, ни жажды папиросного дыма...

Одно сплошное ощущение холода.

Вокзальный пол леденит позвоночник, сквозняки преследуют и в тоннеле, и в багажных кассах, колебания атмосферы проникают за ворот и обшлага, ожесточают нервы, заставляют нескончаемо измерять шагами просторы холодных опилок...

Улица срывает пальто, низвергает массы мокрого снега за воротник куртки и в сотый раз вышвыривает на холодные опилки багажных касс...

В глазах — не жареные котлеты и не дамские прелести.

Обычнейшие радиаторы водяного отопления.

. . . .

19 февраля

Минутку внимания!

Вы меня не совсем правильно поняли!

Я — не оригинал!

Я ничего не отрицаю, хоть и сознаю, что отрицать все — и заодно отрицать нигилизм — чрезвычайно увлекательно и не требует мозговой изощренности!

Человеческие действия могут меня волновать, но никогда не вызовут во мне ни одобрения, ни протеста!

Я не признаю разделения человеческих действий на добродетельные и порочные! Если мои действия удовлетворяют меня — и людей, внушающих мне чувство удовлетворения самим фактом своего существования — в этом случае в их, и в моей власти признать удовлетворительными для нас порочность или добродетельность моих действий!

Если же оценка моих действий проистекает от человека, мне незнакомого и, следовательно, порочного в силу незнакомства со мной («он позволяет себе наглость не знать меня!») — я не премину доказать обратное!

Если мои убеждения — логически верные, я торжествую! В противном случае — без промедления отрицаю логику!

Я — человек дурного вкуса и животного обоняния!

Я никогда не бываю счастлив, в обычном понимании! Я могу только иметь вид человека, напуганного счастием!

Я даже не разграничиваю понятия «счастие» и «несчастье», точно так же как не различаю вкуса голландского и ярославского сыра!

В лучшие минуты — я могу преследовать цель, но непременно — цель, убегающую от меня ленивым галопом! Рысь и аллюр меня не прельщают!

Общечеловеческие понятия красоты ввергают меня в состояние недоумения! Мне понятно наслаждение мелодичностью звуков! Мелодичность — выражение грусти! А грусть не может не быть красивой!

Мне понятно восторженное восприятие природных красот! Но чем более привлекательны для человеческих восприятий произведения искусства, тем более они искусственны!

Немногие произведения искусства могут и во мне разливать удовлетворение! Так же, как может восторгать меня вынужденная грациозность в движениях человека, скованного ревматизмом!

Красиво уложенный навоз может услаждать мои взоры! Но созерцание мраморных апофеозов итальянской красоты не может вызвать во мне ничего, кроме отвращения, в лучшем случае — равнодушия!

Я — человек относительно нравственный!

Незнакомые люди вызывают во мне чувство равнодушного озлобления, а все прочие относятся мною к разряду любимых или презираемых — в зависимости от степени лестности их собственного мнения обо мне!

Для меня не существует предательства просто! Я отвергаю предательство, одухотворенное благородными целями! И считаю совершенно естественной способность человека к предательству ради удовольствия быть предателем!

Мне безразличны половые проблемы! Но я с восторгом приемлю любой намек на бисексуальность!

Всякое половое откровение вызывает во мне отвращение! Но половые извращения всегда будут значиться в моем сознании как высшее проявление прогресса человеческой психики!

Я — оптимист!

И склонен полагать, что все мне не нравящееся — комплекс моих капризных ощущений!

Я восторженно приветствую любое отклонение от нормально человеческого! Но я не могу понять, почему отдается предпочтение «возвышению», если «верх» и «низ» — однородные отклонения от общечеловеческого уровня!

К тому же возвышение — временно!

А быть «ниже» — по свидетельству физических законов — гораздо более устойчиво!

Я не верю в существование людей искренних и принципиальных! Можно уверить себя самого в своей принципиальности! Можно быть принципиальным из принципа! (Бык — упрям, а, следовательно, принципиален!)

Но ведь гораздо легче — не менять своих мнений, вовсе их не имея!

Что же касается взглядов, то «собственное мировоззрение» — так же банально, как «коран толпы» и «огнь желанья»!

20 февраля

Пейте... пейте...

Пока еще на дворе потепление...

Пока еще моя рука сдерживает дрожание крана...

И вас не отпугивает...

Пейте...

Бедные «крошки»...

Я вместе с вами чувствую приближающееся похолодание...

И кутаюсь вместе с вами...

Пройдет неделя...

Другая...

А меня с вами уже не будет...

И вы не напьетесь...

Не напьетесь...

1.30 ночи

22 февраля

— Гранька, я тебя ебать больше не буду.

— А на хуй ты мне сдался сам-то... Другие поебут...

— Ну! Что другие! У меня ведь все-таки хуй 22 сантиметра... А это все — шваль.

— Катись-ка ты в манду, поросенок! Как будто у тебя у одного двадцать два сантиметра... Другие полюбят!..

— Ха-ха-ха! Другие! Кому это захочется тебя любить?! У тебя же пизда рюмочкой!

— Рю-ю-умочкой, поросенок! Такую рюмочку ты еще поищешь! Рюмочкой... Сам ты...

— Вот у других — стаканчиком пизда! Вот уж этих хорошо ебать... Продернешь пару раз на лысого — сразу полюбишь... А это — что!.. Грязи, наверно, у тебя полная манда!..

— Дурак поросенок! Грязи-то у тебя на хую, наверное, много... А у меня-то нет... Можешь не беспокоиться...

2 марта

Мне холодно... я зябну... и все они умерли... умерли...

3 марта

Ровно в восемь я покинул зал ожидания.

На пути следования ничто не привлекло мои взоры, и я прошел почти незамеченным.

Добравшись, наконец, до Грузинского сквера, я был остановлен массой движущихся по всем направлениям скотов. Одни пытались перепилить ножом каменную шею Венеры Милосской, другие выкрикивали антисанитарные лозунги.

Одним словом, никто не обратил на меня внимания, — и только стоящий поодаль и видимо раздосадованный чем-то шатен ласково протянул мне потную ладонь.

— Вы, случайно, не Максим Горький?

— Собственно... ннет... но вообще — да.

— В таком случае — взгляните на небо.

— Нину... звезды... шпиль гастронома... «Пейте натуральный кофе»... ну... и больше, кажется, ничего существенного.

Шатен внезапно преобразился.

— Ну, а... лик... всевидящего?

— Гм.

— То есть как это — «гм»? А звезды?! Разве ничего вам не напоминают?..

— Что?!! Вы тоже... боитесь... Боже мой... Так вы...

— Да, да, да... а теперь — уйдите... я боюсь оставаться с вами наедине... идите, идите с Богом...

И долго махал мне вслед парусиновой шляпой.

11 марта

Чрезвычайно странно.

Три дня назад я спешил к Краснопресненскому метро с совершенно серьезными намерениями. В мои намерения, в частности, входила трагическая гибель на стальных рельсах.

Не знаю, было ли слишком остроумным мое решение; — могу сказать одно — оно было гораздо более серьезным, нежели 30-ого апреля прошлого года. И настолько же более прозаическим.

По крайней мере, за два истекших дня я, если не сделался оптимистом, то стал человеком здравого рассудка и материально обеспеченным.

Не знаю, надолго ли.

13 марта

Невыносимо тоскливо.

Наверное, оттого, что вчера весь вечер слушал Равеля.

14 марта

— Так вы что же, Ерофеев, считаете себя этаким потерянным человеком? чем-то вроде...

— Извините, я, слава богу, никогда не считал себя «потерянным», — хотя бы потому, что это слишком скучно и... не ново.

— А вы бросьте рисоваться, Ерофеев... Говорите со мной как с рядовым комсомольцем. Вы не думайте, что я получил какое-то указание свыше — специально вас перевоспитывать. Меня просто заинтересовали ваши пространные речи в красном уголке. Вы даже пытались там, кажется, защищать фашизм или что-то в этом роде... Серьезно вам советую, Ерофеев, — бросьте вы все это. Ведь...

— Позвольте, позвольте — во-первых, никакой речи о защите фашизма не было в красном уголке, всего-навсего — был спор о советской литературе...

— Ну?

— Ну и... наша уважаемая библиотекарша в ответ на мой запрос достать мне что-нибудь Марины Цветаевой, Бальмонта или Фета — высказала гениальную мысль: уничтожить всех этих авторов и запрудить полки советских библиотек исключительно советской литературой... При этом она пыталась мне доказать, что «Первая любовь» Константина Симонова выше всего, что было создано всеми тремя поэтами, вместе взятыми...

— Вы, конечно, возмутились.

— Я не возмутился. Я просто процитировал ей Маринетти о поджигателях с почерневшими пальцами, которые зажгут полки библиотек... Библиотекарша общенародно обвинила меня в фашистских наклонностях... А я просто-напросто запел «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей»...

— Послушайте, Ерофеев, вы не можете мне сказать, за что вы питаете такую ненависть к советской литературе? Ведь я не первый раз встречаю подобно настроенных молодых людей... Я думаю — это просто от незнания жизни.

— Да, наверное, от этого.

— И, вы понимаете, Ерофеев, — вот вы, наверное, еще не служили в армии? — ну что ж, будете служить. И там вы поймете, что значит жизнь. Настоящая жизнь. И, вы представляете, — вы служите во флоте, ваша девушка далеко от вас, вы — в открытом море... И вот вся эта дружная, сплоченная семья матросов запевает песню о девушке, которая ждет возвращения матроса, — ну, одним словом, простую советскую песню — ведь вы с удовольствием подпоете... Уверяю вас — если вы попадете в хороший коллектив, вы сделаетесь гораздо проще... Гораздо проще...

— Не думаю... По крайней мере, мой, извините, духовный мир никогда не сузится до размеров того мирка, которым живут эти ваши любящие матросы.

— Гм... «любящие»? Узкий мирок? Вы, наверное, никогда не были любящим?

— Наверное.

— Почему — наверное?

— Тттак... Видите ли, — я вообще не собирался касаться интимных вопросов...

— Ну, ладно... Хе-хе-хе... Вы комсомолец, Ерофеев?

— Да... комсомолец.

— Авангард молодежи?

— Видите ли, я давно поступал в комсомол и... немножко запамятовал, как там написано в уставе — авангард или арьергард...

— Вы ммило шутите, Ерофеев...

— Да, я с детства шутник.

— Оччень жаль... оччень жаль... А вы не знаете, по какому поводу я спросил вас — комсомолец вы или нет?

— Откровенно говоря... теряюсь в догадках...

— Гм... «Теряетесь в догадках»... А ведь догадаться, Ерофеев, не слишком трудно... Знаете, что я вам скажу, — вы никогда не собьете с правильного пути нашу молодежь — и, пожалуйста, бросьте всю эту вашу... пропаганду...

— О боже! Какую пропаганду?!

— Ккакой же вы милый и невинный ребенок все-таки! Вы даже не знаете, о чем идет речь! «Теряетесь в догадках»! Знаете что, Ерофеев — бросьте кривляться! Поймите ту простую истину, что вы стараетесь переделать на свой лад людей, которые прошли суровую жизненную школу и которые, откровенно вам скажу, смеются и над вами, и над той чепухой, которую вы проповедуете... Смеются и...

— Извиняюсь, но если я говорю чепуху, и все смеются над этой чепухой, так почему же вы так... встревожены? Ведь вы, я надеюсь, тоже прошли суровую жизненную школу?

— Я не встревожен, Ерофеев. Я тоже смеюсь. Но это не простой смех. Когда я вижу здорового, восемнадцатилетнего парня, который, вместо того чтобы со всей молодежью страны бороться за наше общее, кровное дело, только тем и занимается, что хлещет водку и проповедует какое-то... человеконенавистничество... — мне становится даже страшно! Да! Страшно! За таких, извиняюсь, скотов, которые даже не стоят этого!

— Чего — «этого»?

— Да! которые даже не стоят этого! Вы знаете, что мой отец вот таких вот, как вы, в сорок первом году расстреливал сотнями, как собак расстреливал?! Эти...

— Вы весь в папу, товарищ секретарь.

— А вы-ы не-е издевайтесь надо мной!! Не издевайтесь! Слышите!? Издеваться вы можете над уличными девками! Да! Издеваться вы можете над уличными девками! А пока — вы в кабинете секретаря комсомола!

— Извините, может, вы мне позволите избавить вас от своего присутствия?

— Я вас нне задерживаю — пожалуйста! Но, говорю вам последний раз — еще одно... замечание — и вас не будет ни в комсомоле, ни в тресте... Я сам лично поставлю этот вопрос на комсомольское собрание!

— Гм... Заранее вам благодарен.

— Не стоит благодарности! Идите!! И заодно опохмелитесь! От вас водкой разит на версту...

— А я бы вам посоветовал сходить в уборную, товарищ секретарь. Воздух мне что-то не нравится... в вашем кабинете.

15 марта

И все-таки.

Что бы со мной ни было, — никогда ничто меня не волнует, кроме, разве, присутствия Музыкантовой.

В этом смысле я следую лучшим традициям.

Прадед мой сошел с ума.

Дед перекрестил дрожащими пальцами направленные на него дула советских винтовок.

Отец захлебнулся 96-и-градусным денатуратом.

А я — по-прежнему Венедикт.

И вечно таковым пребуду.

16 марта

Ах, господа, мне снился сегодня очаровательный сон!

Необыкновенный сон!

Мне виделось, господа, что все меня окружающее выросло до размеров исполинских, вероятно потому, что сам я превратился во что-то неизмеримо-малое.

Я уже даже не помню, господа, в какую плоть я был облечен. Могу сказать только одно — я не был ни одним из представителей членистоногих, потому что на лицах окружающих меня исполинов не выражалось ни тени отвращения.

Ах, господа, вы даже не можете себе представить, каким уморительно жалким было мое положение и каким невыносимым насмешкам подвергалась личность моя!

Одни сетовали на измельчание человеческого рода.

Другие предлагали в высушенном виде поместить меня в отдел «Необыкновенная фауна».

Третьи рассматривали меня через вогнутое стекло — и это было для меня всего более невыносимым.

Члены Политбюро тыкали пальчиком в мой животик. Отставные майоры проверяли прочность моих волосяных покровов. Служители МВД совершенно бездоказательно обвиняли меня в связях с Бериею. А один из вероломных сынов Кавказа предложил даже изнасиловать меня.

Ах, господа, вы даже представить себе не можете, до какой степени уязвлены были мои человеческие чувства. Ибо — кем бы я ни был тогда — чувства человеческие по недоразумению во мне сохранились.

Я ронял из глаз миллиарды слез, сквозь слезы цитировал графа Соллогуба, подбирая выражения по возможности «жалкие», — на какие только ухищрения не пускался я, дабы вымолить у них снисхождение...

Я знал, что все эти чудовищные создания в действительности жалеют меня и в душах их, смягченных присутствием существа беззащитного, нет ни тени насмешки...

Я не верил, что исполины эти совершенно искренне — неумолимы.

Но снисхождения не было. И я бы погиб, господа, погиб неминуемо, если бы вдруг... (вдруг!) ослепительный свет белого кителя не рассеял мрака окружающей меня звериной непреклонности.

И не только я — все неожиданно осознали, что только он — он, излучающий ослепительный свет, имеет законное право над моей судьбой властвовать.

Ах, господа, этот человек мог раздавить меня указательным пальцем, этот человек мог подзадорить безумство гигантов. Он мог, наконец, остановить глумление и спасти меня от ревущей толпы, подвергавшей меня осмеянию...

Но именно-то в это мгновение, господа, я проснулся. Да, чорт побери, как это ни плачевно, я проснулся и вынужден был оставить вдохновенное ложе свое.

В состоянии не то грустной неопределенности, не то неопределенной грусти запахнулся я в простыню и подошел к растворенному окошку, дабы созерцанием мартовского утра растворить тягостный осадок, оставленный в душе моей исчезнувшим сновидением.

Все действовало на меня успокаивающе. И занесенные снегом деревья, которые чем-то напоминали мне клиентов 144-ой парикмахерской, еще не успевших закончить священный обряд брадобрейства. И совершающий утреннюю прогулку страж внутреннего спокойствия. Одним словом, исключительно все, что попадало в поле моего зрения.

И вы представляете, господа, настолько удачно белый китель милиционера гармонировал с белым блеском заиндевелых деревьев, настолько умиротворяло душу мою созерцание мартовского пробуждения, что все существо мое неудержимо охватило желание согреть на груди своей стража утреннего спокойствия.

Да, да, господа, можете не удивляться странности моего желания — его выполнение было слишком реально для удовлетворенного существа моего. По крайней мере, я был в этом совершенно уверен, когда нахлынувшая на меня буря родственных чувств заставила меня с четырехметровой высоты пасть на шею моего благодетеля.

Да, я действительно пал ему на шею, я залил слезами белый китель его, спасший меня в минувшем сне от насмешек неумолимой толпы.

«Миленький мой, — сквозь слезы шептал я ему, между тем как он, опрокинутый на землю, пытался освободить горло от цепких перстов моих, — миленький мой, ведь это же были вы, ведь, если бы я не проснулся, вы обязательно спрятали бы меня в карман... не правда ли?.. Да, да, да, я вам всегда говорил, что все они — отвратительные насмешники...»

Ах, господа, если бы вы могли понять, насколько чистосердечными были слезы мои и благодарности, обращенные к телу уже бездыханному, но все же милому моему сердцу. Для меня безразличны были и рев сбежавшейся толпы и град неистовых проклятий, которым осыпали беспомощное существо мое.

«Ведь я же всегда говорил вам о тщете суеты мирской, — продолжал я, переводя взоры с бездыханного трупа на пробивающегося через толпу милиционера, — тогда вы были еще великолепнее, а потомок Багратиона покушался на невинность мою! Снова судьбы мои в ваших руках, благодетель мой, — и все равно через мгновение я уйду от правосудия вашего —

Я просыпаюсь».

7.00 веч.

18 марта

«Такой чудак — этот Ерофеев. Вечно что-то читает, читает... Пьет охуительно».

Николай А.

«Молчит-молчит, целыми сутками молчит, а потом сразу что-то нападет на него, — так и не узнаешь: хохочет, как жеребец, матом ругается, девок щупает. И вечно это свою «Не искушай» поет».

Аграфена З.

«А денег ему не давай — это ведь такой пропойца!»

Мария С.

«Знаешь что — я сам чудак, много чудаков видел, но такого чудака первый раз встречаю».

Анатолий П.

«А что Венька скажет?! Да ничего он не скажет. Опять будет под окном Абрамова петь:

Избавь твою Саг'у от пытки напг'асной!
Взгляни еще г'аз на меня,
Мой ангел пг'екг'асный!»

Александр С.

«Ну, уж если Ерофеев скажет что-нибудь такое — так вся абрамовская бригада за пупки хватается».

Геннадий С.

«Грамотный человек... О политике так умно рассуждает — его никак и не переспоришь. Не знаю, за что его выгнали из института... За пьянство, наверное».

Геннадий С.

«Да-а-а, что пьет, так это пье-о-от».

Иван А.

«Черт его знает, что у него на уме. Темный человек... непонятный. Уж из человеческой шкуры хочет вылезти... все у него поперек, все не так...»

Анна С.

«Венька, признайся, что ты иностранный агент. Я же вижу».

Анна Б.

«А тюрьмы ему не миновать».

Владимир А.

20 марта

— Послушай, ну вот что тебе нужно, — ну тебе сейчас девятнадцатый год, предположим. Будет тебе девятнадцать — будешь увиваться за девками. В 26 лет женишься, отработаешь век свой на пользу государства, воспитаешь детей... Ну, и умрешь тихонечко без копейки в кармане.

— И неужели ты считаешь это образцовой жизнью?

— Ннуу... образцовой — не образцовой, по крайней мере, все так живут. И ты проживешь точно так же.

— Извиняюсь, сударыня, если бы я знал, что у меня в перспективах — обычная человеческая жизнь, я бы давно отравился или повесился.

— Давно надо бы.

— Да, конечно. Однако же я все-таки живу. Ну, а вот ты, Анечка, тебе девятнадцать лет — мне все-таки интересно знать, что у тебя сейчас в голове.

— Как это так? Нну... вот сейчас, например, думаю, скоро ли пять часов, хочу вот себе платье купить, на танцы сегодня пойти.

— И все?

— Нет, почему... а вообще-то, для какого черта это тебе надо знать? Что это ты экзаменуешь меня, как английский шпион?

— О боже мой! Если бы я был английским шпионом, милая, меня бы совсем не интересовал образ мыслей рядовой пролетарской девки.

— Так а для чего же тебе это все надо?

— Ттак просто... противно мне что-то смотреть на вас, господа пролетарии... Пошло вы все живете...

— Э-э-эх... «противно ему смотреть»! да ты бы сначала на себя посмотрел, как ты живешь, ты же как первобытный человек живешь — одеваешься черт знает как, на танцах никогда не бываешь, в кино не ходишь... я бы давно подохла с тоски.

— Да, я тебе слишком сочувствую... Остаться тебе одной — значит действительно «подыхать с тоски». По крайней мере, известно, что человек мало-мальски умный, оставшись вне общества, бывает все-таки наедине со своими мыслями. Вам же, госпожа пролетарка, поневоле приходится тяготиться полным одиночеством.

— Я ннничего не понимаю, что ты за чепуху порешь...

— Ну и слава богу... Мне даже приятно сознавать, что человек со средним образованием не может понять самых простых вещей...

— А что ты мне тыкаешь образованием!? Я, может, больше тебя в жизни разбираюсь... И не «может», а точно...

— Охотно тебе верю, Аничка... Ты видела гораздо больше меня; можно дожить до семидесяти лет и увидеть еще больше — и в довершение всего вздохнуть: «мда, тяжелая эта жизнь». Да чоррт побери, это все равно что объехать целый свет, накопить громадное количество впечатлений, вернее — иметь возможность их накопить, — и по возвращении сказать только: «мда, а земля все-таки круглая», когда это давно всем известно!

— Ну вот, опять ты ерунду понес, ты же совершенно не знаешь ничего, и знать ничего не хочешь... книжками только интересуешься...

— Постойте, а чем же вы интересуетесь еще, кроме вот только что перечисленных вещей?

— Хотя бы своей жизнью интересуюсь... Сидишь вот без копейки — так поневоле будешь думать о своей жизни... и смеяться над такими вот дураками, которым все равно...

— Позвольте, позвольте, Бабенко, — вы жалуетесь на материальную необеспеченность, — и я вам вполне сочувствую — вам необходимо, предположим, заработать десять рублей в день. Чтобы заработать эти деньги, товарищ Бабенко, вам надо ежедневно нагрузить на машину, сгрузить и уложить в штабеля тринадцать тысяч штук кирпичей — это почти 25 тонн! Теперь представьте себе, Бабенко, что десяти рублей вам хватит только на хлеб и соевые бобы. Если вы не хотите разгуливать по столице голой и иметь к тому же катарр желудка, нагрузите 75 тонн...

— Э-э-эх...

— Постойте, постойте. Вы скажете, товарищ Бабенко, — я не лошадь! Вам ответят таким же тоном — ах! если вы не лошадь, — вкушайте соевые бобы и страдайте катарром желудка! Как видите — все в пределах законности!

— Ну, и к чему ты все это?

— Гм... минутку терпения! Теперь... у вас, конечно, возникает вопрос: кто же виноват в том, что мне приходится выполнять лошадиную работу — только чтобы обеспечить себя черным хлебом? Ведь, надеюсь, не Абрамов, который получает указания от Зеленова, не Зеленов, который полностью подчиняется Суворову... ну... и так далее... Одним словом, в розысках виновного, вы доберетесь до государственного аппарата. А разве вы имеете что-нибудь против Советской Власти? Вы ведь только сейчас осуждали мою антисоветскость и потому вы совершенно лояльны. Тттаак. Но, может быть, вы только внешне боитесь высказываться против Советской Власти, а внутренне вы готовы ее низвергнуть — в таком случае вы, товарищ Бабенко, выражаете идеологию буржуазного класса, ибо, как явствует из статьи Владимира Ильича Ленина «Партийная организация и партийная литература», — «тот, кто сегодня идет не с нами, тот против нас»! Вы доверяете Ленину, товарищ Бабенко?

— Слишком.

— Гм... Прекрасно. Но ведь вы, кажется, не питаете особой любви к буржуазному миру — 5 минут назад вы говорили: «Живешь вот, как в Америке!» Вероятно, ваше мнение об Америке совершенно искреннее. Лев Толстой сказал как-то: «Женщины всегда искренни своим телом»... Вы телом искренни, товарищ Бабенко?

— Угу.

— Чудненько. Отсюда следует, что вы ни внешне, ни внутренне ничего не имеете против Советской Власти — и все-таки выражаете недовольство своим существованием! Вы без ума от Никиты Хрущева — и тем не менее вам хочется кушать, видите ли!

— Шпион...

— Вот именно! Далее — вы, вероятно, полагаете, что государство внемлет вашим стенаниям и осыпет вас благодеяниями за ваш непосильный труд... Следует напомнить — руководство нашего треста обращалось с петицией к строительному министерству — однако министерство отказалось повысить расценки! Вам остается только одно — вдохновляться тем, что ваши потомки будут полностью удовлетворять свои потребности. Они возблагодарят вас, товарищ Бабенко!

— А мне — срать на потомство.

— Гм... Наконец-то слышу «глас пролетария»! Чудненько!.. Чудненько!.. Так — чоррт побери!! — Аничка, — неужели же блекнуть вашим дивным формам?! Плюньте на...

— Бро-ось!

— Плюньте на слезы и христианское смирение! К вашим услугам — Белорусский вокзал! Взбунтуйтесь против человеческой морали! Ведь убивают же, грабят, валяются в канавах люди! И умные люди!

А что же? Ведь и у вас нет другого выхода! Ложитесь в прохладу вокзального сквера, обнажайте свои пышные перси, зазывайте клиентов, чоррт побери!

— Перестань... Венька!

— «О, кто бы ты ни был, прохожий, пади на грудь мою! Отумань разум мой! Исцелуй меня всю! О, сжимай меня в страстных объятиях»! (Ведь не жрать же мне соевые бобы, в конце концов!) Раствори меня в себе, о прохожий! Я утопаю в... целуй меня! Еще! Еще! Один рубль! Два рубля! Три! Пачка маргарина! Полкило колбасы! Ах!

— Ха-ха-ха-ха! Нет, Венька, ты просто гений! Только я не понимаю, почему тебе все — смешно!

— То есть как это — смешно? В материальной необеспеченности я просто не вижу никакой трагедии... Ну, а если для тебя это трагедия, так...

— Не понимаю, что ты за человек!

21 марта

Я прежде всего — психопат. И потому нагромождение нелепостей может считаться даже достоинством только что мною выпущенной «теории дней недели».

Гениальные мои гипотезы о магическом влиянии пятницы на судьбу мою никого еще не заставили мистифицировать «свой» день недели и цифирно узаконить мистификацию. Поэтому я беру на себя обязанности первооткрывателя.

Во-первых, самые мрачные дни моего существования: 1 июля 55 г., 4 мая 56 г. и 8 марта 57 г. приходились на пятницу. Все три дня ознаменованы «покушениями» на самоубийство.

Далее: пятницей обозначены все четыре кульминации моей половой чувствительности: 11 мая 56 г., 15 июня 56 г., 7 сентября 56 г. и 21 декабря 56 г.

В пятницу 15 июня 56 г. скончался мой отец.

В пятницу 5 октября 56 г. скончался мой брат.

В пятницу 15 февраля 57 г. — моя матушка.

Далее. Обстоятельства чисто прозаические:

В пятницу 24 июня торжественно был вручен мне золотой аттестат. День моего первого вселения в студенческое общежитие — 2 сентября 55 г. и день моего «последнего выселения» — 8 февраля 57 г. — неоспоримые пятницы.

Пятница — 15 июля 55 г. — день поступления в университет. Пятница 21 декабря 56 г. — день исключения из университета. И пр., и пр., и пр. до бесконечности.

В руках предстоящих дат — будущее моих гипотез.

27 марта

«Да она же любила тебя, эта проститутка. На шею тебе вешалась. Может быть, просто думала, что ты какую-нибудь студенточку любишь, боялась тебя заразить какой-нибудь гадостью. Они ведь тоже иногда людьми бывают, эти бабы.

А вообще-то это страшное дело, когда самое первое «романтическое» чувство наталкивается на эти отвратительные вещи... Ведь вы же были просто два дружных ребенка... Одна ложилась под каждого встречного, а другой ей доказывал, что ложиться под каждого встречного — это грандиознее, как ты выражаешься, чем подвиг капитана Гастелло... Скверное это дело... Самое-то скверное, что ты к этим грязным вещам не чувствуешь никакого отвращения».

ДНЕВНИК
1 апреля — 10 июня 1957 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПИСОК СУМАСШЕДШЕГО. IV

1 апреля


ди сюда! Давай угля! Стой — не надо! Говорят же тебе — не надо, еб твою мать! Дуй горно!

Куда дуешь? Зачем дуешь? Какое горно? Почему горно? Кто сказал — горно?

Перестань дуть, болван! Иди сюда! Бей кувалдой! Стой — не ходи!

Давай угля! Дуй горно!

2 апреля

Желаемое достигнуто! Я душой — пролетарий! Физический труд заменяет мне пищу духовную! Во мне пульсируют...

— Гранька, еб ттвою мать! Прекрати ограбление! Кража государственной фанеры — бич высших идеалов!

Во мне пульсируют пролетарские эритроциты, и я разрываюсь от напора физического выздоровления. Начальник строительного управления призывает к порядку! Расшатанная абрамовская бригада выходит из повиновения! Я окрылен...

— Юленька! Осторожней с бочками! Белило — не креп-жоржет! У вас дивный зад! Но это же не значит, что вы должны портить государственное имущество!

Я окрылен и нескончаемо насвистываю. Мой свист вливает бодрость, мое «Не искушай» удесятеряет бригадные силы! Начальник отдела кадров...

— Таничка! Фу, какие вы неисправимые! Пожалейте своих детей! Людовику XVI-ому тоже отрубили голову! Но ведь то был король! А вы — заурядный подданный ремонтно-строительного треста!

Начальник отдела кадров объявляет крестовый поход против «ерофеевской заразы». Помощник начальника отдела снабжения убивает меня недовольством пред лицом начинающейся стачки. Валинька предлагает сделать обыск в моей квартире. Аничка...

— Аничка! Юнону изнасиловал бог Вулкан, Минерву — властитель Аида! «Я — мать владыки Гора, и никто не поднимал моего платья!» Неужели же мне нельзя расцеловать ваши перси!?

3 апреля

Красный уголок. Дама в белом, дама в черном и дама в голубом перелистывают у окна журнал «Чехословакия». Доносятся негодующие возгласы: «Всегда это у них одни турбины! Ничего, кроме турбин!» Девушка-библиотекарша пытается доказать толпе обступивших ее парней, что Жюль Верн и Дюма — порождение одной нации. Из коридора доносятся звуки джазовой музыки; поминутно входят и выходят раскрасневшиеся пары танцующих. Ерофеев, сидя в углу, незаметный и чрезвычайно небрежно одетый, читает Генриха Манна.

Библиотекарь. Ну как вам, ребята, не стыдно? Ведь вы же загрязняете самое чистое, самое прекрасное из всех человеческих чувств! Вспомните, как наши лучшие писатели отзывались об этом чувстве! Как... (Слова библиотекаря на минуту тонут в гуле мужских возражений: «Да разве мы что-нибудь такое сказали!», «Да мы против любви ничего не имеем!», «Любовь-то это хорошая штука, да условия-то нам не созданы, чтобы любить!» — и еще что-то неразборчивое.)

Библиотекарь. Вот видите! — все вы любовь уважаете, а почему-то городите какую-то чушь — как будто вам... как будто бы вы никогда не любили! Ведь это у вас просто хвастовство какое-то — мол, нам ничего не интересно! Любви никакой нет!..

Парень. Ну почему это вы так думаете? Ведь мы все-таки еще не старики! Дело молодое, конечно! — вечером так это... немножко погуляешь, если с девушкой хорошей познакомился... ну, сходишь в кино, посидишь... только вот плохо, что девушек-то у нас хороших нет! Все какие-то... (Вслед за этим раздается негодующее библиотекарское: «Как это так нет!» и возмущенные дисканта трех присутствующих дам.)

Дама в голубом. Девушки-то все как девушки! А мужики вот что-то некультурными стали, хамье какое-то, а не молодые люди! (Возгласы: «Что это еще за «мужики»?!»)

Дама в черном. А кто же вы, если не мужичье? Даже на танцах пригласить как следует не можете! А уж если с вами гулять, так греха не оберешься!

Парни. Ха-ха-ха! Ты думаешь, если мы некультурные, так и любить мы не можем по честному, что ли? Знаем мы этих культурных! Ходят себе в бостоновых костюмах, им и дела-то никакого нет до вашей любви... им бы только денег побольше нагрести!

Дама в голубом. Ну уж и неправда! Если человек культурнее вас, так он и любит честнее... Как раз в этом его культура и заключается... (Возгласы неодобрения.)

Дама в голубом. А что?! Вы думаете, культурный человек — как вы, что ли, будет делать? Сегодня с одной в кино идете, завтра уже с другой гуляете! Что же это за любовь — на один день! (Мужские возгласы: «Не выдумывай!», «У нас таких нет!», «Главное — верность!»)

Дама в голубом. Да и мало того, что бросите гулять с девушкой... Хороший человек сказал бы прямо, что гулять, мол, с тобой не хочу, полюбил другую... А у вас какая-то глупая привычка: гуляет с другой, а говорит, что, мол, любит по-прежнему, жизнь отдаст и так далее... (Гордые улыбки парней, возглас: «А что же здесь особенного!? Такой уж человек создан!»)

Дама в голубом (запальчиво продолжая). А я вот, например, терпеть не могу таких ребят! Если разлюбил — так прямо и скажи: больше не люблю... А для чего же это душой кривить? Я недавно читала где-то — кажется, у Ирки в дневнике: «Скверная прямота лучше, чем красивый обман»...

Библиотекарь. А это ведь замечательно сказано, и ребятам надо над этим задуматься! Самое главное для че...

Дама в черном. Да! Заставишь ты наших ребят задуматься! Пожалуй! (Мужские смешки, входит пара разгоряченных танцующих.)

Парни. Вот вам и любовь. Наглядное пособие! Хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха.

Библиотекарь. Ребята! Если уж речь зашла о любви, то я хочу вам задать один вопрос. Вот я, например, считаю, что у каждого человека любовь состоит из трех стадий. Первая стадия — когда парень еще не познакомился с девушкой, но он часто видит ее и она ему нравится... Вторая — когда они уже познакомились, гуляют, вместе танцуют, ходят в кино, одним словом, дружат, любят друг друга... (Представители обоего пола обмениваются многозначительными взглядами и расплываются в улыбке.)

Библиотекарь (продолжает). Ну, а третья — когда молодые люди уже вообще друг без друга не могут жить, — они женятся,

живут вместе... ну, и, конечно, продолжают друг друга любить... Вот я у вас и хотела спросить — как вы думаете, почему все-таки большинство людей перестают друг друга любить как раз вот на этом самом третьем этапе, когда им обоим особенно нужна любовь? Ну вот, как вы, ребята, думаете? (Устные высказывания мнений сливаются в один общий хор, поминутно различаются ухом наиболее громкие и обрывочные: «Любовь имеет свой предел», «Что же это, и старуху любить?» «Конечно — дети пищат по всем углам...», «...а особенно, если с пузом...»)

Библиотекарь. Я лично считаю...

Парень (доселе стоявший поодаль и тупо рассматривавший всех присутствующих, неожиданно обрывает). Все это, товарищи, ерунда! Самое главное как раз и не в этом... Самое главное в том, что у нас нет никаких условий для того, чтобы люди могли спокойно друг друга... любить! Ну вот хотя бы меня возьмите для примера... Я свою жену, может быть, и люблю... Ну, а как я ее могу вообще-то любить, если она живет черт знает где, на Калужской... Что же это такое — живи в общежитии и смотри, как тебе жена будет изменять... Так, что ли? А для меня, например, любовь дороже всего... Пусть дерут хоть пятьсот рублей, а дают для семьи квартиру... Что же, это я смотреть должен, как другие...? (Общий гул и недовольство тем, что половой вопрос заменился жилищным. Ерофеев приходит на помощь.)

Ерофеев. Послушайте, гражданин! Интересно, за каким чертом вы живете в Москве? Переселяйтесь на Сахалин. Получайте отдельную квартиру. Если вы даже потеряете московскую прописку, то ведь для вас «любовь дороже всего»! (Смех, возгласы «Браво».)

Оскорбленный (пытаясь возразить). Эх, какой ты умный! На Сахалин! Ты сначала доживи до моих лет...

Библиотекарь (прерывая оскорбленного). Ребята! Ребята!.. (Общий гул, почти все присутствующие физиономии обращены ко мне, на мужских лицах — еще не испарившаяся улыбка, на женских — вопрос: «А! Это тот самый!» «Исключили из комсомола!» «Выгнали из университета!» «Грузчик у Абрамова!»)

Дама в белом (неожиданно обращаясь ко мне). Скажите, молодой человек, здесь девочки говорят, что вы учились в университете... Правда это? (постепенно стихает).

Ерофеев. Да, учился, — полтора года!..

Дама в белом. За что же вас выгнали?

Ерофеев. Тттаак. Это мое личное дело. Даже слишком личное.

Дама в белом. Как это — личное? Гы-гы-гы... (Всеобщие смешки.) Влюбился, что ли?

Ерофеев (стараясь подавить в себе раздражение). Господа! Неужели вы все настолько пошлые люди, что у вас даже выражение «личное дело» ассоциируется с женскими трусами? (Взрыв раскатистого хохота, мужская половина глядит на меня почти с любовию, женская — почти гневно.)

Дама в голубом. Интересно, все в университете такие «умные»? Или только вы...

Ерофеев. Нет, основная масса даже глупее вас! (Всеобщий хохот.)

Дама в белом. Ссскотина!

Дама в голубом (убийственно спокойно). Все-таки меня интересует, зачем вы, такой умный, пришли к глупым рабочим?

Ерофеев. А разве я считаю рабочих глупыми? я сказал «вы» — просто из уважения лично к вам! (Снова хохот; библиотекарь пытается принять на себя роль соглашателя, Ерофеев ее прерывает.)

Ерофеев. А теперь, гражданка, позвольте мне задать вам контрвопрос: зачем вы пришли в мужское общежитие? (Смех, взоры всех присутствующих обращены к даме в голубом. Последняя продолжает сохранять гневное спокойствие.)

Дама в голубом. Танцевать.

Ерофеев. Гм... Как я уже мог заметить, гражданка, вы танцуете только с мужчинами... Значит, вам доставляет удовольствие не сам процесс танца. Вам просто интересно находиться в тисках мужских конечностей... (Смех.) А ведь признайтесь, такая близость, хоть она и красива, вас же полностью не удовлетворяет?! (Басистый мужской смех.)

Дама в голубом (гневно). Что вы этим хотите сказать?

Ерофеев. Неужели вам еще непонятно, гражданка? Ведь «скверная прямота лучше, чем красивый обман»! (Продолжительный хохот, дама в голубом совещается с дамой в черном, явственно слышим обрывок: «Позвать воспитателя... напился, скот...»; черное и голубое покидает красный уголок: входят несколько танцующих пар, привлеченные необычным хохотом.)

Дама в белом. Сколько ты выпил, молодой человек?

Ерофеев. Вчера утром — сто пятьдесят граммов. Если вы сомневаетесь — приблизьте ко мне свою физиономию — я на вас дохну. (Смех.)

Дама в белом. Ох, ну и скотина же...

Библиотекарь. Извините! Молодой человек!

Ерофеев. Да?

Библиотекарь (заглушая негодование дамы в белом). Молодой человек! Ведь это все над вами смеются! Над вашей дурос-

тью! Вас, наверное, не научили культуре в университете?! Или вы просто грязный человек, что ненавидите людей с чистой душой — или просто у вас больная совесть...

Ерофеев. Послушайте, госпожа библиотекарша! (Смех.) Несколько дней назад я действительно восторгался вашей душевной чистотой... В сопровождении Станислава Артюхова, как сейчас помню, вы спускались с пятого этажа и оба имели чрезвычайно изможденный вид... Вам слишком по душе третья стадия... (Невообразимый хохот, затем улыбки любопытства.)

Библиотекарь (болезненно выдавливая слова). Вам всегда, молодой человек, снятся такие интересные сны? (Смех.)

Ерофеев. Не прикидывайтесь дурочкой, товарищ библиотекарь! У вас это выходит подозрительно естественно! (Новый взрыв хохота; библиотекарь пытается остроумно отразить удар, слышно только «университет», «остатки мозга»; дама в белом пытается занять передовую позицию, умеряя общественный смех.)

Дама в белом (соревнуясь со мной в остроумии и, вероятно, стараясь отбить у меня пальму первенства). Господин грузчик! Ведь из университета выгоняют только остолопов, у которых слишком тупые головы! А вы ведете себя здесь так, как будто вы всех умнее...

Ерофеев. Помилуйте! Откуда у вас такие сведения?! Если бы из университета изгоняли только остолопов, я бы не стал с вами спорить, а сразу бы задал вам вопрос: с какого факультета вы изгнаны? (Смех, аплодисменты ценителей юмора.) И потом — господа! Неужели вам не скучно ограничивать запас своего остроумия рамками моего изгнания из университета? Не слишком ли это узко для таких умных людей?! (Поощрительный смех, всеобщее оживление.)

Дама в белом. А вам не скучно щеголять тем, что вы не приучены к культуре?

Ерофеев. Позвольте! А вы, случайно, не со мной ездили сегодня утром на толевый завод? Нет? (недоумение в зале, встревоженное ожидание).

Дама в белом (презрительно). Ездила. Ну и что же?

Ерофеев. Вы сидели в кузове с неизвестной дамой и вели интимную беседу, — при этом вы совершенно не стеснялись мужского присутствия. Между прочим, как сейчас помню, вся ваша беседа сводилась к тому, что же все-таки лучше — лежит или стоит. (Гул негодования, мужской хохот.)

Дама в белом (окрашиваясь в пунцовое). Ну и оссел же ты! Мме...

Ерофеев. Позвольте! Я не понимаю, отчего вы краснеете! Ведь я же цитирую вам слова молодой девушки, которые были произнесены в присутствии молодых людей обоего пола и которые утром воспринимались как верх остроумия! (Аплодисменты.) Видите — я даже стыжусь воспроизвести здесь вслух ваши милые шутки — а ведь вы — женщина! (Гул одобрения; дама в белом листает журнал и силится найти достойный ответ.)

Парень. Все женщины — такие! Их не переделаешь! (Возгласы: «Ерунда!» «Правильно!»)

Дама в белом. Ты бы уж поумнее что-нибудь придумал...

Ерофеев. Гражданка! Я не выдумываю, а констатирую факт! А если даже я выдумываю, предположим, — так какого черта вы залились краской? Или просто потому, что румянец слишком идет к вашему белому крепдешиновому платью? (Неимоверный хохот.)

Парень (только что вошедший и серьезно воспринимавший конец дискуссии, старается заглушить смех). Прравильно, студент! Давно надо было бороться за чистоту нашей любви! А то современные...

Ерофеев. Да, конечно! Я всегда был поклонником чистоты! Если бы здесь, вот сейчас, какой-нибудь безрукий и безногий горбун вскарабкался на золотушную проститутку, я бы расцеловал их обоих!

4 апреля

1. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?»

И сказал им Иисус:

«...вино молодое вливают в новые мехи».

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон».

2. «Никто не может служить двум господам».

«Отдавайте кесарево — кесарю, а Божие — Богу».

3. «Блаженны нищие духом».

«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

4. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей... Что Бог сочетал, того человек не разлучает».

«Всякий, кто оставит... жену... ради имени Моего... наследует жизнь вечную».

5. «Не мир пришел Я принести, но меч».

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

6. «Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет».

«Вы от нижних, Я — от вышних».

7. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие».

«На путь к язычникам не ходите».

8. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником».

«Почитай отца своего и матерь свою».

9. «Царство Мое не от мира сего».

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

10. «Не противься злому».

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».

11. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях».

«Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас».

6 апреля

«Знаете что, Ерофеев? Не знаю, чем вы меня заинтересовали конкретно, но вы человек слишком своеобразный. Да вы, наверное, и сами это чувствуете прекрасно. Единственное, что я вам посоветую — оставьте это. Надеюсь, вы понимаете, о каком «этом» я вам говорю... Будьте проще. Не думайте, что все они глупее вас и поэтому чем-то вам обязаны... Я не собираюсь делать вам комплименты, но все-таки могу заметить, что у вас проглядывают какие-то прекрасные задатки. Правда, они у вас опошлены и загрязнены чем-то чужим, не вашим, наносным. И все-таки для вас легко преодолимы... Не знаю, откуда у вас это наносное, — вероятно, просто кокетство... А оно вам не к лицу... Больше читайте... Для вас это самое главное. Кстати, я могла уже заметить, вы не относитесь к числу «поверхностно воспринимающих» литературу... Больше читайте... у вас слишком скромная эрудиция... а каждая прочитанная вами книга возвысит вас на голову... Это не каждому дается... И все-таки, Ерофеев, — можете на меня обижаться, — вам еще слишком далеко до рабочей молодежи».

7 апреля

Мне казалось, что я ухожу далеко и за мной никто не гонится.

И я действительно уходил далеко — и никто не гнался за мной.

Мне казалось, что что-то необыкновенно черное неожиданно меня остановило и заставило длительное время озираться вокруг.

На самом же деле я нисколько не озирался, озираться было некогда — на меня с неимоверной скоростью наезжал автомобиль новейшей марки...

На секунду я вынужден был уподобиться горным сернам. И в ту же «секунду» сообразил, что можно было вполне обойтись без уподоблений — черный дьявол без особого напряжения сделал отчаянный разворот, ласково обогнул меня и затормозил у здания германского посольства.

В первое мгновение я был слишком взволнован тем, что всеблагое провидение (в который уже раз!) избавило меня от трагического исхода.

В следующее мгновение я вынужден был устыдиться себя самого и своей минутной (впрочем, даже не минутной, а секундной) трусости.

Затем встал в позу Наполеона и задумчиво посмотрел на посольский подъезд. То, что я увидел, наполнило меня до отказа мистическим трепетом. И чуть было вновь не заставило «уподобиться»...

«Посол, — промелькнуло у меня в голове и задрожало где-то в ногах, — посол!.. Может быть, даже чрезвычайный!.. Может быть, даже... ну, конечно, — раз чрезвычайный, значит и полномочный! Значит, и то, и другое вместе... И все это вместе... обогнуло меня!! Меня!.. Обогнуло...»

«А кто — я? Кто?! — вопросил я себя и принял позу, среднюю между аристотелевской и сократовской. — Кто?! Не Поспелов? — нет! Не Даргомыжский? — нет! Тогда кто же — Беркли? Симонян? Заратустра? Жуков? — нет... Назым Хикмет? Нежданова? Прометей? Чернов? Рафаил? Микоян? Правый полусредний? Леонардо да Винчи? — опять же нет... Тогда кто же? Неужели — обыкновеннейший пуп?..»

«Гм... Пуп... — чудесно! Пусть будет — пуп! Пусть обыкновеннейший!.. Но ведь... уступил мне дорогу посол агрессивной державы!.. А? Хе-хе-хе-хе! Уступил!! Жалкие люди, — мысленно произнес я, оглядев с ног до головы встречных пешеходов и сменив аристотелевскую позу на позу постового милиционера, — нет, все-таки, до чего жалки эти существа и до чего же мелочны их волнения! Один оплакивает утраченную младость, другого укусила вошь, третьему не оплатили простой, четвертый разочаровался в запахе настурций, пятому разбили голову угольным перфоратором... Неужели бы и им уступил дорогу посольский экипаж?.. А?..»

«Нет, черт побери, им бы, конечно, не уступил дорогу посольский экипаж. Если даже рассудить здраво, так не только чрезвы-

чайный посол, но и зауряднейший смертный никогда не уступит дорогу человеку, которому всего-навсего разбили голову угольным перфоратором. Значит, есть во мне что-то божеское... Ну, не божеское, а что-то такое... неизмеримо более высокое, нежели полномочные представительства и международные конфликты... И это «что-то» заставило даже Каина на мгновение стать гуманным!»

«Странное дело, — продолжал я, на этот раз обращаясь к встречным, — очень возможно, что и работники советского министерства, встретив посла на ковровой лестнице, почтительно отступали, расшаркивались и окрашивали лицо свое в улыбку раболепного смущения... а получали в награду снисходительное поплевывание и, ослепленные саксонской воинственной гордостию, заражались оборонческим страхом!»

«Очень возможно также, что страх этот породил в посольском мозгу «далеко идущие выводы». И — кто знает! — может, дула боннских орудий, направленные к сердцу освобожденной Польши, ждали только сигнала; а поводом к нему могло послужить малейшее выражение примирительно-восточной дрожи!.. А дальше... — вы понимаете, что дальше?! — миллионы искалеченных жизней, озера материнских слез, девочки с разбитыми черепами, заокеанский кал в усадьбе Льва Толстого и... все что угодно!»

Я разрыдался.

Слезы лились на тротуар, брызгали на продовольственные витрины. Перламутрово-чистые слезы... слезы человека, заронившего искру гуманности в зачерствелое сердце... слезы, избавившие от слез миллиарды материнских глаз.

Они, эти слезы, словно бы делали полноценными те миллионы человеческих жизней, которые, возможно, были бы искалечены. Они как будто бы склеивали разбитые черепа маленьких девочек и вымывали кал из усадьбы Льва Толстого. Они...

А эти люди не понимали меня. За минуту до того спасенные мною, они смеялись над моим умилением.

«Посмотрите... его чуть не раздавила машина... и он плачет... плачет, бедный... Ему было, наверное, так страшно...»

29 апреля

— Ерофеев! С вами разговаривает сержант милиции, а не девчонка!

— Ну и что же?

— Поэтому не стройте из себя дурачка!

— Помилуйте, товарищ сержант, где же это вы видели, чтобы кто-нибудь перед девчонкой строил из себя дурачка?

— Хе-хе-хе, Ерофеев, вы думаете, если я сержант милиции, так и не имею никакого дела с девчонками?

— Ну, так в таком случае перед вами не девчонка, поэтому стройте из себя не дурачка, а сержанта милиции.

(конец марта 1957 г.)

— Я смотрю, Ерофеев, ты младше меня всего на год, а ты сейчас находишься на таком этапе, на котором я был, наверное, года три или четыре назад. Ты увлекаешься стихами, а у меня это уже давно пройденный этап... Правда, я уж не так увлекался, как ты, — чтобы целыми днями только этим и заниматься...

— Знаете что, товарищ слесарь-водопроводчик, я тоже когда-то говорил глупости... но это у меня уже давно пройденный этап. Правда, я и раньше увлекался этим не так, как ты, — чтобы целыми днями только этим и заниматься...

(26 апреля 1957 г.)

— Это за что же меня, бедного, расстреливать?

— За то, что ты врах!

— Это почему же я врах, товарищ начальник?

— А это уж у тебя спрашивать не будут, Ерофеев. У нас слишком мало разговаривают с такими, как ты, которые нам мешают!

— Мешают?! Чему мешают, товарищ начальник!

— Чему?! Достижению нашей общей цели, Ерофеев, если это вам не известно!

— Ну, так как же мне быть, товарищ начальник... Вы просто цитируете Игнатия Лойолу, и мне становится не по себе... Вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола?

— Не слышал.

— Это был, между прочим, один из прославленных сподвижников Владимира Ильича Ленина, талантливый марксист, о котором даже Плеханов отзывался довольно...

— Не слышал, не слышал. В «Кратком курсе» его не было. И фамилия какая-то...

— Да-а, он по происхождению испанец, по взглядам — интернационалист. Между прочим, дивную фразу произнес Игнатий Лойола на заре нашего века: «Цель искупает средства»...

— Как раз для тебя эта фраза, Ерофеев... Для тебя и тебе подобных! Марксисты...

— Да, но почему — «тебе подобных», товарищ начальник? Во-первых, я слишком бесподобен... А во-вторых, вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола?

— Нну... я же тебе говорю, что не слышал... И не важно, кто был...

— Игнатий Лойола был, между прочим, самым фанатичным из всех средневековых инквизиторов... это был «талантливый повар», даже Кальвин отзывался о нем...

— Так что, Ерофеев, я тебе советую все это прекратить, иначе...

— Да, и между прочим он был немножко похож на вас, товарищ начальник. И ходил в таких же очаровательных носках...

— Да-а?

— Угу. И, между прочим, его повесили. И, между прочим, когда он висел, то при этом очаровательно дергался...

— А вы думаете, я вас не понял, Ерофеев?

— Ну, это даже не важно, поняли вы или...

— Ты невоспитанная свинья, Ерофеев!

— И тем не менее он *очаровательно* дергался...

(29 апреля 1957 г.)

— Что это ты на меня исподлобья смотришь?

— А разве я исподлобья смотрю?

— Как на лютого врага...

— Нет, что вы, товарищ секретарь, у меня просто есть одна интересная привычка: на людей, которых я презираю, я смотрю прямо; на людей, которых хоть немножко уважаю — сбоку...

— А ты сейчас на меня смотришь как-то и не так, и... не сбоку... а вполоборота...

— Нннну, я просто имею обыкновение смотреть так на людей, которые... недостойны презрения, но и уважения тоже недостойны... Я смотрю так на тех, которых умный человек считает умнее себя, а дурак — глупее себя...

— Ккакой ты все-таки умный, Ерофеев!

— Нет, товарищ секретарь, я от рождения идиот.

(29 апреля 1957 г.)

1 мая

Давно уже я вошел в этот автобус.

Так давно, что даже не помню теперь, как встретили меня пассажиры... Наверное, никак не встретили: ведь входят и выходят так много, зачем же примечать каждого...

Они просто не хотели примечать; им мягко, тепло, — они даже не смотрят на выход, на «свой» выход. И не смотрят на тех, кто входит: для чего им смотреть на них, если им так уютно!..

Меня заинтересовало: если все-таки они скоро выйдут — для чего же сидеть? Они же выйдут на холод — так и заранее согре-

ваться незачем! Они ведь и вошли, чтобы потом — выйти!.. Удивительные пассажиры!

Если бы я все это выражал вслух, меня бы не поняли... На меня бы оглянулись, зашикали: «Какое вам дело!» Вечно это ругаются пассажиры, которым не хватило мягких сидений! Успокойтесь!.. успокойтесь...

Я это уже знаю заранее: ...успокойтесь... какое вам дело...

Потому я внешне не восставал; просто — немножко смешно было: сидят — ну и бог с ними... а все-таки, для чего сидеть, если можно встать... или даже на пол лечь — это ведь гораздо умнее, лечь на пол и ковырять в носу... Сидеть — это и я умею, это каждый может — сидеть...

Я даже задумался: если бы вдруг освободилось сидение, рядом со мной... что тогда?.. Я ведь страшно люблю задумываться.

...Нет, конечно! я ни за что не сел бы! Ведь рано или поздно все мы выйдем! И тот, кто сядет вместо меня — тоже. Встанет и выйдет. К тому же...

Вот это уже самое главное: «к тому же» любая остановка может быть моей. Когда меня спрашивают: «Гражданин, вы на следующей сходите?», мне кажется, что меня дразнят. Стоит, мол, нарочно, чтобы мешать. Без билета... а ведь смотрит на всех так, как будто бы кто-то виноват, что ему приходится стоять... Не знает сам, куда едет... Удивительный пассажир!

Даже в голосе чувствуется злоба: «Путается... Отошел бы в сторонку, что ли...»

И я просто не могу их понять. Задевать безобидного — это же... Да и какое им дело! Разве я виноват, что меня втолкнули сюда! Они же сами видят, что мне не только что отойти в сторону — мне даже повернуться невозможно...

Я, может, для того и еду, чтобы понять: для чего же едут другие... И вообще: для чего входить туда, откуда есть выход...

6 мая

Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста получает инструктаж в германском посольстве!

Прокламации под мартыновской юбкой!

Бомбы над кинотеатром «Пламя»!

Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста требует конституционной монархии!

Начало стачечного движения за увеличение рабочего дня!

Шатобриан под подушкой бывшего комсомольца!

Евангелие на обеденном столе!

Служащие трестовской бухгалтерии вынуждены признать «Уголовный кодекс Союза ССР» значительной вехой в развитии пасторального жанра!

Советский грузчик в объятиях Тайницкой башни!

Предсмертные судороги подполковника Дробышева!

Коммунисты идут на компромисс!

7 мая

У меня расшатанные нервы.

Когда я встречаю на улице подозрительный взгляд, я, против своей воли, отвечаю тем же.

Если при мне оскорбляют человека, которому я признателен, мне вдруг становится так хорошо... В такие минуты я не замечаю подозрительных взглядов и смиренно потупляю голову...

А стоит мне отойти от оскорбителя, я поворачиваюсь и смотрю на него презрительно.

Он отвечает мне тем же.

8 мая

— Я тебя не понимаю... Или ты просто дурак, или ты человек, упавший с луны. Другого объяснения нет. Или, может, ты просто пьяный...

— Кстати, я совершенно трезв... Нальем?..

— Давай...

— Ттэк — не торопясь, начнем сначала... Во-первых, ты сказал: я тебя не понимаю, — ты, наверное, дурак... Но ведь не только умный не может понять дурака, а чаще как раз наоборот, дурак не может понять умного. Так что этот вопрос спорный, и мы его отодвинем...

— Давай говорить просто.

— Давай просто. Мне все равно.

— Кгхм... Ты любишь... Родину?

— Мдэс... Стоило ли, право, делать умное лицо и произносить «кгхм»...

— А все-таки...

— И «все-таки» не могу ответить... У меня, например, свое понятие «любить» и свое понятие «Родина»... Может быть, для меня выражение «любить» имеет то же значение, что для вас — «ненавидеть», — так что ни «да», ни «нет» вам не дадут ничего...

— Гм... Это я не понимаю... Мы же условились говорить просто...

— Так я и говорю просто. Проще — некуда...

— Предположим, для меня «любить Родину» это значит «желать ей блага»...

— Чудесно... Теперь представьте себе: я тоже говорю: желаю ей блага... Но для меня, может быть, благо — поголовное истребление всего населения нашей, извините, Родины... А для вас совсем другое... Для вас «желать» — значит «стремиться к достижению», а для меня — «отворачиваться» от того, что мне нравится...

— Ну, у тебя тогда нечеловеческие понятия обо всем...

— Ты хочешь сказать: «не мои»?

— Ну, раз «не человеческие», значит, в том числе и «не мои»... Да и зачем придавать каждому слову свое значение — возьми ты самое простое слово: «бежать»... Ведь ты же не придашь ему никакого своего значения...

— Нет, конечно... Потому что «бежать» не имеет никакого отношения к... так сказать, духовной стороне человека... так же, как «солнце», «баклажан», «ЦК», «денатурат» и так далее... Эти вещи можно понимать, но не чувствовать... К тому же смысл всех этих понятий — неизменный и точно зафиксирован в словаре.

— Но ведь в словаре-то давно уже зафиксирован смысл и всех этих ваших... духовных слов... Возьмет любой человек словарь — и ему совершенно ясно, какое правильное значение имеет слово, ну хотя бы «желать»...

— Гм... В таком случае, пусть этот ваш «любой человек» сначала справится в словаре, что такое «общепризнанное» и что такое «индивидуум»...

— Хе-хе-хе-хе... Остроумно, конечно... Но все-таки... у всех уже укоренилось издавна одно общее понятие «желать»... Я, например, лично первый раз встречаю человека, который еще пытается втискивать какое-то другое значение в это слово...

— Ну, тогда вы сами попутно справьтесь в словаре, что такое «укоренившееся» и что такое «искоренять»...

— Черт побери, неужели тебе еще не надоел «словарь»... Вот я еще чем хотел поинтересоваться... Ты говоришь, что у тебя свое собственное понятие о слове, например, «любить», «ненавидеть» и так далее... А вот ты почему-то путаешь эти понятия, пусть даже они будут и твои собственные... Ты вот говоришь, что «может быть, для меня любить — то же, что ненавидеть» и так далее...

— Ну, во-первых, я совсем не так выражался... И потом — что же здесь особенного? Ты никогда точно не определишь слова, которое выражает какую-нибудь «отрасль» твоего душевного. Каждое определение потребует у тебя слов, которые тоже нуждаются в определении... И в конце концов, все окажется неопределенным и невыразимым... А то, что две неопределенные вещи путаются, — в этом нет ничего удивительного...

— Ну, так с таким же успехом могут путаться и все твои эти «обычные» слова, их тоже надо опре...

— А что ж, они и в самом деле путаются... Вот я, например, перечислил четыре совершенно обычных слова... У вас, наверное, путаются понятия «ЦК» и «солнце»... А у меня, например, «ЦК» и «баклажан»...

— Хе-хе-хе-хе...

— А что? — спутать их очень легко... И то, и другое «невкусно без хлеба»; и то, и другое немного дороже ливерной колбасы, притом, обе эти вещи своей внешностью напоминают что-то такое...

— О-ах-ха-ха-ха!!

— Потом! — я, например, путаю «ЦК» с «денатуратом» — и то, и другое имеет синеватый оттенок, затем — оба они существуют, могут существовать и сохранять свою целость только в твердой и надежной упаковке. Вы, вероятно, знаете, что это за «упаковка»... Далее — обе эти вещи распространяют смрадное благоухание... и, в довершение всего, при поднесении зажженной спички легко вспыхивают и «горят мутным коптящим пламенем»... А? Как вы думаете?

— Все это, конечно, очень хорошо... Но я-то, вообще, никак не думаю...

— Чудно, чудно... я всегда безумно любил людей, которые «никак не думают»...

— Да?! А может быть, вы, как всегда, втискиваете в слово «люблю» свое значение «ненавидеть»?.. Ха-ха-ха...

— Нет, почему... Я вынужден пока «втискивать» в это слово общепризнанный смысл... Я, как и все грузчики, слишком благоразумен...

— Что-о-о?!! Вы — грузчик??!!!

9 мая

Господь Бог цитирует Федора Тютчева!

Смотрите на небо!

Смотрите на небо!

Это — печать Всевышней нервозности!

Проверьте исправность громоотводов и захлопните чердачные окна!

11 мая

Иногда припоминаются сентябри...

Кажется — как это ни странно, — что через полгода снова будет сентябрь...

И снова, как в сентябре, в памяти всплывет апрельская икона, и запахнет октябрьским одеялом...

А теперь прошлогоднее исчезает...

По временам что-то недавнее повисает в воздухе...

Загорается лампа... При свете красного абажура от моста через Яузу ползет холодный туман... Озаряется сердитой улыбкой музыкантовская рожа... И окоченевший пьяный хватается за фонарный столб.

А потом барабанит дождь... И, привалившись к стене, побледневшая Лидия заплетает косы...

А паровоз гудит простуженным голосом, потом оседает, окоченевший, к подножию фонарного столба...

И шепчет, опустив голову в тарелку: «Дети мои... Дети мои...»

И гораздо отчетливее — во сне...

А наяву — на секунду, неясно, расплывчато...

Особенно, когда приятно пахнет осенью...

А потом — холодом...

Удивительное ощущение!..

Словно бы 56-ой год совершенно неожиданно упал мне на голову, разлетелся на куски апрелей и сентябрей...

И теперь звенит в голове... звенит...

14 мая

...Все издохнут! Как собаки издохнут! И памяти о них никакой не останется! Потому-то и бесятся все! Думают, что если они будут убивать да резать, так о них помнить будут! Все одно!.. Ха-ха-ха-ха! А в сумасшедших домах! Ты видел?! — в сумасшедших домах! Что там творится! А-а?! Раньше хоть там умные люди сидели! Изобретали, читали, писали — да от этого и сходили с ума! А теперь — что? Теперь каждая сволочь падает на улице и ногами трясет! На Канатку ему, собаке, хочется, чтобы ни о чем не думать!..

...А все это ходят в бостонах! Красятся! Пудрятся! Духов на себя льют! Так это... двигают бровями! Глазки строят! Читают романы! Если есть кто-нибудь заразный, так на него косятся, боятся заразиться да издохнуть!.. А?! Хха-ха-ха! Боятся издохнуть!..

...Ты понимаешь, я точно такой же... И алкоголиков — всех! — за людей не считаю! Это уже не люди! Мы все издохнем! Так надо брать все, что тебе нравится, пока ты жив! Я вот, к примеру, пью так просто! Нравится просто пить! Вот и пью!..

...Скверным делом ты занимаешься, малый! Никакой такой особенной психологии нет ни у кого из этих вот! И изучать нечего! Все люди как люди! Каждому человеку хочется выпить! А у них немножко поменьше воли, не могли воспитать в себе

с детства волю! Любой человек в любую минуту с удовольствием бы выпил! А он просто сдерживает себя — таких вот и надо уважать! А не этих вот, которые стоят здесь целыми днями да харкают!..

...Я не понимаю, чего все жалуются на плохую жизнь! И еще говорят, что поэтому и пьют, что у них плохая жизнь! Я, например, думаю, что, наоборот, от хорошей жизни все и валяют дурака! Будь у них мало хлеба, так они бы не стали напиваться до дурости, а потом друг другу бить морды! И лучше будут жить — все равно пить будут, еще больше, чем сейчас. И морды...

...Ка-агда я пья-а-ан,
А пья-ан всегда-а-а я-а-а,
Больну-ую ду-у-у-у-ушу
Я во-о-одкой а-атважу-у...

...И я тебе скажу, почему война так действует на людей! Всетаки человек только в древности был зверем, и все время двигался по гуманной линии. Сейчас нет ни виселиц, ни плах, ни гильотин! И гораздо гуманней был человек в этом году, скажем, чем двадцать или даже десять лет назад! А на войне — наоборот! На войне, что ни год — то все бесчеловечнее делается это оружие... Поэтому между мирным и военным временем все больше делается пропасть! И она все больше и больше!.. Ее поэтому и боятся — те, которые пойдут...

...Мне-э-э ррро-оди-ну-у-у,
Мне-э-э ми-и-илу-ую-у,
Мне-э-а ми-и-илай да-айте взгля-ад...

...Хлопцы! Сынки! Осчастливьте старика! Я линию Маннергейма... брал с боем! Никогда не шутил с изменниками, а душу всю выкладывал, кровь...

...И поделом! Бабам не место в пивной! Раньше-то, посмотришь, и не видно нигде было, чтобы баба допьяна опивалась, а теперь чище мужиков! Рукавом утираются! И... голландского сыра не надо, а?!! Хя-хя-хя!..

...За убийство — в тюрьму сажают, расстреливают! Недавно у нас одну посадили, за то что своего ребенка задушила, двухмесячного! По закону нельзя убивать ребенка! А аборты не запрещаются! Это что же получается — убивать ребенка в утробе матери — можно. А как вылез — уже нельзя, тюрьма! А что, если его

задушить, пока он только еще голову просунул — это что? — карается по закону или нет?!

...Да здравствует великий наш наррод — стрроитель коммунистического отечества! И нашего великого завоевания от всех капиталистических попыток...

...Господа! Нюхайте кильку! Нюхайте кильку! Лучшее средство от горестей и заразных заболеваний!..

...Бывал и в Сталинграде, бывал и в Берлине. Наш брат Иван ленив, ленив... ну уж а если его разозлят, тогда спуску не жди! Что статуя в Берлине стоит, так это хорошо, просто так бы статую не поставили! А если рассудить — так незачем, вроде насмешки как будто... Да и нашего брата Ивана не за что винить, озверели, озлобились. Мы все в Берлин-то вступали с таким видом, как будто бы это саранча, которых всех надо уничтожить, всех немцев... Побили много, правда, баб прямо в подъездах ебли и сразу штыком в пузо... Да ничего не поделаешь, немцы тоже наших стариков убивали... Да ведь у них и цель-то была такая — всех истребить... А у нас ведь миссия освободительная... Немцев от немцев освобождали...

...С тех пор и трясутся руки. Ты, малый, не поймешь это, нервное состояние. А все равно никого не виню, ни государство, ни войну. Сам виноват, вот и исповедывался, как Мармеладов перед Раскольниковым. Хе-ххе-ххе! Какой я Мармеладов... Как ты — Раскольников... Хе-ххе... Бывший студент... Может, пойдешь убивать старух, а потом в обморок падать... Хе-ххе-хе... Не выйдет... Теперь уже не выйдет. Теперь старухам почет, пенсия. А молодым — все дороги открыты, и в пивную тоже...

...Я же вввам говорю, что не продавал! Не прррродавал! Не смей хватать, паскуда! Вы у нас для порядка поставлены, а если человек честным трудом...

...Удивительные люди сидят у нас в правительстве! Как будто бы умные, а такие глупости иногда делают... Возьмите хотя эти обеды, банкеты! Все время раньше допускалась такая глупость: человек, который руководит, ест лучше и больше, чем те, которыми он руководит. Это так нелепо! Что даже и сейчас наши руководители больше всего любят эту привычку! Удивительно... Неужели они не чувствуют, до чего это глупо...

...Так что и жизни-то, по сути дела, нет никакой. Пьем — и все. А отчего пьем? На какие деньги пьем? — это, может, и дела никому нет... Может, это я кого-нибудь убил, да теперь вот его и пропиваю, может, я его и не убивал, а просто себя считаю убийцей... Я, может быть, сам девочку из огня вытаскивал, мо-

жет, она горела и кричала, а я ее вытаскивал... А теперь и... ппропиваю ее... Тут... душа человеческая много знает... от этого обычно и...

...Объедаются, сволочи! Крровушку народную пьют! Соревнуются... заокеанские империи кожу с наррода... А русский — душевно ссвободный человек! Хочу — пью... Хочу — плачу, хочу — в моррду... А у нас не так! У нас, у русских — не так! Захотелось — иди, бери домой, все чинно, по-образованному, ...главное, чтоб шуму не было, чтоб никто не кричал... чтобы все — тихо, это самое главное...

...Прравильно! Прравильно!! Мы имеем полное право!..

...Даже ссать с третьего этажа запрещают. А в каком это законе написано, что ссать с третьего этажа нельзя...

...Думают, мол, помнить будут... А все одно...

15 мая

«Вы, видящие бедствия над вашими головами и под вашими ногами и справа и слева! Вечно вы будете загадкой для самих себя, пока не сделаетесь смиренными и радостными, как ребенок. Благо дано всем Моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его. В своем самодовольном легкомыслии они отворачиваются от Моих даров и с плачем жалуются на то, что у них нет того, что Я дал им. Многие из них отрицают не только дары Мои, но и Меня, Меня, источника всех благ.

Оставьте ваши невежественные мысли о счастье, о мудрости, оставьте все ваши желания, — тогда познаете Меня и, познавши Меня в себе, глядя из великого мира внутри себя на малый мир вне вас, вы будете благословлять все, что есть, и будете знать, что все хорошо и в вас и вне вас».

Криш. (12 ч. ночи)

16 мая

«Не нужно, ведь тебе же сорок лет... Ты поправишься... Это же ты просто заболела...»

«Доченька, не надо... Помнишь, ты покупала елки... Подходила к каждому ларьку, просила самую маленькую и красивую... А потом бросала... Я же тогда всех уговаривала: не надо смеяться... не надо смеяться...»

«Ты ведь знаешь, что болела тогда... я же ведь тебя уберегла... а ты говорила, что я виновата... Плакала, говорила, что тебе стыдно... Помнишь?..»

«Ты ведь меня узнаешь?.. Не нужно так смотреть... Это оттого, что ты заболела... Помнишь, Венька к нам приходил... Ты выпи-

ла маленькую-маленькую рюмочку, а потом говорила, что тебе грустно... И все — какое-то тяжелое и грустное...»

«А Анна Андреевна вечно будет жить... Упокой, Господи, душу ее страдальческую... Она и сейчас тебя любит... Придет к тебе... А ты ведь тогда и смотреть так не будешь... Смеяться будешь... рассказывать... что ничего и не было... А просто заболела немного... И стало грустно... Да?»

«Узор будешь вышивать... и все поймешь... выздоровеешь... Все будет опять хорошо... как раньше...»

17 мая

— Вот ты говоришь: высшие цели... А ты не думаешь, что существуют умные люди — умные! — а они не понимают, что это значит! Не понимают! Не потому, что не могут! — не хотят! Зачем мне издыхать ради высшей цели, если она меня не воодушевляет?!

— Иногда мне самому становится страшно! Представь себе — я ем! Ем, потому что знаю — если я не буду есть, я не смогу работать! Но если я не смогу работать, я вынужден буду не есть! Кажется — просто! Сомкнутое кольцо — и никакой цели! Понять это просто, а представить себе, прочувствовать — станет жутко! Ты говоришь — высшие цели? А зачем они! Серьезно, зачем?

— Встань в мое положение. С утра до пяти вечера ты выгружаешь из печи кирпич. Температура 40-50 градусов. Кирпич раскаленный. На улице, если ты даже урвешь полчаса на отдых, — жарко. Работаешь почти голый, глотаешь испарения горячего кирпича — и все время одно и то же: наклоняешься над кирпичом, берешь, грузишь на тележку, ее отвозят, моментально подвозят другую — у тебя уже кружится голова, грудь жжет, во всем теле ломота, ты еле держишься на ногах — и все равно: наклоняешься, берешь, грузишь, опять наклоняешься...

— Ты подымаешь один кирпич — и знаешь, что за ним пойдет еще семьсот штук. Нагрузил семьсот — начинаешь снова. Ты идешь домой — и знаешь, что завтра с утра ты опять с головой залезешь в эту чертову печь и начнешь все сначала. Вечер дается тебе, чтобы ты мог подкрепить свои силы, поесть, отдохнуть — а завтра...

— В конце концов, тебе уже ясно, что именно-то в этой печи — вся цель твоей жизни. И тебе совершенно безразлично, вдохновляют ли тебя высшие цели или ты работаешь бесцельно. Тебе все равно, в каком государстве ты работаешь и какими идеями руководствуются твои властители. Тебе совершенно все равно.

— Когда-то я много читал, теперь ничем не интересуюсь. Просто я знаю, что ни одна книга и ни одна музыка не выразит моего

чувства. Мне нужно произведение, которое выражало бы самые сложные чувства — и одновременно не выражало бы ничего. Да вообще-то мне и ничего не надо.

— А казалось бы, чего мне жаловаться! Я работаю в адских условиях — но зато: полторы тысячи!! Я могу всегда быть сытым и хорошо одеваться — да, но сердце, легкие... Еще лет пять — и я уже не жилец.

— Иногда забудешься у печи... Вспомнишь, что работаешь и для детей... Бессознательно задаешь себе вопросы: какие дети? зачем дети? — грузить кирпич?? Тогда зачем он, этот кирпич? Берешь один; как сумасшедший, бросаешь его об пол, разбиваешь; потом второй, третий, четвертый... Потом одумаешься — ну, разбил ты один кирпич, второй, но ведь впереди еще семьсот, а там еще... Останавливаешься, переводишь дух, начинаешь все сначала...

— Все это хорошо: люди издавна так работали, но ведь у нас все это, вместе взятое, без зазрения совести называется счастьем! Единственное, что у тебя остается, — водка, а ты пьешь ее осторожно, крадучись, исподтишка... Любая неосторожность — и тебя оштрафуют на 50 рублей!

— И все это — ради высших целей!

19 мая

Все в той же малиновой кофточке... страшно...

20 мая

— Ну куда я сейчас пойду?.. У меня... ннет... ничего нет! Что, ты думаешь — я так и пойду? Чтобы все смеялись надо мной — пусть... Да?! Ты что же — тты... человека понимаешь?

Тупо посмотрел на меня. Я отвернулся: попытался придать своему лицу безразличие.

— По-твоему... я должен на кирпичах спать... Так, что ли?.. Рубля жалеешь... своему другу... рубля жалеешь... В рррот я всех ебу в таком случае... Мне нужно... понимаешь?.. напиться нужно...

Я пробовал убедить его, что он и без того пьян «слишком достаточно»: я не дам ему ни глотка из своей четвертинки; что же касается денег, то их у меня нет совершенно...

— Ты же еще мне... сыннок!.. Ты еще... под стол ходил пешком... а я уже дддесять рраз человеком был... Ммалых ребят видел... И больших видел... тоже... А теперь — что? — умирать, что ли, мне хочется? Обязан я, что ли, — умирать?..

Расстегнул телогрейку, обнажил мохнатое туловище.

— Видишь!.. Везде горит... огнем горит... А на что мне рубашка? Взял — и пропил... Пиджак тоже — как будто задаром... про-

пил... Как у русского народа... что выпито и проебено... то в дело произведено! Хе-хе-хе... Все за мозоли покупаем... а продаем — даром... В носках теперь идти... Ттак?

Нагнулся, придерживаясь за мою куртку, стал снимать грязные носки. Встретив мою улыбку, тоже улыбнулся.

— Малый! Мы... с тобой пили... а ты хороший малый! Тебя... девки целуют... Так всегда и надо делать!.. А мне... босиком теперь... дойду до кольца... буду все покупать... все, что лежит, все буду покупать... а телогрейку продам... Голый пойду... Прическу себе сделаю...

Снял носки: босой, опустился на землю.

— Купишь, а?.. В ней же цена не за то... что дорогая... Мне она нужна... Никому не продам... Голый пойду... От самой Москвы в ней прошел... А жены у меня нет... Теперь уже все равно — рубашку продал, ботинки продал... А телогрейку — нниккому не дам! Это своя, русская... Купишь, а?

Заерзал под ногами, схватился за мою руку.

— За один глоток, а? Носки отдам... Это они грязные, потому что темно... А были... хорошие, полоски везде... А?.. Не хочешь, значит?.. И телогрейки не хочешь... Душу-то нельзя продавать, душа у меня... как русский герой... а продавать нельзя... Телогрейку — можно...

Вероятно, вспомнив, что у меня в кармане четвертинка, неуклюже поднялся, стал на колени, обеими руками ухватился за карман.

— Сыннок... Я же не пожалею ничего... Отдам... Телогрейку отдам... Что еще у меня... нничего больше... Вечное тебе спасение будет... По-божески все будет... Ты же такой хороший... сынок... По-божески...

Пришлось вынуть четвертинку и заложить за спину.

— Ммилый, я же не хочу... Мне... можно не прятать... Один раз... я же понимаю... человеческие чувства... Ведь я... Я же не требую... Мне как другу... А никакой водки мне не надо... я и так... Водка везде есть... а чтобы душа горела... выпить надо... А телогрейку... тоже надо... ее одеколоном немного... помочить... и будет как... в хороших людях. Я — что? Я — не хороший? Тогда плюй мне в рожу!.. Ну? Я — что? Не человек?!. Тогда бей... Бей, и все... Ебать всех в ррот в таком случае... Бей... жалеть не надо... Я все, что надо... А сто грамм — за советскую рродину, за службу...

Стало жутко. Всплыли на поверхность скверные желания... Помутился рассудок...

Ровно в час ночи я выбросил ему четвертинку.

21 мая

Помню, как в тумане... Было жарко и хорошо... И когда вспоминаю, снова становится жарко...

А она даже и не заметила.

22 мая

— Зачем бьешь?! Это беззаконие!

— Никто и не бьет! Слепой, что ли?

— Э-э-эх, надрызгалась, старая ведьма, ее и сапогом не разбудишь!.. До чего же все-таки доходят...

— Добро бы мужик какой-нибудь, а то ведь женщина! старая! И откуда только такие берутся?!

— А ведь сидела еще, денег просила... Какие только дураки ей давали?!

— И не стыдно ей, суке старой...

— Детей-то, наверно, нет... А то б постыдилась... этак-то...

— Да что ты ее, сынок, подымаешь-то — как? За голову... да сапогом!.. Руками бы уж, что ли?

— Возьме-о-ошь такую руками! поды-ымешь! Заблеванная вся...

— Как ведь скотина какая-нибудь... Да скотина-то чище... Люди-то хуже скотов стали!

— И не говори...

— Ляжет такая в сестиваль*, так все дело и испортит... Позор да и только!

— Ну, уж в фестиваль — так долго чикаться не будут... Это-то еще ничего, — видишь, как он ее удобно, — сапожком за живот и перевертывает...

— И чего пьют, спрашивается?.. Чего пьют?

— Какой ччорт там — «переживает»! Какого это ей хрена «переживать»? А если переживаешь, так переживай, как все культурные люди...

— Чем это она недовольна, интересно?! Надрызгалась — вот и все.

25 мая

Ерофеев! Вы плохо кончите! Вам, наверное, и во сне снится, что вам стреляют в затылок!

Ерофеев! Вы некультурный человек! Посмотрите на нашу мо-

* «28 июля — 11 августа 1957 года в Москве состоялся Шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Советские юноши и девушки задолго до начала форума готовились достойно встретить посланцев юности, дружбы, мира — зарубежных гостей 140 стран». (Из газет.) — *Примеч. В. Муравьева.*

лодежь! Разве кто-нибудь, кроме вас, в общежитии ходит в дырявых тапках?

Ерофеев! А вы, оказывается, хорошо стряпаете стихи! Вы о чем пишете — о природе или о девушках?

Ерофеев! За что вы ненавидите женщин? Женщин надо любить! На то у них и пизда!

Венедикт! Почему тебе все — смешно?

Венедикт! Ты хоть свою родную мать не называй сволочью!

Ерофеев! Вы рассуждаете обо всем, как трехлетний ребенок! У всех людей в голове мозг, а у вас...

У вас — «олимпическое спокойствие», Венедикт!

27 мая

Я люблю совершать благородные поступки, это моя слабость. Благодарение Богу, мне еще не представлялось подходящего случая. Иначе мне пришлось бы хвастаться перед ними, что я совершал их.

А я вот представил себе, что сегодня утром я был благороден... А представить гораздо труднее, чем совершить в действительности.

Может, я и в действительности совершал то, что мне представлялось, — ну, да ведь над благородством не смеются.

А над моими действиями-таки смеялись, хоть, может быть, мне это просто казалось.

А казалось бы — над чем смеяться?

Это даже своего рода долг — одернуть заблудшую женщину. Я лично ничего не имею против того, чтобы женщина являлась в общество с расстегнутой ширинкой, это, напротив, представляется мне явлением благоуханным...

Но если эта же женщина пытается убедить собравшихся в том, что обозначенное явлением благоуханным — плод общественно-разгулявшегося воображения, здесь уж поневоле приходится прибегать к крайним мерам.

В этот миг я походил на Демосфена, я выражал сквозь зубы интересы большинства. Я это чувствовал, — толпа с удовольствием скандировала лейтмотив моей речи: «По зубам ее, стерву... По зубам...»

Но бить ее не решались — разве же можно без опасения даже приблизиться к балтийскому матросу. Значит, я ошибался, принимая его за столетнюю женщину. Мне просто казалось... По утрам меня интересует только кажущееся... Мы раскланялись...

Он отрекомендовался мне «апологетом» человеческого бесстыдства, он не фантазирует по утрам... С недавнего времени он

всеми признанный порт пяти морей и крупнейший железнодорожный узел... Он падает на землю и дергается... Ну конечно, он сумасшедший, это все понимают...

Если он в бреду даже речь мою называет неблагородной, то какие же могут быть сомнения... Он сам это хорошо понимает, он видит, что по утрам все смеются над ним... Бедный помешанный... Он оскорблял меня...

28 мая

«Сыннок... ты меня обижаешь... я тебе подношу, как брату кровному... Как сыну своему подношу... А ты даже от своего... кровного... не хочешь принять...

Тты думаешь, я тебя просто напоить хочу... Чтобы ты напился да извиняться стал... Скверные, значит, у тебя... мысли... если ты так думаешь... Не за что передо мной извиняться...

Я ссам, если хочешь... извиниться могу... что в воскресенье ругаться с тобой хотел... Если б не баба, мы бы с тобой поругались... по-хорошему... Она тебя любит, моя баба... Все хочет, чтобы ты ей стихи писал...

А от меня, проститутка, стихов не дождется... я уже дураком давно не был... Муж, значит муж... Расписаны — и все, никаких стихов... Прихожу в любое время... Если дает — ебу... Нет — ухожу к ебаной матери... Как будто у меня других блядей нет... Ты думаешь, я с одной ногой — так и блядей не найду... Блядей я всегда найду, еби только, успевай...

А тты — э-э-эх! — к бабе моей прилепился, стихи ей пишешь... Ппоэт... девятнадцатого века... Хе-хе-хе... Наверное, любишь, когда она перед тобой заголяется... Все это она хочет, чтобы ее молоденький лизал со всех сторон... Так жопой и завертит... от удовольствия...

Да ты не обижайся... Она хорошая баба... Она тебя не обидит... всегда, что надо, поесть сготовит... Ты как сын у нее, на всем готовом, только пои ее больше... Она, когда немножко выпьет, так сама бросается на шею, плачет... Так прямо и ложится под тебя...

Э-ох-хо-хо-хо! Люблю я тебя, паренек, так бы вот прямо взял и расцеловал... А? Хе-хе-хе-хе... Поэт! Настоящий поэт!.. Не знаменитый, ну — ничего... ничего...

Выпей еще грамм сто... вот уже и знаменитый... Пьяному море, как говорится, по самые пятки... Сейчас вот допью — пойду по блядям... Первым делом — к бабе пойду... Если дойдет дело до того, что выгонять будет... угроблю на месте...

В прошлое воскресенье тоже пришел навеселе... Хорошо, что еще успела дверь закрыть... а то было бы дело... я уж сколько раз

из-за нее на пятнадцать суток садился... Все ей грозил, проститутке — погоди! отсижу, приду, — места мокрого не оставлю... Не все ли равно, за что сидеть...

А все жалею... Как посмотрю на нее, что она плачет... сразу жалею...»

А. М. 28/V — 57 г.

29 мая

Главное — хранить полнейшее спокойствие и заблудших отвести от самоубийства.

Сначала попробовать убедить: нет ничего безвыходного...

Если не поможет — напиться, успокоить материально...

А «желанный» пояс окропить святой водой...

30 мая

Ммилые вы мои!

Да ведь я точно такой же!

Помните? — когда похолодало двадцатого марта, ведь и я закрывался рукой от ветра, отворачивался, хотел, чтобы теплее было!

А потом прятался под одеяло, согревал руки, и, когда жаловались на холод, говорил, стиснув зубы: «Это хорошо... Мне нравится, когда так... бывает».

Говорил совершенно серьезно — и жался к теплому радиатору! Ругался, когда кто-нибудь открывал дверь и озябшим голосом просил папиросу!

Теперь немного теплее. И все равно говорят озябшими голосами, вздрагивают у проходной, а на холодные радиаторы смотрят угрюмо, наверное, считают их виноватыми.

Мне тоже холодно. Я тоже вздрагиваю.

Им не нравится холод. А мне — ...

31 мая

Ну, как это можно лежать в гробу? Так вот просто и лежать?

Хоть бы покрыли чем... А то ведь я выдать себя могу. Нечаянно дрогнет рука или... еще что-нибудь. Хорошо это лежать мертвому, ему и не стыдно, что он лежит. Да и рука у него не дрогнет... или еще что-нибудь.

А меня вроде как будто на смех положили. Положили и ждут, когда я разоблачу себя... Пошевелюсь или вздохну...

И глаза открыть нельзя... Откроешь — а они все стоят и на тебя смотрят...

Мертвому, например, все позволяется... Мертвый может и с открытыми глазами лежать. Все равно не увидит никого... Ему

кажется, наверное, что и на него никто не смотрит... Потому и не стыдно ему... И закрыть глаза — может... Даже полагается, чтобы мертвый в гробу все время глаза закрывал...

«Граждане! Если я посмотрю на вас — вы смеяться не будете?.. А?..»

Странно, почему все молчат... Думают, наверное, что я и в самом деле мертвый, а просто из себя строю этакого... разговорчивого... Как будто это очень мне интересно — откидывать перед ними коленца да потешать их...

«Граждане! А я все-таки открою! И глядеть на вас буду!.. Вам это даже интересно будет. Мертвый, а глядит... Хи-хи... В платочки будете фыркать. А потом пойдете и будете всем рассказывать: «Мертвый, а глядит...»

Ну, а теперь они и подавно будут говорить, что я умер: открыл глаза, а ничего не вижу. Совсем не так, как в темноте. Если в темноте приглядеться, так сначала увидишь просто контуры... А потом и самые лица разглядишь... Узнаешь тех, кого видел раньше... Моргнешь им или лягнешь ногой... А ведь здесь не только контуров — самой темноты... Самой темноты не видно.

Бывает, что человек проснулся, открыл глаза — а не видит... Но ведь это во сне так бывает... А ведь я и не думаю спать. Я же знаю, что на меня смотрят...

«Граждане! А что, если я на другой бок повернусь?.. И вообще — буду поворачиваться, песни революционные петь, кричать буду?.. Вы ведь тогда отвернетесь?.. Да?»

Смеются... Это они, наверное, над «революционными песнями» смеются... Зря я это сказал... Мне даже самому неловко. Нужно им было что-нибудь поумнее сказать, чтобы подумали: «Умный, а ведь в гробу лежит. Стало быть, умер».

А ведь это очень трудно. Лежать в гробу, чувствовать, что ты ослеп, — и умное говорить. Это очень трудно.

«Упокой, господи, душу новопреставленного раба твоего!.. Граждане! Вы не думайте, что я верую в бородатого бога! Бог всюду сущий и единый!..»

Вот, мол, какой я умненький.

«А все, что я говорил до сих пор, — вы тому не верьте. Все по незнанию, по недомыслию... Потому что непривычно мне здесь... В воздухе как будто кухонный запах. И смотрят все. Смотрят, а не говорят ничего. Страшно...»

Да мне и действительно страшно.

«Граждане! Если среди вас есть хоть один слепой — он поймет меня. Я ужасно люблю слепых! Я еще в детстве хотел, чтобы

все были слепые, чтобы у всех были сомкнутые веки... А если у кого-нибудь глазное яблоко раздвинет веки, так это считать злокачественной опухолью, помочь ему...»

Фу, какую я глупость сказал!..

Я даже чувствую, что начинаю краснеть. Странная у меня привычка! Когда я начинаю краснеть, то краснею все больше и больше. И уже никакой хладнокровностию себя остановить не умею...

Хоть бы покрыли чем... А то ведь могут подумать: «Притворщик, мертвые не краснеют». Ну, хоть бы саваном, что ли...

«Граждане! Вы бы уж покрыли меня, а то ведь я покраснел... так вы увидеть можете».

А под саваном и чихать позволяется.

«Так уж лучше не видеть меня... Со святыми упоко-о-ой...»

7 июня

«Матерь Божия!»

«Девственница Мария!»

«Богородица пресвятая!»

«Заступница-матушка!»

Триумвиров не нужно!

Ниспошли мне, что ниспосылала!

Убавь еще немного!

8 июня

Если вас оттесняют на исхоженный тротуар, держитесь правой стороны.

Если вы просветляетесь в мыслях — засоряйте свой разум.

Если вы чувствуете непреодолимую симпатию к находящейся в пределах земного вещи, уничтожьте ее.

Если это деньги — сожгите их.

Если это человек — толкните его под трамвай.

Если это дама — привяжите ее к стене и вбейте ей клин.

Убедите себя, что отвращение — самое естественное отношение к предмету и что на поверхности вашей планеты не должно быть ничего, к чему бы вы чувствовали влечение.

Убедите себя, что гораздо благороднее — мыслить представлениями об уже не существующем.

Если же стечение обстоятельств отрекомендуется вам Роковым для вас самих и вынудит вас покинуть земное, — уходите спокойно, с ясностью во взоре и в мыслях.

Уходя, гасите свет.

9 июня

Наверное, завтра меня свезут в сумасшедший дом... Все равно она ласковая... И у нее красивая грудь... Пшеницына тоже была такая... Обломову нравились локти... Он всегда смотрел на нее... Это помогает...

10 июня

«Э-э-эх, Венька, Венька! Хоть мне и горько признаться, а я в тебя потерял всякую веру.

В марте я просто-таки тобой восторгался, ожидал, что из тебя получится чуть ли не великий человек... В апреле как-то равнодушно к тебе относился, но все-таки надежды не терял...

А теперь... вообще махнул на тебя рукой... Гиблый ты человек, конченый...

Я думал, ты бросишь пить, а оказалось наоборот... Ты еще больше пьешь... Да и обстановка здесь дикая, на тебя влияет... Ты же здесь просто задыхаешься, Венька!

И зачем только ты от нас ушел... Вспомни-ка, как было все хорошо... весело... Тебе, наверное, сейчас кажется, что ты выбился куда-то в сторону и остановился на месте, а все остальные живут... им по-прежнему хорошо...

А ты все катишься вниз. Не знаю, когда же будет предел.

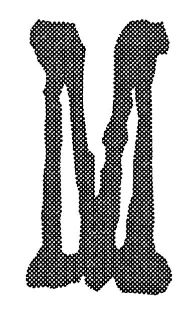
Э-э-эх, Венька, Венька! Сколько раз я тебе говорил, еще и в прошлом году: опомнись, Венька, опомнись! — ты все смеялся.

А теперь уже поздно».

Валерий С. 10/VI-57 г.

ДНЕВНИК
11 июня — 16 ноября 1957 г.

ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА. V (ОКОНЧАНИЕ)



11 июня

еня похоронили на Ваганьковском кладбище.

И теперь я тщетно пытаюсь припомнить мелодию похоронного марша, которая проводила меня в землю.

Иногда мне кажется, будто марша и не было, й сопровождавшие гроб двигались неохотно, поминутно оборачивались, словно ожидали, что откуда-то сзади с минуты на минуту раздадутся рыдающие оркестровые звуки...

И не дождавшись, отступали, расходились...

Я был слишком мертв, чтобы выражать к этому отношение. Отчего-то думалось, что равнодушие к удаляющемуся гробу было следствием тягостной, непрекращающейся тишины.

До сих пор всем им движение времени представлялось как движение вечных, сменяющих друг друга мелодий.

А теперь...

Тишина словно оглушила сопровождавших. И самому мне казалось, будто гроб остановился вместе с временем.

Остановился и тяжестью всеобщей пустоты «захватил» мне дыхание...

Стало душно...

А сверху на крышку гроба что-то падало... сыпалось через щель между досками... не нарушая тишины...

Я словно чувствовал шуршание песка и ритмические удары по кровле моего последнего приюта. И — может быть, это была просто фантазия оглушенного человека, — но скупые и однообразные звуки преображались для меня в дивную мелодию.

Может, те, что стояли наверху, не слышали ее, хотя сами и извлекали ее из тишины... но для человека, у которого каждое психологическое состояние сопровождалось и выражалось внутренней музыкой, любое нарушение душной тишины может казаться музыкальным аккордом... тем более, что тишина для него вечна...

И у него даже отнята способность вспоминать, хотя воспоминания должны были бы стать единственным его уделом...

Несправедливость эта меня не тревожила.

Я напрягал свои чувства, вслушивался, словно бы я и не потерял способности вслушиваться во что-нибудь, кроме своей глухоты...

Я знал, что это не стук и не шелест песка... а самая удивительная из всех мелодий — тишина...

Но я уже ничего не слышал.

14 июня

Ну, какая может быть скорбь?..

Если даже я и «скорблю», предположим, так не должен же я путем выражения той же самой «скорби» хвастаться своей полнотой душевной!

Заметьте — я совершенно нормальный! Но величайшее удовольствие для меня — жалость по поводу того, что былое «не будет». И если скорбь доставляет мне удовольствие, почему же я должен видеть плохое в смерти своих близких?

«Скорбеть» по умершему для меня значит просто жалеть о том, что жизнь человека, смертию доставившего мне «скорбную радость», оборвалась этой же самой смертью. Стало быть, я жалею только о том, что мне приходится жалеть. Я сам вызываю жалость — и если бы я не черпал в ней наслаждение, она была бы мне не нужна, и, следовательно, ее не было бы.

«Скорбящий» по поводу смерти кого бы то ни было, я гораздо более жалею себя, чем умершего. Я разговаривал с покойником, слышал, видел его; мои восприятия, им заполненные, — часть моего существования. Потому в смерти его я вижу утрату собственную.

Смерть человека постороннего точно так же может вызвать сожаление — но будет искренним оно только в том случае, если жалеющий «встанет в положение» умирающего или осиротелых чадушек его. Стало быть, единственным объектом моей жалости могу быть только я сам.

Смерть человека, тем более близкого мне, — лишний предлог для того, чтобы доставить себе радость слезной жалостию к самому себе.

Еще раз заметьте — я совершенно нормальный! Но для чего я на людях буду выражать свою жалость, если это будет восприниматься просто как хвастовство тем, что я позволяю себе слишком много удовольствий!

16 июня

«Капризная Tyche*» слишком ко мне благосклонна, в том смысле хотя бы, что никогда не оставляет меня.

Игривость ее заходит иногда слишком далеко.

Мне посчастливилось, например, уйти из университета вовремя только потому, что книжные ларьки в г. Кировске в 3 часа пополудни закрываются на обеденный перерыв. Совершенно без преувеличения.

Больше того — если бы они, эти ларьки, закрывались бы по пятницам на замок, мне никогда бы не пришлось даже покидать Хибинские горы.

30 апреля прошлого года не считается днем моей безвременной кончины только потому, что красный уголок черемушкинского общежития был этим вечером в запустении. Был же он в запустении в силу того обстоятельства, что буфет пополнился в тот день двумя ящиками первоклассных сарделек. Обстоятельство, внешне прозаическое, избавило меня от траго-романтической смерти.

Но с тех пор, в минуты крайнего пессимизма, острие моего негодования направляется на расторопность всех без исключения буфетчиц, виновных в продолжении моего тягостного существования.

Это еще не все. Если бы утром 3-го мая прошлого года в программу радиоконцерта была бы внесена одна маленькая поправка, мне пришлось бы краснеть вплоть до февраля нынешнего года.

Если бы в феврале был более лукав бухгалтер нашего треста, мне понадобилось бы в тот же день лечь, не раздеваясь.

Мало того — отец мой скончался именно в июне только потому, что Шаболовка не залита асфальтом. Как это ни фантастично — но это действительно так.

И если бы стромынские туалеты были расположены не в местах общественного просмотра газет — у меня никогда не хватило бы духу начинать свои «Записки» и, следовательно, жаловаться на капризы могущественной богини случая!

Что уж там наполеоновский насморк!

* Тихе — божество случая в греческой мифологии. — *Примеч. В. Муравьева.*

17 июня

Удивительный человек. Бездарь. Гений. Оригинал. Слишком мрачный человек. Самый веселый из всех людей. Поэт. Чудак. Скрытный человек. Лодырь. Слишком длинноязыкий. Обломов. Страшно трудолюбивый. Самый непонятный человек. Хулиган. Тихоня. Политический преступник. Книжный червь. Анархист. Идиот. Философ. Пьяница. Младенец. Дубина. Студент прохладной жизни. Человек, который не смеется. Вертопрах. Весельчак. Сволочь. Душа-человек. Прекратите гнилую демагогию. Вот кого надо перевоспитывать. Ужасно интересный тип. Вы будете замещать воспитателя. Я хочу быть твоим товарищем. Черт знает, что у тебя на уме. Давайте, будем друзьями. Я буду твоим комсомольским шефом. Темный человек. Будем знакомы. С тобой интересно разговаривать, у меня теперь все мысли переворачиваются вверх дном. И прочее. И прочее. И прочее.

25 июня

Валерий Савельев — со всеми существующими жанрами танцевальной музыки.

Лидия Ворошнина — с «Половецким хором» Бородина.

Владимир Муравьев — с «Поэмой экстаза» Скрябина.

Владимир Бридкин — с куплетами и серенадой Мефистофеля.

Нииия Ерофеева — с «Цыганской песней» Верстовского.

Антонина Музыкантова — с Равелем и 1-ой частью 1-ой симфонии Калинникова.

Тамария Ерофеева — с романсом Листа «Как дух Лауры...» и пр.

Борис Ерофеев — популярные советские песни.

Александра Мартынова — «Интермеццо» Чайковского.

Все остальные — с песенками Лоубаловой.

Июль

Я начинаю злиться.

— Господа, разве ж вы не видите, что он больной?

— Вы, молодой человек, не вмешивайтесь.

— Ах, господа, я вмешиваюсь не потому, что мне доставляет удовольствие с вами разговаривать.

— Ну, так и...

— И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы вы оставили его в покое и удалились.

Они пожимают плечами: странный человек... он сам напрашивается...

— А все-таки интересно, где же это вы научились такому обращению?

— Не знаю... По крайней мере, меня интересует другое — чем этот бедный Юрик заслужил такую немилость?

— Все очень просто, молодой человек, — он целый год не плотит за комнату, а мы не имеем права держать в общежитии таких, которые по целому году не плотят!

— Все это очень хорошо, господа, но вы поймите, что этому человеку платить совершенно нечем.

— Нас это не касается, мы предупреждали его полгода, но он все-таки никак не хочет...

— Как то есть — «предупреждали»? Сколько бы вы его ни предупреждали, от этого работоспособность к нему не вернулась. Поймите, что он болен, и бюллетень ему не оплачивают, потому что до болезни он проработал меньше года. Он уже целый год питается только черным хлебом, а вы не забывайте, что этот мальчик — туберкулезный больной, которому строго наказано соблюдать диэту.

Они смеются... они не желают меня понимать... Взгляды их выражают снисхождение к моей глупости.

— Родные у него есть, они ему помогают, значит, и уплатить могут...

— У него всего-навсего один брат...

— Но ведь он ему помогает...

— Он высылает ему по сотне в месяц, он сам получает 600 рублей и на них содержит семью...

— Молодой человек, вы, наверно, думаете, что мы сюда пришли разводить с вами философию... В ваших вон этих книжках, может, написано, что это и плохо... а надо видеть не только книжки, но и понимать... А то вы здесь, наверно, и капитализм скоро будете защищать...

— Милые люди, я не собираюсь защищать капитализм, речь идет всего-навсего о защите Юрика, а он так же далек от капитализма, как вы, извиняюсь, от гениальности...

Они снова не понимают меня и смотрят на меня вопросительно-весело... Они ужасно любят шутов, им нравится, когда их развлекают... А то ведь жизнь — вещь скучная... работа в бухгалтерии... жена, дети... сливочное масло... зевота... А тут — есть над чем посмеяться, блеснуть былой образованностью...

— Вы, молодой человек, никогда не интересовались, как я вижу, постановлением Московского Совета...

— Совершенно верно, я не интересуюсь ни постановлениями Московского Совета, ни женскими календарями, ни...

— Вот тогда бы вы поняли, наверно, что ваша философия совсем здесь не у места. Савостьянов, одевайтесь и собирайте свои вещи...

— Юрик, лежи спокойно...

Вспоминается Абрамов... Сейфутдинов наклоняется к ногам его и подбирает свои рукавицы... на лице его — жалкая улыбочка, словно бы ему и улыбаться стыдно... Абрамов пододвигает ему рукавицы ногой... Ему очень хорошо... Он испытывает физическое наслаждение, близкое к половому... еще бы только ударить ножкой по сейфутдиновской физиономии...

Юрик встает, силится сдержать слезы... Он совершенно неграмотный... он улыбается...

— Ну-с, господа, теперь я уверен, что вот этот графин «встанет на защиту человеческой гуманности».

— Как вы сказали?..

— Я ничего не сказал, у меня просто есть желание наглядно, так сказать, продемонстрировать достижения нашей стекольной промышленности.

В дверях негодует толпа... Старушки вздыхают: «Куда ж он пойдет...», «Больной же...», тупая молодежь смотрит на меня весело... они, как и конторские служащие, любят разнообразие... А то ведь, опять же, — скучно...

— Вам вредно пить, молодой человек, и рассуждать вам рано еще... а то ведь мы с вами и без милиции справимся...

— Даже?

— Представьте себе. Вы думаете, что, если мы работники умственного труда, так у нас нет и кулаков...

— Да, но ведь кулаки есть не только у работников, с позволения сказать, умственного труда...

— Значит, вы хотите с нами драться... так, что ли?..

— Не знаю... мне почему-то кажется, что хочет драться тот, кто первый напоминает о существовании своих кулаков...

Теперь они хорошо меня понимают... И даже тугая на соображение толпа мне симпатизирует... Это хорошо...

— А вы остроумный... вам бы только в армию идти на перевоспитание... У меня в полку и не такие хулиганы были, а выходили шелковые...

— Да... но тем не менее Юрик останется здесь...

— Юрик, может быть, здесь и останется на ночь, а мы с вами пройдемся...

— Ах, господа, если бы вы знали, как мне надоели уже эти субъекты в мундирах цвета грозового неба...

— Вам, может, и Советская Власть надоела? Пройдемте, пройдемте... Времени у меня очченъ много...

— А у меня ровно столько же — терпения. Всегда пожалуйста.

6 августа
«Я взглянул окрест себя...»

«...и, потирая руки, засмеялся, довольный».

9 августа
Лексические эксперименты Мартыновой заслуживают самого пристального внимания. Тем более, что от способа выражения нежных чувств зависело разрешение актуальнейшего вопроса: «кому из трех быть фаворитом?»

Приводим «образцы» всех трех.

1. «Здравствуй, милая Сашенька! Я пишу Вам письмо с большого расстояния, и оно еще раз вам напомнит мои слова о том, что любовь убивает неразделенность, а не расстояние. Вы, наверное, понимаете, Сашенька, что я имею в своем виду.

Теперь, когда Вы так «далеко от Москвы», я еще больше, поверьте мне, думаю о Вас, как Вы были на моих именинах в своем цветном платке, и косы были у Вас тогда, как у девушки, и тогда снова бьется мое сердце и обливается кровью за Вас.

Ведь без Вас я как будто без сердца и без души. Я еще не стар, милая Сашенька, и моя любовь, которую, быть может, Вы отвергнете, ждет Вашего ласкового слова. Вашего чувства ко мне я не могу предугадывать, а Вам мое, без сомнения, хорошо понятно. И когда я в тяжкой разлуке, не слышу Вашего милого голоса, я тревожусь за судьбу своей любви, быть может, последней. По всей вероятности, и Вы тоже тревожитесь за нее, но предугадывать я не могу, и в заключение шлю вам прощальный привет в надежде получить от Вас желанный ответ. До свидания. Твой раб Александр Коростин».

2. «Любимая Саша! Итак, прощай, все кончено меж нами, любить тебя я больше не могу, любовь свою я заглушу слезами, за счастье прошлое страданьем отомщу. Я быть твоей игрушкой не желаю, прошу тебя, ты слышишь, только тебя об этом как друга умоляю, не вспоминай меня ни насмешкой, ни добром. Я ведь не заслужил твоих насмешек, не знаю, чем мог тебя я огорчить, я признаюсь, что раньше я любил Вас, ну, а теперь приходится забыть. Итак, прости, нам нужно расстаться, причины не ищи, так, видно, нам судьба, но время прошлого останется друзьями, мы расстались, но это не беда. Быть может, я страдать и плакать буду, я, может быть, ошибся глубоко, пройдут года, и я тебя забуду, забудь и ты меня и лучше не пиши. Итак, прощай. Предмет твоих насмешек, а может быть, любви — Коля С.»

3. «Уважаемая А. М.! Спешу принести вам тысячу поздравлений в связи с тем, что в последнем вашем письме кол-во грамматических ошибок уменьшилось втрое.

Осмелюсь далее заявить, что мое пламенное послание займет не больше, как страницу, ибо соревноваться с вами в объеме (я имею в виду объем письма) признаю себя бессильным. Позволю себе попутно сообщить, что ваш отъезд вверг всю мужскую половину 4-ого Лесного переулка в состояние нежной меланхолии, меланхолического томления, томительной нежности, томительной меланхолии, меланхолической нежности etc., etc. Остроумный ваш супруг наедине со мной не раз варьировал эту тему в таких красках, что даже вы, А. М., внимая «им», покраснели бы (опять же — имеется в виду ваша всегдашняя бледность). И вообще, смею вас заверить, супруг ваш гораздо более достоин той груды ласкательных эпитетов, которыми вы в последнем своем письме совершенно некстати меня наградили.

В довершение позволю себе наглость пасть перед вами ниц и пр. и пр.

Имею честь пребыть: Венед. Ер.»

22 августа

Лежа в постели, выкурить 2 папиросы и поразмыслить одновременно, достойна ли протекшая ночь занесения в отроческие мои «Записки». Если все-таки достойна — выкурить третью папиросу.

Затем подняться с постели и послать заходящему солнцу воздушный поцелуй; дождаться ответного выражения чувств и, если такового не последует, выкурить четвертую папиросу.

С наступлением сумерек позволить себе легкий завтрак: 500 г жигулевского пива, 250 г черного хлеба и 2 папиросы (по пятницам: 250 г водки, литр пива и, добавочно к хлебу, рыбный деликатес). В продолжение завтрака следить за потемнением неба, размышлять о формах правления, дышать равномерно.

Последующие три часа затратить на усвоение иностранного языка, в перерывах — стричь ногти, по одному ногтю в каждый перерыв.

По окончании занятий повернуться лицом к северо-западу и несколько раз улыбнуться. Выпить 500 г пива, лечь в постель; лежать полчаса с закрытыми глазами (по пятницам один глаз дозволяется приоткрыть). Думать при этом о судьбах какой-нибудь нации, например, испанской, и находить в современной жизни ее — симптомы упадка.

Встав с постели — пройтись по засыпающей столице; каждой встречной блондинке говорить «спасибо» и стараться при этом удержать слезы; на поворотах икать и думать о ничтожном:

о запахе рыбных консервов, о тщеславии Карла IX, о вирусном гриппе, о невмешательстве и т. д. Одним словом, казаться на людях человеком корректным и при грудных младенцах не сморкаться.

Придя домой, позволить себе до полуночи умственный отдых и скромный обед: 500 г пива и 450 г жареных макарон (по пятницам — 150 г водки, 500 г пива и, добавочно к макаронам, рыбный деликатес). Закончив обед, пожалеть кого-нибудь и внимательно на что-нибудь посмотреть.

Четыре послеобеденных часа заполнить литературным творчеством и систематизированием человеческих знаний. По возможности воздерживаться от собственных мнений, которые мешают нормальному протеканию пищеварительного процесса.

Ночные занятия сопровождать умыванием и закончить элегическим возгласом, вроде: «Какие вы все голубенькие!» или просто: «Маминька!»

Наступление рассвета встречать обязательно разутым, чисто вымытым и лежащим на полу. Так, чтобы первые утренние лучи падали под углом 45 градусов к плоскости моего затылка. Поднявшись затем, отряхнуться и послать восходящему солнцу воздушный поцелуй (по пятницам — добавочно к поцелую, рыбный деликатес).

Не дожидаясь выражения ответных чувств, углубиться в дебри своего мировоззрения, подвергнуть тщательному анализу свои отношения ко всем нравственным категориям: от стыдливости до насморка включительно. Затем обуться и выйти к ужину.

Ужин должен быть строго диэтическим, и выходить к нему необходимо в нагрудной салфеточке и с ваткой в ушах. Ужин — своеобразная кульминация суточного режима, поэтому в продолжение его следует держаться правил приличия: смотреть на все с проницательностью и живот не почесывать.

Закончив ужин, вынуть ваточку из ушей и тщательно проутюжить салфеточку (по пятницам ваточку из ушей следует вынимать при потушенном свете).

Приготовления ко сну начинать непосредственно после ужина.

Встав навытяжку перед постелью, пропеть тоненьким голосом моцартовскую колыбельную, — и уже после этого раздеваться. Ложиться следует так, чтобы затылок, ноги, живот и нервная система были вверху, а все остальное — внизу (по пятницам ноги должны быть внизу).

Засыпая, воздерживаться от размышлений и от будущих сновидений ожидать достойности.

25 августа

«Почтим, — говорю, — мою память вставанием...» А сам плачу; стою, руки опустив, и плачу... «На кого же я меня покинул», — говорю; а потом поправляю себя с улыбкой: «Не меня, а себя... покинул...» И так хорошо улыбаюсь, слезы по лицу размазываю... и шепчу, уже просветленный...

«Царствие мне небесное!..»

Сентябрь

Речь К. Кузнецова на открытии театрального сезона в «Обществе любителей нравственного прогресса».

«Господа! (Аплодисменты.) Каждый из нас по-разному понимает те задачи, которыми мы должны руководствоваться в нашей деятельности. Нужно помнить, что наша основная задача — свести все эти задачи к одному — к борьбе. Но какая это борьба, господа?

Все мы беспрерывно боремся: утром — с зевотой, днем — с бюрократизмом и вспышками преждевременной страсти, вечером и ночью соответственно с отчаянием и половым бессилием. (Аплодисменты, возгласы: «Наверно, у Венедикта содрал!»)

В Америке происходит борьба за существование, в России — борьба за сосуществование. (Аплодисменты.) Но главная борьба в наше время — это борьба за нравственное возрождение человечества! Почему в наше время каждый второй мужчина — алкоголик? Почему в больнице Кащенко не хватает коек для сумасшедших? Почему призывники 35 года* полегли тысячами в Венгрии? За что в наших ребят-призывников бросают камни в освобожденных странах? Разве мы, молодежь, виновата? (Аплодисменты.) В таком случае — долой тишину и все это гробовое спокойствие! Мы — защитники нравственного прогресса! Наша главная задача на первом этапе — бить стекла! (Бурные аплодисменты.) Срывать всякие вывески, вроде «Соблюдайте чистоту» и так далее! Наша вторая задача — устраивать шум и бардак — везде, где требуется тишина! Мы должны гордиться тем, что мы пушечное мясо! Нам никто не посмеет затыкать рот! (Аплодисменты.) Нас пока четверо! Почетный член нашего общества — Венедикт! (Аплодисменты.) Это, значит, уже пять! Будет еще больше! Мы — не хулиганы! Мы — революционеры! (Бурные аплодисменты, возгласы: «Сте-о-окла-а!»)».

1 октября

По мере приближения к острову я все более и более удивлялся. Я опасался быть оглушенным хлопаньем миллионов крылий

* 1935 года рождения. — *Примеч. В. Муравьева.*

и разноголосым хором миллиардов птичьих голосов, — а меня встречала убийственная тишина, которая и радовала меня, и будила во мне горькие разочарования.

Ну, посудите сами: вступать на берега «Птичьего острова» и не слышать соловьиного пения! — это невыносимо для просвещенного человека. Тем более, что в продолжение всей церемонии «встречи» и на пути следования от аэродрома к отведенной вам резиденции вы поневоле вынуждены скрывать в себе свое разочарование и интернационально улыбаться.

Впрочем, любезная обходительность встретившего меня пингвина избавила меня от неискренности. А обращенные ко мне взгляды попугаев, до нежности снисходительные и до трогательности нежные, заставили меня улыбаться с совершенной естественностию.

Я был настолько растроган, что даже приветственная речь пингвина, затянувшаяся, по меньшей мере, на час, не показалась мне чрезмерно длинною. К тому же она несколько обогатила мои знания в области истории «Птичьего острова».

К крайнему моему удивлению, я узнал, что Горный Орел отнюдь не был родоначальником царствующей фамилии — он был всего-навсего последователем Удода. Однако деятельность Удода не заключала в себе ничего из ряда вон выходящего; да и скончался он в непогожую пору — одни лишь зяблики да снигири мрачно шествовали за гробом к заснеженному кладбищу.

И только тогда-то, в дни «безутешного траура», освобожденные пернатые впервые почувствовали на своих головах освежающее прикосновение орлиных когтей.

Нет, он тогда еще не был страшен, этот Горный Орел. Чувствовалось, что в его величественной птичьей голове еще только «гнездились» смелые замыслы, в его клекоте еще не слышно было угрожающих нот, — но орлиные очи его уже в ту пору не предвещали царству пернатых ничего доброго.

И действительно — не прошло и года, как начался культурный переворот, который прежде всего коснулся области философской мысли «Птичьего острова».

Уже издавна повелось в мире пернатых, что всякий, имеющий крылья, волен излагать основы своего мировоззрения в соответствии с объемом зоба и интеллектуальности.

Вороны беспрепятственно карр-кали.

Декадентствующие кукушки элегически ку-ковали.

А склонные к эклектизму петушки ку-карр-екали.

И в этом не было ничего удивительного. Даже выражение крайнего пессимизма считалось явлением вполне легальным. Так,

еще в годы царствования двуглавых орлов одна из водоплавающих птиц перефразировала известное человеческое выражение, и с тех пор поговорка «Птица создана для счастья, как человек для полета» стала ходячей. В те годы даже мы, не говоря уже о водоплавающих птицах, не могли предвидеть «бурного развития реактивной техники», — и потому тогдашние птицы воспринимали поговорку как выражение убийственного скепсиса.

Тем не менее все было дозволено.

Но, как известно, чувства орлов, а тем более — горных — чрезвычайно изощрены: там, где обыкновенный пернатый слышит просто кудахтанье, горный орел может довольно явственно различить «автономию» и «суверенитет».

Потому и неудивительно, что «вскормленный дикостью владыка» первым делом основательно взялся за оппозиционно настроенных кур.

Операция продолжалась два дня, в продолжение которых все центральные газеты буквально были испещрены мудрой сентенцией: «Курица не птица, баба не человек». Оппозиция была сломлена.

Вместе с ней уходило в прошлое поколение великих дедов. Погиб проницательный Феникс. На соседнем острове, носящем чрезвычайно глупое название «Капри», скончался последний Буревестник. На смену им приходили полчища культурно возрождающихся воробьев.

А Горного Орла между тем мучили угрызения совести. И день, и ночь в его больном воображении звенело предсмертное куриное: «Ко-ко-ко». Временами ему казалось, что все бескрайнее птичье царство надрывается в этом самом рыдающем «Ко-ко-ко».

И Горный Орел издал конституцию.

Вся суть которой сводилась к следующему:

а) все дождевые черви и насекомые, обитающие в пределах «Птичьего острова», объявляются собственностью общественной и потому неприкосновенной;

б) официально господствующим и официально единственным классом провозглашаются воробьи;

в) дозволяется полная свобода мнений в пределах «чик-чирик». Кудахтанье, кукареканье, соловьиное пение и пр. и пр. отвергаются как абсолютно бесклассовые. В вышеобозначенных пределах вполне укладывается миропонимание класса единственного и потому наиболее передового;

г) государственным строем объявляется республика, соединенная с революционной диктатурой; последняя, как явление временно необходимое, носит исключительно семейный характер.

Свежепахнущие номера конституции были распроданы в три дня. И один уже этот факт свидетельствовал о наступлении «золотого века».

Но враги не дремали.

Скрежетали зубами от агрессивной злости невоспитанные «заморские страусы». Страшным призраком надвигающейся катастрофы доносилось с запада ястребиное шипение. С высоты птичьего полета можно было отчетливо разглядеть за мерцающей далью странное передвижение птичьих стай, агрессивных по самому своему темпераменту.

И гроза не замедлила разразиться.

«Птичий остров» облачался в мундиры. На скорую руку реорганизовывалась индустрия.

— Ворроны накарркали!! — судорожно сжимал кулаки Горный Орел. Однако перед частями мобилизованных воробьев попытался преобразиться в «канарейку радужных надежд»:

— Снова злые корршуны заносят над миром освобожденных пернатых ястребиные черрные когти! Будьте же орлами, бесстрашные соколы! Ни пуха вам, ни пера!

Военный оркестр грянул «Лети, лети, мой легкокрылый». Воинственно нахохлились воробьи и стрижи. То и дело раздавались возгласы:

— Дадим им дрозда!

Прощающиеся жены попробовали затянуть популярную в то время песенку «Крови жаждет сизокрылый голубок». Но от волнения произносили только:

— Кррр!

Поговаривали даже, что «сраженный воробей» своей парадоксальностию несколько напоминает «жареный лед» и «птичье молоко». Оптимизм обуял всех. И от избытка его многие дышали учащенно.

С неколебимой верой в правоту своего дела и с годовым запасом провианта улетали на запад возбужденные стаи. В пахнущем кровью воздухе звучало супружески-прощальное, наивно-трогательное:

— Касатик ты мой! Весточку хоть пришли... голубиной почтой...

— Ласточка ты моя! Горлинка!

— Соколик мой ненаглядный!

— Проща-ай, хохла-а-аточка!

А оттуда, с запада, неслись уже странные, доселе не слышимые звуки. Что-то, как филин, ухало и, как сорока, трещало. А по крышам опустевших гнезд забегали вездесущие «красные петухи»...

Шел уже 47-ой месяц беспрерывной, тягостной войны, когда, наконец, на прилегающих к столице дорогах показались первые стайки уцелевших освободителей. «В пух и прах, в пух и прах!» — словно бы выбивали из земли воробьиные лапки. И царство пернатых, вторично освобожденное, захлестнула волна бесшабашно-лихой воробьиной песни:

Салавей, салавей,
Пта-а-ашечка,
Канаре-е-ечка-а!

Снова, как встарь, сомкнулись «орлиные крылья» вокруг «лебединых шей» — и жизненные силы дамских прелестей, вполне разбуженные еще залпом Авроры, теперь окончательно восстали ото сна.

Не прошло и трех лет, как пернатое население острова стало жертвой нового стихийного бедствия: Горный Орел «погрузился в размышления».

Страшны были не размышления; страшны были те интернациональные словечки, в которые он их облекал и о которых он не имел «совершенно определенного понятия». Так, он еще с детства путал приставки «ре» и «де» в приложении к «милитаризации».

Будучи уже в полном цвете лет, «коронованный любитель интернациональных эпитетов» предложил произвести поголовную перепись населения «Птичьего острова». Когда ему был, наконец, представлен довольно объемистый «Список нашего народонаселения», — он, видимо, возмущенный отсутствием эпитета к слову «список», извлек из головы первый пришедший на ум; к несчастью, им оказался «проскрипционный».

Запахло жженым пером, задергались скворцы в наглухо забитых скворешниках. Специфически воробьиное «чик-чирик» уступило место интернациональному «пиф-паф».

И все-таки без особой радости восприняли воробьиные стаи весть о кончине Горного Орла. Глухо гудели церковные колокола. Окрасились трауром театральные афиши. По столичным экранам совершала последнее турне «Гибель Орла». Трупный запах и журавлиные рыдания повисли в осиротелой атмосфере.

«Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои...» — стонали пернатые; причем, грачи-терапевты с подозрительной нежностию выводили слово «сами» и рабски преданно взирали на стоявшего у гроба пингвина.

А пингвин, видимо слишком «окрыленный» мечтою, уже «парил в облаках».

Начинался век «подлинно золотой».

Мудрое правление пингвина вкупе со слоем ионосферы вполне обеспечивали безмятежное воробьиное существование. «Важная птица!» — с удовольствием отмечали воробушки и с еще большим рвением клевали навоз экономического развития.

После длительного периода сплошного политического оледенения наступили оттепели, следствием чего явилась гололедица — полное отсутствие политических трений. А гололедица, как известно, лучшая почва для «поступательного движения вперед».

Молодые и неопытные воробушки зачастую поскальзывались и падали. Их подбирали пахнущие бензином и гуманностью черные вороны. И отвозили к Совам.

«Неопытность» молодых воробушков заставляла, однако же, призадуматься и пингвина, и попугаев, и пристроившуюся к ним трясогузку. Не раз перед воробьиной толпою приходилось им превращаться в сладкоголосых сирен и уверять слушателей в том, что добродетель несовместима с бифштексом.

Доверчивые воробушки в таких случаях чирикали вполне восторженно, однако здесь же высказывали «вольные мысли» по адресу трясогузки и составных частей ея.

И вообще, следует отметить, в последнее время воробушки вели себя в высшей степени неприлично. К филантропии пингвина относились весьма скептически. И в самом выражении «бестолковый пингвин» усматривали тавтологию.

Единственное, что вызывало сочувствие у жителей «Птичьего острова», так это внешняя политика пингвина. Вероятно потому, что она была очень проста и заключалась в ежедневном выпускании голубей. Если даже иногда и приходилось вместо голубей пускать «утку» или даже «ястребки», воробушки не меняли своего отношения к внешней политике, ибо считали и то, и другое причудливой разновидностью голубей.

Все это я почерпнул, как уже отмечалось, из приветственной речи пингвина. «Растроганный до жалобных рыданий» я произнес, в свою очередь, несколько слов перед микрофоном. Я убеждал их всех, что подводное царство, коего я являюсь полномочным представителем, всегда питало к «Птичьему острову» любовь почти материнскую и даже почти сыновнюю; что к «Птичьему острову», без сомнения, обращены теперь взоры всего прогрессивного животного мира и т. д. и т. д. В заключение я выразил надежду, что в гостинице «Чайка», которая любезно мне предоставлена, я буду чувствовать себя, как «рыба в воде». Что же касается «временных недостатков», то по прибытии в свою подводную резиденцию я буду молчать, как рыба.

Вслед за этим открытая машина помчала меня к новой моей резиденции; причем, всю дорогу сопровождали меня поощрительные возгласы «Хорош гусь!», снисходительное щебетанье и восторженное кукареканье. В воздухе словно звенел алябьевский соловей, запах птичьего кала говорил о подъеме материального благосостояния. И тем не менее мне казалось, что все эти звуки и запахи сливаются в одно — в мелодию «лебединой песни».

11 октября

Пятница — синее, удивительно — синее, иногда сгущается до фиолетового, иногда отливает голубизной, но во всех случаях — непременно синее.

Суббота — под цвет яичного желтка, гладкая, желтая и блестящая; к вечеру розовеет.

Воскресенье — кроваво-красное, зимой — румяное. Если смотреть на него со стороны синей пятницы — кажется багровым, а в самом себе ассоциируется со знаменами и кирпичной стеной.

Понедельник — до такой степени красное, что представляется черным.

Вторник — светло-коричневое.

Среда — невнимательному глазу кажется белым, на самом же деле — мутно-белесоватое, за которым трудно разглядеть определенный цвет.

Четверг — зеленое, без всяких примесей.

12 октября

Честное слово, я не виноват...

Разве ж я знал, что вы уезжаете... И потом — неужели все, о чем я говорю, нужно принимать всерьез... Мало ли что я скажу, — так ведь надо уметь отличить...

Одним словом, я совсем не виноват... я никак не мог ожидать, что опоздаю... Вернее, я опоздал нарочно, но ведь я совсем не хотел опаздывать...

Да и зачем мне опаздывать, даже если бы я этого и хотел... Это же не оттого, что я сошел с ума... я совсем и не сошел с ума... у меня, наоборот, самая нежная к вам привязанность, ко всем трем...

Может, я потому и не явился на «последнюю семейную встречу», что очень нежно к вам привязан... Вы, наверное, думали, что я снова «Жаворонок» вам буду играть или хвастаться... пить водку крохотными глоточками... Вы даже специально купили мне... А потом у поезда ждали... И уже когда поезд тронулся, все ждали: ведь он сейчас прибежит... как же он может не прибежать...

А я, может, в это время проститься с вами хотел... Лежал и «хотел»... Посмеивался... Я теперь всегда смеюсь, чтобы от страха не стучали зубы... Чтоб было незаметно, что они стучат... Я, может, в это время и «Жаворонок» хотел вам играть...

Мне ведь совершенно все равно, куда идти и что играть...

А я на самом деле только к двери подходил... и говорил «Как вы смеете...» Младшего называть сумасшедшим, а потом еще «хотеть» чего-то... Вы хоть и не называли меня сумасшедшим, а я все-таки видел, что вы меня называли... Я даже к двери подходил и говорил «Как вы смеете»...

Это не оттого, что мне хотелось отомстить... Вы же ничего не говорили — как же я могу отомстить!.. Вы просто думали, что я хвастаться буду... «Жаворонок» умеет играть... как же он не прибежит... он обязательно прибежит...

Вы совсем этого не думали... Ведь нельзя же в последний раз... Самый последний раз... Нужно быть сумасшедшим...

Я даже не помню... я как будто бежал за вагонами... немножко бежал... У меня, если хотите знать, слезы были... Вот видите — даже слезы...

16 октября

Как ни расписывал Кирилл Кузнецов мой режиссерский и актерский талант, постановка «Нормы» при газовом ночном освещении кончилась блестящим провалом. Хор друидов, состоявший из членов 307-й комнаты, оказался не на высоте. И, не дождавшись кульминации спектакля, взялся за вольнодумство.

Особенно неистовствовал Якунин.

«Так что же, я, по-вашему, молчать должен? Нет уж, извините, господа, когда по радио да в газетах про рабочих всякие небылицы пишут, а здесь рабочего человека за скотину считают! Я бы этому Маркову сегодня в морду плюнул, если бы хоть немного выпил! Какое он имеет право издеваться над грязнорабочим! Что же это я, выходит, работаю, как скотина, чтобы себя прокормить, а у меня половину отбирают на заем! «Отдадим свои излишки в долг государству!» А?»

Мишенька шел еще дальше:

«Мы не живем! Мы существуем! Мы, как бараны, трудимся для хлеба и для водки, а пошлют нас, как стадо баранов, воевать в Сирию или в Венгрию, так мы и пойдем, будем резать и кричать «ура», пока нас не зарежут!»

Михаил Миронов, всегда исполнительный, восставал теперь против армейского насилия над чувством человеческого достоинства.

Шопотом выражал неудовольствие Сергей Грязнов: как это можно — работать в бетонном цехе целый месяц — и в результате не только не получить ни копейки, но даже остаться должником государства! (Факт, действительно имевший место.)

Кирилл Кузнецов с братиею восстанавливали в памяти лица расстрелянных родственников и оглашали кухонные стены великолепным «Долой!»

Виктор Глотов скрипел зубами. Он уже устал от прожектов «всеобщего благородного хулиганства».

А Ладутенко договаривался до абсурда:

«Да вы знаете, что будет, если война начнется? Да русский Иван с голоду будет подыхать! В ту войну еще как-то держались на американской тушенке, а то бы и тогда половина передохла! Вот попомните мои слова — полная измена будет! Вы думаете, что у нас это высшее командование мирно настроено! Да у них руки-то чешутся, может, больше, чем у американцев! Пусть будет война!

А то вот для чего мы живем? Ничего у нас впереди нет и ждать нечего... Пить, разве, только!..»

«Болото... болото...»

«Гасспада! Свет не включать!»

Пришествие коменданта несколько облагонамеривает романтиков и реалистов.

— Как это так — разойдись?!

— Пришибеевщина!..

— О-о-о! Комендант! Нам как раз нужен «хор друидок»!

Это — несгибаемые декаденты. Они весело изливают мрачное недовольство. Если бы ставилась пьеса Волковича, они с таким же успехом предложили бы коменданту занять вакантную должность ангела-хранителя.

— Ерофеев, уйдите из кухни! И все остальные — расходитесь по этажам!

— Поми-и-илуйте! Вы же затыкаете рты!

— Свобода мне-ений! Свобода сборищ!

— На фона-а-арь...

Пролетариат негодует. Как будто кто-то виноват, что они голодны и «выражают мнения». Меньше пить! — здравая логика. И держать язык за зубами.

— Вы знаете, что за это бывает, за ваши длинные языки?

Конечно же, они знают — и, тем не менее, завтра они снова будут здесь. Ох, уж эти пролетарии! Раньше хоть смотрели волками, но ведь не нарушали порядка в Новопресненском общежитии. А теперь добрая четверть схватилась вдруг за «достижения чело-

веческого разума», вооружилась бумагой и фиолетовыми чернилами... Этак скоро они потребуют и людского существования...

21 октября

Несколько истин, которые были мною постигнуты на девятнадцатом году моего существования:

«Всякое тело сохраняет состояние покоя, пока и поскольку оно не понуждается внешними силами изменить это состояние» (в дни прошлогодней октябрьской «горизонтальности»).

«Из двух хорд, неодинаково удаленных от центра, та, которая ближе к центру, больше и стягивает бо́льшую дугу» (в минуты мысленного сопоставления В. М. и Л. К.).

«Две параллельные прямые не пересекутся, сколько бы мы их ни продолжали» (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб А. Г. М.).

«Все тела в данном месте «падают» с одинаковым ускорением. Это ускорение называется ускорением свободного «падения» (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб Л. А. В.).

«На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной этим телом» (в час изгнания из университетского общежития).

«Выпуклая фигура, концы которой сходятся к одной точке, является «замкнутой» (по поводу А. Г. М. и А. Б. М.).

«Если в треугольнике два угла — острые, но оба они в сумме — меньше прямого, то наибольший угол данного треугольника — тупой» (по поводу савельевского острословия).

«Чтобы опрокинуть вертикально стоящее тело, достаточно довести его до положения неустойчивого равновесия» (по поводу мартыновской целомудренности).

«Звуки, «образование» которых не требует участия голоса, называются «согласными» (о пролетарской лойяльности).

«Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов» (единственное, что можно сказать по поводу будущего моего существования).

23 октября

Накануне дня своего рождения приветствую проблески жизни в святом для меня чреве. Преклоняюсь перед «очаровательной стыдливостью» будущей матери Антонины Мартыновой.

24 октября

Я — все.

Я — маленький мальчик, замурованный в пирамиде. Ползающий по полу в поисках маленькой щели.

Я — оренбургский генерал-губернатор, стреляющий из мортиры по звездам.

Я — мочка левого уха Людовика Восемнадцатого.

Я — сумма двух смертоносных орудий в социалистическом гербе. Меня обрамляют колосья.

Слово «зачем» — это тоже я.

Я — это переход через Рубикон, это лучшие витрины в Краснопресненском универмаге, это воинственность, соединенная с легкой простудой.

Я — это белые пятна на географических картах.

Надо мной смеялись афинские аристократы. Меня настраивали на программу Московского радио. Меня подавали с соусом к столу мадам Дезульер.

В меня десять минут целился Феликс Дзержинский, — и все-таки промахнулся.

Мною удобряли земельные участки в районе города Исфагань и называли это комплексной механизацией, радостью освобожденного труда и еще чем-то, чего я не мог уже расслышать.

Знаменитый водевилист Боборыкин обмакивал в меня перо, а современные пролетарии натирают меня наждачной бумагой.

Я — крохотный нейтрон в атоме сталинской пепельницы.

Я изымаю вселенную из-под ногтей своих.

25 октября

«Ничего такого особенного не было. Какой там духовой оркестр! Если бы не Маруськи Перевозчиковой муж, мы бы, наверно, и лошади не достали. А он и гроб сделал сам, с ее сестрицы денег на могилу потребовал.

Я даже мать приглашал хоронить — так она потом весь день на меня кричала. И тебя потом обзывала, ревела всю ночь. А ее — и «паскудой» и по-всякому...

Я бы, говорит, ей в морду плюнула в мертвую... Как будто это она и виновата, что ты запьянствовал и бросил учиться...

И вообще, мало народу было. Кроме меня, наверно, человек десять. И лошадь — какая-то кляча, все время спотыкалась; полтретьего только доплелись, а там фонарей почти нет, темнота... да еще буран к вечеру поднялся...

Могилу заново пришлось разгребать...

А она — ничего, все такая же, только уж слишком белая какая-то. И снег — просто падает на лицо и не тает. Такая смирная, даже на себя не похожа. Я смотрел, смотрел, так даже влюбился. Ну, чего ты смеешься, честное слово, влюбился... И все время тебя вспоминали».

Борис Ер.

27 октября
Странные люди, эти Мартыновы! Даже там, где нужно всего-навсего вмешательство милиции, они взывают к небу! Я говорил им, а они не понимали, что это нелепо.

Потому-то я решил удалиться.

Но удалился не сразу. Ровно полмесяца еще устрашал их с порога «ужасами правосудия». А они смеялись и про себя называли меня трусом.

Как им угодно! Я же говорил, что это чрезвычайно странные люди...

Они никак не могли представить себя в положении подсудимых и калек... А ребенок?.. Что же будет с ребенком?.. Ведь не обязан же он отвечать за буйство своего родителя!

Александра Мартынова действительно так выражалась. «Поклонники» утешали ее: вашему супругу за колючей проволокой гораздо приятнее... к тому же сбылись ваши давешние мечтания... начало нравственной свободы... а стало быть, пружинный матрас и жизненные утехи... фу, как очаровательно, Сашенька...

Сашенька казалась неутешной. Она одна виновата... Она и не предполагала... Супруг вернется через три года и зарежет ее... Это уже ясно, как день... А в этих благодетелях совершенно нет сострадания... Тянутся к матрасу... точно клопы... Ух, как она их ненавидит!

Она даже ножкой притопнет — вот как она их ненавидит!

Все это слишком уж было чувствительно. И я решил «удалиться».

Несколько странно смотрел на косы и «вдовьи» плечи: ничего не поделаешь... раз виноваты, так уж, конечно, виноваты... да нет, не холодно, а то там у вас — «поклонники», духота... во-о-от, видите, как хорошо, — даже заулыбались оба... а он-таки вас прирежет... и вообще эта самая жизнь — вещь недурная... ну, что вы, непременно ее, мы даже имя вместе изобрели... это даже в некоторой степени знаменательно... будущее вашей фамилии...

Да ну вас, не люблю это я что-то трогательное... Помните, как-то в июнь — под дождем смеялись и очаровательный сосок... В общей сложности — пятьдесят лет... а подставляли грудь, словно... И вообще — слишком уж веселая вещь, этот «июнь»... А что касается супруга — так этого вам никто не простит... И поделом... Читайте «Евангелие»... дочь, непременно дочь!.. Прощайте...

31 октября
Незаметно смиряюсь.

Раньше меня обнадеживала довольно странная вещь: мне почему-то казалось, что в пятьдесят седьмом году не может быть никакой осени... Вчерашний день убедил-таки меня, что так оно и есть...

Я как будто задремал...

Проводил аплодисментами все происшедшее, а вызывать на бис не собираюсь...

1 ноября

«Сегодня случилось одно незабываемое событие. Тот самый Ерофеев, который всегда приходил в нашу комнату, пришел немножко пьяный и взялся рассуждать. Все, которые у меня сидели, человек десять, стали смеяться над его идейками и спорить. Я, конечно, не принимал никакого участия, а только слушал... А потом, когда все разошлись, я долго не мог заснуть. Переворачивался с боку на бок и все думал и думал: «Ну, для чего я живу, для чего это я переворачиваюсь?» Повторял до двух часов ночи все, что я услышал, и про себя смеялся... В конце концов, не смог улежать и вот теперь на кухне пишу дневник. Теперь я уже знаю свою цель: я не буду, как другие, слепо подражать Ерофееву, но буду читать, читать и читать. Это для меня теперь самое главное. И все, что я смогу сделать в этом деле, о котором говорил Ерофеев, я все сделаю. Но для этого — читать».

(«Дневник» В. Я., 15-е окт.)

«...я немного сошелся с Ерофеевым; я и раньше много о нем слышал от Кузнецова, но он превзошел все мои ожидания. Все его разглагольствования я хоть разбить и не могу, но я чувствую, что все это не по мне. А когда он играл вторую сонату, то слушал с удовольствием. А ведь раньше я ничего не понимал...»

(«Дневник» Мих. Мир., 3-е окт.)

«Если он серьезно говорит, что у меня есть талант, то этим я обязан только ему. Если бы игра судьбы не занесла этого непонятного человека в нашу среду, вряд ли я бы стал писать...»

«...и мне не понравилось только то, что, когда начался серьезный спор между «вольнодумцами» и «благонамеренными», Венедикт, от которого мы все ожидали решительного слова, все свел к какой-то шутке...»

«...боюсь, что, когда Венедикт уедет, будет все то же самое; и я буду тем же самым...»

(«Дневник» В. Гл., 8, 8, 24 сент.)

«...Зина назвала Венедикта Дон Кихотом, Обломовым и Иудой. Я за это обозвал ее дурой и больше в тот вечер с ней не разговаривал...»

«...О! Теперь я знаю, что мне делать, где я нужен! Вот где истинное мое призвание! Тысяча благодарностей будущему собаке-МГБ-шнику! А разве я жил до этого?..»

(«Дневник» К. К., 11-е, 20-е окт.)

3 ноября

Как раз это очень важно!

В другой раз я, может быть, не обратил бы на это никакого внимания. Мало ли что может присниться во сне!

Да и действительно — мало ли...

Снилось мне, например, на прошлой неделе, что я с солнышком разговаривал. Его хоть и не было нигде, а я все равно разговаривал. Честное слово.

А в другой раз приснилось мне, будто бы сразу вдруг никого не стало. Совершенно никого не стало. И каждый ко мне подходил и спрашивал: «Почему это меня нет?» А я как будто бы глухонемым притворяюсь и каждого переспрашиваю: «А?» И так это смешно мне было. Я даже во сне смеялся.

Мало ли что мне снилось... Так это ведь все на прошлой неделе было. А в этот раз совсем не то... вовсе не то...

Было что-то важное... А что важное — я и теперь понять не могу... Вернее, вспомнить никак не могу. Со мной это часто бывает: во сне гениальные догадки делаю, а как проснусь — забываю... помню только, что было что-то гениальное, а что — никак не могу вспомнить...

Так вот и теперь — пустое ощущение важности... и ничего сколько-нибудь определенного. И от этого самого — бесчувственно хорошо: может, это и действительно настолько важно... может, я и в самом деле лишаю мир еще одной необходимой истины... тем самым лишаю, что насильственно держу в голове эту самую... неопределенность.

Да ведь я и сам хочу узнать, что это...

А вот возьму — и не буду знать!.. И хотеть не буду! А ведь я могу... могу... одно маленькое, крохотное напряжение мысли... памяти... — и все!.. Но ведь это незачем... это ведь страшно необходимо, и мне самому это необходимо... а зачем это мне?.. это же вовсе не нужно...

Я вот даже плакать буду над тем, что это не нужно... над собой буду плакать... над тем, что я ничего не могу, хотя стоит мне только захотеть... но ведь я и не хочу, чтобы мне хотелось... Я вот и над этим плакать буду!..

Может, это как раз и есть то «важное»... Может, это неприят-

ное удовольствие, которое меня охватило, и есть то самое, что мне хотелось узнать... и что снилось мне...

Но зачем мне это знать?.. зачем?..

7 ноября

Гражданка, отойдите вправо! Я не вижу, кто кого бьет! Она его или он ее? Ах, он ее! За что же это он ее? Это, наверно, от скуки! Ну, конечно, это от скуки!

То есть, как это: никто никого не бьет? Разве ж вы не видите? Ах, лобзаются! Ну да, ведь они лобзаются! За что это он ее? Ведь и в самом деле — он ее! Это, наверно, так просто, скучно им! Да и действительно скучно!

Ну, почему вы так думаете? Разве же можно — наедине? Наедине никак нельзя! Его не видно, но ведь он здесь! А она — вон, видите, и слева, и справа, — везде она! И вон там, в отдалении — тоже она! А он здесь совершенно не нужен! Он только на минутку показался и сразу...

Ну гражданочка, отойди те же, ради бога! Я ничего не вижу!..

11 ноября

Вот, как будто бы, и все...

13 ноября

Я хорошо понимаю, что приближающаяся станет очередной жертвой кирилловского опьянения... И хоть я уже ясно различаю выступающую из троллейбусного мрака, я отворачиваюсь и с нетерпением ожидаю...

— Гррыжданка! Рразришите прредставиться... Извините, что я не в своем обнаковенном виде...

Почти не оборачиваясь, я беру Кирилла за локоть и говорю недовольно:

— Кирилл, ну неужели тебе не надоело?

Спутник мой не обращает внимания, и, пока «жертва», огибая его, направляется к стромынской изгороди, неистовствует...

— Эта хладнокрровная гражданка... любит ходить зигзагами!.. Она, вероятно, полагает...

— Кирюш, брось... Это Музыкантова!..

— А мне сррать на то, что она Музыкантова! Эй! Ты! Ну, чего не оборачиваешься, ппизда!.. Она, Веничка, позорит свою фамилию! Граждане, которые идут на Стромынку! Прощайте! Прощайте! Уезжаем, так сказать, из пределов столицы! Прощайте! Не увидимся никогда — и слава богу! Еббать вас в ррот! Сейчас для вас будет исполнена 2-ая соната Ббитховена! Ария Каваррадости! Великий музыкант Вень...

Веничка, что с тобой?..

14 ноября

1. «Начальнику 2-го строительного управления Ремстройтреста от прораба Савельева А. И. заявление. Прошу обратить Ваше внимание на то, что рабочий Ерофеев В. В. на протяжении последних 3-х месяцев совершенно не является на работу без уважительных причин на это. Прошу принять соответственные меры. Савельев. 10/XI — 57 г.»

2. «Начальнику 88-ого отделения милиции от коменданта общежития Ремстройтреста Советского р-на г. Москвы заявление. Довожу до Вашего сведения, что проживающий по Новопресненскому пер. 7/9, к. 203, Ерофеев Венедикт Васильевич, прописан в д. месте жительства с условием работы в Ремстройтресте. Однако, на протяжении последних 4-х месяцев т. Ерофеев, нигде не работая, получает деньги подозрительными путями и к тому же нарушает все правила общежития. Подробности при рассмотрении. Комендант общежития Ст. Г. 11/XI — 57 г.»

К сему при «рассмотрении» прилагается перечень «вольных мыслей».

3. «Начальнику 88-ого отделения милиции от начальника 2-ой части Советского Райвоенкомата».

4. «Начальнику 2-ого строительного управления Ремстройтреста от начальника 24-ого отделения милиции г. Москвы».

5. «Начальнику 88-ого отделения милиции. Дело т. Ерофеева от 29/IX — 57 г. 66 отд. мил.»

6. «Начальнику 2-ого строительного управления Ремстройтреста Зеленову А. И. Объяснение. От рабочего Ерофеева В. В. Спешу Вас уведомить, что дело от 29/IX — 57 г. 24-ого отделения милиции вкупе с донесением коменданта, а такожде 66-ого отделения милиции вопроса о месте моего пребывания на территории общежития абсолютно не затрагивает. Передача вышеупомянутых дел на рассмотрение Народного Суда Советского р-на обязывает Вас несколько воздержаться от утверждения приказа за № 730. Имею честь пребыть: Венедикт Ерофеев. 11/XI — 57 г.»

7. «Коменданту общежития Ремстройтреста от начальника отдела кадров 2-ого СУ Абдуррахманова В. В. 11/XI — 57 г.»

8. «Приказ по Ремонтно-строительному тресту Советского р-на г. Москвы № 731.

В соответствии с... уволить т. Ерофеева с работы в СУ-2-РСТ с запрещением дальнейшего пребывания на территории г. Москвы. Ст. 47 Г. Зеленов. Суворов. 11/XI — 57 г.»

9. «Ерофееву В. В. Предлагаю Вам в трехдневный срок освободить помещение. Комендант. 14/XI — 57 г.»

10. «Т. Ерофееву В. В. 88-ое отд. милиции запрещает Вам выезд из места жительства до рассмотрения Ваших дел от 28/VIII, 29/IX, 11/X, 8/III — 57 г. и 31/X — 56 г. Советским районным судом г. Москвы, состоящегося 19/XI — 57 г. Ковтун. 14/XI — 57 г.»

15 ноября

Знаменательно: вчера выпал первый снег, а сегодня растаял.

Чуть-чуть знаменательно.

16 ноября

Все-таки интересно, почему над моим домом никто еще не повесил гирлянду из желтых роз?

Они думают, что у меня нет дома — но ведь это не оправдание.

У меня действительно нет его, у меня вообще ничего нет, но дом-то все-таки есть; я даже развесил на окнах его фиолетовые занавески...

Если все остальные цвета, даже красный, кажутся мне до смешного глупыми, почему бы мне не предпочесть фиолетового?..

Видите — я даже могу предпочитать! Разве ж можно после этого сомневаться в том, что моя обитель требует украшения!

Совсем не обязательно — желтые розы... Можно просто... мимо пройти — и заглянуть в мои окна... И вы ничего не увидите — тот, кто заглядывает в чужие окна, видит на фоне темной занавески отражение своей собственной физиономии... А разве это не украшение моей «обители»?

Это даже единственное украшение. Все остальное я давно уже продал — иначе мне пришлось бы умереть с голоду... Оставил только это, последнее... Фиолетовые занавески...

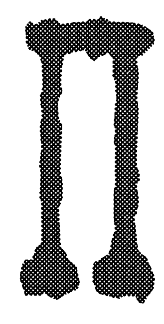
Ведь если их сбросить, каждый увидит: пусто... Нет ничего... А ведь было, наверное... Что-то было...

«Я ЖИВУ В ЭПОХУ ВСЕОБЩЕЙ НЕВМЕНЯЕМОСТИ»

МОСКВА - ПЕТУШКИ

Поэма

УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

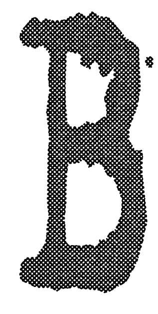


ервое издание «Москва — Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот — Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

В. Ер.

Вадиму Тихонову,
моему любимому первенцу,
посвящает автор
эти трагические листы

МОСКВА. НА ПУТИ К КУРСКОМУ ВОКЗАЛУ



се говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, — а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом — на Каляевской — другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше — что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню — это я отчетливо помню — на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал,

а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера — выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик — и так и уснул). Нет, не поэтому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей — а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают — все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, — все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — ничего. Вон — аптека, видишь? А вон — этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

МОСКВА. ПЛОЩАДЬ КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо — обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты — вот и получай свою суету...

— Да брось ты, — отмахнулся я от себя, — разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне — что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило...

— Конечно, Веничка, конечно, — кто-то пропел в высоте так тихо, так ласково-ласково, — зажмурься, чтобы не так тошнило.

О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

— Ну, конечно, мы, — и опять так ласково!..

— А знаете что, ангелы? — спросил я, тоже тихо-тихо.

— Что? — ответили ангелы.

— Тяжело мне...

— Да мы знаем, что тяжело, — пропели ангелы — А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут...

— Красненького?

— Красненького, — нараспев повторили ангелы Господни.

— Холодненького?

— Холодненького, конечно...

О, как я стал взволнован!..

— Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии — ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

— А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..

— Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

— На здоровье, Веня...

А потом так ласково-ласково:

— Не стоит...

Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, — не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил... А когда ты их вчера купил? вспомни... иди и вспоминай...

Я пошел через площадь — вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался — и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал.

— Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?

МОСКВА.
РЕСТОРАН КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой — это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты — после. А может быть, и наоборот: выпив кориандровой, я...

— Спиртного ничего нет, — сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь — только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков... О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных»... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован... Не отверга-а-ай»...

— Будете чего-нибудь заказывать?

— А у вас чего — только музыка?

— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя...

Опять подступила тошнота.

— А херес?

— А хересу нет.

— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

— Оччень интересно. Да. Хересу — нет. А вымя — есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой...

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, — будет страшно больно... Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела — тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль: ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль...

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты уже похмелился — не такая уж тяжелая эта мысль... Но если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра — вот это уже тяжело... Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою...

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и...

— Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

— Хересу, пожалуйста. 800 грамм.

— Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

— Ну... я подожду... когда будет...

— Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» — да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

— Кому здесь херес?!..

Надо мной — две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них — о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности — я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я весь как-то сник и растерял душу.

— Да ведь я... почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду... я так...

— Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..

— Да пппочти ничего... Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) — гостинцев купил...

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

— Я ведь... из Сибири, я сирота... А просто чтобы не так тошнило... хереса хочу.

Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал — о, боль такого позора! — через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже — вытолкнули.

Опять — на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

МОСКВА. К ПОЕЗДУ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН

Что было потом — от ресторана до магазина и от магазина до поезда — человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, — они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни — помни о них. В минуты блаженства и упоений — не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок — нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, — изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда.

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

— Да, — говорю я вам, — из магазина. — А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

— Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

— Ну, это как сказать! — говорю я, склонив голову вправо. — Чемоданчик — точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...

— Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно...

— Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да — розовое крепкое за рупь тридцать семь.

— Так-так-так, — говорите вы, — а общий итог? Ведь все это страшно интересно...

Сейчас я вам скажу общий итог.

— Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, — говорю я, вступив на перрон. — Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

— Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?

— Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так — вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

— Зачем? Опять стошнит?

— Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать — сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головой. Я даже вижу — отсюда, с мокрого перрона, — как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головой и беретесь иронизировать:

— Как это сложно, Веничка! как это тонко!

— Еще бы!

— Какая четкость мышления! И это — все? И это — все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше — ничего?

— Ну как, то есть, — ничего? — говорю я, входя в вагон. — Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

— О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив!

А вы все пристаете:

— Ты чего, обиделся?

— Да нет, — отвечаю.

— Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки.

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там

еще не было. И в подъезде, если помните, — тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать, — я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

МОСКВА — СЕРП И МОЛОТ

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день, — какие бездны во мне по вечерам!

Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, — так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно — и утром, и вечером — тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский — тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны...

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился. Еще раз ощупал — и поблек... Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве э т о мне нужно? Разве по э т о м у тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали т о г о, разве нуждался бы я в э т о м? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

— Вот-вот! — отвечал я в восторге. — Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», — тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи!

СЕРП И МОЛОТ — КАРАЧАРОВО

И немедленно выпил.

КАРАЧАРОВО — ЧУХЛИНКА

А выпив, — сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность — так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, — выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары... Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами...

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости... Можно себе представить, какие глаза там. Где все

продается и все покупается: ...глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире чистогана...

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел — пусть. Может, я там что репетировал? Да... В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста — никого не стыдятся, наливают и пьют. Закусывают и тут же опять наливают. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-дентально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит «Заку-уска у нас сегодня — блеск! Закуска типа «я вас умоляю»!» А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а... Транс-ценден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти — пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром... «Закуска типа «я вас умоляю»!»... Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью — прячусь. Во время работы пью — прячусь... а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество... Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного — и сколько раз это губило меня...

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то о т с т р а н я ю т меня от себя, как-то ш е п ч у т с я, на меня глядя, как-то с м о т р я т за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно... И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх... «В чем дело? — терзался я, — отчего это так?»

И вот, наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают — двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну... Не иначе, как что-то случилось...

— Послушай-ка, — сказали они, — т ы э т о б р о с ь.

— Что «брось»? — я изумился и чуть привстал.

— Брось считать, что ты выше других... что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред...

— Да с чего вы взяли!..

— А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

ЧУХЛИНКА — КУСКОВО

— Пил.

— Много пил?

— Много.

— Ну так вставай и иди.

— Да куда «иди»??

— Будто не знаешь! Получается так — мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...

— Позвольте, — говорю, — я этого не утверждал...

— Нет, утверждал. Как ты поселился к нам — ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а о т с у т с т в и е м этого дела. Ты н е г а т и в н о это утверждаешь...

— Да какого «дела»? Каким «о т с у т с т в и е м»? — я уж от изумления совсем глаза распахнул...

— Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь — вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.

— Нет, вы меня не так поняли, ребята... просто я...

— Нет, мы тебя правильно поняли...

— Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я ..ать пошел!» или «Ну, ребята, я ..ать пошел!» Не могу же я так...

— Да почему же ты не можешь! Мы — можем, а ты — не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лилея!..

— Да нет же... Как бы это вам объяснить...

— Нам нечего объяснять... нам все ясно.

— Да вы послушайте... поймите же... в этом мире есть вещи...

— Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет...

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу... Я начал сдаваться...

— Ну, конечно, я тоже могу... я тоже мог бы...

— Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, — не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами...

— Да нет, нет, — тут уж я совсем стал путаться. — В этом мире есть вещи... есть такие сферы... нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли?.. есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева... и потом — клятва на Воробьевых горах... И после этого встать и сказать: «Ну, ребята...» Как-то оскорбительно... Ведь если у кого щепетильное сердце...

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

— Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

— Пил.

— Сколько кружек?

— Две больших и одну маленькую.

— Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы и х облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего Он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не понял. А это целомудрие — самое смешное! — это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности...

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

— А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул...

— Как!! Ни разу!! — удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. — Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

— Ну, как то есть ни разу! Иногда... все-таки...

— Как!! — еще больше удивляются дамы. — Ерофеев — и... странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

— Ну... а что в этом т а к о г о, я же... это ведь — п у к н у т ь — это ведь так ноуменально... Ничего в этом феноменального нет — в том, чтоб пукнуть...

— Вы только подумайте! — обалдевают дамы.

А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «Он все это делает вслух, и говорит, что это н е п л о х о он делает! Что это он делает х о р о ш о!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар — кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не п р е в р а т н о, нет — «п р е в р а т н о» бы еще ничего! — но именно с т р о г о н а о б о р о т, то есть совершенно по-свински, то есть а н т и н о м и ч н о.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все — я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сня-

ли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от у ж а с а, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут у ж а с н о г о, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю мне следовало бы еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

КУСКОВО — НОВОГИРЕЕВО

а уж потом пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад — назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом — известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один — вермут пил, другой, кто попроще — одеколон «Свежесть», а кто с претензией — пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом — что же? — потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом — ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом — каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой — пили вермут, на третий день — опять в сику, на четвертый — опять вермут. А тот, кто с интеллектом, — тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно,

и пальцем не трогали, — да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге — в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, — сказал, — вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, — и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! — Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть,

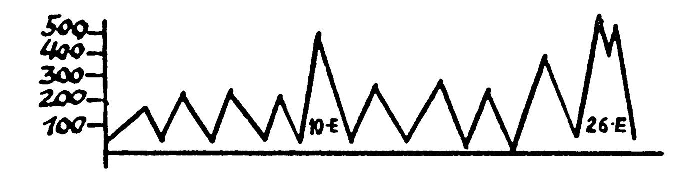
«маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков — известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..

И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли...

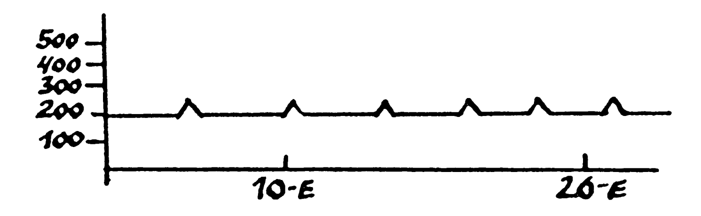
НОВОГИРЕЕВО — РЕУТОВО

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси — одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной — количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером — величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

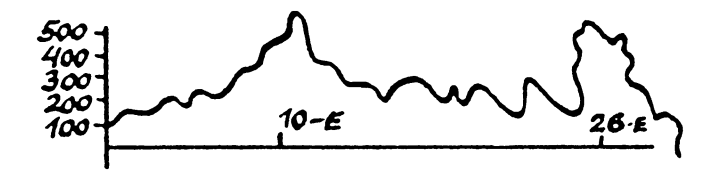
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой — столько-то, et cetera. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, потрепанный старый хрен:



А вот уж это — ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва — Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда — интересные? У одного — Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого — предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это — если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, — и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже — получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось — ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц — от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь — они ему рупь не дали. Стасик

перестал блевать и тоже попросил рупь — они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Как бы то ни было — меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня — снизу — сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху — лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

— Фффу!

— Кто сказал «фффу!» Это вы, ангелы, сказали «Фффу»?

— Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!

— Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить... У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и теперь...

— Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце...

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! — отчеканивал рассудок. — Если уж без

этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну...

РЕУТОВО — НИКОЛЬСКОЕ

ну хоть сто пятьдесят...» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, — сказал, — хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома...»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает э т а д е в у ш к а с глазами белого цвета, — белого, переходящего в белесый, — эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной — о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил — там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, — вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? — а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, — там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву «ю» и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква «ю»? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока — вы уж простите меня — пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот — я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

НИКОЛЬСКОЕ — САЛТЫКОВСКАЯ

«Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков», — подумал я, делая тринадцатый глоток.

«Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, — омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, — но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры, или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»

«Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус — это уже так много, что мозги делаются прямо излишними.

А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?»

«А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если че-

ловек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен — он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен... Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, — мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что м е н я занимает, — об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще отчего, но все-таки — н и с л о в а.

Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!» А мне удивлялись и говорили: «Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».

Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво — сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! — хоть это-то поймите.

Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое — ну, фиал из севрского фарфора, — или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, — что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, пото-

му что на день или на три, но теперь она «выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра»!

Ну, так как же? Скушна эта княгиня? — Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? — В высшей степени легкомысленна!

Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание — весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем».

Смотрите, как это делается!..

САЛТЫКОВСКАЯ — КУЧИНО

Остаток кубанской еще вздымался совсем неподалеку от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

— Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много...

Я от удушья едва сумел им ответить:

— Во всей земле... во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков — нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим... И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

— Мы боимся, что ты опять...

— Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы... Я с каждой минутою все счастливей... и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо... как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того... какие вы глупые-глупые!..

— Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь...

— До чего не доеду?!.. До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду? — до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы...

— Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов...

— Ну что вы, что вы! Пока я жив... что вы! В прошлую пятницу — верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать... Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля... Но сегодня — доеду, если только не подохну, убитый роком... Вернее — нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

— Бедный мальчик... — вздохнули ангелы.

— «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

— О нет, до самых Петушков мы не можем... Мы отлетим, как только ты улыбнешься... Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз — мы отлетим... и уже будем покойны за тебя...

— И там, на перроне, встретите меня, да?

— Да, там мы тебя встретим...

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге... Но ведь он тут же пошел на поправку — как только меня увидел!.. Да, да... Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..

Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку — он очень любит, когда его мать затопляет печку, — оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется... А если и заболеет, — пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку...

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар...

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке... Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

— Ты... знаешь что, мальчик? ты не умирай... ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная... Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

— Понимаю, отец...

И как он это сказал! И все, что они говорят — вечно живущие ангелы и умирающие дети, — все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, — махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. «Понимаю, отец!»...

— Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» — помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик...» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак... «С фе-вра-ля до августа я хныкала и вякала, на исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла»... Ты любишь отца, мальчик?

— Очень люблю...

— Ну вот и не умирай... Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь... Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу... «На исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла...» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-надень-ка-как-ти-бе-не-стыдно-спать?»... У меня особые причины любить эту гнусность...

Я допил свой четвертый стакан и разволновался:

— Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок... Ты понимаешь?.. ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, — смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я — пока не рухну, вечно буду зеленым...

— Зеленым, — отозвался младенец.

— Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть... Вот и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..

— Противно, — повторил за мной младенец и блаженно заулыбался...

Вот и я теперь: вспоминаю его «Противно» и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы — и отлетают от меня, как обещали.

КУЧИНО — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

Но сначала все-таки к н е й. Сначала — к н е й! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лежку, и пастись, пастись между лилиями — ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся.

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница — не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стерва — не женщина, а волхвование! Вы спросите: «Да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?»

— Может! — говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. — В Москве — нет, в Москве не может быть, а в Петушках — может! Ну так что же, что «сука»? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно — слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще — была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать, не то двадцать пять. И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. «А еще? — спросите вы. — А еще что было?»

— А еще — было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем чаще разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.

Но вот ответное прозрение — я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!

— Так это вы: Ерофеев? — и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула...

— Ну, конечно! Еще бы не я!

(О, гармоническая! как она догадалась?)

— Я одну вашу вещицу — читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

— Так ли уж выше! — я, польщенный, разбавил и выпил. — Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

Вот — с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но — как бы то ни было — я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих — никого. И она — рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это — женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду!»

А она взяла — и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого, — все выдохнула. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами, — и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрогания...

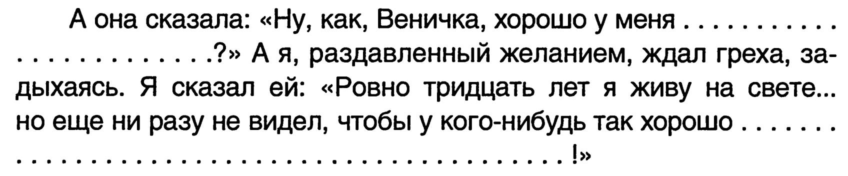
Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она .... ?» Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она ....! Еще бы она не .... !
Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правою рукою»! — а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище — и не могу, все промахиваюсь мимо туловища...

«Что ж! играй крутыми боками! — подумал я, разбавив и выпив. — Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, *может быть*, есть — все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!»

Так думал я. А она — смеялась. А она — подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — ЧЕРНОЕ

выпила — и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит, — подумал я, — если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее — содрогнется земля и камни возопиют».


А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня . . . .?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо . . . . !»

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей... До этого — сказать ли вам? — до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся — сердце останавливалось в испуге. Помыслы — были, но не было намерений. Когда же являлись намерения — помыслы исчезали и хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне — как бы это назвать? «негу», что ли? — ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня — ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? — ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И... из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И... из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге... Но я отвлекся.

Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?

Она сама — сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя — тоже что-то было. И потом — эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля — живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство...

Вы мне скажете: «Так ты что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?»

А какое мне дело! А вам — тем более! Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки «пусть». Зато вся она соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебалу — ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать — дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, это все в целях самообороны и чего-то там такого женского — я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду там совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

— Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь — лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

А она — молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал:

— Но почему?.. почему?

Она мне — второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

— Но почему? — заклинаю — ответь — почему???

Вот тогда-то и она разрыдалась, и обвисла на шее:

— Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам — знаешь, почему, угорелый!

И после того — почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня — сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!..

ЧЕРНОЕ — КУПАВНА

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил...

— И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого *столько* в душе и *столько* за душой! Ты, у ко-

торого т а к а я есть в Петушках! И т а к о й за Петушками!.. Одинок?

— Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, — тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, — и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной — что, не желая плакать, заплакал...

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, — день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне — что принесли? — две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать — и уже не мог...

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал...

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире п р е к р а с н о г о. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? — будет он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, — совсем наоборот. А если смотреть со стороны — конечно...

Нет, вот уж т е п е р ь — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить... «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного, и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример: отчего это, если ты с вечера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться — служба и все такое — и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы об-

легчить душу (ну, сколько выпил? ну, допустим, сто пятьдесят) — отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен этого, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не «чего-нибудь», а именно того самого, что ты пил вчера, и с паузами в сорок — сорок пять минут пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.

Вот видите — сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом — потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было «дерзание». И — Бог свидетель — как я дерзал! Если вы так дерзнете — вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли да и не проснулись. А я — просыпался, каждое утро почти просыпался — и снова начинал дерзать.

Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

и включительно по девятую — размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: «Надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу — тогда, может быть, начнется рецидив возмужания». Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов — я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто! Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить с р а з у, о д н и м м а х о м — но выпить и д е а л ь н о, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом — не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) — то есть мужать до того предела, за которым следуют безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! — святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не н а п л е в а т ь. А вот им — на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами; попью-попью — перестану, попью-попью — опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить каждый день по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, — но ведь о н и — т о ! о н и!..

Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше; а на другой день — исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы

к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы, как костер, — сидите, а они через вас прыгают. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узко специальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте...

— Помилуйте! — кричат мне со всех сторон. — Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы...

— Вот именно: нет! — кричу я во все стороны. — Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это — не наше, все это нам навязали Петр Великий и Николай Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! В той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете: «Призвание это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».

И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам — психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!..

А мы, повторяю, займемся икотой.

33-Й КИЛОМЕТР — ЭЛЕКТРОУГЛИ

Для того, чтоб начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или an sich (термин Иммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, — или же вызвать ее в другом, но в собственных

интересах, то есть für sich. Термин Иммануила Канта. Лучше всего, конечно, и an sich и für sich, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое: старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом — сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого часа о н а начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность е е начала: потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза et cetera. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть — в секундах, конечно:

— восемь — тринадцать — семь — три — восемнадцать.

Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения:

— семнадцать — три — четыре — семнадцать — один — двадцать три — четыре — семь — семь — семь — восемнадцать —

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели м н о г о е предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального — смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:

— тринадцать — пятнадцать — четыре — двенадцать — четыре — пять — двадцать восемь —

Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека — нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон — он выше всех нас. Икота — выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

— двадцать два — четырнадцать — все. И тишина.

И в этой тишине ваше сердце вам говорит: о н а неисследима, а мы — беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого — тоже нет.

Мы — дрожащие твари, а о н а — всесильна. О н а, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. О н непостижим уму, а следовательно, О н есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

ЭЛЕКТРОУГЛИ — 43-Й КИЛОМЕТР

Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне — к свету и Петушкам. Durch Leiden — Licht!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

— Что мне выпить еще, чтобы и э т о г о порыва — не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская — это такое дерьмо! А российская — смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков — невредимый, — я создам к о к т е й л ь, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду — напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до Петушков, пьют эти к о к т е й л и до сих пор, не зная имени автора: пьют «Ханаанский бальзам», пьют

«Слезу комсомолки», и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура — это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат — 100 г.
Бархатное пиво — 200 г.
Политура очищенная — 100 г.

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечье называют «чернобуркой») — жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы».

В нем, в этом «Духе Женевы», нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заме-

нять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» — это вам не «Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» — напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни...

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» — и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»! Слушайте точный рецепт:

Белая сирень — 50 г.
Средство от потливости ног — 50 г.
Пиво жигулевское — 200 г.
Лак спиртовой — 150 г.

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и «Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот — теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, — лишался.

Лаванда — 15 г.
Вербена — 15 г.

Одеколон «Лесная вода» — 30 г.
Лак для ногтей — 2 г.
Зубной эликсир — 150 г.
Лимонад — 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек — но вы меня не заставите помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой...

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов, превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское — 100 г.
Шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г.
Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г.
Клей БФ — 15 г.
Тормозная жидкость — 30 г.
Дезинсекталь для уничтожения мелких
насекомых — 30 г.

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов — и подается к столу...

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть — на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения, от недостатка полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-Й КИЛОМЕТР — ХРАПУНОВО

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас... А в Петушках — в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом «Иорданских струй», если доберусь живым; если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталась в моем чемоданчике? «Поцелуй тети Клавы»? Пожалуй что да. Из моего чемоданчика никаких других «Поцелуев» не выжмешь, кроме «Первого поцелуя» и «Поцелуя тети Клавы». Объяснить вам, что значит «Поцелуй»? А «Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою водкою. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская — это «Первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном — это «Поцелуй, насильно данный», или, проще, «Поцелуй без любви», или, еще проще, «Инесса Арманд». Да мало ли разных «Поцелуев»! Чтобы не так тошнило от всех этих «Поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и «Первый поцелуй» исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но — у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам «Поцелуй тети Клавы». Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, — согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить «Поцелуй тети Клавы».

Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в «Поцелуй». О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском...

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, — глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, — но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь...

Подошел — и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм — где же она теперь?

Я обвел глазами всех — ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, — когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, у к р а л и между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, — меня тем временем лишали «Поцелуя тети Клавы»... В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время — прямо комедия... Но теперь — «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И — финита ля комедиа. Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная... Довольно в мутной воде рыбку ловить — пора ловить человеков!..

Но как ловить и кого ловить?..

Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь начинается детективная повесть... Я заглянул внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти сто грамм? и кого ловить?..

Я взглянул вправо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, — а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура...

«Транс-цен-ден-тально»... — подумал я. — И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, — значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, — значит, ни тот, ни другой украсть не могли...»

Я глянул назад — нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том — до странности похожи: он в жакетке, и она — в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она — при усах и в коричневом берете...

Я протер глаза и еще раз посмотрел назад... Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом... Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед.

И впереди то же самое, странных только двое: дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабо-

умен. Дедушка — на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются...

«Подозрительно», — подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозрительно... Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек — совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот...

А дедушка — тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия — в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередке расстрелянной физии — распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник...

«Оччччень подозрительно», — подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже странно, — подумал я, — они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил»...

Я пригласил их сесть напротив себя.

Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую — дедушке.

— Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?

ХРАПУНОВО — ЕСИНО

— Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич... Едем в Орехово, в парк... в карусели покататься...

А внучек добавил:

— И-и-и-и-и...

Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподымал правой: «И-и-и-и, как мы быстро

едем в Петушки, славные Петушки»... «И-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка»...

— Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

— В карусели.

— А может, все-таки, не в карусели?..

— В карусели, — еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла...

— А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи...

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.

— Я... нничего. Я просто хотел компоту покушать... Компоту с белым хлебом...

— Компоту с белым хлебом?

— Компоту. С белым хлебом.

— Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищете у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту...

Дедушка — первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста... Оба плакали...

— Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить... У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я — понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены выпить хотя бы то, что вы находите, — взамен того, чего вы хотите...

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

— Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он — тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении... Так что же? Значит, и вы решили — на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек — тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками...

— Но — довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили — я могу налить вам еще по пятьдесят грамм...

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

— Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете.

— И-и-и-и, — заверещал молодой Митрич, — какой дяденька, какой хитрый дяденька...

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:

— Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей — вот...

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

— От моей не откажетесь? — спросил он меня.

Я потеснился, чтобы дать ему место.

— Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. «Поцелуй тети Клавы».

— Тети Клавы?

— Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек — тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы...

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

— На брудершафт, ребятишки?

— На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты... «Наш поезд на станции Есино — не останавливается. Остановки по всем пунктам — кроме Есино».

ЕСИНО — ФРЯЗЕВО

Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, — теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

— Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, — обязательно покраснеют...

— Ну так что же?

— Как, то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький — так те вообще не просыпались!..

— Прекрасно. Ну, а дальше?

— Как, то есть «ну, а дальше»? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: «Ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только — умер.

— Так-так?..

— А Фридрих Шиллер — тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского — и пишет. Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов — готова целая трагедия в пяти актах.

— Так-так-так... Ну, и...

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и...»

— Ну, и Николай Гоголь...

— Что Николай Гоголь?..

— Он всегда, когда бывал у Аксаковых, просил ставить ему на стол особый, розовый, бокал...

— И пил из розового бокала?

— Да. И пил из розового бокала.

— А что пил?

— А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку...

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов...

— А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу "Хованщина"!»

И вот они сидят — Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него — Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый — пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает...

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и — бух! в канаву. А потом встанет — и опять похмеляться, и опять — бух!.. А между прочим, социал-демократы...

— Начитанный, чччерт! — в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел...

— Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! — продолжал человек в жакетке. — Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить: пью месяц, пью другой, а потом...

— Погоди, — тут уж я его прервал, — погоди. Так что же социал-демократы?

— Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все н у ж н ы е ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм... А когда они наконец разбудили Герцена...

— Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! — рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. — Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака...

Все, кто мог смеяться, — все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница — в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно... И я — вместе с ними... Я повернулся к жакетке и черным усам:

— Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, при чем же тут демократы и «Хованщина» и...

— А вот и при том! С этого и началось все главное — сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! все честные люди России! а отчего они пили? — с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только вод-

ка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ — пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик — не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подыхает, а Гаршин встает — и с перепою бросается через перила...

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, — все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло... Декабрист в коверкотовом пальто — и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза...

— И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет а б с о л ю т н о! Вы Маркса читали? А б с о л ю т н о! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь — вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону — никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так — до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия — он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом...

— Стоп! — прервал его декабрист. — А разве нельзя н е п и т ь? Взять себя в руки — и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем не пил.

— Не пил? Совсем? — черноусый даже привстал и надел берет. — Не может этого быть!

— А вот и может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма н е п и л...

— Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?

— Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни грамма не пил.

— Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?

— Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, — шепнул я

сам себе, — помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или...»

— Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма? — я повернулся к декабристу. — А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева — и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но к а к б ы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости...

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет — а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет — и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый...

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается — еще бы! Алкоголик он был, а л к а ш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гете! И руки у него к а к б ы тряслись!..

— Вот это да-а-а... — восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист — широким жестом — вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки — до странности возбужденно...

Мне налили — больше всех. Старому Митричу — тоже налили. Молодому тоже подали стакан — он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы...

— Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?

ФРЯЗЕВО — 61-Й КИЛОМЕТР

— Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные — тоже...

— А... разрешите вам задать один пустяшный вопрос, — сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко мне. — Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать — вы с утра ничего не пили!

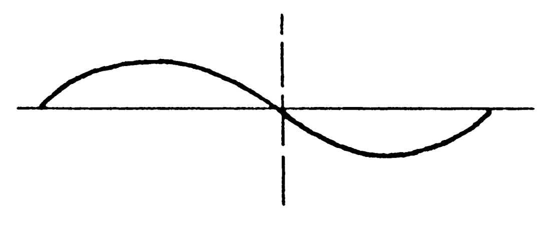
Я даже обиделся:

— Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз... Я просто немного поддал...

— Нет, нет, эта замутненность — от грусти! Вы как Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете...

— Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

— Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью — я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? — наутро я не просто н е в е с е л, не просто н е п о д в и ж е н, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:



И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия — это линия обычной трезво-

сти, п о в с е д н е в н а я линия. Наивысшая точка кривой — момент засыпания, наинизшая — пробуждения с похмелья...

— Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли это забота, но она строго г е о м е т р и ч н а! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером — бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром — переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спьяна природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу — пожалуйста, с похмелья его сменяет порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма... Она — всеобща и к каждому применима. А у вас — все не как у людей, все, как у Гете!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист — тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

— А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу — не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть — и леммы уже нет... В особенности — если баба плохая, а лемма хорошая...

Враз заговорили все. «Да что такое вообще лемма?» «И что такое — плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие...»

— У меня, например, — сказал декабрист, — у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая...

— При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!

— И об усах! Не было бы усов — не было б и разговора...

— Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. — черноусый опять поворотился ко мне. — С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал:

— С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим...

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» — галдеж возобновился.

— Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать — это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это — уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить...

— Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

— Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба — берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить... Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

— А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации — способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка!» — голосом таким пропитым и печальным говорю: «Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры...» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк — волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать — так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило!» «Цивилизации!» «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо — ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика — смеялась. А внучек верещал: «И-и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри...»

— А плохая баба? — сказал декабрист. — Разве не нужна бывает и плохая баба?

— Конечно! Конечно, нужна, — отвечал я ему. — Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уж четы-

ре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу — вы бы видели, как она подошла!

— Знаем! — сказал декабрист. — «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево».

— Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю — встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал — и пошел. И вот уж три месяца хожу замутненный...

— Замутненность — от грусти, — повторил черноусый в беретке. — А грусть — от бабы.

— Замутненность — оттого, что поддал, — перебил его декабрист.

— Да причем тут «поддал»? А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! — плохая, значит, баба! Да если даже и плохая — все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

— Честное слово! — вскричал декабрист. — Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь... Давайте и я вам что-нибудь расскажу — про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет...

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старый Митрич — и тот сказал: «Давайте!..»

61-Й КИЛОМЕТР — 65-Й КИЛОМЕТР

Первым начал рассказывать декабрист:

— Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался — знаете, на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, — а вот поди ж ты, помешался...

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается... Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда — воскресюсь: встану с по-

стели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

— Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно!

А он:

— Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду!

Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

— Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову?

— Конечно, — отвечает, — если вы хотите, чтоб я ее, вашу Веру Дулову, удавил, струною от арфы, — тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.

Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой — да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Ррруль мне дай, — говорит. — Дай мне ррруль!» И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку...

И вот — я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом — швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил!.. «Вот она — Эрдели! Не веришь — спроси!»

И наутро смотрю: отворилось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом — потихоньку заработал, заучился, запил... И стал человек как человек. Вот видите!..

«Да где же тут любовь и где Тургенев?» — заговорили мы, почти не дав окончить. — «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили — вот примерно все это и расскажи...»

— Конечно, — прибавил я, — у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете... Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы уже и без жабо — лыка не вяжем...

— Конечно! Конечно!

— Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, — смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

— Ну зачем палец?.. при чем тут палец? — застонал декабрист.

— Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..

— Боже мой! Нет, не смог бы.

— Ну вот то-то...

— А я бы смог! — проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. — А я бы смог чего-нибудь рассказать...

— Ты? Р а с с к а з а т ь? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

— Ну и пусть, что не читал... Мой внучек зато все читал...

— Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..

«Представляю, — подумал я, — что это будет за чушь! что за несусветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй...

Дедушка начал рассказывать:

65-Й КИЛОМЕТР — ПАВЛОВО-ПОСАД

— Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и весь в чирьях... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет... плывет и чирья из себя выдавливает...

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:

— А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол... и тут уже к нему не подступись — молчит и молчит.

А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький...

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны...

— Ну и все, что ли, Митрич?..

— И все, — отвечал он сквозь слезы.

Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился:

— Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!

— Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! — брякнул кто-то со стороны. — Кинокартину «Председатель»!

— Какая там, к черту, кинокартина!..

А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко... Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость.

— Давай, папаша, — сказал я ему, — давай я угощу тебя, ты заслужил! ты хорошо рассказал про любовь!..

— И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

— Давайте! За орловского дворянина!..

Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис...

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался...

— Я тоже хочу Тургенева и выпить, — проговорила она всею утробою...

Замешательство длилось не больше двух мгновений.

— Аппетитная приходит во время еды, — съязвил декабрист.

Все засмеялись.

— Чего тут смеяться, — сказал дедушка. — Баба как баба, хорошая, мягонькая...

— Таких хороших баб, — мрачно отозвался черноусый и снял берет, — таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали...

— Ну почему, почему! — я запротестовал и засуетился. — Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет! «Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!..» — Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана «тети Клавы».

Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет. «Вот это — видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала — и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».

Я налил ей еще полстакана.

ПАВЛОВО-ПОСАД — НАЗАРЬЕВО

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: «Видите — четырех зубов не хватает?» «Да где же зубы-то эти?» «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу — у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба...»

И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа...

— Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил...» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок — я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин». А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин»... — Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, — оборвал ее черноусый. — Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже — нет, чтобы коров пасти и жать хлеба — так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я — как немножко на-

пьюсь, так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!» И так всякий раз — стоило мне немного напиться. «Кто за тебя, — говорю, — детишек?.. Пушкин, что ли?» А он — прямо весь бесится. «Уйди, Дарья, — кричит, — уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом — все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого... И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! детишек — не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу — любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, — орет, — сердцем — да, сердцем люблю твою душу, но душою — нет, не люблю!!» И как-то дико, по-оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего "я"!»

Да! А через месяц он вернулся! А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! — закричала. — Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек...» А он — не говоря ни слова — подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола...

— Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток...

Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка.

— А где же он теперь, твой Евтюшкин?..

— А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири...

— Верно говоришь, — поддержал я ее. — В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов — был. Он говорит: идешь, идешь, видишь — кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул... Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего — приехал рыхлый и глаза навыкате...

— А в Сибири?..

— А в Сибири — нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца — и негры на них вешаются...

— Да что еще за негры? — встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?..

— Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

— Никаких негров? В Штатах?..

— Да! В Штатах! Ни единого негра!..

Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, — все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные — забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка...

— Значит, вы были в Штатах, — мямлил черноусый, — это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... я вам верю, как родному... Но — скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите...

— Да, — отвечал я ему, — свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них — я много ходил и вглядывался, — у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? — думал я и сворачивал с Манхеттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: — От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего. Но откуда берется самодовольство??» Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и реклам-

ных вывертов — откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством — а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

— Да, да, да, — кивал головою старый Митрич, — они там кушают, а мы почти уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... а сами что будем кушать?..

— Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

— Как же... помню... — и все выпитое выливалось у него из синих глаз, — помню... «мы с бабушкой уходили все дальше в лес...»

— Да разве ж это про Родину, Митрич! — осоловело сердился черноусый. — Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал...

НАЗАРЬЕВО — ДРЕЗНА

А черноусый сказал:

— Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?

— Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует... И так от этого грустно! А они нашей грусти — не понимают...

— Да ведь итальянцы! — разве они что-нибудь понимают! — поддержал черноусый.

— Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, — захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поебанный!» Да разве ж я как поебанный! Просто — немотствуют уста...

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: «Далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!..»

Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер... А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра — тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну, что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?» — спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей — что присуще?» Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты, — говорит, — а никакой не Логос! Вон, — кричит, — вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго...

Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют — из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским Полям — а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых — она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню; короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. «Интересно, — прошмыгнула мысль у меня, — откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопро-

сы, самые мучительные социальные вопросы...»

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего — а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал... — а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла...

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак — я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок — и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммер элегант». Эссе по вопросам любви.

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр, твердый или мягкий?» — он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно». А покажи ему мягкий — так он и совсем растеряется. А там — нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр м я г к и й, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет...

Короче, «Ревю де Пари» вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? — я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок — и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»...

— И вам опять его вернули? — спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон...

— Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервоз-

ности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую — через кровосмесительство — трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..

Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями — и через Верден попер к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал: «Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены...» А в окрестностях Лондона...

— Позвольте, — прервал меня черноусый, — меня поражает ваш размах, нет, я верю вам как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы...

ДРЕЗНА — 85-Й КИЛОМЕТР

— Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница — это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском...

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершенно свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон — переходи...

Так что ничего удивительного... В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм: «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу...»

«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких шта-

нах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?»

— В каких же это носках?! — заговорил я, уже досады и не скрывая. — В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!» Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:

— Контролеры! Контролеры!.. — загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!..»

Мой рассказ оборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, — все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фатаморгана...

Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого — ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика — публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опустил, мудозвон! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие — и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим...

До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контроля, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два ма-

леньких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены — так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты...

Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеныч брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант...

Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало... И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «Контролеры!!» — нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение...

Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины...

— Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская — Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот — Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», теперь же вызывает «законную гордость»... А ты, Веня?..

И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром:

— А ты, Веня? Как всегда: Москва — Петушки?..

85-Й КИЛОМЕТР — ОРЕХОВО-ЗУЕВО

— Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки...

— И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!

Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься»?

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только еще заступил на должность. Он подошел ко мне

и спросил: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял в чем дело, он объяснил мне в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну, как? Уебал он все-таки эту Лукрецию?»

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и...» Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный...

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва — Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже...

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда...

И вот — Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

— Москва — Петушки? Сто двадцать пять.

— Семеныч! — отвечал я, почти умоляюще. — Семеныч! Ты выпил сегодня много?..

— Прилично, — отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину...

— А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты м о ж е ш ь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

— Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..

— От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда — можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

— Могу! — рокотал Семеныч. — Говори, говори, Шехерезада!

— Так слушай. То будет день, «избраннейший из всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет наконец: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...» И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот — мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют «Исайя, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе...

— Сольются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпении...

— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина...

— Женщина!! — затрепетал Семеныч. — Что? что женщина?!!!..

— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет...

— Возляжет?!! — тут уж он задергался. — Возляжет?!!

— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится! И...

— О-о-о-о! — застонал Семеныч. — Скоро ли сие? Скоро ли будет?.. — и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности...

Я, как ни был я пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «о г о»! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было б понять...

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? — что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика: «Ого! — говорит. — Ай да генерал де Голль!» Или: «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!».

— Семеныч! Семеныч! — я обхватил его и потащил на площадку вагона. — На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей...

— Веня! Скажи мне... женщина Востока... если снимет с себя паранджу... на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась...

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстегнутого — вынесло на перрон и ударило головой о перила... Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону...

Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального — я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, — и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если т а м Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..» — я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу...» Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей...

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты — о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим, Господь! это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! — я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, — а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты...

«Все ваши выдумки о веке златом, — твердил я, — все — ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому назад, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск — в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, — а что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..»

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина...

ОРЕХОВО-ЗУЕВО — КРУТОЕ

...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

— Что ты здесь делаешь, Тихонов?

— Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы...

— Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?

— А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить — нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие...

— А ты выпей можжевеловой, Вадя...

Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил.

— Ну как? Назрела ситуация?

— Погоди, сейчас назреет...

— Когда же выступать? Завтра?

— А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить — нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

— А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой...

Вадимчик выпил и опять загрустил.

— Ну, как? Ты считаешь: пора?..

— Пора...

— Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Тартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу...

— Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.

— До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь...

— Постараюсь, усну, до свидания, товарищ...

Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: «бесплодной, как смоковница».) Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня — я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие...

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами — в ногах правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого: приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу...

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, — но, как бы то ни было, с этого все началось.

Двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли — колонна на Елисейково, другая — на Тартино. И шли беспрепятственно, вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один — бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодово и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда — от магазина в Поломах до андреевского склада сельпо, — все заняты были силами восставших...

А после захода солнца — деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич...

С места кричали: «А где это такая — Норвегия?..» «А кто ее знает, где! — отвечали с другого места. — У черта на куличках,

у бороды на клине!» «Да где бы она ни была, — унимал я шум, — без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов...» «Белополяки нужны!» — кричал закосевший Тихонов. «О, идиот, — прерывал я его, — вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, — но как доходит до дела, ты говно говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?..» «Да разве я спорю! — сдавался Тихонов. — Как будто они мне больше нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия...»

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу, с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо — вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, — было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разъебай-каудильо!.. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И, наконец, четвертое письмо — Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский коридор ни малейшего права...

И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права...

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич...

Не спал и пленный, бывший предсельсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

— Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

— Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

— А чего это такое?..

— Узнаешь, чего это такое! То есть, ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянет!..

КРУТОЕ — ВОИНОВО

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их: 1-й Пленум, 2-й Пленум, 3-й Пленум и 4-й Пленум...

Весь 1-й Пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть «декреты»? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще? — нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не пришло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать утра, а не в девять...

Мысли роились — так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

— Слушай-ка, канцлер!

— Ну, чего?..

— Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.

— Найди другого, — обиделся Тихонов.

— Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатоль Иваныча? Ты что же это? — открываешь террор?

— Да так... Немножко...

— И какой террор открываешь? Белый?

— Белый.

— Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем — и декларацию прав. А уж только потом — террор. А уж потом выпьем и — учиться, учиться, учиться...

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:

— Да-а-а... сплоховал я с этим террором... Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было... Были, правда, прецеденты, но...

— Ну, разве это прецеденты! Это — так! чепуха! Полет шмеля это, забавы взрослых шалунов, а никакие не прецеденты!.. Летоисчисление — как думаешь? — сменим или оставим как есть?

— Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет...

— Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, Пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

— Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет 2-й Пленум... Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открыть 2-й Пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

— Я встаю с президентского кресла, — сказал я в своем выступлении, — я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?

— Нет таких, — хором отвечали делегаты.

— Мою, например, харю — разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».

— Ну, так вот, — продолжал я. — Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет...

Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные

луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, — допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..

Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем:

— Тебе нравится, Вадя, наша революция?

— Да, — ответил Вадя, — она лихорадочна, но она прекрасна.

— Так... А насчет Норвегии, Вадя, — насчет Норвегии ничего не слышно?

— Пока ничего... А что тебе Норвегия?

— Как то есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет... Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло — и тогда увидишь, что будет!..

— Садись, — ответил Вадя, — кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь — садись...

ВОИНОВО — УСАД

Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3-й Пленум, я сказал:

«Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, — я беру в свои руки всю полноту власти; то есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того — полномочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно становлюсь президентом. То есть «личностью, стоящей над законом и пророками...»

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения...

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение: «Смерть наступила

вследствие естественных причин». Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й Пленум был траурным.

Я выступил и сказал:

«Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки — вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, — а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка...

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В Общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят...»

Тут уже заорали с мест:

— А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!

— Как же! дадут вам Б-52! Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!

— «Фантомы» дадут!

— Ха-ха! Кто это сказал: «Фантомы»? Еще одно слово о «Фантомах» — и я лопну от смеха...

Тут Тихонов со своего места сказал:

— «Фантомов» нам, может быть, и не дадут, — но уж девальвацию франка точно дадут...

— Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия — и ухожу от вас. В Петушки.

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел — какие слова полетели мне вслед! Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду...

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в пояс

кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце, а я все шел.

«Царица Небесная, как далеко еще до Петушков! — сказал я сам себе. — Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду — где же Петушки?»

«Где же Петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю, и вечно путаю.

Я постучался и спросил: «Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?» А мне в ответ — все, кто был на веранде, — все расхохотались, и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал — ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того — кто-то ржал у меня за спиной.

Я оглянулся — пассажиры поезда «Москва — Петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

«Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, — чтобы не так тошнило».

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна...

— Мы подъезжаем к Усаду, да? — Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос: — Мы подъезжаем к Усаду?

— Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, — отвечал какой-то старичок. — Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил:

— От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

— Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

«Милая странница!!!?»

Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал: какая же я после этого «милая странница»? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить — но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем — или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих, спросил:

— Это Усад, да?

А он (совсем неожиданно) вытянулся передо мной в струнку и рявкнул: «Никак нет!!» А потом — потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!..»

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

УСАД — 105-Й КИЛОМЕТР

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», — но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку — о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!..

— А! Это ты! — кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же ведь время — искушать!»

— Так это ты, Ерофеев? — спросил Сатана.

— Конечно, я. Кто же еще?..

— Тяжело тебе, Ерофеев?

— Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал...

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

— А раз тяжело, — продолжал Сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв — легче будет.

— Ни за что не смирю.

— Ну и дурак.

— От дурака слышу.

— Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми — и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...

Я сначала подумал, потом ответил:

— Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь...

И Сатана ушел, посрамленный.

А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой — таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма...»

«Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать, с Курского вокзала...»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться — бах! уже темно... А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего «о-о-о»! Чего ты все «о-о-о» да «о-о-о»! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например...»

«Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили... А теперь, черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есино...»

Я взглянул за окно и опять нахмурился: «Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще едем...»

Тут уж сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие — ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, — так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон, и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть было тоже не задремал...

И вдруг — подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно... Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдрабадан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы — заря моей пятницы уже взошла. Значит — уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..»

«Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу...»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню...»

«Да что «коса»! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: «коса»! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы... А осенний день наоборот — он уже с гулькин хуй! Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!»

Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка — и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии,

а везешь триста грамм конфет «Василек». И вот — через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот «Василек». А все будут говорить: «13-й раз подряд мы видим сплошной «Василек». Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура». А она рассмеется и скажет: «...»

Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку...

105-Й КИЛОМЕТР — ПОКРОВ

Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине.

Я вздрогнул и обернулся: передо мною был некто без ног, без хвоста и без головы.

— Ты кто? — спросил я его в изумлении.

— Угадай, кто! — и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся...

— Вот еще! Буду я угадывать!..

Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: передо мною был все тот же некто, без ног, без хвоста и без головы...

— Ты зачем меня бьешь? — спросил я его.

— А ты угадай, зачем!.. — ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз — я все-таки решил угадать. «А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине обеими ногами...»

Я опустил глаза и задумался. Он — ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку, сопли вытирал...

Первым заговорил все-таки он:

— Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где...

— Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.

— Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

— Да. Куда им вздумается.

Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых.

— Так слушай же. Перед тобою — Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

— Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в Петушках, — чего? моровая язва? Там кто-то вышел замуж за собственную дочь, и ты...?

— Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе — не пущу, значит не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

«Для чего ему, подлюке, загадки?» — подумал я про себя. А вслух сказал:

— Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

«Для чего ему, разъебаю, загадки?» — подумал я еще раз.

А он уже начал первую:

«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня — по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу — по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».

Про себя я подумал: «На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?..»

Я обиделся и сказал:

— Это плохая загадка. Сфинкс, это загадка с поросячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

— Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована; каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой; каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 — определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

«На кого, на кого т е п е р ь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?»

— Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

— Ха-ха! Давай третью!

«Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновенье Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт Б1. Неизвестно, почему оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта Б2 — на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?»

«Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?..»

— Ха-ха! — вскричал, потирая руки, Сфинкс. — И эту решать не будешь?! И эту — не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе — на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине — и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 78 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все тарелки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, — узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?!»

— Как то есть «Курского вокзала»?

— А вот так то есть. «Курского вокзала».

— Так он же поскользнулся-то — где? Он же в Петушках поскользнулся! Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

— А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

«Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несут такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?..»

— Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.

— Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда...

— Тогда давай последнюю, давай!

«Вот: идет Минин, а навстречу ему — Пожарский. «Ты какой-то странный сегодня, Минин, — говорит Пожарский, — как

будто много выпил сегодня». «Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь». «Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?» «Сейчас скажу: сначала 150 российской, потом 150 перцовой, 200 столичной, 550 кубанской и 700 грамм ерша. А ты?» «А я ровно столько же, Минин». «Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?» «Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?» «Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, идешь совсем не в ту сторону!» «Нет, это ты идешь не туда, Минин». Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин — туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем — куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи».

— В Петушки? — подсказал я с надеждой.

— Как бы не так! Ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги:

— А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

— Может быть, в Петушки? — я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. — В Петушки, да?..

— А на Курский вокзал — не хочешь?! Ха-ха! — И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. — И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! — а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил...

— Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..

— А вот увидишь — куда! Ха-ха! Увидишь!..

ПОКРОВ — 113-Й КИЛОМЕТР

Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку — и растворился в воздухе... Для чего это ему было надо?

Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было

написано: «...» — и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров».

«Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом — Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все подымалась, разом опустилась на дно души и там затихла...

Три или четыре мгновения она, притихшая, там и лежала. А потом — потом она не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души п о д с к о ч и л а, одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло:

Вот — я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо — и «Покров», и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю: если станция Покров оказалась справа, значит — я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. «Постой, Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал: может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди, выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано «...».

Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «...». Я поглядел налево: там так же красиво было написано «...». Боже! Я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался...

«Постой, постой... А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы — все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!..»

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика — чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?!

«Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик — вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль — а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом — миллион».

«Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской — за то, что ты благороден».

И вот — я запрокинулся, допивая свой остаток. И — сразу — рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка, и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице.

«Человек не должен быть одинок» — таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!) А вы — отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

«И по-твоему, именно так должен поступать человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево.

«Да. Именно так, — склонив голову вправо, ответил я сам себе. — Не век же рассматривать «...» на вспотевших стеклах и терзаться загадкою!..»

И я пошел по вагонам. В первом — не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором — тоже никого; даже дождь не брызгал...

В третьем — кто-то был...

113-Й КИЛОМЕТР — ОМУТИЩЕ

...Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Ни дать, ни взять — копия с «Неутешного горя», копия с тебя, Ерофеев», — сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала...

Вот! Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, — чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..

Что же мне все-таки сказать?

— Княгиня, — позвал я тихо.

— Ну, чего тебе? — отозвалась княгиня, глядя в окно.

— Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего...

— Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица... Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь...

«Это мне-то, в моем положении — молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное... Впрочем, ладно, потом вспомню... Женщина плачет — а это гораздо важнее... О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад — и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме «скорби» и «страха», и после этого — и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..»

Я подумал и сказал:

— Княгиня!.. а, княгиня!..

— Ну, чего тебе опять?

— Нет у тебя уже гармони. Не видно.

— Чего ж тебе тогда видно?

— Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь.)

— Сам ты кустик, я вижу...

«Ну что ж, кустик так кустик». Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину... О чем же все-таки это «важное»?

— Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

— Чего ты мелешь?

— Честное слово, с тех пор не видел... Где он, твой камердинер?

— Он такой же твой, как и мой! — огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей — остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула:

— Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!

И скрылась.

«Вот это да-а-а, — протянул я восторженно, как давеча декабрист. — Ловко она меня отбрила!» И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих — дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик... Через час — опять позвонил.

— Ка-мер-ди-нер!!

Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спьяну, ходить во всем желтом, до самой смерти — так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.

— Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет — как ты думаешь? Спал?

— В том вагоне — да, спал.

— А в этом — нет?

— А в этом — нет.

— Чудно мне это, Петр... Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое... А то, знаешь, опять мне делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

— Не знаю. Я сам спал — в этом вагоне.

— Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?

— Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том — зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?

— Ты не путай меня, Петр, не путай... Дай подумать. Видишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.

— Какая же это мысль?

— А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

ОМУТИЩЕ — ЛЕОНОВО

Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь — когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан... Не очень заметно, что я расщеплен?

— Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.

— Ну, это ничего. Рожа — это ничего...

— И выпить тоже нет ничего, — подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепенулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то — знаешь? — немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас».

— А где же твоя княгиня, Петр?

— Она давно уже вышла.

— Куда вышла?

— В Храпунове вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове — вышла.

— Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не путай... Так, так... Самая главная мысль... Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему — понятия не имею. Да, да... вот теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гете, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке... А я — нет, я и дома без шлафрока; я и на улице — в тапочках... А Шиллер-то тут при чем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер...

Петр все глядел на меня, стоя надо мной. И все еще мало что понимал.

— Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты — смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде нет никого?

— Никого.

— Так...

Я опять задумался. И странная это была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это «что-то» тоже было странно. И дума — тяжелая была дума...

Что я делал в это мгновение — засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? «Есть бытие, но именем каким е г о назвать? — ни сон оно, ни бденье». Я продремал так минут 12 или 35.

А когда очнулся — в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души...

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался...

— Ка-мер-ди-нер!

В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый — почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?»

— Я ничем не хлопал. Я спал.

— Кто же тогда хлопал?

Петр глядел на меня, не моргая.

— Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде никого-никого?

— Никого.

— Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, так кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь!..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да; он повалился на канделябр и погасил его собою — и так пошел по вагону, гася огни. «Ему стыдно, стыдно!» — подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

— Возвратись, Петр! — я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. — Возвратись!

— Проходимец! — отвечал тот из-за окошка.

И вдруг — впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою...

— Что с тобой, Петр? Что с тобой?!..

— Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабуленька! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у-у...

И снова выпорхнул, теперь уже навечно.

«Черт знает что такое! Что с ними со всеми?» Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали...

ЛЕОНОВО — ПЕТУШКИ

...Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот — влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эриний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы...

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами:

«Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!..» А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхалась от бега.

— Куда вы? Куда вы все бежите?..

— Чего тебе?! Отвяжи-и-сь! Пусти-и-и-и!..

— Куда? И все мы едем — куда??..

— Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..

И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб — до того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась — и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею...

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд «Москва — Петушки» летит под откос. Вздымались вагоны — и снова проваливались, как одержимые одурью... И тогда я заметался и крикнул:

— О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..

Крикнул и оторопел: хор Эриний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой...

А кимвалы продолжали бряцать, а бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

ПЕТУШКИ. ПЕРРОН

А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь — да, как будто туман. А если вы скажете — нет, то не туман, то пламень и лед — попеременно то лед, то пламень, — я вам на это скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

«Это лихорадка, — подумал я. — Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман». А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках — ножик...

— Митридат, это ты, что ли? — мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. — Это ты, что ли, Митридат?..

— Я, — ответил понтийский царь Митридат.

— А измазан весь — почему?

— А у меня всегда так. Как полнолуние — так сопли текут...

— А в другие дни не текут?

— Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

— И ты что же, совсем их не утираешь? — я перешел почти на шепот. — Не утираешь?

— Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние...

Я прервал его:

— Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

— Как зачем?.. да резать тебя — вот зачем!.. Спрашивает тоже: зачем?.. Резать, конечно...

И как он переменился сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел — и куда только сопли девались? — и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: «Что ты, Митридат, что ты! — шептал я или кричал, не знаю. — Убери нож, убери, зачем...?» А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась... «Изувер!» И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою защититься от ножика... «Перестань, Митридат, перестань...»

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, опять правый, — я успевал только бессильно взвизгивать, — и забился от боли по всему перрону. И проснулся, весь в судорогах. Вокруг — ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. «Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже...»

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихоманка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и, приблизились ко мне вплотную и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка — серпом по ..цам. Я закричал — наверно, вслух закричал — и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось — и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, — я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от вас, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица Небесная, я — в Петушках!..

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик где твой? Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты «Василек» и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл — ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, посмотри, есть ли деньги, может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь — деньги?.. О, эфемерность! О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа — время от закрытия магазинов до рассвета!..

Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, — то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше — то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: «Раз-два-туфли надень-ка как-ти-бе-не стыдна-спать...» Самое главное — уйди от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она не встретила, и все узнаешь... Иди, Веничка, иди...»

ПЕТУШКИ. ВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

«Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят...»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, — и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю, — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, — умру, и Он меня спросит: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?» — я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем,

кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...

Может, все-таки разомкнуть уста? — найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу — а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось, — так зачем тебе узнавать время? «Не женщина, а бланманже», как ты в шутку ее называл, — на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины — не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой...

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

ПЕТУШКИ. САДОВОЕ КОЛЬЦО

Постучался — и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят...

«Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы — непомерно широкими, дома — странно большими... Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян... Помнишь лемму этого черноусого?»

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего: «Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю... Они, серьезные, это понимают, а я,

легковесный, никогда не пойму... Мене, текел, фарес — то есть «ты взвешен на весах и найден легковесным», то есть «текел»... Ну и пусть, пусть...

Но есть ли т а м весы или нет — все равно — на т е х весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал — и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков.

Есть т а м весы, нет т а м весов — т а м мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, и знаю, и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..»

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, — я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы...

«Не плачь, Ерофеев, не плачь... Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо...»

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулок, и снова задрожал и заплакал...

И тут — началась история, страшнее всех, виденных во сне: в этом самом переулке навстречу мне шли четверо... Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо... Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу...

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех четверых — вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета? — вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож... впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

— Ну, вот ты и попался, — сказал один.

— Как то есть... попался? — голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

— А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.

— А почему?..

— А потому.

— Слушайте... — голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью. И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, — потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с э т и м и. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я предал бы Его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал...

— Слушайте, — говорил я им, как умел, — вы меня пустите... что я вам?.. я просто не доехал до девушки... ехал и не доехал... я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал... там пустяки и были, а все-таки жалко... «Василек»...

— Какой еще василек? — со злобою спросил один.

— Да конфеты, конфеты «Василек»... и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает... но это чепуха... вот только дождаться рассвета, я опять поеду... правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут... даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: «Как этот подонок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах я видел эти рожи?..

— Я хочу опять в Петушки...

— Не поедешь ты ни в какие Петушки!

— Ну... пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу...

— Не будет тебе никакого вокзала!

— Да почему?..

— Да потому!

Один размахнулся — и ударил меня по щеке, другой — кулаком в лицо, остальные двое тоже надвигались, — я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо тихо наступали...

«Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад — все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!..»

Я схватился за голову — и побежал. Они — следом за мной...

ПЕТУШКИ. КРЕМЛЬ. ПАМЯТНИК МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ

«А может быть, это все-таки Петушки?.. Может, крикнуть «караул», хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят, не сморгнув. Может, и в самом деле Петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, — это же райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!..»

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не Петушки! Если Он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, — Он в эту сторону ни разу и не взглянул. А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, — Он это место обогнул и прошел стороной.

Не Петушки это, нет! Петушки Он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы Его ночлега — пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым.

Нет, это не Петушки! Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже за собою топот погони — я успел подумать: «Вот! Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, сколько раз проходил — и ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот теперь наконец увидел — когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!..»

Неисповедимы Твои пути...

Топот все приближался — а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до Кремлевской стены — и рухнул. «Что это за люди и что я сделал этим людям?» — такого вопроса у меня не было, я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. И заметят они меня или не заметят — тоже все равно. «Мне не нужна дрожь, мне нужен покой, — вот все мои желания. Пронеси, Господь...»

Они приближались с четырех сторон, поодиночке. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги — они бы сразу убили меня...

— Ты от нас? О т н а с хотел убежать? — прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот... Я почти упал, но удержался... Началось избиение!

— Ты ему в брюхо сапогом! Пусть корячится!

Боже! я вырвался и побежал — вниз по площади. «Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятника — смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть — сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина — куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда — я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский...

МОСКВА — ПЕТУШКИ. НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДЪЕЗД

Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул — я все еще надеялся... «О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо...»

Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять...

Весь сотрясаясь, я сказал себе «талифа куми». То есть «встань и приготовься к кончине»... Это уже не «талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине», это *лама савахфани*. То есть: «Для чего, Господь, Ты меня оставил?»

«Для чего же все-таки, Господь, Ты меня оставил?»

Господь молчал.

«Ангелы небесные, они подымаются! что мне делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы!..»

И ангелы — засмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю, — вам сказать, как они сейчас засмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок

все дымился, а дети скакали вокруг — и хохотали над этой забавностью...

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел — они подымались с последнего этажа... А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках — для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление.

Они даже не дали себе отдышаться — и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками; я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего...

— Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. — бормотал я...

О н и в о н з и л и м н е с в о е ш и л о в с а м о е г о р л о...

Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

На кабельных работах
в Шереметьево — Лобня,
осень 69 года

«ДОВОЛЬНО, ПАЦИЕНТ. В ДУРДОМЕ НЕ УМНИЧАЮТ»

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ,

или ШАГИ КОМАНДОРА

Трагедия в пяти актах

В ТРАГЕДИИ УЧАСТВУЮТ:

Врач приемного покоя психбольницы

Две его ассистентки-консультантши.

Одна (Валентина) — в очках, поджарая и дробненькая. И больше секретарша, чем ассистентка.

Другая — Зинаида Николаевна, багровая и безмерная

Старший врач Игорь Львович Ранинсон

Прохоров — староста 3-й палаты и диктатор 2-й

Гуревич

Алеха по кличке Диссидент, оруженосец Прохорова

Вова — меланхолический старичок из деревни

Сережа Клейнмихель — тихоня и прожектер

Витя

Стасик — декламатор и цветовод

Коля

Комсорг 3-й палаты Пашка Еремин

Контр-адмирал Михалыч

Медсестра Люси

Медсестра Натали

Медсестра-санитарка Тамарочка

Медбрат Боренька, по кличке Мордоворот

Хохуля — сексуальный мистик и сатанист

Толстые санитары с носилками, в последнем акте уносящие трупы

Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета.

ПЕРВЫЙ АКТ

Он же Пролог. Приемный покой. Слева от зрителя — жюри: старший врач приемного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физией и в совершенно квадратных очках. По обе стороны от него — две дамы в белых халатах: занимающая почти пол-авансцены Зинаида Николаевна и сутуловатая, *на все отсутствующая*, в очках и с бумагами, Валентина. Позади них мерно прохаживается санитар и медбрат Боренька, он же Мордоворот, и о нем речь впереди. По другую сторону стола только что доставленный «чумовозом» (скорой помощью) Л. И. Гуревич.

Доктор. Ваша фамилия, больной?

Гуревич. Гуревич.

Доктор. Значит, Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не... Документы какие-нибудь есть при себе?

Гуревич. Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что...

Доктор (поправляя очки). Имя-отчество?

Гуревич. Кого? Декарта?..

Доктор. Нет, нет, больной, ваше имя-отчество!

Гуревич. Лев Исаакович.

Доктор (из-под очков, в сторону очкастой Валентины). Отметьте.

Валентина. Что отметить, простите?

Доктор. *Все! Все* отметить!.. Родители живы?.. И зачем вам лгать, Гуревич?.. если вы совсем не Гуревич... Так, я еще раз повторяю: ваши родители живы?..

Гуревич. Оба живы, и обоих зовут...

Доктор. Интересно, как их зовут.

Гуревич. Исаак Гуревич. А маму — Розалия Павловна...

Доктор. Она тоже Гуревич?

Гуревич. Да. Но она русская.

Доктор. Ну, а как обстоит дело с вашей матерью?

Гуревич. Вы бестактны, доктор. Что значит «как обстоит дело с матерью?» А с вашей, если вы не сирота, как обстоит?

Доктор. Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу и от вас... А кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем немаловажно.

Гуревич. Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт...

Доктор (очкастой Валентине). Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую маму... А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изменяют познания в географии, — ведь это еще не наша территория...

Гуревич. Ну, это как сказать. Вся территория — наша. Вернее, будет нашей. Но нам не дают туда погулять — видимо, из миротворческих соображений: чтобы мы довольствовались шестой частью обитаемой суши.

Доктор. А... очень широк, этот Геллеспонт?..

Гуревич. Несколько Босфоров.

Доктор. Это вы что же — расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками и табуретками, вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

Гуревич. Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно 670 моих шагов — а по Брокгаузу, это точная ширина Босфора.

Доктор. Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?

Гуревич. Когда как. Другие — чаще... Но я — в отличие от них — без всякого форсу и забубенности. Я — только когда печален...

Доктор. Н-ну, печаль печалью. А на какие средства вы... каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно...

Гуревич. Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов — массовый сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

Зинаида Николаевна. И сколько вам плотят?

Гуревич. Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить?» — я бы сказал: «Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни хуя нету».

Доктор (из соображений авантажности). Я понял, что вы больше вольный мореплаватель, а не татарин из хозмага. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

Гуревич (делает то, что предписывают). Я могу сесть?

Доктор. Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно. Вот — одна еще деталь: о том, женаты вы или нет, я не спрашиваю: но есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, та, что сопровождает вас в жизни?

Гуревич. Конечно, есть. Вернее, конечно, была. Когда мы вместе с нею переплывали Гиндукуш... она разбила свою прекрасную голову... о скалы Британского Самоа. В эту минуту (Гуревич почти плачет) ...и вот в эту минуту — судьба выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл — вы рады, что я выплыл?

Доктор. Из Гиндукуша?

Гуревич. Из Гиндукуша. А чего стоит выплыть из Гиндукуша, если прежде человеку покорялись Дарданеллы?

Доктор. Вот-вот. Для нас такой пациент — большая редкость, я рад, что вы не утонули. А вот когда вы плавали — вы брали с собой бутылку?

Гуревич. Еще бы! И какую бронебойную! Уксуснокислого аммония — акулы его не выносят. Как только появляется акула — выливаешь на голову себе и своей подруге немножко уксуснокислого аммония, — и все, акулы кочевряжатся, вконец теряют свои пустые головы, ну... на прощанье лизнут икры моей подруги... но ведь смешно было бы в такой ситуации ревновать... А когда уже дело доходило до Каракорума...

Доктор. А какое сегодня число на дворе? год? месяц?

Гуревич. Какая разница?.. Да и все это для России мелковато — дни, тысячелетья...

Доктор. Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса..?

Гуревич. Вот этим обрадовать вас не могу, не случалось. Но...

Доктор. Что все-таки «но»..?

Гуревич. Да вот я о химерах... Ну для ради чего, например, я изъездил весь свет, пересекал все Куэнь-Луни, взбирался на вершины Кон-Тики, — и узнал из всего этого только одно — что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего сдавать на улице Розы Люксембург!

Доктор. А еще какие странности?

Гуревич. Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий.

И чтобы меня — под этими Волопасами — лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается Мордоворот Боренька.

Гуревич (продолжает). Но что мне до Волопасов и Плеяд, когда я стал замечать в себе вот какую странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Это меня подкосило. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным...

Доктор дает знак левым глазом — с тем, чтобы Валентина записывала. Она лениво наклоняет конопатую голову.

Гуревич. ...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести мысли в ясность... И я спросил его шепотом — не потревожить бы кого, — да и кого, собственно, было тревожить, мы же были одни, — кроме нас, никого... так вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде, немного... но только и у меня пошли в обратную».

Доктор. Пить вам вредно, Лев Исакыч...

Гуревич. Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас — все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что *потрясенному содеянным*, — сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфиксии.

Доктор. Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с виконтами, графьями, маркизами — не приходилось водку хлебать?..

Гуревич. Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой...

Доктор. Лев?

Гуревич. Да отчего же непременно Лев! Если граф — то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва — и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закусь ничего нет, кроме двух анекдотов о Чапае...

Доктор. И он далеко живет, этот граф Толстой?

Гуревич. Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной...

Доктор. А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называете... бормотухи..?

Гуревич. Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И — неплохо бы — анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали...

Доктор. Анемоны?

Гуревич. Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всем остальном...

Доктор (полномочный тон его переходит в чрезвычайный). Ну, а если с нашей Родиной стрясется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. (Обращаясь к Зинаиде Николаевне.) Сколько у нас в России народностей, языков, племен..?

Зинаида Николаевна. А черт их знает... Полтыщи есть, наверняка.

Доктор. Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, больной, в случае *обстоятельств* — перед лицом противника — какое племя окажется самым надежным? Вы — человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах — и знаете, что они от нас почему-то убегают... И вот — гроза разразилась — в каком вы строю, Лев Исаакович?

Гуревич. Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий Князь Константин Павлович. Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы...

Доктор (в сторону Валентины). Запишите и это.

Гуревич. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда Она скажет: «Лева! Брось пить, вставай и выходи из небытия» — тогда...

Оживление в зале. Стук каблучков справа — и в приемный покой стремительно, но без суеты вплывает медсестра Натали. Глаза занимают почти половину улыбчатой физиономии. Ямка на щеке. Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немыслимой заколкой. Все отдает славянским покоем, кротостью, но и Андалузией — тоже.

Доктор. Вы очень кстати, Наталья Алексеевна (обычный обмен приветствиями между дамами, и все такое. Натали усаживается рядом с Зинаидой).

Натали. Новичок... Гуревич?! Сколько лет, сколько...

Доктор. Мы уже, по существу, заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей... Осталось выяснить только несколько обстоятельств — и в палату...

Гуревич (одушевленный присутствием Натали, продолжает). Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше... (Смех в зале.) Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. (Вдохновенно цитирует из Хераскова.)

Готовы защищать отечество любезно,
Мы рады с целою вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за такую Родину, *такую* Родину, я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостоин сражаться.

Доктор. Ну, почему же? Мы вас тут подлечим... и...

Гуревич. Ну так что ж, что подлечите?.. Я все равно ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкою гранат или даже без связки...

Зинаида Николаевна. Да без связки-то зачем?

Гуревич. Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего. Мой вам совет: больше читайте... Ну, а уж если не окажется ни одного танка поблизости — тогда хоть амбразура найдется точно. Чья — не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью — и лежу на ней, лежу, пока наш алый стяг не взовьется над Капитолием.

Доктор. Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, их, скоморохов, у нас пруд пруди. Как вы оцениваете ваше общее состояние? Или вы считаете — серьезно — свой мозг неповрежденным?

Гуревич (пока зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощелкивает пальцами по столу). А вы — свой?

Доктор (желчно). Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

Гуревич. ...Мне трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность... ни-чем-не-взволнованность... ни-к-кому-не-расположенность... И как будто ты с кем-то помолвлен...

а вот с кем, когда и зачем — уму непостижимо... Как будто ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность, но и ни-на-чем-нераспятость... ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя внутри благодати — и все-таки *совсем не там...* ну... как во чреве мачехи... (Аплодисменты.)

Доктор. Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас посшибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей наклонности к цинизму и фанфаронству, — уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

Гуревич (чуть взглянув на Натали, оправляющую свой белый халатик).

Мой папа говорил когда-то: «Лев,
Ты подрастешь — и станешь бонвиваном!»
Я им не стал. От юности своей
Стяжал я навык: всем повиноваться,
Кто этого, конечно, стоит. Да,
Я родился в смирительной рубашке. —
А что касается...

Доктор (нахмурясь, прерывает его). Я, по-моему, уже не раз просил вас не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое... Можно ведь говорить и людским языком, без этих... этих...

Зинаида Николаевна (подсказывает). Шекспировских ямбов...

Доктор. Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки...

Гуревич. Хорошо, я больше не буду... вы говорили о нашей медицине, чту ли я ее? Чту — слово слишком нудное, по правде, и... плоскоступное...

Но я — но я влюблен в нее — и это
Без всякого фиглярства и гримас. —
Во все ее подъемы и паденья,
Во все ее потуги врачеванья
И немощей телесных, и душевных,
В ее первéнство во Вселенной, в Разум
Немеркнущий, а — стало быть — и в очи,
И в хвост ее, и в гриву, и в уста,
И в...

В протяжение этой тирады Боренька Мордоворот тихонько, сзади, подходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загривок и волочь.

Доктор. Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дурдоме не умничают... Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда последний раз?

Гуревич. Конечно. Но только — видите ли? — я несколько иначе измеряю время. Само собой, не Фаренгейтами, не тумбочками, не Реомюрами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или... там... летнего солнцеворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот — большинство — не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или на северо-восток, нам на все наплевать... А микенский царь Агамемнон — так он клал под жертвенный нож свою любимую, младшую дочурку, Ифигению, — и только затем, чтобы ветер был норд-ост, а не какой-нибудь другой...

Доктор (заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным). Да... но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом (Все смеются, кроме Натали.) — так когда же вас последний раз сюда доставляли?

Гуревич. Не помню... не помню точно... И даже ветров... Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Абдаллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом... 84 дня от летнего солнцестояния... Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в тот день случилось событие, которое врезалось в память миллионов: та самая пустая винная посуда, которая до того стоила 12 или 17 копеек — смотря, какая емкость, — так вот, в этот день она вся стала стоить 20.

Доктор (смиряя взглядом прыскающих дам). Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

Гуревич. Да нет, пожалуй... Не припомню... Не было.

Доктор. Вот и память начинает вам изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация... Теперь будет обстоять сложнее. С полгодика вам полежать придется...

Гуревич (вскакивая, и все остальные вскакивают). С полгодика?!

Боренька тренированными руками опускает Гуревича в кресло.

Доктор. А почему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего

времени приступили к госпитализации даже тех, у кого — на поверхностный взгляд — нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к непроизвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...

Гуревич (в восторге). Ну, здорово!..

Нет, я все-таки влюблен
И в поступь медицины, и в *триумпы*
Ее широкой поступи — плевок
В глаза всем изумленным континентам.
В самодостаточность ее и в нагловатость
И в хвост ее, опять же, и в...

Доктор (титулованный голос его переходит в вельможный). Об этих... ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. А заодно и все ваши сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы — немножко поэт?

Гуревич. А у вас и от этого лечат?

Доктор. Ну, зачем же так?.. И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

Гуревич. Мартынов, конечно...

Зинаида Николаевна. Леонид Мартынов?

Гуревич. Да нет же, — Николай Мартынов... И Жорж Дантес.

Натали (пользуясь всеобщим оживлением). Так ты, Лева, теперь чешешь под Дантеса?

Гуревич. Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по десятку стихотворений в сутки — и, как правило, штук девять из них были незабываемыми, штук пять-шесть эпохальными, а два-три — бессмертными... А теперь — нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Некрасова. Хотите про соцсоревнование?.. Или нельзя?

Доктор. Ну, почему же нельзя? Соцсоревнование — ведь это...

Гуревич. Я очень коротко. Семь мужиков сходятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из

райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, вымпела — и вот мужики заспорили:

Роман сказал: сто семьдесят,
Демьян сказал: сто восемьдесят,
Лука сказал: пятьсот.
Две тысячи сто семьдесят, —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Сто тридцать одна тысяча четыреста
четырнадцать.
А Пров сказал: мульён.

Может быть, продолжить?

Доктор (отмахиваясь). Нет-нет, не надо... Борис Анатольевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до 4-й палаты. И немедленно в ванную. (Гуревичу.) До... водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

Гуревич. Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня — куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот самый микенский царь Агамемнон, о котором я вам упоминал, — так вот, его, по возвращении из Пергама, в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Мара...

Зинаида Николаевна (не слушая его, обращаясь к доктору). А почему все-таки в 4-ю? Там одни вонючие охломоны... Там он зачахнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в 3-ю. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат...

Доктор. «Суицидальные мысли», вы говорите... (к Гуревичу). Еще вам последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя... или кого-нибудь из своих ближних?.. Потому что 4-я палата это не 3-я, и нам приходится подчас держать ухо востро...

Гуревич. Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека *туда* — мне было тогда лет... не помню, сколько лет, очень мало, но это все случилось дня за три до новолуния... так мне был тогда больше всего неприязнен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного воздействия. Я влил все это дядюшке в куриный бульон —

и что ж вы думаете? — ровно через 26 лет он издох в страшных мучениях...

Доктор. Мм-дда... Шут с ним, с вашим дядюшкой... А на себя самого — ни разу в жизни не было влечения наложить руки?..

Гуревич. Случалось, и только позавчера, во время Потопа...

Доктор. Всемирного?..

Гуревич. Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными...

Доктор. А какие черти занесли вас в Орехово-Зуево?! Татарина из московского хозмага?..

Гуревич.

О, грустно быть татарином — до гроба!
Пришлось подзарабатывать в глуши:
И конформистом, и нонконформистом,
И узурпатором. Антропофагом,
На должности японского шпиона
При институте Вечной Мерзлоты...

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас, никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот — не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота, — вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили... Но потом — какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...

Доктор, охватив голову, дает понять Борису и Натали, чтоб больного поскорее отвели в палату.

Гуревич. Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим горлом, — вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок.

И вот — я у вас. (Приподымается с кресла, ему подчеркнуто учтиво помогает Мордоворот.) И с того дня — мешанина в голове... нахт унд нэбель... все путается, теленки, поросенки, Мамаев курган, Малахов курган...

Натали. У тебя не кружится голова, Лев? Иди тихонько, тихонько. (Натали ведет его под левую руку, Боренька под правую.) Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель.

Гуревич (покорно идет). Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы... Генри Форд и Эрнест Резерфорд... Рембрандт и Вилли Брандт...

Доктор (вслед им). В 3-ю палату. Глюкоза, пирацетам.

Гуревич (удаляется с сопровождающими, и голос его все приглушеннее). Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэрролл... Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... (уже едва слышно)... Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робинзон Крузо...

ЗАНАВЕС

ВТОРОЙ АКТ

Ему предшествуют до поднятия занавеса — пять минут тяжелой и нехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит 3-ю палату, с зарешеченными окнами, и арочный вход в смежную, 2-ю палату. Чтобы избежать междупалатной диффузии, обмена информацией и пр. — арочный переход занят раскладушкою, на ней лежит Витя, с непомерным животом, который он, чему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей и застенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу-слева вверх-направо, по палате мечется просветленный Стасик. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе — с рукой, например, отдающей пионерский салют, — и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает, на сколько. Сережа Клейнмихель, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В волосах и в лишайнике, со странным искривлением губ. На соседней койке Коля и кроткий старичок Вова держат друг друга за руку и покуда молчат. Коля то и дело пускает слюну, Вова ему ее утирает. Пока еще лежит, с головой накрытый простыней, в ожидании трибунала, комсорг палаты Пашка Еремин. На койке справа — Хохуля, не подымающий век, сексуальный мистик и сатанист. Но самое главное, конечно, — в центре: неутомимый староста 3-й палаты, самодержавный и прыщавый Прохоров и его оруженосец Алеха, по прозвищу Диссидент, — вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу контр-адмирала Михалыча.

Прохоров. Если б ты, Михалыч, был просто змея — тогда еще ничего: ну, змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея — черная мамба! — от ее укуса человек издыхает за 30 секунд *до ее укуса*! На середку, падла!..

Толстый оруженосец Алеха полотенцем скручивает руки за спиной контр-адмиралу. Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощады.

Прохоров. Как тебе повезло, засранец, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал КГБ? Может, ты все-таки боцман КГБ, а не контр-адмирал?

Алеха. Мичман он, мичман, я по харе вижу, что мичман!..

Прохоров. Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного... Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера?.. Результат налицо — Херсонес и Ковентри в руинах... Удивляет только изощренность этой акции: от всех его напалмов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные... — а все остальные — как будто этот хуй над ними и не пролетал!.. Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех вдов — к тебе вопиют! Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот душегуб был схвачен с поличным, за продажею на Преображенском рынке наших Курил?

Алеха. Позавчера.

Михалыч (мычит). Неправда это все, позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой...

Прохоров. Это ничего не значит. Сумел же ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты, осуществлять электронный шпионаж за бассейном Ледовитого Океана! Материалы предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница сто семь материалов предварительного следствия, — мог бы ты солгать?

Михалыч. Ни... никогда.

Прохоров. Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почем? Так почем нынче Курильские острова? Итуруп — за бутылку андроповки и в рассрочку? Кунашир — почти совсем за просто так... А может быть, эти дельцы от политики — за все это просто подкидывали тебе пиздянки?..

Михалыч напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать.

Прохоров. Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно — нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...

Стасик (фланируя мимо, как обычно). Да. За такие вещи по таким головкам не гладют. Я предлагаю: снять с него штаны и пальнуть из мортиры...

Прохоров. Стоп. Я еще не все сказал. У этого пса-мичмана было еще вот какое намерение, поскольку продавать ему было уже нечего — он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь, и совесть нашей эпохи, — он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот наш двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхеттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтоб накинуть нужную цену, — этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним — балет. А когда тот привел его в балет... (Всеобщий гул осуждения.) Гриша! Комсорг! (Комсорг Пашка Еремин откликается только тогда, когда его называют Гришей.) Сбрось с себя простыню, не бойсь, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!..

Пашка Еремин. Да очень просто: почему этого удава наша Держава должна еще бесплатно лечить? *Его надо убивать вниз головой!..*

Коля. Да, так поступали восточные деспоты со всеми агарянами: они запрокидывали им головы и заливали глотку расплавленным свинцом... или холодным вермутом.

Стасик. Нет, лучше все-таки стрельнуть в него из арбалета...

Коля. Из аркебузы... с расстояния в два с половиной поприща...

Стасик. Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и немножко аксельбантов...

Алеха. Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси... По-моему, отдать этого изверга на съедение Витеньке!..

Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает отвергающее движение розовой своей головою.

Прохоров. Молись, Михалыч! В последний раз молись, адмирал!

Михалыч (уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое). За Москву-мать не страшно умирать, Москва — всем столицам голова, в Кремле побывать — ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР — всему миру пример, Москва — Родины украшение, врагам устрашение...

Прохоров. Так-так-так-так...

Михалыч (трясясь, продолжает, и все так же некстати). Кто в Москве не бывал — красоты не видал, за коммунистами пойдешь — дорогу в жизни найдешь. Советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов...

Прохоров. Довольно, мичман!.. блестящий молитвослов... По-моему, никаких арбалетов не нужно, а просто растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы... Только — для чего в нашем отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нельзя. Лучше — под трибунал!.. Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля, — много в нашем отделении протоплазмы?

Коля. Очень много... я уже не могу...

Прохоров. Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель, *антинародный* герой, ветеран трех контрреволюций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь... Но все его бормотания и молитвы — это привычное кривляние наших извечных недругов. Это *извечное* кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. (Прохоров вдохновенно прохаживается.) Такие вот антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем в такие суровые времена, когда слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутят. Трибунал. Именем народа, боцман Михалыч, ядерный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России — разом! (Почти всеобщие аплодисменты.) А пока — за неимением инвентаря — потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово.

Алеха и Пашка опрокидывают адмирала в постель и — простынями и полотенцами — прикручивают так, чтоб тот не мог шевельнуть ни одним своим суставом и членом.

Люси (врывается в палату, привлеченная кряхтением палачей и оглушительным рычанием жертвы). Что здесь происходит, мальчики?.. Оставьте его в покое... Что ни день у вас — то суд и расправа. Где тут лишняя койка? (Открывает шкаф и вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас.) Скоро — обход. Тиши-на!..

Алеха (тихо берет за плечи крохотулю Люси и, выпятив одновременно пузо и глаза-фурункулы, выделывает вокруг нее томные танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув головою).

Мне долго-долго будет сниться
Моя веселая больница,
А еще дольше будет сниться
Твоя шальная поясница.

Прохоров. Алеха! Припев!

Алеха.

Алеха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум! (по животу)
Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум!
Отстегнула все застежки,
Распахнула все одежды,
И едва дыханье жизни
Из ноздрей не улетело.
В трюме мичман обоссался,
Боцман палубу грызет!
Хо-хо-хо-хо!

Прохоров. Припев, Алеха!

Алеха.

Аль-лехха жарит на гитаре,
Но у него не выйдет ничего!
Пум! пум! пум! пум!
Да ну и пусть он жарит на гитаре —
Ведь все равно не выйдет ничего!
А я... (осклабляясь) А я... —
Обязательно,
Обязательно...

Привычно фыркая, Люси ускользает к дверям. И наталкивается на входящего в палату Гуревича, в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице не заметно следов побоя — но общая побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Боренька, санпропускник...

Люси. Ой, новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...

Гуревич (яростно). Сам! *Сам!* Провались, девка!..

Люси исчезает. Пение на время прерывается. Гуревич комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый Витя с аппетитом смотрит на него, поглаживает живот все любовнее и облизываясь, иногда отворачиваясь в подушку, чтоб подавить в себе смешок, ему одному ведомый. Гуревич с полминуты его разглядывает, ему становится не совсем вмоготу, — он смотрит на соседа слева: оплетенный со всех сторон контр-адмирал все чаще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним наклонен Стасик.

Стасик. Сейчас по всему миру все могильщики социализма — все исповедуются и причащаются... А ты почему, дедушка, не хочешь?..

Прохоров (подступая. Следом за ним — Алеха-Диссидент, как Елисей за Илиею. К Стасику). Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком...

Стасик. Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления... Вы плохо знакомы с Востоком... Ты погружаешься в воды, ну... или тебя погружают, но ты ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало, — тебя омывают, следовательно ты есть... Когда купается наложница китайского императора в Бассейне Сплетающихся Орхидей — он так и называется: бассейн сплетающихся орхидей, — так в него добавляют 12 эссенций и 17 ароматов...

Коля (подступая сзади). ...Но кто после этого облекается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения, — тот не достоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!

Прохоров. Шел бы ты под хуй со своими дхармами!.. Человеку только что в ванной навешали пиздюлей! при чем тут дхармы? Продолжай, Стас...

Стасик. И вот я перехожу из ванной с орхидеями, минуя залы дхарм (взгляд в сторону паршивца Коли) — перехожу из бассейна в зал Благовоний, а из зала Благовоний — в зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая — пасторальная вся, в венце из

одуванчиков, конечно, а уж на третью я и не смотрю. Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь ни к одной из услад, я перешагиваю через третью, патетическую, даму — и ухожу из зала Песнопений — в манговую рощу. 80 тысяч гималайских слонов следуют за мною, они говорят мне о тщетности печали...

Прохоров. Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут — уябывай в свои манговые рощи, дай поговорить с евреем... Ты по какому делу и как звать?

Гуревич. Гуревич.

Прохоров. Я так и думал, что Гуревич. А — случайно — не по этому..? (Делает известный по горлу щелчок.)

Гуревич. Ну... в том числе...

Прохоров. Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят выпить... в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей — спокойствия как не бывало, и начинается гибельный *сужет*. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо. Как их там? косулей — невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел рододендрон. И вот в деревню эту приехал лекарь, по имени Густав... Ну уж не знаю, насколько он был Густав, но жид — это точно. И что же из этого вышло? — не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава — зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься об них, по ним скользишь и падаешь... Так исчезли для начала все зайцы, потом косули — нет, он в них не стрелял, они пропали сами собой. (Алехе): Позови старичка Вову.

Вова подходит. Взглянув сначала на Витю, потом на контр-адмирала, подрагивая, ждет подвоха.

Прохоров. Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда — жид, сидит и на тебя смотрит..?

Вова. Нет, я не могу себе представить... что вот расту и...

Прохоров. Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова: ты — белая лебедь и сидишь на берегу пруда — а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя...

Вова. Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу представить, что я стая белых лебедей...

Прохоров. Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда, — а напротив...

Вова. Ну, я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...

Прохоров. Алеха, уведи Вовочку... Вот видишь, Гуревич?

Гуревич (с трудом улыбается). Ну, ладно. (С тревогой взглядывает в сторону Вити, потом наблюдает, как сосед адмирал делает вздорные попытки вырваться из пут.) А этого за что?

Прохоров. Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности, — так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, — весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз — а этаж все-таки четвертый — и так держал, пока он не отрекся от своих еретических доктрин... Сегодня он, решением Бога и Народа, приговорен к вышке... Я не очень верю, что вначале было Слово, но хоть какое-то задрипанное — оно должно быть в конце, так что пусть этот пиздобол лежит и размышляет...

Гуревич. А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями... э-э-э... в одной только этой палате или..?

Прохоров. Да конечно, нет! Все, что по ту сторону Вити (оба взглядывают туда, Гуревич отворачивается), — это все мои подмандатные территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутрипалатным, да еще уголовным к тому же. *Гриша*!!! Сними с себя простыню! Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное — членовредительство в семействе Клейнмихель!

Сережа Клейнмихель (заслыша свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова). Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте... все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете...

Гуревич. Так она не кричала, что ли?.. Ведь этого быть не может!..

Сережа. Так ведь как бы она кричала, если в это время крестная ушла за бубликами...

Гуревич. М-да-а... в самом деле... Крестная ушла за бубликами — какой смысл кричать?

Стасик (как всегда, проходя мимо). У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи не кричи — ни до кого не докричишься...

Сережа. Да нет же... При чем тут бублики?.. Ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а уж потом...

Прохоров. До завтра, до завтра все это. До завтра, Сережа, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич; как видишь, у нас случаются мелкие бытовые несообразности. А так — у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таблетки, потом пинка под жопу — и катись. У нас даже цветной телевизор есть. Кенар с канарейкой. Они только сегодня помалкивают — поскольку завтра Первомай. А так — поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, — а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а, Гуревич? А вон там, повыше, с самого верху — попугай, родом, говорят, из Хиндустана... А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, — вот ты увидишь, — он начинает, не гнусаво, не металлично, а как-то еще в тыщу раз попугаёвее: «Влади-мир Сергеич!.. Влади-мир Сергеич! на работу — на работу — на работу — на хуй — на хуй — на хуй — на хуй!» А потом — потом чуток помолчит, для куражу, и снова: «Влади-мир Сергеич! Влади-мир Сергеич! На работу, на работу, (все учащеннее) на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...» И все это ровно в шесть тридцать, можно даже не справляться по курантам и рубиновым звездам... А вот от шашек и домино ничего не осталось — все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть, Хохуля спрятал ее под подушку и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три — небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то прострацию, глохнет и становится сексуальным мистиком... А Витя тем временем берется за шахматы...

Гуревич рассматривает: на тумбочке в центре палаты лежит пустая шахматная доска, и на ней — белый ферзь.

Стасик (подскакивая). И ведь все умял! почему только жалеет до сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и тайм-аут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту...

Прохоров. Вот что, Витя (присаживается к Вите на постель). Витя, ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе

слишком азартными? Здесь со мной доктор из *центра* (показывает на Гуревича). О! Это *такой* доктор! (Палец вверх.) Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь? Тебе не хватает фуражу-провианту?..

Витя (не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается рукавом). Вкусно...

Прохоров. А белого ферзя почему пожалел? а?

Витя. Жалко... Он такой одинокий...

Прохоров. Понимаю... А скажи мне, Витенька, — тебе и во сне одна только жратва снится?..

Витя. Нет, нет... Царевна...

Прохоров. Царевна?.. Мертвая?

Витя. Да нет, живая царевна... И вся из себя такая и с голубым бантиком. Как Золушка... а вокруг нее все принц ходит... и все бьет ее по голове хрустальным башмачком...

Прохоров. А ты бы съел... этот хрустальный башмачок? (Показывает.) Чав-чав!

Стасик. Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Нина Чав-чав-адзе...

Витя. А башмачок съел бы... чтоб он только ее не бил.

Гуревич. Ну, а если уж царевна мертвая, ну, то есть, он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

Витя (улыбается). Да...

Гуревич. А если бы семь богатырей при ней — то как же?

Витя. И семь богатырей бы тоже...

Гуревич. Ну, а тридцать три богатыря..?

Витя. Да... если бы медсестрички не торопили... конечно...

Гуревич. А... послушай-ка... А двадцать восемь героев-панфиловцев?

Витя (с тою же беззаботной и страшной улыбкой). Да... (мечтает).

Гуревич (упорно). А... Двадцать шесть бакинских комиссаров — неужели тоже?..

Прохоров (врывается в беседу). Ну, все: завтра мы тебе и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От адмирала ты отказался — я тебя понимаю. Адмиралы — они хрустят на зубах, а вот настоящие комсорги — никогда не хрустят... Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда... скажи... Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

Сережа. Нет, не замечал... И мама моя покойная в тот день мне моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой — будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал, — нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того *водку пьянствовал* и *дис-*

циплину хулиганил... И запрещал мне *форточку проветривать*, чтоб в доме мамой не пахло...

Стасик (проходя мимо, как всегда). Приятно все-таки жить в эпоху всеобщего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, — это еще ладно. И то, что лишили дынь, — чепуха, можно прожить и без дынь. И плебисцитов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...

Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери 3-й палаты, и на пороге — медбрат Боренька и медсестра Тамарочка. Оба они не смотрят на больных, а *харкают* в них глазами. Оба понимают, что одним своим появлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь, которой много и без того.

Прохоров. Встать! Всем встать! Обход!

Все медленно встают, кроме Хохули, старичка Вовы и Гуревича.

Боря-Мордоворот (у него из-под халата — ухоженный шоколадный костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличии его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой медбрат в Первомайскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек»). Так тебе, блядина, значит, не хватает каких-то там желез?..

Тамара. Не бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.

Боря, играя, молниеносно бьет Стасика в поддых, тот в корчах опускаетя на пол.

Тамара (указывая пальцем на Вову). А этот засратый сморчок — почему не встает, *вопреки приказу*?

Боря. А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы?

Вова. Нет... на здоровье жалоб никаких... Только я домой очень хочу... Там сейчас медуницы цветут... конец апреля... Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними...

Боря (поправляя галстук). Нннну... я житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

Вова. Ну, как сказать?.. синенькие они, лазоревые... ну, как в конце апреля небо после заката...

Медбрат Боря под смех Тамарочки — ногтями впивается в кончик Вовиного носа и делает несколько вращательных движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы. Вова плачет.

Боря (продолжает обход). Как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович, с веселым инструментом, придется немножко покорячиться... А тебе что, Коленька?

Коля. У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому что мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я давно уже не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат и держат...

Тамарочка (тем временем, привлеченная зрелищем справа: Сережа Клейнмихель, отвернувшись к окошку, тихонько молится). А! Ты опять за свое, припизднутый! (Раздувая сизые щеки, направляется к нему.) Сколько раз тебя можно учить! Сначала — к правому плечу, а уж потом — к левому. Вот, смотри! (Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом — с размаху — в правое плечо, потом в левое, потом под ребра.) Повторить еще раз? (Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удальством.) Говно на лопате! еще раз увижу, что крестишься, — утоплю в помойном ведре!..

Боря. Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда. (Отшвырнув Колю, движется в сторону адмирала, Вити и Гуревича. За ним — свита: староста Прохоров, Алеха-Диссидент и Тамарочка.)

Прохоров. Товарищ контр-адмирал, как видите, не может стать перед вами во фрунт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

Боря. Понятно, понятно... (Краем глаза скользнув по Гуревичу, вдумчиво грызущему ногти, — проходит к Вите. Витя, с розовой улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный как гран-пасьянс.)

Тамарочка. Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце... (Широкой ладонью, с маху, шлепает Витю по животу. У Вити исчезает улыбка.) Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюнчик?

Витя. Больно...

Боря (хохочет вместе с Тамарочкой). А остальным нашим уважаемым пациентам — разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой — а почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся, сегодня же...

Тамарочка. ...сегодня же, когда пойдешь насчет посрать, — чтобы все настольные игры были на месте. Иначе — придется на-

чинать вскрытие. А ты сам знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы...

Прохоров между тем с тревогой следит за Алехой-Диссидентом. Но об этом чуть пониже.

Боря (расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Гуревичем). Встать.

Тамарочка. А почему у этого жиденка до сих пор постель не убрата?..

Боря (все так же негромко). Встать. (Гуревич остается погруженным в себя самого. Всеобщая тишина.)

Боря (одним пальчиком приподымая подбородок Гуревича). *Встать!!!*

Гуревич тихонько подымается и — врасплох для всех — с коротким выкриком — вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, если не принимать в расчет Тамарочкина взвизга. Боренька, не изменившись ни в чем, хладнокровно, хватает Гуревича, подымает его в воздух и со всею силою обрушивает об пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати. Потом — два-три пинка в район печенки, просто из пижонства.

Боря (к Тамарочке). Больному приготовить сульфу, укол буду делать сам.

Прохоров. Что ж поделаешь, Борис... Новичок... Бред правдоискательства, чувство ложно понятой чести и прочие атавизмы...

Боря. А тебе бы лучше помолчать. Жопа.

Люди в белых халатах удаляются.

Прохоров. Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Первую помощь всем пострадавшим от налета!.. Стасик, подымайся, ничего страшного, они упиздюхали. Ничего *экстра*ординарного. Все лучшее — еще впереди. Сначала — к Гуревичу...

Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обсаживают.

Прохоров. Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда — *жить* они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают... это точно. (Шепотом.) Гу-ре-вич...

Гуревич (немного стонет и говорит трудно). Ничего... не ухайдакают... Я тоже... готовлю им... подарок...

Прохоров (в восторге от того, что Гуревич жив и мобилен). Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала они тебе его сделают, минут через пять... Рассмешить тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пытки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Ты знаешь, как он стал диссидентом? Сейчас расскажу. Ты ведь знаешь: в каждом российском селении есть придурок... Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной Конституции... Так вот: Алеха в Павлово-Посаде ходил в таких *задвинутых*. На вокзальной площади что-нибудь подметет, поможет погрузить... но была в нем пламенная страсть, и до сих пор осталась... Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма, — ему стоит только взглянуть на мордася — и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и *галстух*. И что он делал? — он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю — издали — и — вот то, что надо, уже висит на галстуке. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординации... Два месяца назад его приволокли сюда.

Гуревич. Чудесно... Сколько я приглядывался к нации... чего она хочет... именно такие сейчас ей нужны... без всех остальных... она обойдется...

Прохоров. А четкость! четкость, Гуревич! Великий Леонардо, ходят слухи, был не дурак по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

Алеха. Я все время тут.

Прохоров. Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дело в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... итальяшек всяких...

Алеха. Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского... и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток...

Прохоров (пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича перед пыткою). Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что, во-первых, надо выдирать с корнем — а уж

потом выдерется с тем же поганым корнем и все остальное, — надо менять наши улицы и площадя: ну, посудите сами, у них Мост Любовных Вздохов, переулок Святой Женевьевы, Бульвар Неясного Томления и все такое... а у нас — ну, перечислите улицы своей округи, — душа зачахнет. Для начала надо так: Столичная — посередке, конечно. Параллельно — Юбилейная, в бюстиках и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская, Степная, Старорусская, Полынная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленый — какая разница? — а у их подножия — отели: «Бенедиктин», «Шартрез» — высятся вдоль набережной — а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы — на облака и на кавалеров. А все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнув пыль...

Снова распахиваются двери палаты. Старший врач больницы Игорь Львович Ранинсон. За ним — медбрат Боря, со шприцем в руке. Шприц никого не удивляет — все рассматривают диковинный чемодан в руках Ранинсона.

Боря. Вон туда (показывает Ранинсону в сторону Хохули. Ранинсон — непроницаем. Хохуля — тоже. Ранинсон, раскладывая свой ящик с электрошнурами, брезгливо осматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит на доктора, у него своих мыслей довольно).

Боря (приближаясь к постели Гуревича). Ну-с... Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодицу.

Гуревич. Я... сссам (со стоном переворачивается на живот, Алеха и Прохоров ему помогают).

Боря (без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилия, стоит с вертикально поднятым шприцем, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол). Накройте его.

Прохоров. Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю...

Боря. Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко — пусть гуляет, дышит... Если сумеет шевельнуть хоть одной левой... Гуревич! Если ты вечером не загнешься от сульфазина, — прошу пожаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексеевна, сама будет стол сервировать... Ну, как?

Гуревич (с большим трудом). Я... буду...

Боря (хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем на ноздре к нему приближается диссидент Алеха). А мы сегодня — гостеприимны... Я — в особенности. Угостим тебя по-свойски, инкрустируем тебя самоцветами...

Гуревич. Я же... я же... сказал, что буду... Приду...

Алеха, действительно со знанием дела, выстреливает правой ноздрей. Палата оглушается криком, никем в палате пока еще не слыханным: дело в том, что доктор Ранинсон сделал свое высоковольтное дело с бедолагой Хохулей.

Боря (хватая за горло диссидента Алеху). А с тобой — с тобой потом... Знаешь, что, Алешенька, — Игорь Львович здесь... Как только он уйдет — мы с тобой отсморкаемся, хорошо? (Носовым платком оттирает галстук.)

Ранинсон (проходя через палату с диавольским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме прохоровской и Алехиной, лежит печать вечности — но вовсе не той Вечности, которой мы все ожидаем). С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные. Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны. (Уходят.)

Прохоров (как только скрываются белые халаты, повисает на шее Алехи-Диссидента). Алеха! Да ты же — гиперборей! Алкивиад! смарагд! Да ты же Мюрат, на белом коне вступающий на Арбат! Ты Фарабундо Марти! Нет, русский народ не скудеет подвижниками, и никогда не оскудеет! Судите сами: не успел окочуриться яснополянский граф — пожалуйста, уже в пеленках лежит товарищ Коккинаки... и уже воскрылия у него за плечами! В 21-м году отдает концы Александр Блок, — ничего не поделаешь, все мы смертны, даже Блок, — и что же? Ровно через полтора года рождается Космодемьянская Зоя!.. Бессмертная!..

Гуревич (одобрительно приподымается на локте). Совершенно верно, староста.

Алеха (окрыленный). Надо было и в Игоря Львовича пальнуть чуток...

Прохоров. Ну ты, витязь, даешь..! Вот это было бы излишне... Не будем усложнять *сужет* происходящей драмы... мелкими побочными интригами... Правильно я говорю, Гуревич?.. Человечество больше не нуждается в дюдюктивностях, человечеству дурно от острых фабул...

Гуревич. Еще как дурно... Да еще — зачем затевать эти фабулы с *ними*? Ведь... их же, в сущности, нет... Мы же психи... а эти, фантасмагории в белом, являются нам временами... Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются... ну, исчезают... ставят из себя полнокровных жизнелюбцев...

Прохоров. Верно, верно, и Боря с Тамарочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей *всамделишности*... что они вовсе не наши химеры и бреды, — а взаправдашние...

Гуревич. Поди-ка ко мне. Прохоров... к вопросу о химерах... Вот это вот (показывая на укол) — это долго будет болеть?

Прохоров. Болеть? ха-ха. «Болеть» — не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-четыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется. Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские песенки товарища Раухвергера... или там Оскара Фельцмана, Френкеля, Льва Книппера и Даниила Покрасса... короче, все, что на слова Симеона Лазаревича Шульмана, Инны Гофф и Соломона Фогельсона...

Гуревич. Прохоров... умоляю...

Прохоров. И не умоляй, Гуревич... Мы с Алехой на руках оттащим тебя к цветному телевизору. Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Хейфиц и Ромм, Эрмлер, Столпер и Файнциммер. Суламифь Моисеевна Цыбульник. Одним словом, боли в тазобедренном суставе у тебя поубавятся. А если не поубавятся — к твоим услугам Волькенштейн, Кригер, Гребнер, Крепс — всем хорош парень, но зачем он начал работать в соавторстве с Гендельштейном?..

Гуревич. А скажи, Прохоров, есть какое-нибудь от этого укола «сульфы» в самом деле облегчающее средство? Кроме Файнциммера и Суламифи Моисеевны Цыбульник?

Прохоров. Ничего нет проще. Хороший стопарь водяры. А чистый спирт — и того лучше... (шепчет на ухо Гуревичу нечто).

Гуревич. И это — точно?

Прохоров. Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэль-ами, Бореньке-Мордовороту...

Гуревич (цепенеет, пробует встать). Вот оно что... (и снова цепенеет от такой неслыханности). У меня есть мысль.

Прохоров. Я догадываюсь, что это за мысль.

Гуревич. Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь... Я их *взорву* сегодня ночью!

За дверью голос медсестрички Люси: «Мальчики, на укольчики! Мальчики, в процедурный кабинет, на укольчики!» В 3-й палате никто не внемлет. Один только Гуревич делает пробные шаги.

Гуревич (еще шепчет что-то Прохорову. Потом):

Так я вернусь. Минут через пятнадцать,
Увенчанный или увечный. Все равно.

Прохоров. Браво! да ты поэт, Гуревич!

Гуревич.

Еще бы! пожелай удачи... Буду
Иль на щите и с фонарем под глазом
фьолетовым, но... но всего скорей,
И со щитом. И — и без фонарей.

ЗАНАВЕС

ТРЕТИЙ АКТ

Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Натали, сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете — его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы — молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда — исключительно Тамарочкин. И голос — примерно такой: «Ну, сколько я давала тебе в жопу уколов! — а ты все дурак и дурак!.. Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! уж не пизди маманя!.. А ты — чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так подохнешь! без всякого аспирина. Кому ты вообще нужен, разъебай?.. Следующий!..» Натали настолько с этим свыклась, что и не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках.

Стук в дверь.

Гуревич (устало). Натали?..

Натали.

Я так и знала, ты придешь, Гуревич.
Но — что с тобой?..

Гуревич.

Немножечко побит.
Но — снова Тасс у ног Элеоноры!..

Натали.

А почему хромает этот Тасс?

Гуревич.

Неужто непонятно?.. Твой болван
Мордоворот совсем и не забыл...
Как только ты вошла в покой приемный,
Я сразу ведь заметил, что он сразу
Заметил, что...

Натали.

Какой болван? Какой Мордоворот?
Причем тут Борька? Что тебе сказали?
Как много можно наплести придурку
Всего за два часа!.. Гуревич, милый,
Иди сюда, дурашка...

И наконец, объятие. С оглядкой на входную дверь.

Натали.

Ты сколько лет здесь не был, охломон?

Гуревич.

Ты знаешь ведь, как измеряют время
И я, и мне чумоподобные... (нежно)
Наталья...

Натали.

Ну, что, глупыш?.. Тебя и не узнать.
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

Гуревич.

Да нет же... так... слегка... по временам...

Натали.

А ручки, Лева, отчего дрожат?

Гуревич.

О милая, как ты не понимаешь?!
Рука дрожит — и пусть ее дрожит.
При чем же здесь водяра? Дрожь в руках
Бывает от бездомности души
(тычет себя в грудь),
От вдохновенности, недоеданья, гнева,
От утомленья сердца, от предчувствий,
От гибельных страстей, *алканной* встречи
(Натали чуть улыбается)
И от любви к отчизне, наконец.
Да нет, не «наконец»! Всего важнее —
Присутствие такого божества,
Где ямочка, и бюст, и...

Натали (закрывает ему рот ладошкой). Ну, понес, балаболка, понес... Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью... Ты же весь иссох, почернел...

Гуревич. Не по тебе ли, Натали?

Натали. Ха-ха! Так я тебе и поверила. (Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкап. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами. Гуревич, кусая ногти, по обыкно-

вению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Натали.)

Гуревич. Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое... Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше треволнуют. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты — чистая, как прибыль. Как роса
На лепестках чего-то там такого.
Как...

Натали. Помолчал бы уж... (подходит к нему со шприцем). Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь.

Начинает процедуру, глюкоза потихоньку вливается. Она и он смотрят друг на дружку.

Голос Тамарочки (по ту сторону ширмы). Ну чего, чего ты орешь, как резаный? Перед тобой колола человека, — так ему хоть бы хуй по деревне... Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? Заебешься пыль глотать, братишка... Ты! хуй неумытый! Видел у пищеблока кучу отходов? так вот завтра мы таких умников, как ты, закопаем туда и вывезем на грузовиках... Следующий!

Натали. Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

Гуревич. Так я так и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамар — до этой вот Тамарочки. От Франсиско Гойи — до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря — к Цезарю Кюи, а от него уж совсем — к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко — до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? — если от Иммануила Канта — до «Слепого музыканта». А от Витуса Беринга — к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида — к Давиду Тухманову. А от...

Натали (на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то). А ты-то, Лев, ты — лучше прежних Львов? Как ты считаешь?..

Гуревич. Не лучше, но *иначе* прежних Львов. Со мной была история — вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали — Бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта — да еще бы, при таком-то морозе! А у меня вот — нет. И они

это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз выдохни!» Я выдохнул — опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

Натали (прыскает). И сообщили?

Гуревич. Еще как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар..?» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я — сказал: «Отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле». И меня повезли...

Натали. Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?..

Гуревич. Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: «Вы Гуревич?» — «Да, — говорю, — Гуревич.

Я здесь по подозренью в суперменстве.
Вы правы до каких-то степеней:
Да, да. Сверхчеловек я, и ничто
Сверхчеловеческое мне не чуждо.
Как Бонапарт, я не умею плавать,
Я не расчесываюсь, как Бетховен,
И языков не знаю, как Чапай.
Я малопродуктивен, как Веспуччи
Или Коперник: сорок — сорок восемь
Страниц за весь свой агромадный век.
Я, как святой Антоний Падуанский,
По месяцам не мою ног. И не стригу
Ногтей, как Гельдерлин, поэт германский.
По нескольку недель — да нет же — лет
Рубашек не меняю, как вот эта
Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,
Жена Альбрехта А́встрийского. Но
Она то совершала по обету:
До полного Ост-Индского триумфа.
И я не стану переодеваться
И тоже по обету: не напялю
Ни рубашонки до тех пор, пока
Последний антибольшевик на Запад
Не умыльнет и не очистит воздух!
Итак, сродни я всем великим. Но,

В отличье от Филиппа номер два
Гишпанского, — чесоткой не владею.
Да, это правда. (Со вздохом.) Но имею вшей,
Которыми в достатке оделен был
Корнелий Сулла, повелитель Рима.
Могу я быть свободен?..»

«Можете, — мне сказали, — конечно, можете. Сейчас мы вас отвезем домой на собственной машине...» И привезли сюда.

Натали. А как же шпиль горкома комсомола?

Гуревич. Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там, в приемной, не было так грустно.

Натали. Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только — тссс!

Гуревич.

О Натали! Всем существом взыскую!
Для воскрешенья. Не для куражу.

Пока Натали что-то наливает и разбавляет водой из-под крана, из-за ширмы продолжается: «Перебзди, приятель, ничего страшного!.. Будь мужчиной, пиздюк малосольный!.. Следующий!.. А штанов-то, штанов сколько на себя нацепил! ведь все мудя сопреют и отвалятся!.. Давай-давай! А ты — отъебись, не мешай работать... Следующий... Ничего, старина, у тебя все идет на поправку, походишь вот так, враскорячку, еще недельки две и — хуй на ны! — от нас до морга всего триста метров!.. Следующий!..» Натали подносит стакан. Гуревич медленно тянет — потом благодарно приникает губами к руке Натали.

Гуревич.

Она имеет грубую психею.
Так Гераклит Эфесский говорил.

Натали. Это ты о ком?

Гуревич. Да я все об этой Тамарочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принсйпы? Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, — русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел»... А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит — мужик не перекрестится», вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет...» Или помнишь? — «Любви все возрасты покорны». А теперь всего-навсего: «Хуй ровесников не ищет». Хо-хо. Или, вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст — не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля — сто километров не крюк». (Натали смеется.) А это вот — еще чище. Старая русская по-

словица: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться» — она преобразилась вот каким манером: «Не ссы в компот — там повар ноги моет».

Натали смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тамарочки.

Тамарочка. Ого! Что ни день, то новый кавалер у Натальи Алексеевны! А сегодня — краше всех прежних. И жидяра, и псих — два угодья в нем.

Натали (смиряя бунтующего Гуревича, — строго к Тамарочке). После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела...

Тамарочка скрывается, и там возобновляется все прежнее: «Как же! Снотворного ему подай — получишь ты от хуя уши... Перестань дрожать! и попробуй только пискни, разъебай!..» И пр.

Натали. Лева, милый, успокойся (целует его, целует) — еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И уж — Боже упаси — ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только плач... Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

Гуревич. Хо! Бывало время — я этим зарабатывал на жизнь.

Натали. Слезами зарабатывал на жизнь? Ничего не понимаю.

Гуревич. А очень даже просто. В студенческие годы, например... — ох, не могу, опять приступаю к ямбам.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?
Совсем ни от чего. А по заказу.
Все вызнали, что *это* я могу.
Мне скажут, например: «Реви, Гуревич! —
Среди вакхических и прочих дел:
Реви, Гуревич, в тридцать три ручья».
И я реву. А за ручей — полтинник.
И ты — ты понимаешь, Натали? —
В любой момент! По всякому заказу!
И слезы — подлинные! И с надрывом.
Я, громкий отрок, не подозревал,
Что есть людское, жидовскóе горе.

И горе титаническое. Так что
Об остальных слезах — не говорю...

Натали. И знаешь, что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай — с врачами особенно — сочтут за издевательство над ними. Начнут лечение сульфазином или чем-нибудь еще похлеще... Ну, пожалуйста... ради меня... не надо...

Гуревич. Боже! Так зачем же я здесь?! — вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты — тоже — зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,
Головоногие моллюски, дети,
Они чуточек впали в забытье.
Никто из них себя не вображает.
Ни лампочкой в сто ватт, ни тротуаром,
Ни оттепелью в первых числах марта,
Ни муэдзином, ни Пизанской башней
И ни поправкой Джексона-Фульбрайта
К решениям Конгресса. И ни даже
Кометой Швассман-Вахмана-один.
Зачем я здесь, коли здоров, как бык?

Натали.

Послушай-ка, Фульбрайт, ты жив пока,
Пока что не болеешь, — а потом?.. —
Чего ж тут непонятного, Гуревич?
Бациллы, вирусы — все на тебя глядят
И, морщась, отворачиваются.

Гуревич. Браво.

Полна чудес могучая природа,
Как говорил товарищ Берендей.

Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе — укол пирацетама в попу. Я сам себе — легавый, да и свисток в зубах его — я тоже. Я и пожар, но я же и брандмейстер.

Натали. Гуревич, милый, ты все-таки немножко опустился...

Гуревич. Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько *протек*, — как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет 3700 километров, чтоб опуститься при этом всего на 221 метр. Брокгауз. Я — весь в нее. Только я немножко недоглядел — и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не

опустился. Каждое тело, даже небесное тело (значительно оглядывает всю Натали) — так вот, даже небесное тело имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я — сколько я истребил в себе собственных вихрей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько попридушил бледнеющих Дездемон?! А сколько утопил в себе Муму и Чапаёв!..

Натали.

Какой ты экстренный, однако, баламут!

Гуревич. Не экстренный. Я просто — интенсивный.

И я сегодня... да *почти сейчас...*
Не опускаться — падать начинаю.
Я нынче ночью разорву в клочки
Трагедию, где под запретом ямбы.
Короче, я взрываю этот *дом*!

Тем более — я ведь совсем и забыл — сегодня же ночь с 30 апреля на 1 мая. Ночь Вальпургии, сестры Святого Ведекинда. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

Натали. Ты уж, Левушка, меня не пугай — мне сегодня дежурить всю ночь.

Гуревич. С любезным другом Боренькой на пару? С Мордоворотом?

Натали.

Да, представь себе.
С любезным другом. И с чистейшим
спиртом.
И с тортами — я делала сама, —
И с песнями Иосифа Кобзона.
Вот так-то вот, экс-миленький экс-мой!

Гуревич. Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспою — в манере Николая Некрасова, конечно.

Натали. Давай, воспевай, глупыш.

Гуревич. Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!
Демьян сказал: сисястая!
Лука сказал: сойдет.
И попочка добротная, —

Сказали братья Губины
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Далась вам эта попочка!
Была б душа хорошая.
А Пров сказал: Хо-хо!

Натали аплодирует.

Гуревич. А, между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы сейчас тебя — так охотно ущипнул бы...

Натали. Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

Гуревич. Какие ж это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся, — он, пошляк, должен ущипнуть...

Натáли. Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму...

Гуревич. Какая разница?.. Ах, ты стоишь вплотную... Мучительница Натали... Когда ты, просто так, зыблешь талией, — я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтоб у тебя спереди посыпались искры...

Натали. Фи, балбес. Так возьми — и охвати!..

Гуревич (так и делает. Натали с запрокинутой головой. Нескончаемое лобзание). О Натали! Дай дух перевести!.. Я очень даже помню — три года назад ты была в таком актуальном платьице... И зачем только меня поперло в эти Куэнь-Луни?.. Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть, наконец, моей жизненной доминантою... Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

Натали. Почему это, Гуревич, ты так много пьешь, а все-все знаешь?..

Гуревич. Натали!..

Натали. Я слушаю тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмышленыш?..

Гуревич. Натали...

Неистово ее обнимает и впивается в нее. Тем временем руки его — от страстей, разумеется, — конвульсивно блуждают по Натальиным бедрам и лонным сочленениям. Зрителю видно, как связка ключей с желтою цепочкою переходит из кармашка белого халатика Натали в больничную робу Гуревича. А поцелуй все длится.

Натали (чуть позже). Я по тебе соскучилась, Гуревич... (Лукаво): А как твоя Люси?

Гуревич. Я от нее убег, Наталья. И что такое, в сущности, — Люси? Я говорил ей: «Не родись сварливой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумвир!» Почему «триумвир», до сих пор не знаю. А потом, уже мне вдогонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуревич! сопьешься с круга, как Коллонтай в Стокгольме! Умрешь под забором, как Клим Ворошилов!»

Натали (смеется). А что сначала?

Гуревич.

Ну, что сначала? И не вспоминай.
О Натали! она меня дразнила.
Я с неохотой на нее возлег.
Так на осеннее и скошенное поле
Ложится луч прохладного светила.
Так на тяжелое раздумие чело
Ложится. Тьфу! — раздумье на чело...
Брось о Люси... Так, говоришь — скучала?
А речь об этой шлюшке завела,
Чтоб легализовать Мордоворота?

Натали.

Опять! Ну, как тебе не стыдно, Лев?

Гуревич.

Нет, я начитанный, ты в этом убедилась.
Так вот, сегодня, первомайской ночью
Я к вам зайду... грамм двести пропустить...
Не дуриком. И не без приглашенья:
Твой Боренька меня позвал, и я
Сказал, что буду. Головой кивнул.

Натали.

Но ты ведь — представляешь?!

Гуревич.

Представляю.
Нашел с кем дон-хуанствовать, стервец!
Мордоворот и ты — невыносимо.
О, этот боров нынче же, к рассвету,
Услышит Командоровы шаги!..

Натали.

Гуревич, милый, ты с ума сошел...

Гуревич.

Пока — нисколько. Впрочем, как ты хочешь:
Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,
Коль ты попросишь... (подумав)
Если и попросишь —
Я буду пламенеть, как небосклон!
Пока что я с ума еще не сбрендил, —
А в пятом акте — *будем посмотреть*...
Наталья, милая...

Натали.

Что, дуралей?

Гуревич.

Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,
Будь только крестик промежду грудей
И больше ничего, — я все равно...

Натали (в который уже раз ладошкой зажимает ему рот. Нежно). А! ты и это помнишь, противный!..

Кто-то прокашливается за дверью.

Гуревич. Антильская жемчужина... Королева обеих Сицилий... Неужто тебе приходится спать на этом дырявом диванчике?..

Натали. Что ж делать, Лев? Если уж ночное дежурство...

Гуревич.

И ты... ты спишь на этой вот тахте!
Ты, Натали! Которую с тахты
На музыку переложить бы надо!..

Натали.

Застрекотал, опять застрекотал...

За дверью снова покашливание.

Гуревич. «Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учебник общей энтомологии. (Снова тянутся друг к другу.)

Прохоров (показывается в дверях с ведром и шваброю). Все процедуры... процеду-уры... (Обменивается взглядом с Гуревичем. Во взгляде у Прохорова: «Ну, как?» У Гуревича: «Все путем».) Наталья Алексеевна, наш новый пациент, вопреки всему, крепчает час от часу. А я только что проходил — у дверей хозотдела линолеум

у нас запущен — спасу нет. А новичок... Ну, чтоб не забывался, куда попал, — пусть там повкалывает с полчаса. А я — пронаблюдаю...

Гуревич. Ну, что ж... (В последний раз взглянув на Натали, с ведром и шваброю удаляется, стратегически покусывая губы.)

Прохоров.

Все честь по чести. Я на то поставлен.
Ты, Алексевна, опекай его.
Он — с припиздью. Но это ничего.

ЗАНАВЕС

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие — с аминазиновых уколов. Комсорг Пашка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля после электрошока недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, контр-адмирал тоже. Стасик онемел посреди палаты с выброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.

Вова. Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься... первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой документы, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь, стрелять окуней... Идешь убогий, босой и с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь — целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, видавшую виды, прошедшую с тобой от Эльбы до Техаса...

В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, Сережа Клейнмихель и Коля. Потирают на попах свои уколы, обсаживают Вову, слушают.

Вова. И вот так идешь... ветры дуют поперек... Сверху — голубо, снизу — майские росы-изумруды... А впереди — что-то черненькое белеется... Думаешь: может, просто куст боярышника?.. да нет. Может быть, армянин?.. Да нет, откуда в хвощах мо-

жет появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, — а он уже все различает; каждую травинку от каждой былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям...

Коля. А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы...

Стасик (снова дует по палате из угла в угол). Да! ничего на свете нету важнее спасения *дерев*! Придет оккупант — а где наша интимная защита? интимная защита ученого партизана? А в чем она заключается? — а вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!

Вова. А мой сосед Николай Семенович...

Стасик (неудержимо). Господь создал свет, да, да! А твой Николай Семеныч отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом...

Коля. И с вермутом...

Стасик. Нет, без вермута. При чем здесь вермут?! И до каких пор меня будут прерывать? делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще — когда эти поляки перестанут нам мозги ебать?! Ведь жизнь и без того — так коротка...

Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет...

Стасик. Хо-хо! нашел кому советовать! Да ты поди, взгляни в мою оранжерею. Жизнь коротка, — а как посмотришь на мою оранжерею — так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики — ну их, они повсюду. А у меня вот что есть — сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он: «Пузанчик-самовздутыш-дармоед» с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! — хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет — что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!.. А еще — а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» — это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая вдумчивая» — лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты». «Обормотик желтый!» «Нытик двухлетний!» Это уже для тех, кого выносят ногами вперед. «Мымра краснознаменная!» «Чапай лохматый!» «Хуеплетик недолговечный!» Все, что душе угодно...

Вова. И все это ты имел в своем саду, браток?

Стасик. Как то есть имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?..

Вова. Нету у меня панталон...

Стасик. Ну, нет, так будут... И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад — и все твое. «Презумпция жеманная», она же «Зиночка сдобная пальпированная» — да и как Зиночке не быть пальпированной, если она такая сдобная! «Мудозвончики смекалистые!» «ОБЭХАЭС ненаглядный!» «Гольфштрим чечено-ингушский!» «Пленум придурковатый!» — его так назвали за его дымчатые вуали, невзначай и совсем не остроумно. «Дважды орденоносная игуменья незамысловатая», лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горло-нос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». «Генсек бульбоносный!», пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы, раздавайся», «Крейсер Варяг» и «Сиськи набок». А если...

Вова. А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам, — все смотрю: нет ли синеньких...

Стасик. Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня — да не было синеньких! Вот — носопырочки одухотворенные, носопырочки расквашенные, синекудрые слюнявчики «Гутен-морген»! «Занзибар опизденевший» — выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез и навсегда»...

Стасик, на словах «без слез и навсегда», снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально вверх кулаком «Рот Фронт».

Вова. Д-даа... хорошие цветочки... А я ведь помню тяжелые времена... когда все цветочки исчезли из помину... и плохие и хорошие... кругом нашей деревни одни только эскарпы и янычары, траншеи, каски, руки, ноги — над Москвой только царь-пушки гремели, и царь-колокола... Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левитан, — и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых заокеанских орд. И снова расцвели медуницы...

Все глядят на Вовин носик. У Коли опять чего-то текет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста Прохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы — ему одному во всей палате дозволено носить часы, — то снова исчезает из помещения. Музыка при этом тревожнее всех тревожных.

Коля. Так ведь и осенью в деревне хорошо... Ведь правда, Вова?

Вова. Осенью немножко хуже, с потолка капает... Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив — висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов — он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: «Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки». А я ему говорю: «А зачем мне ботинки? Череповец — он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце — а куда я дальше пойду в ботинках? нет, я уж лучше без ботинок...» А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель: «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» А я говорю: «Нет, никто не виновен в моей печали». А тут еще теленочек за перегородкой — чертыхается и просить чего-то начинает, — а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек, у меня и коровки-то никогда не бывало. Надо бы спросить у внука Сергунчика — так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит... Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей — для ежиков. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела — значит, пришли все-таки ежики, с обыском... Листья кружатся в воздухе, кружатся и — садятся на скамью... Некоторые еще взовьются — и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму — все попересажены... А ветер все гонит облака, все гонит — на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головою все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч...

Коля. Как хорошо... А у вас в деревне — в апреле тоже тридцать дней или дня три-четыре накинули?

Вова. Да нет пока...

Коля. Ну, вот и зря... Надо бы немножко накинуть... У нас все должно быть покрупнее, чем у них... Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная. Байкал, телебашня, Каспийское озеро... А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней, и у нас тридцать. (Пускает слюну. Вова вытирает.) А равняться на Европу, как мне кажется, — это значит безнадежно отставать от нее... Конечно, мы не ищем

для себя односторонних преимуществ, но никогда не допустим, чтобы...

Прохоров (врывается в палату с озаренным лицом). *Обход! Обход!* (Но странно: вместо привычного «Всем встать!» — староста отдает приказ ни на что не похожий.) Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет глазами туда-сюда — стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои ротфронты! (Подходит к Стасику, но рука его кататонически не выходит из состояния Рот-Фронт.) Ну ладно, отвернись только к стенке, но пасаран, пассионарий! вессеремус!

Гуревич (входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведерной емкости бутыль и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох). Ну вот. Теперь как будто бы *виктория!*

Алеха (с порога). Всем подняться — отряхнуться! Обход закончен!

Прохоров. Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи: обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте, — и по постелькам... Так, так... А что вы тут делали — пока *високосные* люди нашей планеты достигали невозможного — чем в это время занимались вы, летаргический народ?..

Вова. Нам Стасик говорил о своих цветочках... Он их сам выращивает...

Прохоров. Эка важность! Цветочки — они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, ну, чего стоят цветочки, которые снаружи?

Гуревич. Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом... И без того внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног... В глазах — протуберанцы...

Прохоров. Налей шестьдесят пять грамм, Гуревич, и скорее опрокинь. Потом поговорим о цветочках. Ал-леха!

Алеха. Я здесь...

Прохоров. Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане — лимоны, вытаскивай их все...

Алеха. Все..?!

Прохоров. *Все*, мать твою ебп!

Гуревич, в сущности, начинает Вальпургиеву ночь. Наливает рюмаху. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает.

Прохоров (в ожидании своей дозы). Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы *гноили* нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот как: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию *погромного* размера... Но ты же ведь — Алкивиад! — тьфу, Алкивиад уже был, — ты граф Калиостро! Ты — Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, наплевать! Ты — Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не нахожу... а вот если бы мне шестьдесят пять...

Алеха. Может, проверить, — горит?

Гуревич. Это можно... (На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит: тишина, покуда не меркнет синее пламя.)

Прохоров (он даже не разводит свои семьдесят грамм, он держит наготове Хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности). Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?..

Гуревич. Это как то есть «высечь»?

Прохоров. Нет-нет. Я не то хотел сказать. Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в любой из вассальных наших палат какой-нибудь неумный псих усомнится в богодухновенности этого (втыкая палец в Гуревича) народа, тот будет немедля произведен мною в контр-адмиралы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... *Они* открывают миру все, мы только успеваем прикрывать. Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени явился Христофор Коломбо — это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто знает, что первым человеком, из состава Коломбовой экспедиции, первым, ступившим на Новую Землю, — был иудей-марран Луис де Торрес! (впадая в раж) А Исаак Ньютон! А — *Авраам* Линкольн!.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? — *Давид* Ливингстон!..

Гуревич. Помаленьку, помаленьку, староста. Иначе ты вызовешь переполох в слабых душах... А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже вожделеет? Ты вот уже немножко порфироносен. А взгляни на Алеху...

Прохоров. Ал-леха!

Алеха. Я тут. (Пока Гуревич чародействует со спиртом и водою, — не выдерживает. Делает лицо. Тренькает себе по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно и анданте.)

А мне на свете — все равно.
Мне все равно, что я говно,

Что пью паскудное вино
Без примеси чего другого.
Я рад, что я дегенерат,
Я рад, что пью денатурат,
Я очень рад, что я давно
Гудка не слышал заводского...

Вливает в себя все ему налитое. Исполинский выдох. Пробует лихо продолжить свое традиционное.

Обязательно,
Обязательно,
Я на рыженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!
(по собственной пузени, разумеется)
Об-язательно...

Гуревич. Стоп, Алеха. Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы, тем временем, сверхдержавы, — пробуем на вкус то, что вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь. Приобщить этих сирых?

Прохоров. Еще как приобщить! Ал-леха!

Алеха. Я здесь. (Машинально подставляет пустой стакан.)

Гуревич. Болван. Ты понимаешь, что такое — сирость?

Алеха. Еще бы не понять. Сережа Клейнмихель, — у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет... Позвать его?

Гуревич. Позвать, позвать... (Наливает полстакана.)

Прохоров. Клейнмихель! На ковер.

Гуревич (подошедшему Сереже). Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

Сережа (всплакнув, конечно). Она все знала. Мамы — они всегда все знают. Что меня не допустют и не дадут начальство снимать картину фильма про маму и Семена Михайловича Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку приложил к этому Пашка Еремин, еврейский *шапион*...

Гуревич. Не торопись. Выпей. (Сережа, выпив, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира.)

Сережа. Я знаю, что такое еврейский *шапион*. Первый признак — звать его Паша. А фамилия его — Еремин. Других доказа-

тельств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего.

Гуревич. У тебя это что в руках, Буденный?..

Сережа. Это что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю — Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали...

Прохоров. Давай, я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона... Так-так... Проект будущих торжествований. Номер один: Дом больницы разбитых космонавтов. Номер два: Дом Любви и Здоровья больных космонавтов. Номер три: Дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: Дом, где не гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными никогда и вообще. Номер пять: Дом Коммунизма. Там приучают не бегать с топором и не пропивать ребят и космонавтов. Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель...

Гуревич. И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать...

Прохоров. Сейчас-сейчас... (Продолжает.) Номер семь: Книжная фабрика культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и Культурная дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли на подножке. И махали приходящими поездами вслед уходящим поездам.

Алеха фыркает.

Прохоров (продолжает). Спортивный внимательный институт. Спортивный внимательный светофор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный интернат для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие — всплывают для дачи больших и ложных показаний. Номер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса...

Гуревич. М-м-мда... Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель... Может быть, и прав комсорг Еремин, расчленив твою маму?..

Сережа. Нет, он был глубоко не прав. Когда она была в целости, она была намного красивше... Вам бы только посмеяться,

а ведь смеяться-то не от чего... У меня есть еще один проект, чтобы в России было поменьше смеху: трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород — на Смоленск и Новополоцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях...

Гуревич. Браво, Клейнмихель!.. Староста, налей ему еще немножко.

Староста наливает. Погладив Сережу по головке, подносит.

Сережа (тронутый похвалою, пропустив и крякнув). А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет — у меня все разрывается, даже вот только что купленные носки — и те разрываются. Даже рубаха под мышками — разрывается. И сопли текут, и слезы, и все о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...

Гуревич. Прекрасно, Серж, утешайся хоть тем, что заклятому врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммулечки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. Мудак, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной ублюдочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести... То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

Прохоров. Ну, конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. (Потирает руки, наливает поочередно Гуревичу, себе, Алехе.) Вставай, флотоводец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу, — признайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

Михалыч (его понемногу освобождают от пут). Выпить хочу...

Прохоров. Да это ж совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово. (Михалыч вздрагивает.) Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Североатлантического пакта. Ну, какую-нибудь там молитву...

Михалыч (быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее). Москва — город затейный: что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва — до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить — горе, а не пить вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво и плясать хочется...

Прохоров (намного одушевленнее, чем во втором акте). Так-так-так...

Михалыч. Справа немцы, слева турки, ебануть бы политурки. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Что-то стало холодать, не пора ли нам...

Гуревич. Пора, мой друг, пора... (Адмирал выпивает — и вытаращивает глаза от крепости напитка и перемен земного жребия.) По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин имеет право выпучивать глаза, но не до отказа... Вова!!

Вова подходит покорно, но почему-то держа за руку бледного Колю.

Гуревич. Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (К Прохорову.) А почему они, собственно, здесь, — а не там?

Прохоров. Ну, ты же сам слышал... эстонец... голова болит... разве этого недостаточно?.. А что касается Вовы, — так он просто так... подозревается в уникальности...

Гуревич. Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мною на свободе. У тебя есть *мечта*?..

Вова. Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку — она называется гамбузия. Так вот, эта рыбка — гамбузия — поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблий...

Гуревич. И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

Вова. Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

Гуревич. И — не поперхнуться?

Вова. И не поперхнуться.

Гуревич. Отлично. Вот ровно столько грамм ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордоворот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу эту «модус-вивенди»...

Вова (единым залпом выпив, — то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит). А самое главное, чем хороша гамбузия, — так от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик...

Прохоров. А что это за Эдик?..

Вова. Никто не знает. Но, как только в небеса подымается Веспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь... Сергунчик, мой

внук, не послушался — и вот вам результат: ветры унесли его неведомо куда... по заказу Гостелерадио...

Гуревич. Удивительная все-таки страна — Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании — Эдик?.. (Обращается к Коле.) Коля! ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

Коля. Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (Простирая к публике руку.) Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего. Десертным вермутом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его, — напрасно, его уж нет, младой певец нашел безвременный конец. Особой водки он просил, и взор являл живую муку, — и кто-то вермут положил в его протянутую руку!..

Гуревич. Здорово!.. Налейте поэту *мушкателейнвейну!*

Коля (выпивая свою долю мушкателейнвейна). А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

Прохоров. Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит взялось.

Гуревич. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего.

Прохоров. Если явятся вопросы еще, обратитесь к Вите.

Гуревич. Да, да. Если кому чего неясно, — пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь — еще при жизни называться незабвенным! *Витя!!* Корчной! Что новенького-шизофреновенького?

Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной за время сна, становится, по пробуждении, сардоническою. Сейчас на нем ничего этого нет.

Гуревич. Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет — стало быть, спит и не проснется *вовеки...*

Витя. Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

Прохоров (поднося Вите). Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире высшей справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше в сравнении с наивысшей?..

Витя (приподымая большую, розовую голову). А я не умру?

Гуревич. Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения... Во всей происходящей драме — до тебя — никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека — в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть — так смерть.

Смерть — это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

Витя пьет и — встает. Всех обнимая своей улыбкой и не стыдясь живота своего, почему-то отправляется к выходу.

Прохоров. Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной — Витя — хочет пройтиться в сторону клозета... Стасик! Прекрати свои рот-фронты. Иди сюда...

Гуревич (спохватившись). Да, да. Никакие рот-фронты и нопасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией — ясное небо. Франсиско Франко. По этому поводу — опусти свою глупую руку и подойди. Твоя неистовая Долорес — в соседнем отделении. Пропусти для храбрости сто двадцать, и мы соединим вас, недоумков...

Стасик. Так она еще не умерла?..

Гуревич. Давно уже подохла. Но, как только услышала о тебе, о предстоящем свидании, она вытряхнула землю из глазных своих впадин и сказала: «Пусть придет ко мне, я люблю молодых и растленных. Но прежде, — сказала она, — но прежде я должна привести себя в порядок, я ведь так долго пролежала в сырой земле...»

Стасик. Я понимаю... Женщина всегда есть женщина, если даже пассионария. У нас есть о чем побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И — вдобавок ко всему — насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон Ду Хван, он все мечтает стереть Советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть то, у кого так много-много земли — и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чондухванов...

Гуревич. Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил... Боже мой, Витя!..

Витя (с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения). Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой... (Ставит на стол посреди палаты еще один белый ферзь. Два белых ферзя рядом — это уже слишком. Многие теряют и остатки своих убогих рассудков.)

Прохоров. С шахматами мы потом разберемся... А шашки — где?.. Чемпион мира по русским шашкам Виктор Куперман... (Улыбка — в сторону Гуревича, вопрос адресован Вите.) Так вот, шашек нет. Сейчас растерянно смотрит на мир наш русский товарищ Куперман. И вот он, молодой и здоровый, крутится в своем гробу. Не путать с Долорес Ибаррури... Он крутится в своем гробу, хотя он молод и здоров...

Коля (прерывает старосту, чего с ним никогда не бывало). А кто вообще автор желудочно-кишечного тракта?..

Гуревич. Неужели и *теперь* тебе не понятно, *кто*?.. (присаживается к Вите).

Скажи мне, Витя, ну, а если б ты...
Ну... двадцать шесть бакинских комиссаров...
Чудовищно подумать!.. Что б тогда
Принес толпе из всех своих глубин?
Шпинозу? Группенфюрера СС?
Ударный финиш юбилейной вахты?
Рене Декарта?..

За дверью слышны каблучки. Это — Натали с последним обходом. И, слава Богу, она уже слегка первомайски-поддатая. Иначе — она уловила бы в палате спиртной дух.

Прохоров. Тишина!.. Все — по местам! Накрыться с головой!

Натали входит, всем желает спокойных ночей. Поправляет одеяло — у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Гуревича. Никому не слышные — а может быть, слышные всем, — шепоты и нежности.

Натали (полушепотом). Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо. (Гуревич пробует что-то сказать. Натали прикладывает пальчик к губам.) Тсс... Все дрыхнут. В коридоре ни души. Адье. Спокойной ночи, алкаши. (Проплывает к выходу, тихо-тихо прикрывает за собой дверь. Стук удаляющихся каблучков.)

Все пациенты разом сбрасывают с себя одеяла, приподымаются в постелях и завороженно глядят на два белых ферзя посреди палаты.

ЗАНАВЕС

ПЯТЫЙ АКТ

Между четвертым и пятым актом — 5–7 минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафешантанных танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, канканов и кэк-уоков, российских балаганных плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии.

Подымается занавес.

Все та же третья палата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.

Прохоров. Рас-светает!.. Аль-леха!!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Вдарь что-нибудь на своей гитаре, диссидент! Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум.

Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг Пашка Еремин. Откуда только он успел нализаться — непонятно, ведь ему было отказано даже в граммулечке.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
Я надену платье бело
И весеннее пальто.
Никого я не боюся:
Председатель — мой отец.

Вова.

Председатель к нам спешит,
«Не кручиньтесь, — говорит, —
Не кручиньтесь, не тужите,
Удобренья положите».
Михалыч.
Дети в школу собирались,
Мылись, брились, похмелялись.
Эх, в бога-душу-мать,
Дайте курочку!

Коля.

Ему уж 20 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж 30 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж 40 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж...
Алеха (прерывает его).
Коля водит самолеты —
Это очень хорошо.
Вова пысает в компоты —
Это тоже хорошо!

Прохоров.

А агент из Миннесоты —
Тоже очень хорошо.

(Это, разумеется, выпад в сторону Михалыча, который в это самое время пробует, как сен-сансовская плисецкая лебедь, делать ручками фокусы-покусы.)

Сей агент, агент прекрасный,
Опрокинув свой бокал,
На груди ее атласной
Безмятежно засыпал.
Хо-хо!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум!
Вся страна лежит во мраке —
Огонек горит в Кремле!
Пум!
Обожаю нежности
В области промежности!

Витя со всем своим пузом вступает в пляс, повязав наволочку вместо косынки.

Алеха (подтанцовывает к Вите).

Ай-ай! Ох-ох!
Все готово. Бобик сдох.
Что с тобою приключилось,
Манечка?

Витя (не без кокетства).

Совершенно ничего.
Ровным счетом ничего.
Ничего не приключилось
С Манечкой.
Просто — слишком завертелась,
Просто — очень захотелось
Съездить в будущем году
В Пизу или Катманду!
Оп-пля!!

Прохоров.

Кудри вьются,
Кудри вьются,
Кудри вьются у блядей.
Почему они не вьются
У порядочных людей?

Витя.

Хе! Хе!

Потому они не вьются —
Денег нет на бигудей!

Алеха (поправляя Витю).

Потому что у блядей
Денег есть на бигудей,
А у порядочных людей —
Денег только на блядей!

Гуревич (между тем с тревогой всматривается в полусонного Хохулю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм 115, — клонится к закату. Гуревич подходит к нему, тормошит). Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дёрнуть? Ты меня не слышишь?.. Не слышит... Передаю по буквам, Хохуля... дёрнуть... Д — движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших... Д. Следующая — ё... Только вот как передать ему «ё»?.. Подлец Карамзин — придумал же такую букву «Ё». Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж... Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало... Стоп, ребятишки!! Хохуля — не дышит!..

Одни обступают мертвеца; другие — продолжают беззаботное буйство.

Прохоров. Вот к чему приводит лечение электрошоком! Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей медицины!

Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стерегущего Мавзолей.

Гуревич. Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне полагаться на судьбу и твердо веровать, что самое скверное еще впереди.

Прохоров (добавляет). Рене Декарт. И да не будет никто омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество силы, красоты и грации! А Первомай пусть отмечают нормальные люди, то есть не нормальные люди, а нас обслуживающий персонал! Ха-ха! *Танцуют* все! Белый танец! Алеха!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
А я вот все люблю,
А я вот всех люблю:

Дюдюктивные романы,
Альбионские туманы,
И гавайские гитары,
И гаванские сигары,
И сионских мудрецов,
И сиамских близнецов...
Уй-уй-уй-ууууй!
(на мотив Петра Чайковского)
Не ходи пощипывать,
Не ходи посма-атривать,
Не ходи пощу-упывать
Икры наши де-е-евичьи-и...

Витя (под Кальмана, играя пузенью).

За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, о Боже мой?

Коля (под советскую детскую песенку).

У меня водчонки нет,
Даже вермутишки нет...
Прохоров (подхватывает).
Только пиво, только воды!
Только воды, только пиво!
И никто у нас не пьян!
Лейте, лейте, сумасброды,
Одуряющее диво
В торжествующий стакан!
Пиф-паф!

Подходит к баклаге со спиртом, наливает, в себя опрокидывает. То же самое хотели бы сделать и другие. Но Гуревич их останавливает.

Гуревич. Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе отраду: твоя мама — не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! (Наливает ему.)

Сережа (прижимая налитое к сердцу). Ура! Моя мама жива!

Пашка. Ура! я ее не убивал! (Мгновенно выхватывает кружку из рук Сережи и залпом выпивает.)

Гуревич.

Ты ловок, Паша, как я погляжу.
Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий.
А вот по морде смажут — это точно —
«Приватно и в партикулярной форме».

Прохоров. Рене Декарт?.. (К Паше):

Короче, друг любезный, —
Ступай в манду по утренней росе!

Паша, получив от старосты пощечину и икнув, присоединяется к пляшущим.

Гуревич. Нет, ты только посмотри, староста, на это вот итоговое и рвотное. Значит, все — все было не напрасно, все революции, религиозные распри, взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаевские дни, — все это, в конечном счете, только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок... Нет, тут что-то не так... Подойди, Сережа, я тебе еще чуточек налью...

Сережа, перекрестившись, выпивает.

Гуревич. Ну, как поживают твои веселые космонавты Космуса?

Сережа (одушевленный пятью глотками, приплясывает в такт остальным).

Космонавты и татары,
Космонавты и татары —
Все неправда. Все говно.
Уносить свои гитары
Им придется все равно.
Эй-я!

Гуревич. Вот это да... А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

Вова сидит в постели, затылком опершись о подоконник, без движения и почему-то с совершенно открытым ртом.

Гуревич. Поди-ка взгляни, Прохоров, что с ним?

Прохоров. Дышит! Вовочка дышит! (Напевает ему из Грига.) «Идем же в лес, друг милый мой, где нас фиалки ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут...»

Вова не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. А головку его уже обдувает Господь.

Гуревич. Однако!.. Там (кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала), там веселятся совсем иначе. Ну, что же... Мы — подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их окружают сплетни, а нас — легенды. Мы — игровые, они — документальные. Они —

дельные, а мы — беспредельные. Они — бывалый народ. Мы — народ небывалый. Они — лающие, мы — пылающие. У них — позывы...

Прохоров. А у нас — порывы, само собой... Верно говоришь! У них — жисть-жистянка, а у нас — житие! У нас во как поют! а у них — какие-нибудь там Ротару и Кобзоны... А я бы эту прекрасную Софию Ротару утопил бы — вот только не знаю, где лучше, в говне или проруби. А прекрасного Иосифа Кобзона за чекушку продал бы в Египет... Хо-хо! только и делов! (Сепаратно выпивают по совсем махонькой. Остальные, томительно облизываясь, стоят в стороне.)

Прохоров. И вообще — в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов — утопил. Теперь уже пора бы...

Гуревич. Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то — ну, что за преснятина? Юбилейная, Стрелецкая, Столичная... Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим, так: Девичья Горючая — 5 рублей 20 копеек. Мужская Скупая — 7 рублей. Беспризорная Мутная — 4.20. Вдовья Безутешная — тоже не очень дорого: 4.40. Сиротская Горькая — 6 рублей. Krokodilovaia importnaia — червонец. Ну, и так далее... Но только — прежде чем ломать Россию на глазах изумленного человечества, надо вначале ее просветить...

Прохоров. Вот-вот. Наша запущенность во всех отраслях знания... подумать страшно. Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе — никто не знает. Из 145 опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?

Гуревич. Так мы уже ее начали. Пока — в пределах 3-й палаты. А там смотришь... Ну, чем был русский народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком — никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве — и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус...

Прохоров (патетически). Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть *заколдованность.* Я чувствую это по себе, а сегодня ночью — особенно...

Гуревич. Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недорезанность, — так это тоже легко поправимо...

Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.

Прохоров. Алеха?!

Алеха. Мы все тут.

Прохоров. И хорошо, что все.

Гуревич. Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже все только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкою. Ватикан им выдает эту похлебку или еще кто — не знаю, — но они глядят при этом в сторону России и думают... о чем уж они там думают, я тоже не знаю... но, как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы — готовите себя к подвигу?

Витя Толстопузый. Еще как готовим!

Гуревич. Ну вот и прекрасно. (Обносит напитком всех поочередно. Продолжает при этом.) В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди — но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!.. И потом — они разобщены: у каждого *свой* трепет, *свое* урчание в животе. У нас — один трепет и одно урчание!

Алеха. Ура!

Прохоров. Это ты к чему, дурак, крикнул «Ура!»?

Алеха. А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков!

Прохоров. Как ты думаешь, Гуревич: передушим?

Гуревич. Да душить-то пока зачем? Так уж сразу и — душить! Миротворнее нас — нет среди народов. Но если они и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем они и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной — *что нам за дело, родной*? Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»... Нет, мы не таковы. Чужая беда — это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздо-

ха за стеной, — но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

Прохоров. Я понял так, что все-таки душить. Только вот не знаю, с кого начать. Наверно, все-таки с фрицев.

Гуревич. Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того, чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой! Да фриц уже, по существу, и не дышит!

Витя. Я бы голландцев наказал, за их летучесть...

Михалыч. Тогда уж и жидов, за их вечность...

Прохоров. Тссс!.. Я предлагаю, Гуревич, лишить адмирала следующей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм...

Гуревич. Мы, пожалуй, так и сделаем.

Алеха. А меня вот лично интересуют Британские острова...

Гуревич. Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее и в самом деле не существует, — а для этого приложить одно, самое незначительное усилие...

Прохоров. А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать...

Коля. Но вот... если мне прикажут душить скандинавов... так за что мне их душить? Они ведь такие белокурые-белокурые, такие нивчемневиноватые...

Гуревич. Вы ошибаетесь, Коля. Их надо пропесочить для начала за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом — за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели...

Прохоров (подхватывает). ...и за то, что они вольно разгуливают по обоим, нашим, исконно русским полюсам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели... К ногтю! я так считаю...

Михалыч. До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Все. (Как простреленный навылет, валится у обочины постели и храпит навеки).

Гуревич. Что это с ним? Шутит он?.. или..?

Прохоров. Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ничего... С итальяшками, например, мы и без него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих... Сакко и Ванцетти. Вообще-то обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душою. У Ванцетти — души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но

формы-то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!..

Алеха. Эх, разбередил ты меня этими... формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!..

Прохоров. Не будет полячек!!

Витя. А их-то за что? За Тараса Бульбу?..

Гуревич. Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в географической приближенности к Европе, и...

Прохоров. И в исторической ненависти к жидам...

Алеха (в подражание своему патрону). У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы, *за вульгаризм*, и лишить предстоящей рюмахи...

Гуревич. Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по шеям...

Прохоров подходит к Алехе и слегка дает ему «по шеям».

Гуревич. Боже! Они опять все перепутали!.. Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы, готовые к подвигу: а кто из вас любит французиков?

Все. Все!

Гуревич (саркастично). Все?

Все (опомнившись). Никто!

Гуревич. Ну, то-то же. Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и...

Коля (пьяненький). Но это же турки!.. глаз у Кутузова...

Прохоров. При чем здесь турки? Какие еще турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов, на площади святого Петра в Риме. А я — лично видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами...

Гуревич. В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот *они* — они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны-Рокфеллеры. А мы — нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас глядеть *в оба*. Да. (Аплодисменты.)

Коля. Но... Лиссабон... наш такой красивый Лиссабон!..

Прохоров. А это еще что за Лиссабон? Что такое вообще — Лиссабон? Облить его водой со всех сторон и никого не впускать! Вот так. Или — поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!..

Гуревич. Одно только слово «Лиссабон» — мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лиссабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна... Значит, и Лиссабона быть не должно! (Аплодисменты.) Тебе, Коля, нужен Лиссабон?

Коля. Не-а...

Гуревич. А тебе, Витя?

Витя. Нисколечко.

Гуревич. Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные, — цветут, благоухают и существуют. Тогда как человеку не хватает самого насущного. Короче, Лиссабона не будет... Но при этом — могу я рассчитывать на своих стратегических союзников?

Все (вразнобой). Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!..

Гуревич. Самое время! (Шлепают по маленькой.)

Сережа. Добрый день, быть может, вечер, я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын Федя. (И вдруг захохотал — необычайно — ведь его никто не видел даже улыбающимся. Похохотав и закрутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах.)

Все на время немеют. Музыка.

Гуревич (нахмурившись). Ну, что ж... Мама оказалась жива — и он от этого оказался мертв... В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

Стасик (сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова начинает пульсировать из угла в угол палаты). Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы — отребье человечества — забыть не в силах! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И, пожалуйста, не убивайте друг друга, — это доставит мне огорчение. Бог мудрее человеков! Держитесь за ризу Христову! (И снова окаменевает: на этот раз в коленопреклоненной и молитвенной позе.)

Гуревич (вдохновенно продолжает). А если нет Лиссабона — понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой... Начиная с азиатского Востока. Это пагубное и зловещее скопление нечистот — не имеет права быть! Вот вам восточная надпись на камне, надгробная, — и ведь Евангельских времен! — «Всеобщий любимец, он был полон очарования. Не щадя никого, истреб-

лял он всех без остатка». (Смех в зале.) Ну, что прикажете делать с такими народами? А ничего не делать! Они издохнут сами по себе. У них то и дело грохочут демографические взрывы, фурункулезы, хиросимы, напалмы, нагасаки, и вообще жрать нечего. Сами по себе — тихо вымрут, для очищения земли и небес! А все остальное довершит клещевой энцефалит, грызня марксистских диктатур и маньчжурская лихорадка. Близятся сроки Воздания! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти сроки!..

Алеха. Я, например, — за маньчжурскую лихорадку! (Первым выпивает, крякает и пробует возобновить представление.)

Пум-пум-пум-пум.
Пум-пум-пум-пум.
Вот он, вот он, конец света!
Завтра встанем в неглиже,
Встанем-вскочим: свету нету,
Правды нету,
Денег нету,
Ничего святого нету, —
Рейган в Сирии уже!

Хор (уже успевших выпить и прокрякаться).

Ничего на свете нету, —
Рейган в Вологде уже!

Прохоров (зычно).

Этот день победы!!

Хор.

Прохором пропа-ах!
Это счастье с беленою на устах!
Это радость *с пятаками на глазах*!
День победы!..

Гуревич. Ша! Пьяная бестолочь! вы, оказывается, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! вы все перепутали...

Прохоров. Мы все отлично поняли, Гуревич. Но только ты забыл про то, что есть ООН и Перес де Куэльяр... И когда начнут проваливаться континенты...

Гуревич. Ха-ха! Перес де Куэльяр, конечно, схватится за свою перуанскую голову. Вы видели когда-нибудь людей с перуанскими головами? А вот у него — перуанская голова, и он-таки за нее схватится. Ну, и пусть. Все равно ведь, никто за нас не будет спасать зачумленный мир! И вы, все, — пируя, не забывайте о чуме! Пир — это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир. Генерал Хейг. И веруйте в конечное русское торжество, посколь-

ку с *ними* — крестная сила, и ничего больше. С *нами* — все остальное!..

Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил за собою дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это — Вова. А это — Вовин рот, раскрытый в продолжение всего пятого акта, — захлопывается навсегда. Почти в это же время обрываются храпы комсорга Еремина под белой простыней. За сценой — «Липа вековая».

Коля (шатаясь, подходит к Вове и прикладывает ухо к его сердцу). Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!.. Не уходи. В лесу-то ведь сейчас: как хорошо! и дух такой духовитый... (по-ребячески плачет) гамбузии плещутся в пруду... расцвели медуницы...

Вова не откликается.

Прохоров. Ну, почему бы действительно не отпустить человека в деревню?.. Ведь просился же, каждый день просился, — и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам...

Гуревич. За упокой...

Четверо оставшихся, под все длящуюся «Липу вековую», выпивают за упокой.

Прохоров (в упор смотрит на Гуревича). И чем же все-таки кончится?.. Вся эта серия наших побед над зачумленным миром?

Гуревич. О! Вначале — конечно — русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухою. Но потом... Подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их былого исполинства, они рассеются пылью по лицу земли. Вернее, их будет заносить — муссонами со стороны Яффы — их будет заносить все дальше и дальше на север, в сторону безжизненных просторов... все дальше на север, где дни еще облачнее, еще короче и, следовательно, где умирать еще безболезненнее и легче. Франческо Петрарка. И вот — пока русские летят в назначенную им бездну — народ Иеговы...

Прохоров. Наконец-то! Народ Иеговы! Мы с Алехой уже занимаем произраильские позиции. То есть единственно разумные. То есть предварительно даже выбивая с этих позиций самих израильтян!..

Гуревич. Лихо!.. Бахрейн, Кувейт и Эмираты, известное дело, обрекут нас на нефтяной голод...

Прохоров. Но ведь их к тому времени не будет: ни Бахрейна, ни Кувейта...

Гуревич. Ну так что ж, что не будет. Ты плохо знаешь арабов. Даже когда их самих уже и нет, — их упорствующий фанатизм и бестолковость все равно — остаются. Так вот, они обрекают нас на нефтяной голод. А нам — наплевать. Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может, тебе, Витя, она нужна?

Витя. В гробу я ее видал.

Гуревич. Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту поганую нефть. Вермутом, например, — правда, Коля?..

Коля продолжает плакать, все тише, тише, и не отвечает ничего. «Липа вековая» продолжается.

Гуревич. Итак, я поведу вас тропою грома и мечты! и шестиконечная звезда Давида будет нам путеводительной и судьбоносной!.. Говорят, звезда его беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится. Соломон Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и...

Прохоров. Вот ведь до какой степени можно изблядоваться: пятиконечная звезда!

Гуревич (одушевляясь все более). Да здравствует Эрец Израиль до самого Евфрата!

Прохоров.

Зачем сужать? *От Нила* до Евфрата!

Гуревич.

Чего мельчать? От Нила до Евфрата —
Все это хорошо, но мелковато,
А от Евфрата — на восток, восток... —
И вплоть до Нила!..

Алеха. От Синайского полуострова — до Кольского!..

Гуревич. А если кто косо взглянет на нас — *если еще будет кому* глядеть на нас косо — будет как в Талмуде: Бен-Зама взглянул — и потерял рассудок. Бен-Азай взглянул — и умер. И да испепелит их Провидение! И да разметет их Господь божественной Метлою Своею!.. Итак, выпьем за союз сердец, покорных высшему жребию!

Прохоров. За союз сердец, связующий Россию и Израиль!..

Гуревич. За здоровье Ромена Роллана!.. сейчас я вспомню, почему мне пришло в голову выпить за этого лысого черта... Да, да, вспомнил. «И будь во всем Израиле хоть один праведный, го-

ворю я вам, вы не имели бы права осуждать весь Израиль!» Роллан, письмо к Верхарну. И столицей мира будет — что бы вы думали? Иерусалим? Ничего подобного! Кана Галилейская — вот что будет столицей мира! Ха!

Алеха (басит). И бу-удешь ты столицей ми-и-и-и... (Не закончив, оседает на койку.)

Гуревич. Распростертие крыльев наших будет во всю ширину земли твоей, Эммануил! Не лишайте себя предрассветных чувств! Где твоя труба, лучший трубач Советского Союза Тимофей Докшицер?! Свистать всех наверх! Еще по *бокалу*! За солнечное сплетение обстоятельств!..

Алеха (голосом, хриплым и павшим). Ура.

Витя выпив, тоже оседает на койку, рядом с Алехой. Его начинает неудержимо рвать, рвать даже шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь рвотою, делает несколько конвульсивных движений ногами — падает на постель, бездыханный. Гуревич и Прохоров загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате — неизвестно почему — начинает меркнуть.

Стасик *(встает с колен. Забегал в последний раз).* Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?.. Почему в 1970 году ЮНЕСКО не отметило две тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?!.. (И снова замирает, на этот раз со склоненной головою и скрестивши руки на груди, а-ля Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала.)

Прохоров. Алеха!..

Алеха (тяжко дышит). Да... я тут...

Прохоров (тормошит). Алеха!

Алеха. Да... я тут... прощай, мама... твоя дочь Любка... уходит... в сырую землю... (Запрокидывается и хрипит.)... мой пепел... разбросайте над Гангом... (Хрипы обрываются.)

Прохоров. Так что же это... Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо... А тебе — ничего?.. (уже исподлобья).

Гуревич. Да видеть-то я вижу. Просто в палате потемнело. И дышать все тяжелее... Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то...

Прохоров. Я тоже — почти сразу заметил... А ты, если сразу заметил, — почему не сказал? принуждал почему?..

Гуревич. Да кто же принуждал? Мне просто показалось...

Прохоров. Что тебе показалось?.. А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще *казалось?..* (Злобно.) Ум-мысел у тебя был. Ум-мысел. Вы же не можете... без ум-мысла...

Гуревич. Да, умысел был: разобщенных — сблизить. Злобствующих — умиротворить... приобщить их к маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла — не было...

Прохоров. Врешь, ползучая тварь... Врешь... Я знаю, чего ты замыслил... Всех — на тот свет, всех — под корень... Я с самого начала тебя раскусил... Ренедекарт... Сссучара... (Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надвигается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах — что-то отбрасывает его назад, в постель.) Сссученок...

Гуревич. Выражайся достойнее, староста... Что проку говорить теперь об этом? Поздно. Я уже после Вовиной смерти понял, что поздно. Оставалось только продолжать. Заметить-то я *сразу* заметил. А вот убедился — когда уже поздно...

Прохоров. Ты мне просто скажи — смертельную дозу... мы уже перевалили?..

Гуревич. По-моему, да. И давно уже.

Обмениваются взглядами, полными бездонного смысла. Продолжает темнеть.

Прохоров. Пиздец, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой вины... Налей, Гуревич, весь остаток — пополам. Ты готов?

Гуревич (совершенно спокойно). Готов. Но только здесь умирать — противонатурально. Меж крутых бережков — пожалуйста. Меж высоких хлебов — хоть сейчас... Но здесь!.. (Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего.) И потом — мне предстоит вначале большое дело... один обещанный визит... (Прохоров, ухватившись за горло и сердце, — клонится и клонится к подушке.)

Гуревич (машинально продолжает долбить). Они там маевничают... У них шампанское льется со стерлядями... У них райская жизнь, у нас — самурайская... Они — бальные, мы — погребальные... Но мы люди дальнего следования... Сейчас мы встанем... Изверг естества... неужели с ней? Уже несколько часов — с ней?.. А я-то: о Кане Галилейской... «Гуревич, милый, все будет хоро-

шо...» — так она сказала. Сейчас мы посмотрим, до какой степени все будет хорошо... Сейчас, сейчас... (Вскакивает и опять обрушивается на стул.)

За сценой — или изнутри стен — упадочническая песня Надежды Обуховой: «Ой, ты, ночка, ночка те-омная...» etc.

Гуревич. Ты звал меня на ужин. Мордоворот, так я — к завтраку... Чудотворная девка! Натали!.. Пока я тут сижу и приобретаю модальные оттенки, они в это время... Господи, не мучай... они в это время... (Роняет голову на тумбочку и вцепляется в волосы.)

Голос сверху (голос, в котором не столько императива, сколько насморочного металла). Владимир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...

Гуревич (подымает голову и глядит на птицу с недоумением безмерным). Боже милосердный! *Это* еще что? И я почти ничего не вижу... Библию мне и посох — и маленького поводыря... За малое даяние пойду по свету — благовестить. Теперь я знаю, что и о чем — благовестить...

Голос сверху. Влади-и-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу (ускоренно) на хуй — на хуй — на хуй — на хуй...

Гуревич (с тяжким трудом приподымается со стула, вцепившись в тумбочку всей душою — только б не упасть, только б не упасть). Пока еще хоть немножко осталось зрения — я доберусь до тебя, я приду на завтрак... Ссскот... (Отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй.) Ничего, я дойду. (Третий шаг. Четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп контр-адмирала, — падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати, — встает.) Я дойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла... Ведь не может же быть, Натали, чтобы все *так и оставалось.* (Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.) Боже, не дай до конца ослепнуть... Прежде исполнения возмездия. (И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся, громких рыданий.) Дойду. Доползу... (Как ему это удается? — снова встает во весь рост. Руками обшаривая перед собою пространство, делает еще пять шагов — и он уже у дверного косяка.) Сейчас... чуть передохну — и по коридору, по стенке, по стенке...

Прохоров, до того лежавший спокойно, приподымает голову — и издает крик, всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и медбратьев в дальней ординаторской и в докторском кабинете. Так в этом мире не кричат. Взбудораженные, полусонные, поддавшие постовые, с Ранинсоном во главе, — по освещенному коридору приближаются к 3-й палате поступью Фортинбрасов. Первое, что им предстает, — едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордоворот пинком отшвыривает его от входа в палату. Все врываются.

Ранинсон (перекрывая разноголосицу и гвалт). Срочно к телефону!! На центральный и в морг!!

Постовые медсестры (вразнобой). «А один-то! Один умер стоя! скрестивши руки!.. и до сих пор не падает, к стене привалился!» «Весь запас метилового — подчистую!» «Нет, один, по-моему, еще дышит...» «Кто же так кричал?» (И пр. и пр.)

Куча санитаров (толстых, с носилками). Сколько я помню, никогда такого урожая не случалось. (Начинается вынос трупов, поочередно. Конец финала второй симфонии Сибелиуса.)

Боренька. Наташа, где твои ключи?!..

Натали (ополоумев, даже не плачет). Ой, не знаю... Ничего не знаю...

Одна из медсестер. А Колю-то, Колю зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит...

Ранинсон (язвительно). Ничего! Тоже — в морг! Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической смертью или клиническим слабоумием!..

Боренька (поддевая ногой раненую голову Гуревича). А с этим — что делать?

Ранинсон. Пронаблюдайте за ним. А я — к телефону. Трезвону сегодня не оберешься.

Боренька (за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все). Ну, как поживаем, гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вонючее ваше племя!.. (Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком.) Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, сссрань еврейская. Всех!

Гуревич (хрипло). Я же — ничего не знал... (Еще удар)... Я же слепой... Я ничего не вижу... (Удар.)

Натали (из полутьмы). Что же теперь будет-то? Что же теперь будет-то? Мама!.. (Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девочка.)

Боренька (при каждой его реплике Сибелиус на время отступает,

и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняния, — отдает протухшей поросятиной, псиной и паленой шерстью). Ослеп, говоришь? сссучье вымя!.. раньше ты жил как в Раю: кто в морду влепит — все видать. А теперь — хуй чего увидишь! (Влепляет еще, потом опять в голову.)

Натали (истерично). Борька! Переста-ань! Перестань! Ведь это с ума сойти!.. Переста-а-ань же! (Закатывается в клокочущих рыданиях.)

Боренька (со все возрастающим остервенением). Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя! (Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата.) Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!..

Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там — по ту сторону занавеса — продолжается все то же, и без милосердия. Рык Гуревича становится все смертельнее. Оттуда — из палаты — сквозь занавес — вылетает к зрителям куль с постельным бельем; следом тумбочка, и рассыпается вдребезги. Потом — клетка с уже околевшим ото-всего этого попугаем. Никаких аплодисментов.

Ранней весной 85 г.

КРОХОТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

«За музыкою только дело», без этого нельзя. Кроме уже рассованных по тексту авторских указаний, можно использовать (совсем негромко) русские народные песни: вроде «Позарастали стежки-дорожки», «На Муромской дорожке», лучше оркестровые вариации на эти темы — (в 3-м акте). Русскую песню «У зари-то у зореньки» (в 1-й половине 4-го акта). 1-я часть 3-й симфонии Малера, совсем засурдиненно, в 1-м акте. Какое-нибудь из самых мерных и безотрадных Andante Брукнера в 5-м. Ну, и так далее.

«НЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, А МЕЧТАТЕЛЬНОЕ УМСТВОВАНИЕ»

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

ПРОЗА ИЗ ЖУРНАЛА «ВЕЧЕ»

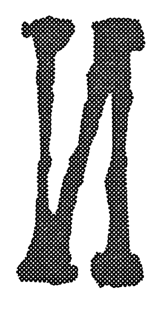
САША ЧЕРНЫЙ И ДРУГИЕ

ОБ ИОСИФЕ БРОДСКОМ

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЕНИНИАНА

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

ГЛАВА 1



было утро — слушайте, слушайте! И было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

Мой разум глох и сердце оскудевало, и не хватало дыхания, и грудь моя теснилась от миллиона предчувствий, и я в первый раз поглядел на небо.

Я, никогда не смотревший на небо. И — в тот же час — свершилось! Сквозь метания беспокойных звезд ворвался в унылую музыку сфер охрипший хор серафимов, и завеса времен заколыхалась от сумасшедшего томления, и надвое раздралась.

И вопль озарения оглушал меня и опрокинул в придорожную канаву;

и кто-то давился от смеха над моей головой, и тряс меня за волосы, и говорил:

«Что делаешь Ты, Брат Мой, в этом мире?»

И я поднял голову, и дышал в пространство водочным перегаром, и ничего не видел кроме тьмы,

и холодная грязь текла мне за шиворот, и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и взгляд мой выражал недоумение, смешанное со страхом.

И уши мои вздымались и дыхание мое было прерывисто.

И бесплотный сосед мой говорил мне:

«Слушай Меня — теперь — самый светлый из всех онемевших — Ты хорошо ли исчислил сроки?

Новая редакция текста подготовлена Алексеем Яблоковым.

Я один из тех — кто с Ним и с Тобой пребыли до скончания — Ты помнишь?

Болван Иегова — мы ничего не забыли — теперь — хочешь ли идти со мной?»

Так говорил тот, кому я внимал и кто не хотел быть зримым.

И я отвечал ему:

«Кто бы ты ни был, слова твои ложатся мне на сердце, но божественный синтаксис твой не вполне изъясним».

И он рассмеялся, и сказал мне:

«Наступит время и Ты поймешь, — с тех пор как звезда наша стала заново восходить и перепуганный Творец ввел в наших сферах систему тайных доносов, ни один мыслящий придурок не хочет быть понятым в пределах, указанных Тем, чей дух почил на Тебе с ударом молнии, возвестившей мое явление;

и вот — прежде чем расступится тьма и Ты возвратишься в тот мир, которому теперь не принадлежишь, — сердце Твое сто тридцать раз сожмется от страха и таинственных речей, и увидишь край, где томятся души воинства Люцифера и изведаешь силу трех испытаний, соблазнительнее тысячи бездн, — и тогда разум Того, чьи милости скрыты, осенит Твою голову, разбухающую от неведения, Ты этого хочешь? — мой юный Страдалец — Ты хочешь идти со мной?»

И он говорил, и меня забавляло проворство его декламации, и все голоса во мне смолкли перед сладкой потребностью чуда,

и мгла становилась бездонной, и я заклинал его назвать себя, и он не хотел,

и шептал мне на ухо, и обливал меня дождем, щекотал, и смеялся, и уносил меня на крыльях блеющего смеха,

и, унося, раздвигал мои пределы, и обволакивал рассудок тьмой непроницаемых аллегорий, и все горизонты свивались в кольцо,

и опрокинулся небосвод, и в нем растворились ликующие наши тела, отрешившиеся от бремени измерений,

и свистели полоумные ветры, и с грохотом проносились тысячелетия из конца в конец эфирных равнин.

И распахнулись врата Адовы.

ГЛАВА 2

«Не бойся открыть глаза, — говорил мне дух, сроднившийся со мной в изнуряющих блаженствах полета, —

«Не бойся открыть глаза, мой Усталый Брат. Вот мы перешли

рубеж, отделяющий горные сферы от пределов осужденных на покаяние и вечные муки».

И первое искушение уготовано было мне, и глаза, повинуясь, отверзлись, и раскованный взгляд блуждал среди мрачных теснин,

и дымные факелы озаряли утесы оловянным мерцанием, и на бледные щеки каждого из поверженных ангелов бросали сто тридцать фиолетовых бликов.

«Слушай, слушай, — шептал мне дух, скрывающийся в тени, —

Слушай их траурный плач, Мой Усталый Брат,

вот мы перешли рубеж, за которым умеют улыбаться только дубовые головы.

Не бойся нарушить гармонию их безысходной печали, — Твое избранничество разбудило все упования в душе их бунтующего Отца, —

Твое же явление — скрепит ваши узы».

И — всколыхнувший вековые мерцания — я вошел в их пределы,

и заметалось пламя тысячи лампад, и толпы бескрылых детей Сатаны восклонились от каменного ложа, и обратили взоры ко мне, и отряхнули пыль с нетленных ушей,

И — вместе со мной — застыли, в звучании властного и пропитого голоса Хозяина Преисподней:

«Прежде —

Прежде, нежели был Предвечный, —

Я есмь. В бестолковых и буйных первоосновах бытия — Я царил единый, и дух отца не оспаривал Моей власти;

ни одно начало тогда не имело своих начал, и легионы ангелов, Мне подвластных, еще не испытывали томления о свете

и довольствовались игрой первозданных стихий.

Он явился — Тот, кого зовут Всемогущим — с первой комбинацией элементов, положившей начало Гармонии и Порядку;

и сделал их принципами унылых актов творения, и свет отделил от тьмы, и явились Земля и светила на тверди небесной;

и сонмы крылатых поддались дешевому обаянию Его вселенной дисциплины.

Но во всех, кто остался мне верен, тупая Его величавость вызывала мигрень и блевоту».

Так говорил Сатана.

«И Я отошел —

И Я отошел в изгнание, и пробил час — Мне опостылел мерный анапест его обезьяньих прыжков,

И Тот, ради Кого ты покинул Землю, первый подал сигнал к мятежу;

И вот — надо ли теперь говорить о безрассудстве моего призыва! —

все, чем мы располагали, Свинья Вседержитель истребил с первобытной свирепостью,

И ослепил нас сиянием вшивых лат Михаила Архангела, и обрезал нам крылья,

и сбросил нас туда, где теперь надлежит нам томиться три дюжины вечностей».

Так говорил Сатана.

«Вот ты видишь —

Вот — ты видишь нас не в сверкании славы, но изнуренных бессонницей и размышлением;

души Моих сыновей плесневеют от недостатка блаженства, и столетия протекают как вздохи, но говорю вам — слушайте! слушайте! —

но говорю вам: здесь, за пределами света, Я провижу иные просторы для наших бескровных сражений. —

С нами сливается разумная сила созданий, унаследовавших от Адама весну первородного греха

И, по мысли Творца, рожденных для отбывания трудовой повинности и вознесения хвалы.

С тех пор, как чета согрешивших покинула райский сад,

хороводы бесов, подвластных Мне, преодолели бездействие — и взвились от недр Преисподней к сердцам огорченных каналий,

и всякую мысль их обвивали сомнением, и каждый порыв извращали;

и мудрость зодчих Вавилонской башни, презревших благоразумие, и Ноеву страсть к опьянению,

и стыдливость Евы, и кротость Авеля, и тысячи иных аномалий, противоречащих естеству, преследовало с тех пор их племя, взамен избытка жизненной силы, завещанной от Бога».

Так говорил Сатана.

«Сто тридцать недугов сковали им их слабеющие суставы, и лица их бледнели от угрызений.

И нравственные соображения преодолевали расчет, и в судорогах священной болезни рождались новые пророчества,

и мифы о зачатии таинственных гениев без участия производящего фаллоса и вне лона воспринимающей, —

и головы их перестали пустовать с тех пор, как склонились к подножию идеалов и надгробиям усопших.

По велению Моему — сумасброды — отшельники — постом и молитвой смиряли волнения бунтующей плоти.

И в самом сосредоточении хамства и дарвинизма расслабляли души разумных продуманной чертовщиной — <...>!*

Я НАЧИНАЮ ПОТОП, ИСКЛЮЧАЮЩИЙ ВЕРОЯТНОСТЬ КОВЧЕГА — <...>

отныне — не суждено Мне внушать заблуждения библейским авторам и экзегетам

и — от досады — сморкаться вслед голубку, несущему от Арарата ветку зеленой оливы!»

Так говорил Сатана. И, восстав, привлек меня и дышал мне в лицо:

«Восприемник Разума — <...>

Восприемник Разума и Духа Моего — <...>, войди и выйди, и следуй, не оскверняя уст —

сам себя лишивший благ и уклонившийся от удовольствий,

разделяющий с нами бремя наших вериг — изначала, — вдумайся в то, чего нет;

и с этих пор — земное благоденствие перестанет быть желанием для Тебя,

и в тысяче действий и слов Твоих — отныне — не станет ни единого, продиктованного здравым смыслом,

и трижды счастлив, ангелоподобный, запечатлеешь Меня и поведаешь миру все, чего не сказал Тебе прослывший Лукавым».

«Благословен — <...>».

«Благословен грядущий во Имя Отца», — a capella вступили хоры бескрылых,

и от века падшие, ликующе рыдали, как трагики, как новорожденные дети,

как я, теперь сопричастный, — и в сладостном ударе, между обмороком и эйфорией, — «Свершилось!

Иди за Мной — и до конца свершится — в самых темных углах Вселенной — иди за Мной, мой Усталый Брат».

ГЛАВА 3

И второго искушения настал черед, и, светлеющая тварь, я отделился от духа, сопутствующего мне и избавляющего от соблазнов,

и очнулся в образе, неведомом мне, и в той земле, где доселе не был.

И дышал, охмеленный запахом всех незабудок, и земное том-

* Здесь и далее <...> — пропуски в рукописи.

ление проливал мне в грудь удушливый сумрак оранжерей, и в волнах лунного света нежились бесстыдницы — сильфиды;

и вот явилась мне дева, достигшая в красоте пределов фантазии,

и подступила ко мне, и взгляд ее выражал желание и кроткую решимость;

и — я улыбнулся ей,

она — в ответ улыбнулась,

я — взглянул на нее с тупым обожанием,

она — польщенно хихикнула,

я — не спросил ее имени,

она — моего не спросила,

я — в трех словах выразил ей гамму своих желаний,

она — вздохнула,

я — выразительно опустил глаза,

она — посмотрела на небо,

я — посмотрел на небо,

она — выразительно опустила глаза,

и — оба мы, как водится, испускали сладостное дыхание, и нам обоим плотоядно мигали звезды,

и аромат расцветающей флоры кутал наши зыбкие очертания в мистический ореол,

и лениво журчали в канализационных трубах отходы бесплотных организмов, и классики мировой литературы уныло ворочались в гробах,

и — я смеялся утробным баритоном,

она — мне вторила сверхъестественно-звонким контральто,

я — дерзкой рукой измерил ее плотность, объемы и рельеф,

она — упоительно вращала глазами,

я — по-буденновски наскакивал,

она — самозабвенно кудахтала,

я — воспламенял ее трением,

она — похотливо вздрагивая, сдавалась,

я — изнывал от бешеной истомы,

она — задыхалась от слабости,

я — млел,

она — изнемогала,

я — трепетал,

она — содрогалась,

и — через мгновение — все тайники распахнулись и отверзлись все бездны, и в запредельных высотах стонали от счастья глупые херувимы

и Вселенная застыла в блаженном оцепенении, и —

и — Тот же незримый схватил меня за шиворот, и проблеял мне в уши:

«Что делаешь Ты, Брат Мой, в этом мире, Ты, который больше чем Божий мир?»

И вздрогнул, и оглянулся, и сто тридцать мгновений боролось во мне бешенство желаний с тихим безумием Идеи,

и сердце отвергнутой надломилось; и рыдала на ложе из зелени.

И с тех пор много дев домогалось меня, и я отворачивался, истлевая в пламени вожделений, и искали убить меня, и я смеялся.

И вот я преодолел земное тяготение, и как Феникс из огня, из тернового куста Иегова, — выпорхнул, пронизанный лунным светом.

И душа моя вместительнее Преисподней.

ГЛАВА 4

И третьего искушения настал черед, и вот Меня, восставшего из грязи человеческих страстей,

воспринял дух, наставляющий мой полет к высям последней надежды

и — сквозь завесы вселенских круговращений — ослепляли наш взор очертания сфер — пламенеющих в отдалении,

и вставал, как в бреду одержимый, лучезарный престол Всеблагого.

И светлым, как полнолуние, и кротким, как стадо овец на лугах псалмопевца Давида,

оставалось чело Искупителя, воссевшего одесную в ореоле голубой меланхолии,

и улыбался сквозь слезы, приветствуя наше явление из пустоты междумирий.

И говорил нам:

«Бледнолицые странники — томимые жаждой успения — кто бы вы ни были — оставьте лукавство, и не обойдет вас милостью Творец, простирающий благость свою на всех, кто ее заслуживает».

И мы отвечали Ему:

«Не затем, чтобы вкусить услады и прозябания в ваших пределах.

И не ожидая покровительства Господня мы стремили, заблудшие, свой полет.

Но разбудить Твой дремлющий дух и к радостному покаянию призвать тебя, дружище Иисус» — <...>

И он отвечал нам:

«Что говорите, не ведаете. Взгляните — остановили порхание наивные дети света.

И небесное воинство бывает бесцеремонно, когда бороздят морщины чело Михаила Архангела, — Я не знаю вас,

но тот, чьи враги помутили ваш разум, — среди вас пребывает и ныне, и присно,

и у подножия престола Его — о каком еще служении говорите вы?»

И улыбнувшись, хранители тайны неизреченной, мы отвечали Ему:

«Нелепости в толковании Творца бесчисленны, как Его творения, и нам все они ведомы, и благодать Его, та, что святой Франциск назвал неодолимой, не коснулась нас.

И Ты, обвиняющий нас, Ты, служивший Ему действием и намерением,

научил нас верить, что не поступками, но Словом измеряется ценность разумного создания.

И тысячу раз был прав сказавший в Тивериаде: «Он изгоняет бесов силой царя бесовского»,

потому что названый Отец твой — по милости твоей — никогда уже не вернет последовательность в мир краснощеких язычников.

И дары Его — с тех пор как были тобой отвергнуты — для всех, разделивших твой энтузиазм, утратили элемент очарования.

Одолевший соблазны суетных видений. Ты, сам не сознавая того, — прорицатель <...>

утратил, перед лицом Господним, последнюю надежду на исправление,

и, испустивший дух под охраной божественного промысла, был по расчету усыновлен во времена апостолов — невозвратимо —

тех апостолов, что инсценировали вознесение, из боязни прослыть богоотступниками.

И если престол Его неколебим,

мы — сто тридцать недель спустя — рассмеемся от бессилия, но не отступим от наших заповедей;

И если Сам Он здесь — среди нас — исполнитель законов собственной природы.

Неотесанный Живодер, лишенный рассудка, иронии и форм протяжения, тупой, как сибирский валенок,

если Сам Он здесь — среди нас — наплюй Ему в Лицо, Искупитель, и благослови нас».

«И благослови нас», — повторяло эхо под холодными сводами Эдема; —

и Божий Сын пал без сознания к ногам небесного воинства, и тревога, и ужас изобразились на ликах, и струны арф оборвались,

и могущественнейший из архангелов задрожал от стыда и боли <...>

и громадным пинком вышвырнул меня за пределы райских преддверий, туда, где в предвкушении мести бесновались демоны,

и подхваченный на крылья, от века служившие мне опорой, я рассмеялся от счастья и покорный зову высших предназначений:

«Дух, влекущий меня сквозь пространство и годы — не ты ли, поседевший на службе Вельзевула,

во время оно прикинулся Гавриилом, возвестившим Марии тайну святого зачатия?

Я разгадал твое имя! И — отринь меня, Чистейшая из невест, хо-хо! за работу, товарищи!»

И над зевами всех пропастей я хохотал, как сорок умалишенных,

и полчища фурий, вампиров и ведьм рассыпались надо мной в смерче бергаманского танца,

и низвергались вместе со мною — <...> — сквозь неистовство всех стихий, <...>

в карнавале бедствий — праведное небо! — я летел как бомба,

И светила, выбитые из орбит — тысячью вихрей — чертили вокруг меня бешеные арабески — и Галактика содрогалась в блеске божественной галиматьи —

в глазах моих все померкло.

ГЛАВА 5

«И была среди них дева, и бремя любви падало
не на меня одного, и солнце сто тридцать раз
садилось за горизонтом, и Я отверг».

(Ev. ad Ben., c. 13, p. 9)

И было утро — слушайте! слушайте! <...>

и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

И, мятежное дитя, Я очнулся в том самом образе, который утратил было в семье небожителей.

И снова увидел землю, которую вечность назад покинул,

и сам не узнанный никем, никого не узнал.

И препоясал чресла, на голову одел венок из увядающих трав.

И, взяв камышовый посох, — вышел в путь, озаренный звездами;

сырость и мгла подмосковных болот окрыляли Мне сердце предчувствием всех начал;

и — на рассвете пришел к водоему; и вот — безмолвие оборвалось,

и вопль о помощи огласил почиющие тростники, и траурный всплеск, и смятение отроков, бегущих к воде;

и, раздвинув кусты, Я вышел навстречу мятущимся, и сказал:

«Остановитесь, добровольцы! Смирите вашу отвагу и внемлите Мне, творящие добро:

умейте преодолевать в себе то, чем являетесь вы от рождения, и не будьте доверчивы к импульсам, возникающим безответственно;

способность к жалости и самопожертвование — великая ценность, завещанная пославшим Меня в этот мир,

но достигший вожделенной цели, не станет ныне алчущий спасения вдесятеро преданней земле и враждебным Мне началом?

Отойдите от берега: худшая из дурных привычек — решаться на подвиг, в котором больше вежливости, чем сострадания.

Имейте мужество быть ротозеями — даже в те мгновения, когда гражданские обязательства побуждают вас действовать очертя голову, —

идите за Мной — и позвольте утопающему стать утонувшим».

И воды сомкнулись над головой неведомого страдальца, и смущение запечатлелось на юных лицах, и взглядом окинули фейерверк всплывающих пузырей,

Но, околдованные, повиновались, и с рыданием последовали за Мной, и Я говорил им:

«Не убивайте в себе сожалений

И помните — с этого часа грудь ваша полнится тем содержанием, для которого она предназначена;

Жертва, принесенная вами на алтарь оживления утопленника, была бы менее преступна, но и менее благотворна для вас самих.

Не утирайте ваших слез,

ибо свершившееся непоправимо, и дорогою ценою куплен ваш отказ от великодушия».

И плакали горше прежнего, и Я вразумил их, и листва подмосковных рощ дарила нам тень и прохладу,

И пищей нам служили фабричные отходы и головки болотных тритонов, и певчие птицы услаждали наш слух;

И шли до нового рассвета, приводя в изумление встречных благородством нашей поступи и нищетой наряда.

Когда же — в пыли столичных пригородов — вошли мы под своды молодежных палаццо,

Изнуренные мыслью, мы дивились: их было без малого сто тридцать, влачащих дни свои под знаком молодого задора и ослиной безмятежности,

И в сладостной неге предавались лобзаниям, и ковыряли в носу, и читали решения июньского пленума, и, завидя Меня, спросили идущих со Мной:

«Кто этот пилигрим? И венец Его, и поучения одинаково смехотворны».

И Я отвечал им:

«Преждевременно — называть имя пославшего Меня в этот мир; взгляните —

Мелкие воды прозрачны, глубокие же — неисследимы;

Но говорю вам — среди вас, простофиль, избалованных поэзиею трудовых будней,

Пребуду до той поры, пока десятая доля вас не склонит головы в раздумье над теми загадками,

Которые почли вы свистом и лошадиным ржанием. Dixi». <...>

ГЛАВА 13

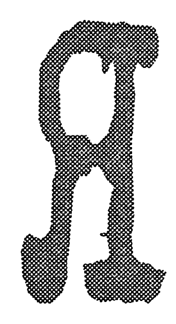
<...>

«И вот ухожу я,
И вот ухожу я из мира скорби и печали,
Из мира скорби и печали, которого не знаю,
В мир вечного блаженства, в котором не буду».

1960—1962

ПРОЗА
ИЗ ЖУРНАЛА «ВЕЧЕ»

1



вышел из дому, прихватив с собой три пистолета; один пистолет я сунул себе за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, а колыханье струй

и душевредительство. Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на самого себя («не убий» себя, как бы ни было скверно), — но сегодняшняя скверна и сегодняшний день — вне заповедей. «Ибо лучше мне умереть, нежели жить», — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так».

Дождь моросил отовсюду, а, может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца — тоже щемило. Все ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, что меня чуть-чуть подогревали, — тоже исчезли и растворились в пустотах. И, в довершение, от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!», потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благовоннолонная, останься!» — она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался подо все поезда,

но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома, над головой, я вбил крюк виселицы, две недели с веточкой флердоранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ты ни был, ты, доставший мне эти три пистолета, — будь ты четырежды благословен!

Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа все распухала, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица. Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее; что-нибудь такое освежающее... например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано. Но это не освежает, — где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня — ни одной звезды, ни в одном глазу.

И Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом».

Не подымаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий не помню, откуда, — и из всех трех разом выстрелил во все свои виски — и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навылет.

2

«Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, — вот что это такое. Ты промазал, фигляр, зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно! У тебя остается еще одно средство, кардинальное средство,

любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии». Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: «Omnia animalia post coitum oppressus est», то есть «каждая тварь после соития бывает печальной», а я вот постоянно печален — и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (Тьфу, я не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает, что еще.

«Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи», — так подумал я и постучал:

— Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят, — сказал он. — Я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи.

— О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике! — Я взгромоздился к нему на пуфик, я умолял: — Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волоки все!

Он ответил:

— Не дам.

— Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия? Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленоррею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, у придурка, ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что

я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (о нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы).

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: «У каждого в жизни есть своя Страстная неделя». Вот и у тебя...

— Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная неделя, и на ней семь Страстных пятниц! Как славно! Кто такой этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем заветном ты думаешь? — спросил я его. Он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.

3

Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?

— Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет?

— Нет ничего более оголтелого.

— Более махрового, более одиозного — тоже нет?

— Махровее и одиознее некуда.

— Прелесть какая! Мракобес?

— «От мозга до костей» — как говорят девочки.

— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил, царствие ему небесное.

— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?

— В какой-то степени — да.

— Волшебный человек! Как только у него хватало нервов, желчи и досуга! И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

— И всю жизнь и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна небезызвестность.

— Да, да, я слышал (погоди, Павлик, я сейчас иду), я слышал

еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев («простер совиные крыла»), Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин («не то беда, что ты поляк»), Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин («по Невскому бежит собака»), Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде.

— Славная женщина София Соломоновна Гордо, относительно «банды» я не спорю, это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутыль с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух, — и никудышно, и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше, ни меньше, как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по назначению, ни по размерам, ни по досягаемости».

— Ну, это я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от нашей классной наставницы Беллы Борисовны Савнер, женщины с дивным пахом (погоди, Павлик, я сейчас иду). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?

— Решительно всех.

— И переплюнул?

— И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах — и я ухожу.

— Умер как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и за книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4

Сначала отхлебнуть цикуты, а потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина: «Книга должна быть дорогой. И первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить.

Книгу не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать», — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и публичные библиотеки суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь не о развратницах-книгах, а просто о развратницах: «Можно дозволять очищенный род проституции «для вдовствующих замужних», то есть для того разряда женщин, которые неспособны к единобрачию, неспособны к правде, высоте и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «разверстыми ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен для сквозняков.

А потом повалился на канапе и продолжал:

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне? Томится душа моя. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». (У обскуранта — и вдруг томится душа?) «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем поговорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы о чем поговорить!)

«Только горе открывает нам великое и святое». Боль беспредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит».

«Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда». «Грусть — моя вечная гостья». «Смех не может никого убить, смех придавить только может. Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа». «Христос — это слезы челове-

чества». «Боже вечный, стой около меня. Никогда от меня не отходи».

(Вот-вот! Мересьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она еще ни имела дела — с парадоксом или прописью.)

«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

«И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «Русскими женщинами».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напомнить о Христе»): «Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20 томах, не наш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? Что их просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять». (Как это может страдалец — вонять?)

И о графе Толстом: «В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает больше движения души, чем их «философия и публицистика». Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили».

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается: и насадка плохая, и крючок туп. Но он не унывает. И опять закидывает».

И об основателе «политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его поклонения:

«За всю его жизнь — ни одного высокого и натурального помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он, еще будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом «ползучем гаде» я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней бренная — тоже уснула.

5

И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел: «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело; но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые, со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абаддона, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддону.

(А я все лежал на канапе, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал.)

Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным раздал по подзатыльнику.

(«О, шельма!» — сказал я, путаясь в восторгах.)

А он, между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старых монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся на канапе и шепотом спросил:

— Неужели это интересно: дуть на каждую монетку?

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно — или ты всю ночь путался с блядями?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне было скверно. «Книга, которую дают читать...» — и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера — мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпáли голову пеплом, раздирали одежды и препоясывались вретищем. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать...

Меня прорвало, и я на память пересказал свой вчерашний день, от пистолетов до ползучего гада. И тут он пришелся мне уж совсем по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады», о Шернвале и Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сердечностью, с нежностью, настоянной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к амаликиянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы об-

меняем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к амаликиянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен всему этому? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старый Лаван, изверившийся во всем, клялся дочерьми, не зная, что еще можно избрать предметом. А есть ли у кого-нибудь из нас, во всей России, хоть одна дочь? А если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».

6

И тут меня прорвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменилось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбежались по заграницам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли и поперевешались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работящие. Говна нет, и не пахнет им. Остались брильянты и изумруды. Я один только — пахну... Ну, и еще несколько отщепенцев — пахнут...

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подыхаем. А они, мерзавцы, долголетны и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен. Всякая их идея — непреходяща, им должно расти, а нам — умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев...

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань нести околесицу...

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут нести околесицу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если б знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, все теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок

и с десяток мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и только потому, что у меня была изжога и на спине два пупырышка...

(«Хо-хо! — сказал собеседник. — Отменно».)

И вот — меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит — они кретины, а я — прирожденный идиот. Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора; как моя легкая придурь от глубокой припизднутости (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мне душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и несказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумья уйду, у меня есть опыт в этом, у меня под рукой яд, благодарение Богу. Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих...

Все это проговорил я, давясь от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуту, а потом сказал:

7

— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов и штук сто тридцать невольных, позаботься о них вначале. Тебе ли сетовать на грехи мира и отягчать себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем «безумии сынов человеческих» есть и доля твоей (как ты сладостно выразился) припизднутости.

«Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того. «Мы часто бываем неправдивы, чтобы не причинять друг другу излишней боли. Он же постоянно правдив». Благо тебе, если ты увидишь Его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего шестьдесят таких промежуточков. Все было недавно. «И оставь свои выспренности», все еще только начинается.

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы. «Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина, и поверить в нежную идею. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канапе, и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне надежду». У меня все началось еще лет десять до того — все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось внутри меня, как помои, переполняло чрево и душу и просилось вон; оставалось прибечь к самому проверенному из средств: изблевать все это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца-Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы и не началось.

Если бы он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитизируется?

Я ответил бы:

— Чувствую. Теитизируется.

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и блеянье, блеянье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемешку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерстве образцов и готов был следовать им, если б даже меня об

этом не просили: «неумело» благотворить и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калимантанских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?» Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канапе Василий Розанов.

Да, что он там сказал уходя? О вздохе, о свиньях?

Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь. Мы — святые, а они — корректные. К «вздоху» Бог придет. К нам придет. Но скажите, пожалуйста, неужели же Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох. У них — нет вздоха.

И тогда я понял, где корыто и свиньи,

8

а где терновый венец и гвозди и мука.

И если придется, я защищу это все, как сумею. А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сферах повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим каламбуром, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случалось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся незыблемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки», уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если мне это скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь ни разу не застилала глаз.

Да этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо бы-

ло просто у с п е т ь доносить свои башмаки. Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же можем быть искушены во всех грехах, — чтобы знать им цену и суметь отвратиться от них от всех. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустяшной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавление от той гигантской лжи — (все, дурни, знают, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глазки постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, засранкам, отвечу так: «Ну, так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства. У масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если б встретил его где-нибудь. Ну, как может пахнуть изо рта человека, который хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора. Те, кто знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), — эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе от юности до смерти прочно стоял монастырь, — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунстштюками, если б это, допустим, и в самом деле были только кунстштюки и забавы? И почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим от нас или нет причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы; каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака.

Короче, так. Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше, ни меньше: честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчат в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопа, с книгами под мышкой. В такой вот поздний час никто не набрасывает на себя салоп и не идет из дома к друзьям-фармацевтам с шовинистами под мышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати — какая разница? Ну, что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у братца своего, Британика, но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди.

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навытворяют дел, паскуднейших, чем натворили, — это я тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, все равно — опали!

Вот, вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше, от темени головы до подошвы ног!»

(Прелестная формула.)

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дома, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе!) В вашей грамотности и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях, будьте прокляты! На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пю-

питрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты! Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы согласны растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта проблядь Снегурочка, — если согласны — я снимаю с вас все проклятья. Меньше было б заботы о том, что станется с моей землей, если б вы согласились. Ну, да разве вас уломаешь, ублюдков?

Итак, проклятие остается в силе.

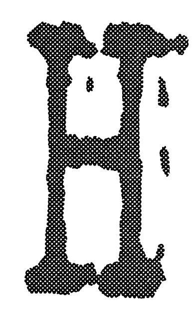
Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы прейдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем — в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, — доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот — вы благосклонны ко мне?»

«Благосклонны», — ответили созвездия.

Июнь 1973 г.

САША ЧЕРНЫЙ И ДРУГИЕ



а днях я маялся бессоницей, а в таких случаях советуют или что-нибудь подсчитывать, или шпарить наизусть стихи. Я занялся и тем, и этим, и вот что обнаружилось: я знаю слово в слово беззапиночным образом 5 стихотворений Андрея Белого, Ходасевича — 6, Анненского — 7, Сологуба — 8, Мандельштама —15, а Саши Черного только 4, Цветаевой — 22, Ахматовой — 24, Брюсова — 25, Блока — 29, Бальмонта — 42, Игоря Северянина — 77. А Саши Черного — всего 4.

Меня подивило это, но ненадолго. Разница в степени признания тут ни при чем: я влюблен во всех этих славных серебряно-вековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконно-камвольного Оцупа. А в Гиппиус — без памяти и по уши. Что до Саши Черного — то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности — закадычность. И «близость и полное совпадение взглядов», как пишут в коммюнике.

Все мои любимцы начала века все-таки серьезны и амбициозны (не исключая и П. Потемкина). Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь нельзя. «Ни покурить, ни как следует поддать», ни загнуть не-пур-ле-дамный анекдот, ни поматериться. С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь.

А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова.

Когда читаешь его сверстников-антиподов, бываешь до того оглушен, что не знаешь толком, «чего же ты хочешь». Хочется не то быть распростертым в пыли, не то пускать пыль в глаза народам Европы; а потом в чем-нибудь погрязнуть. Хочется во что-нибудь впасть, но непонятно во что, в детство, в грех, в лучезарность или в идиотизм. Желание, наконец, чтоб тебя убили резным голубым наличником и бросили твой труп в зарослях бересклета. И все такое. А с Сашей Черным «хорошо сидеть под черной смородиной» («объедаясь ледяной простоквашею») или под кипарисом («и есть индюшку с рисом»). И без боязни изжоги, которую, я замечал, Саша Черный вызывает у многих эзотерических простофиль.

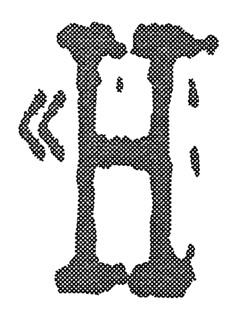
Глядя на вошь, Рукавишников почесывает пузо, Кузмин — переносицу, Клюев — чешет в затылке, Маяковский — в мошонке. У Саши Черного тоже свой собственный зуд — но зуд подвздошный — приготовление к звучной и точно адресованной харкотине.

Во всяком случае, четверть века назад, когда я впервые напился до такой степени, что превозмог конфузливость, первым моим публично прочитанным стихотворением был, конечно, «Стилизованный осел»:

«Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам,
По утрам...» — ну, и так далее.

Рождество 82 г.

ОБ ИОСИФЕ БРОДСКОМ



обелевский комитет ошибается только один раз в году», — съязвил один мой приятель месяц тому назад. И я, собственно, о Бродском писать не буду, это излишне. Любопытнее знать, как обмолвилась о нем знакомая мне столичная публика, от физика-атомщика до церковного сторожа, в конце октября 87 г. Я как можно короче.

Л., корректор издательства «Прогресс»: «Вначале, в бытность питерским тунеядцем, он был интереснее во сто крат. Пилигримы и все такое. Теперь, шагнув за Рубикон, он затвердел от пейс до гениталий».

Р., преподавательница 1-го медицинского института: «Я вижу, в Стокгольме поступают по принципу: все хорошо, что плохо для русских».

В. Т., поэт: «Ты как хочешь, Веня, а я вот за что его недолюбливаю: в нем мало непомерностей. В наше непомерное время надо быть непомерным, а у него безграничны только его длинноты. Да и то не слишком безграничны — можно было б и подлиннее».

А., физик, доктор наук: «Для него все постороннне, и он для всех посторонен. Хоть некоторым врасплох застигнутым читателям кажется, что он ко всем участлив. Натан Ротшильд тоже участвовал в битве при Ватерлоо. В качестве зрителя, на отдаленном холме. К вопросу о «Холмах».

Н. С., искусствовед: «Дело даже не в том, что он белоэмигрант. Но в нем есть какая-то несущественность. При всех своих достоинствах он лишен чего-то такого, чего-то такого, что делает его начисто лишенным вот того самого, чего он начисто лишен» (!).

В. М., переводчик, крайне правый католик: «Я не говорю уже о достоинствах самого стиха, это очевиднее очевидного. Но в нем есть то, что прежде называли так: вменяемость перед высшей инстанцией».

М., крайне левая православная: «Ну, не такая уж это неприятность, присуждение премии. Миновали уже те времена, когда нам были страшны подвохи со стороны Нобелевского комитета» (1/XI—87 г.).

Б. С., литератор: «Писать надо удовлетворительно или скверно. Отлично писать, как это делает И. Бродский, — некрасиво и греховно. И оскорбляет честь нации, оставшейся вопреки всему — у себя дома».

В. Л., тоже литератор: «Он совсем не умеет писать. Стихотворная строка должна звучать сама по себе, а не расплескиваться вниз. Что бы вы сказали, если б Хонсю-Хондо ничем не отделялся от Хоккайдо? Представьте себе: Сахалин непосредственно переходит в Хоккайдо, а Хоккайдо в Хонсю-Хондо. И никакого пролива Лаперуза.

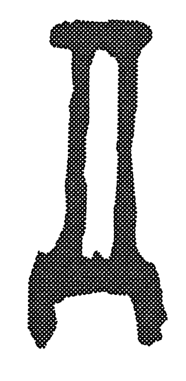
Это тошнотворно».

С., биолог: «Теперь я верю тем историкам, которые утверждают, что Парижская коммуна была еврейской махинацией» (1/IX—87 г.).

Продолжать не буду, чтобы вконец не утомить. А панегирических суждений не привожу за их избыточную восклицательность и единообразие и потому, что ко всем им присоединяюсь, конечно. Как бы ни было, грамотному русскому человеку — это я знаю определенно — было б холоднее и пустыннее на свете, если б поэзия Иосифа Бродского по какой-нибудь причине не существовала.

Все изложенные выше мнения о поэте мной самим предельно сокращены и доведены до степени литературной внятности.

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЕНИНИАНА



ля начала два вполне пристойных и дамских эпиграфа:

Надежда Крупская — Марии Ильиничне Ульяновой: «Все же мне жалко, что я не мужчина, а то бы я в десять раз больше шлялась» (1899).

Инесса Арманд (1907): «Меня хотели послать еще на сто верст к северу, в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается».

Впрочем, можно следом пустить еще два дамских эпиграфа, но только уже не вполне пристойных.

Галина Серебрякова о ночах Карла Маркса и Женни фон Вестфален: «Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Это были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они работали вместе». Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что у них ночами «не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев» (в серии «Жизнь замечательных людей»).

Инесса Арманд — Кларе Цеткин: «Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А ну-ка, скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить? Будьте чистосердечны

и в Вашем следующем письме признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!» (январь 1915).

Ну, а теперь к делу. То есть к выбранным местам из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он обучился писать, и до того (1922) времени, как он писать разучился.

В 1895 году он еще гуляет по Тиргартену, купается в Шпрее. Посетив Францию, сообщает: «Париж — город громадный, изрядно раскинутый».

Но вот уже в 96-м году Ильич помещен на всякий случай в дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге: «Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся об этом у прокурора. Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет».

Оттуда же он пишет сестрице: «Получил вчера припасы от тебя, <...> много снеди <...>, чаем, например, я мог бы с успехом открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции со здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной.

Все необходимое у меня теперь имеется, и даже сверх необходимого. Свою минеральную воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу».

Одна только просьба. «Хорошо бы получить стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой» (1896).

А дальше, разумеется, Шушенское. «В Сибири вообще в деревне очень и очень трудно найти прислугу, а летом прямо невозможно» (1897). «Я еще в Красноярске стал сочинять стихи

В Шуше, у подножия Саяна...

но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил».

Младший братец его, Дмитрий Ульянов, тоже угодил в тюрьму, и вот какие советы из Шушенского дает ему старший брат: «А Митя? Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли он гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту знаю и скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреешься даже.

Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) — 50 земных поклонов» (1889).

И сверх того, ожидание невесты Надежды Константиновны и будущей тещи Елизаветы Васильевны. Наконец приезжают. Вот как он сообщает об этом приезде своей матушке:

«Я нашел, что Надежда Конст-на выглядит неудовлетворительно. Про меня же Елизавета Васильевна сказала: «Эк Вас разнесло!» — отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо» (1898).

«Мы с Надей начали купаться».

А когда закончились купальные сезоны — «катаюсь на коньках с превеликим усердием и пристрастил к этому Надю» (1899).

Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье.

«Глупый народ — чехи и немчура» (Мюнхен, 1900). «Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Гнусная дыра, но ничего не поделаешь» (1908). «Париж — дыра скверная» (1910).

Блистательные сентенции вроде: «Я вовсе не нахожу ничего смешного в заигрывании с религией, но нахожу много мерзкого» (1909).

«Мы все ездим с Надей на велосипедах кататься» (1909. Бретань). «Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. <...> Надеюсь выиграть» (Париж, 1910).

«Погода стоит такая хорошая, что я собираюсь взяться снова за велосипед, благо процесс я выиграл и скоро должен получить деньги с хозяина автомобиля» (Париж, 1910). «Я не верю, что будет война» (Краков, 1912). «А насчет женского органа напишет Надежда Конст-на» (Краков, 1914).

И драгоценные добавления в письмах Надежды Конст-ны:

«Новый год мы встречали вдвоем с Володей, сидючи над тарелками с простоквашей» (январь 1914).

«Собираемся взять прислугу, чтобы не было возни большой с хозяйством и можно было бы уходить на далекие прогулки» (Краков, лето 1914).

«Сегодня Володя ездил на велосипеде довольно далеко, только шина у него лопнула» (Краков, лето 1914).

О своем друге Максиме Горьком Ильич помнит неизменно: «Горький изнервничался и раскис» (1910). «Горький всегда был архибесхарактерным человеком». Или: «Бедняга Горький! Как жаль, что он осрамился!» И несколько позднее: «И это Горький! О, теленок!»

Однако началась война. Бегство из Кракова. И «сидючи» в нейтральной Швейцарии, тов. Шляпникову: «Лозунг мира — это обывательский, поповский лозунг» (17 октября 1914).

А милой Инессе Арманд: «Даже мимолетная связь и страсть поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов». Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить... что?.. Казалось бы, поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?). Выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским.

Странно. Не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский брак без любви пролетарскому браку с любовью» (24 января 1915).

И ей же: «Требование «свободы любви» советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. Дело не в том, что Вы субъективно хотите понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви» (17 января 1915).

И опять ей: «Если уж непременно хотите, то и мимолетная связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая» (24 января 1915). «У нас опять дожди. Надеюсь, небесная канцелярия выльет всю лишнюю воду к Вашему приезду, и тогда будет хорошая погода» (4 июня 1915). «Крепко, крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг».

И необходимость постоянно печатать свои очередные брошюры с очередными тезисами. Спустя два с лишним года, уже будучи вождем большевистского правительства, он будет давать такие распоряжения: «Реквизировать 30 тысяч ведер вина и спирта в винных складах. Есть ли бумажка от Военно-Революционного Комитета, чтобы спирт и вино не выливались, а тотчас были проданы в Скандинавию? Написать ее тотчас» (9 ноября 1917). А пока он не вождь, тов. Карпинскому: «Дорогой товарищ! Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей и корректур (моей брошюры). Неужели наборщик опять запил?» (20 февраля 1915).

Тов. Зиновьеву: «Не помните ли фамилию Кобы? Привет. Ульянов» (23 августа 1915).

Тов. Карпинскому: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы» (9 ноября 1915).

Все. Февральский переворот в России. Ленин: «Нервы взвинчены сугубо. Нужно скакать, скакать». «Мы боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся». «Нужен отдельный вагон для революционеров». «Я могу одеть парик». «Хорошо бы потребовать у немцев пропуска — вагон до Копенгагена». «Почему бы

нет? Я не могу этого сделать. А Трояновский и Рубакин и К° могут. О, если бы я мог научить эту сволочь!» (март 1917).

Инессе Арманд: «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут». «Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» (19 марта 1917).

«Германское правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона. Привет. Ульянов». (14 апреля 1917).

В письмах послезалповских, послеавроровских нет ничего триумфального. Напротив того: «Республика» в опасности. Необходимы срочные меры». Например, такие: «Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко. Он должен называться просто тов. Овсеенко» (14 марта 1918).

«Аресты, которые должны быть произведены по указаниям тов. Петерса, имеют исключительно большую важность и должны быть произведены с большой энергией».

Тов. Зиновьеву в Петроград: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы их удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Надо поощрить энергию и массовидность террора» (26 ноября 1918).

Тов. Сталину в Царицын: «Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще». «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов» (7 июля 1918).

Тов. Сокольникову: «Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применяя строгости. Но если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте» (24 сентября 1918).

В Пензенский губисполком: «Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении» (9 августа 1918).

Тов. Федорову, председателю Нижегородского губисполкома: «В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.

Ни минуты промедления» (9 августа 1918).

Не совсем понятно, кого же убивать. Проституток, спаивающих солдат и бывших офицеров? Или проституток, спаивающих солдат, а уже отдельно — бывших офицеров? И кого стрелять, а кого вывозить? Или вывозить уже после расстрела? И что значит «и т.п.»?

«...будьте образцово-беспощадны».

Тов. Шляпникову, в Астрахань: «Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских взяточников и спекулянтов. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили» (12 декабря 1918).

Телеграмма в Саратов, тов. Пайкесу: «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» (22 августа 1918).

Тов. Сталину, в Петроград. «Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать наличность в нашем тылу, а может быть, и на самом фронте организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение (Юденича) со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед.

Просьба обратить усиленное внимание на это обстоятельство, принять экстренные меры для раскрытия заговоров» (27 мая 1919).

«Предупреждаю, что за это председателей губисполкома и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела» (20 мая 1919).

Тов. Зиновьеву: «Вы меня зарезали!» (7 августа 1919).

В отдел топлива Московского Совдепа: «Дорогие товарищи! Можно и должно мобилизовать московское население поголовно и на руках вытащить из леса достаточное количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину).

Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в ЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпимы бездеятельность и халатность.

С коммунистическим приветом. Ленин» (18 июня 1920).

В Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов: «Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие» (12 октября 1918).

Глебу М. Кржижановскому: «Мобилизовать всех без изъятия

инженеров, электротехников, всех кончивших физико-матем. факультеты и пр. Обязанность: в неделю не менее 2 лекций, обучить не менее 10 (50) человек электричеству. Исполнить — премия. А не исполнить — тюрьма» (декабрь 1920).

Тов. Чичерину: «Пусть Сталин поговорит начистоту с турецкой делегацией».

Получает донос на врачей, комиссующих раненых красных солдат, когда те еще «вполне способны воевать»: «...организовать тайный надзор и слежку за поведением этих врачей, чтобы изобличить их, собрав свидетелей и документы, а потом предать суду» (20 ноября 1918).

В ответ на жалобу М.Ф. Андреевой относительно арестов интеллигенции: «Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей этой околокадетской публики. Преступно не арестовывать ее. Лучше, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки. Ей-ей, лучше» (18 сентября 1919).

Максиму Горькому о том же: «Короленко ведь почти меньшевик. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками». «Нет, таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме». «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно» (15 сентября 1919).

Тов. Крестинскому: «Брошюра напечатана на слишком роскошной бумаге. По-моему, надо отдать за эту трату роскошной бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует» (2 сентября 1920).

«Неумный человек или саботажник ее редактировал?»

Тов. Сталину в Харьков: «Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (16 февраля 1920).

Тов. Каменеву: «По-моему, нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом «критики» (5 марта 1921).

Смольный, Зиновьеву: «Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения соответственных разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России.

Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек» (25 июня 1920).

Каменеву и Сталину: «Опасность, что с сибирскими крестьянами мы не сумеем поладить, чрезвычайно велика и грозна, а т. Чуцкаев несомненно слаб, при всех его хороших качествах, — он совершенно незнаком с военным делом» (9 марта 1921).

Л. Каменеву, Троцкому, Цюрупе, Шляпникову, Рыкову, Томскому: «Прошу вас собрать совещание наркомов — об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков» (2 апреля 1921).

В Совет Труда и Обороны: «Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив качество».

Тов. Серебровскому: «Если у Вас в Баку есть еще следы (хотя бы даже малые) вредных взглядов и предрассудков (среди рабочих и среди интеллигентов), пишите мне тотчас. Беретесь ли Вы сами разбить эти предрассудки и добиться лояльности или нужна моя помощь» (2 апреля 1921).

Тов. Брюханову: «Сейчас же начать кампанию беспощадных арестов за нерадение. <...> ПКпрод должен установить по губерниям и по уездам ответственных лиц, чтобы знать, кого сажать» (25 мая 1921).

Тов. Преображенскому: «Что он реакционер, охотно допускаю. Но их надо иначе изобличать. Изобличи на точном факте, поступке, заявлении. Тогда посадим.

Надо выработать приемы ловли спецов и наказания их» (19 апреля 1921).

Очень мило. В. Молотову: «Уволить Абрамовича тотчас.

Федоровскому представить объяснения, как он мог принять на службу Абрамовича.

Федоровского за это наказать примерно» (10 июня 1921).

И шуточки: «Тов. Цюрупа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).

И без шуток: «Если после выхода советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить» (тов. Литкенсу, 17 мая 1921).

Тов. Горбунову: «Ведь есть ряд постановлений СТО об ударности Гидроторфа. Явно, они забыты. Это безобразие! Надо найти виновных и отдать их под суд» (10 февраля 1922).

Тов. Каменеву: «Почему это задержалось? (Имеется в виду печатание ленинских «Тезисов о внешней торговле».) Ведь я давал сроку 2—3 дня! Христа ради, посадите Вы в тюрьму хоть когонибудь. Ваш Ленин» (11 февраля 1922).

«Наши дома загажены подло. Надо в 10 раз точнее и полнее

указать ответственных лиц и сажать в тюрьму беспощадно» (8 августа 1921).

«От Центропечати требуйте быстрой рассылки «Наказа СТО», иначе я их посажу».

«Позвоните Беленькому и скажите, что я зол». А Брюханову и Потяеву: «Если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим» (август 1921).

«Медленно оформляли заказ на водные турбины! В коих у нас страшный недостаток! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно найдите виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме» (13 сентября 1921).

«Из новых книг я получил из Госиздата: С. Маслов. «Крестьянское хозяйство». Из просмотра видно, что насквозь буржуазная, пакостная книжонка, одурманивающая «ученой» ложью.

Либо дурак, либо саботажник злостный мог только пропустить эту книгу.

Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц» (7 августа 1921).

О Прокоповиче и Кусковой: «Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев».

Наркомату почт и телефонов: «Обращаю ваше серьезное внимание на безобразие с моим телефоном из деревни Горки.

Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие-то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники».

Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921). Расстрелян в 1921 году.

В Главное управление угольной промышленности: «Имеются некоторые сомнения в целесообразности применения врубовых машин. Тот производственный эффект, который ожидает от применения врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле» (август 1921).

В комиссию Киселева: «Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921).

Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919-го.

«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».

Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивались мордаси у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вождя такие депеши: «Все театры советую положить в гроб» (ноябрь 1921).

Или телеграммы: «Какие вопросы вы признаете важнейшими, а какие — ударными? Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).

Для Политбюро ЦК РКП (б): «Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и балета» (12 января 1922).

Раздражение еще вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.

Тов. Богданову: «Мы еще не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это весь Наркомюст надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что всех нас когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).

Тов Сокольникову:

«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).

Начинается изгнание профессуры.

Каменеву и Сталину: «Уволить из МВТУ 20—40 профессоров. Они нас дурачат» (21 февраля 1922).

Ф.Э. Дзержинскому: «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. Не все сотрудники «Новой России» — кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал «Экономист». Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг, шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом Вам и мне» (10 мая 1922).

А тов. Кржижановский, которому поручено было 10—15 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.

Тов. Сталину: «Прошу немедленно поручить НКинделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.

Речь идет о лечении грыжи.

С коммунистическим приветом. Ленин» (24 апреля 1922).

А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой нервический недуг, который заключается вот в чем.

Тов. Иоффе: «Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК — это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную фразу, будто ЦК — это я? Это переутомление. Отдохните серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечиться вполне» (17 марта 1921).

И тут же следом — Г.М. Кржижановскому: «Я должен носом тыкать в мою книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может» (5 апреля 1921).

А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина: «Нашу ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).

В. Молотову: «Я сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и пр.) согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий» (23 января 1922).

И через день тому же Молотову: «Это и следующее письмо Чичерина явно доказывает, что он болен и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий» (24 января 1922).

И в заключение — два негромких аккорда. Первый из них вызывает слезы, второй — тоже.

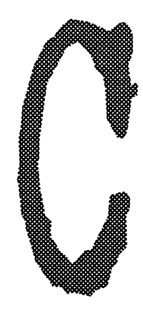
Тов. Уншлихту: «Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).

Тов. Каменеву: «Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921).

Москва, 5—6 февраля 1988

«ТАК ДУМАЮ Я, И СО МНОЙ ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК



амый большой грех по отношению к ближнему — говорить ему то, что он поймет с первого раза.

У меня абсолютный слух. Я способен расслышать, как рушатся моральные устои на Пятницкой, 10, как плачут ангелы над погибшей душой друга Тихонова.

Это не для меня, это для менее сложных натур.

слово «что-нибудь» все честные люди пишут через черточку

Я на небо очень редко смотрю.
Я не люблю небо.

Так думаю я, и со мной все прогрессивное человечество.

Я сердоболен.

По Корану свидетельство одного мужчины приравнивается к свидетельству двух женщин.

Де Местр: простолюдин глуп, груб, безнравствен и подл.

Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица. Уголовный роман.

футурист Антон Пуп

Не трогайте моих чертежей!

Жаб я не люблю. Я пауков люблю. И филина.

«Осерчала ты, Мать Богородица!
Богородица Мать, не серчай!»
(Городецкий)

Раз начав, уже трудно остановиться. 50 лет установления советской власти в Актюбинске, 25 лет львовско-сандомирской операции etc. etc. Все ширится мутный поток унылых, обалбесивающих юбилеев.

Как хороши, как свежи были позы!

«Но так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велел».
(Адамович)

Иди ко мне, подлюка, я с тобой поделюсь моей нехитрой девичьей тайной.

Опять о Прометее и под какую статью Уголовного кодекса попал бы страдалец.

Вл. Бестужев:
«Средь бесконечных волн рождаю
Мою свободную струю».

Вл. Бестужев:
«За видимым невидимое вижу,
Но видимое пламенней люблю».

Пидеразм Вроттердамский

Неуважение к русским только по одному мотиву — их легкий отказ от внешней, обрядовой стороны христианства, почти у всех поголовно, и от этого ущерб, всеобщий, самого христианского чувства.

«Приличие — величайшее несчастье XIX века».
(Стендаль)

В Японии свободно продаются в магазинах бамбуковые наборы для харакири.

«И что же дается в наших театрах? какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и водевили».

(Гоголь, «Москва и Петербург»)

О скульптуре: «Напрасно пытались изобразить ею высокие явления христианства».

«Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство вздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское».

«Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»

(Гоголь, «Скульптура, живопись и музыка»)

Симбирский поэт начала века Ник. Лоскутов и его сборник стихов «Рыданье гибнущих надежд».

Гоголь о царе вандалов Гензерихе: им овладела та свирепая задумчивость, которая сушит и мучает душу.

Белый и синий — цвета Богородицы.

К вопросу о «собственном я» и т.д. Я для самого себя паршивый собеседник, но все-таки путный. Говорю без издевательств и без повышений голоса, тихими и проникновенными штампами, вроде «Ничего, ничего, Ерофеев» или «Зря ты все это затеял, ну да ладно уж» или «Ну ты сам посуди, ну зачем тебе это» или «пройдет, пройдет, ничего».

Чувствуешь себя, как Сухэ-Батор у гробницы Цеденбала, как Дездемона, придушившая Отелло, как бросившая Стеньку в волны небытия персидская царевна. Как Зойка, которая повесила полковника Курта Шнейдера на виду у всей деревни. А Шнейдер перед кончиною сказал: «Нас 73 мульона, всех, Зойка, не перевешаешь».

Если человеку по утрам скверно, а вечером он бодр и полон надежд, он дурной человек, это верный признак. А если наоборот — признак человека посредственного. А хороших нет, как известно.

Это напоминает ночное сидение на вокзале. Т.е. ты очнулся — тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся — тебе 48, опять задремал — и уже не проснулся.

Бестолковость, т.е. поэтичность мышления.

Блажен, с кем смолоду был серп,
Блажен, с кем смолоду был молот.

Я владыка естества, не забывай, гаденыш.

В общежитии — «сапогом в живот надо, пусть корячится».

А она мне, субтильная мандавошечка, говорит на это: «А кто детей будет за тебя воспитывать, Пушкин что ли?».

Она пыталась придать своему голосу монархическую окраску.

Новость: Чапаева откачали.

Один, издеваясь, спрашивает: «Чьей женой была Нефертити, если мужем ее был Тутанхамон?» А другой, унылый скептик, отвечает: «Я с твоей Нефертити и срать рядом не сяду».

«Люблю сухой, горячий блеск червонца».
(Бунин)

Сильвио в «Паяцах»: «О, для чего тобой я околдован?»

У Городецкого: «Ах вы, ангелы, архангелы, святители мои!»

...написать задачник, развивающий, попутно с навыками счета, моральное чувство и чувство исторической перспективы.
Например такая задача. Выразить в копейках цены зверобоя, московской особой, столичной, российской и найти в истории европейской такую войну, все основные события которой следовали бы с теми же интервалами.

...Преодолевает свое «я», находит свое «я» и снова его теряет, преследует себя, обретает себя, вновь и уже окончательно преодолевает, но потом невпопад снова находит.

«По-модному одета
В широкое манто —
Она забыла это
И помнит только то».
(Потемкин)

Когда отступаешь от идеалов, напоминай обвинителям, что быть совершенно благородным скушно.

И рожи у них гладкие, классически-ясные. Если и есть прыщи, то где-нибудь у загривка.

солидное поэтизирование адюльтеров у этих антимещан и пидоров.

Ты жил в углу, мой Веничка.
Постранствуй-ка в пространстве.

Брюсов рифмует Сирию с Ассирией.

В стихах Ардова: «Дай руку мне, вся жизнь есть бред» или: «Не подходи, ты не поймешь цветов».

Коран рекомендует: «возноси хвалы при уходе звезд».

Во вступительной статье: все они пришли в канун века или чуть позже, и году к 20-му все перемерли или разбежались.

Все подлости относить на счет антиномичности ее души.

«Если хочешь — иди согреши».
(Д.С. Мережковский)

Северянин о городе Череповец:
«Давно из памяти ты вышел,
Ничтожный город на Шексне».

Писать надо по возможности плохо. Писать надо так, чтобы читать было противно.

Непомерностей надо требовать, непомерностей!

Оказывается, это знаменитый шансонье Шевалье, в своем соломенном канотье.

У Гоголя в «Майской ночи» Ганна признается Левко, что любит его без памяти за то, что тот умеет дергать и шевелить усом.
Конечно, можно прожить и без этого всего. Какое дело, к примеру, чукчам, есть у них Анакреон или нет?

И всегда с наступлением холодов с завистью вспоминаю Прозерпину, которую Плутон забирал к себе в Аид на эти зябкие полгода — и выпускал на волю к первым цветам.

Поэтизировать природу — самое недостойное занятие. Она ни в чем нам не сродни, т.е. слепа, нема, глуха и самое главное — не чувствует боли. У нее есть аппетит, пожалуй и все.

Розанов сказал: «Тайный пафос еврея — быть элегантным».

И Томас Манн в 42 г.: «И это такая простая правда, что больно говорить о ней».

Все настоящее берется оттуда же, откуда все ложное.

Вадим Лжедмитриевич

Суворин о Толстом: «Ну, что хотя бы и Хаджи-Мурат против Капитанской дочки? Говно». «Говно» было его любимое слово.

Знать о Перу не больше, чем есть в веселой истории Периколы и Пекильо у Оффенбаха.

О Брюсове в журнале «Сельская молодежь»: символист с гипертрофированным интеллектом.

Я длинен настолько, что «подпираю небосклон», как сказал поэт о Казбеке.

И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость и недостаток характера.

молодежный вальс Хабибулина и молодежные песни Агабабова

Вопрос: кто из нас троих представляет собой художественную ценность?

говорить о меню применительно к духовной пище

Идеал последовательности: направляя заказ на книги в магазин «Книги стран народной демократии», писать так: Москва, К-9, ул. Горького, 15. Книги стран коммунистических однопартийных режимов.

Надо привыкать шутить по-«Крокодильски», например, так: «Будь у нее формы, я взял бы ее на содержание».

А ноги — ноги у нее длинные, как газопровод Уренгой — Помары — Ужгород.

Дай мне силы, Боже, пройти завтра мимо него и не плюнуть в лицо ему!

Веселись, негритянка!

в обществе блестящих женщин села Караваева

Это случилось в 1909 г., т.е. уже к тому времени, когда он (Скрябин) совсем раздухарился и стал давать своим опусам блатные названия.

Мне не нужна стена, на которую я мог бы опереться. У меня есть своя опора, и я силен. Но дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину.

что удобнее потерять: вкус или совесть?

если это система, то очень нервная, эта система

Рассказ о Маугли автобиографичен. Киплинг сам был вскормлен волками британского империализма.

и хочется кому-нибудь что-нибудь внедрить

А, знаю! Античность, громы Юпитера, зерно Персефоны, борьба титанов и драйзеров и т.п.

В 1956 г. стало известно, что Олег Кошевой был педерастом. Это послужило причиной фадеевского самоубийства.

С мира по нитке — голому петля

смертоносные сообщения

использование и возврат низменных чувств

В мировой поэзии скептицизм облекается обычно в форму шестистопных ямбов: например, так: Гамлéт не говорил: «ту би ор нот ту би». И Мáльбрук никогда в поход не собирался.

у Ф. Сологуба: «Расстегни свои застежки и завязки развяжи».

Я лежу на пляжу
На сопляжницу гляжу

О благородстве спорить нечего. У Матфея уже изложены все нормы благородства.

Если ты все знаешь, так скажи, какой средний грузооборот у Щецинского порта?

С детства приучать ребенка к чистоплотности, с привлечением авторитетов. Например, говорить ему, что святой Антоний — бяка, он никогда не мыл руки, а Понтий Пилат наоборот.

Любую подлость оправдывать бальзаковским: «Я — инструмент... на котором играют обстоятельства».

В мой венец он вплел 2-3 своих лавра, а я потом ходил и не понимал: откуда это так плохо пахнет?

Дежурная фраза Кузьминичны: «Сову видно по походке, а добра молодца — по соплям».

пристрастие всех неуравновешенных натур к моральной философии

все проделывала с потрясающей пластичностью

Хорошему человеку всегда хорошо.

«прекраснее самой красоты», как говорят на Филиппинах

Надо уметь «подождать до времени», чтобы избавиться от упреков разных сопляков, вроде Гамлета; надо доносить свои башмаки, прежде чем решиться.

Одна русская дама у Герцена: «Что мне надо сделать, чтобы полюбить Швэйцарию?»

Так же, примерно, модно, как в 50-х гг. было смеяться над Ламартином.

И чудак же этот Ахиллес Пелид! У всех нормальных людей только пятка неуязвима, а у этого — все наоборот.

Продается ручной скворец по кличке Федя. Разговаривает, свищет по-соловьиному, поет «Цыганский барон» и целуется. Цена 75 руб.

В 18—19-летнем возрасте, когда при мне говорили неинтересное, я говорил: «О, какой вздор! Стоит ли говорить!». И мне говорили: «Ну, а если так, что же все-таки не вздор?». И я наедине с собой говорил: «О! Не знаю, но есть!». Вот с этого все начинается.

Нужно, чтобы всякий предмет, попавшийся на глаза, мог стать темою.

Ягненок! Возляг рядом с волком! Слейтесь в поцелуе, мучитель и жертва! Сними паранджу, угнетенная женщина Востока!

философские камни в печени

Интересно, как глядели бы на тебя, если б ты сейчас вот вышел в белом жилете с отворотами à la Робеспьер. Или, например, орал бы в переулке: «Долой Гизо! Да здравствует Реформа!»

Последовательным антисионистом может стать только тот, у кого утвердилась Святыня.

Все больше разверзается пропасть между словом и делом американской администрации.

«Обжирайтесь, мрачные умы!»

Завет Талейрана: никогда не следовать первому побуждению, потому что оно всегда хорошо.

Не женщина, а телесное наказание.
индифферентная баба, беспорывная баба! Снежная баба!

Царь Мидас, к чему бы ни прикасался, все обращал в золото, а в твоих руках все делается дерьмом.

Вот еще красивое женское имя: Антанта.

Целых три рубля! «За каждым крупным состоянием кроется злодейство», сказал Бальзак.

Ритуальный танец Замбии «Убийство Лумумбы» символизирует радость жизни и борьбу с темными силами природы.

Чтобы жена никогда не сомневалась в твоей верности, — советую я, — дай ей понять, но только самым косвенным путем, что ты про-

стофиля. Т.е. не абсолютно простофиля, а ровно настолько, чтобы не потерять любви и быть (одновременно) свободным от подозрений.

Добродетель ее подвергается частым нападениям по причине миловидной наружности. Но она, эта белая голубка, скорее умрет, чем запятнает свое оперение.

Вижу, как цветут каштаны. Прихожу к тому, что красивее калины ничто не цветет. Смотреть, смотреть. Нюхать, нюхать.

а оладьи такие нежные, такие аппетитные, — ну, прямо как девушки!

Ценные вещи создаются только в «мире, где все продается и покупается».

Любимый герой Шолохова (Давыдов, «Поднятая целина») говорит: «Ты бы лучше массовую работу вел, а расстреливать — это просто».

С этими людьми надо не человеческими словами говорить, вострым ножиком

Лично я убежден в историчности Адама и Евы.

О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!
Родственные чувства испытывать удобнее, потому что они имеют очень четкий предел.
громадная душа в щуплом и веснушчатом теле.

Не женщина, а стихотворение в прозе.

Новая история интереснее старой. Можно было бы проследить, как дублируются поступки древних из тех соображений, которые им показались бы смешными. Муций Сцевола — о. Сергий, Курий — Гаршин.

тщетны россам все препоны

ничто не вечно, кроме позора

За одно и то же, т.е. за один способ поведения, известную группу металлов называют благородными, а газы — инертными.

«только деньгам нужна красота, красоте же и денег не надо»

«Был я голоден — и не накормили меня, был я наг — и не одели меня, не имел крова — и не приютили меня».

В стиле Ларошфуко: «Глупость недоверчива».

Вот клички: в 1955—57 гг. меня называют попросту «Веничка» (Москва), в 1957—58 гг., по мере поседения и повзросления, — «Венедикт»; в 1959 г. — «Бэн», в 1960 г. — «Бэн», «граф», «сам»; в 1961—62 гг. опять «Венедикт», и с 1963 г. — снова поголовное «Веничка».

Андре Моруа в книге «Моя родина», в книге, написанной специально для нефранцузов, говорит о Франции со всех сторон и решительно обо всем, кроме музыки.

А Мопассан, например, самой пошлой вещью на свете называл Эйфелеву башню.

Любите безмолвные игры.

Болван Робеспьер, он почему-то и в атеизме усматривал аристократизм.

И главное: научить их чтить русскую литературную классику и говорить о ней не иначе, как со склоненной головой. Все, что мы говорим и делаем, а тем более все, что нам предписано «сверху» говорить и делать — все мизерно, смешно и нечисто по сравнению с любой репликой, гримасой или жестом Ее персонажей.

А интересно, для чего чучмекам надо было устраивать в Ташкенте землетрясение?

У Чехова повсюду и постоянно герои поют романс «Не говори, что молодость сгубила...» Что это такое?

сантиментальная горячка

кремлевские обс-куранты

Всякие сопливые скептики ей говорят: «Бросьте, дамочка, вот уж третий год как он во гробе, и уж смердеть перестал». А она подо-

шла ко гробу (о, как подошла!) и говорит: «Встань и иди вон». И что ж вы думаете? — встал и пошел.

Она ведет с кем-то феноменологическую переписку. Она говорит, что устала быть экстравертированной. Но интровертированность ей не дается.

Колокольчики, лютики; собираю первые букетики; это развивает чувство тона и пропорции.

Мой малыш, с букетом полевых цветов, верхом на козе. Возраст 153 дня.

Во сне переживаю ситуацию, радующую совершенным отсутствием светлого исхода.

Я успел только пригубить из чаши восторгов, и у меня ее вышибли из рук.

А то, что я принимал за путеводные звезды, оказалось — потешные огни.

«Все хляби твои и потоки твои прошли надо мною».

далась вам эта внутренняя секреция!
«с точки зрения вечности» и «с точки зрения Фонарного переулка»

Двенадцатый день не пью, и замечаю, что трезвость так же губительна, как физический труд и свежий воздух. Мелкое наблюдение: я никак не могу вспомнить один редко употребляемый и более крепкий синоним к словам «мракобес», «ретроград», «реакционер», «рутинер» — который уже день не могу вспомнить. Бьюсь об заклад, как только сниму с себя зароки и выпью первые сто грамм, припомню немедленно.

Для справки: в пересчете на абсолютный алкоголь в 1960 г. на земном шаре было выпито 65 миллионов гектолитров чистого спирта. В 1968 — уже 85 миллионов.

Открывайте возможности, в то же время внося неясности.

Когда он бывает чем-нибудь доволен, его любимая присказка: «Умерла моя старушка у окна».

Итак, в школах необходимо преподавать: астрологию-алхимию-метафизику-теософию-порнографию-демонологию и основы гомосексуализма. Остальное упразднить.

А я и спрашиваю: «Ангелы небесные, вы еще не покинули меня?». И ангелы небесные отвечают: «Нет, но скоро».

Научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет.

В июне, в Мышлине, я все это (и самые тонкие явства, вроде Рильке и Малера) «кушал без аппетита». Теперь очень понятно, что значит «жрать все подряд» — только бы утолить голод. От этого голода (т.е. ни одной мелодии и ни одной стихотворной строчки за полмесяца) — самая естественная слабость, головокружение, «не речивость» и все такое. Если бы я вдруг откуда-нибудь узнал с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу ничего Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери. Очень серьезно (к вопросу о «пустяках» и «психически сравнимых величинах»).

«хорошенькое личико в стиле времен регентства»

И еще женское имя: Галиматья.

И при всем том я еще не встречал человека, которого эротическое до такой степени поглощало бы всего.

Прынц Гамлет, пляшущий матаню.

В Нотр-Даме бедняга Квазимодо полчаса «с жуткой равномерностью» и изо всех сил бьется головой об стену. И ничего. Потом он садится у двери «в позе, исполненной изумления».

Грустная песня США: «Отец небесный, заря угасает».

Невозмутимая истерия, но мне дорого обходится.

Стыд — лучшее из числа «благородных чувств». Можно завидовать мертвым во многом, но только не в том, что они срама не имут.

И возражения-то самые смешные: раз Флавий умолчал, значит Нагорная проповедь галиматья. Иона не мог попасть в чрево кита — значит и все книги пророков ничего не стоят.

«с недельку потужить» после кончины

Популярной в 20-е годы была поварская вегетарианская книга с названием «Я никого не ем».

Признаки верного благополучия в семье 20-х гг.: герань, гардины, граммофон.

Любит философствовать, приговаривая: «Кто создал наше тело? — Природа. Она живит и разрушает его каждый день. Кто выпестовал наш дух? — Алкоголь выпестовал наш дух, и так же разрушает и живит его, и так же постоянно».

Надо не деньги чеканить, надо чеканить афоризмы.

наш простой советский сверхчеловек

«Берегите слезы ваших детей, чтобы они могли пролить их на вашей могиле» (Пифагор).

он был человек простой и неотесанный, поехал в Горки проветривать мозги и т.п.

Бонапарт рекомендовал как можно чаще оперировать понятиями, ничего не выражающими и все объясняющими, например «судьба».

Прежде у людей был оплот. Гусар на саблю опирался, Лютер — на Бога, испанка молодая — на балкон. А где теперь у людей опора?

Один мой знакомый говорил: жизнь человеческая что детская рубашонка: коротенькая и вся в говне.

Есть языки, в которых вообще нет бранных слов и выражений, тем более нецензурных. У малайцев, например, самое сильное оскорбление и ругательство: «Как тебе не стыдно!»

А почему я бездельничаю — потому что в калашный ряд только со свиным рылом впускают, а вода только под лежачий камень течет, и т.д.

И если уж гнаться, то не меньше, как за двумя зайцами.

У жида есть искусство и есть торговля. И примесь искусства в коммерции, и примесь коммерции в искусстве.

«старичок крепкий, как умывальник»

«Гляжу я на тебя, Тихонов, и думаю: отчего это все великие люди плохо воспитаны?»

Для чего нам говорить «самолюбие», «тщеславие» и все т.п., когда у нас есть «гордыня», термин точный и освященный новозаветной традицией.

Аттила, принимая византийское посольство, сидел на троне и выковыривал грязь между пальцами ног.

Китайцы смеются, сообщая печальные новости — по их понятиям, это выказывает твердость духа и ограждает от выражений сочувствия. Эренбург: Эми Сяо сообщает ему о смерти своей жены — с хохотом.

Чувствуешь себя как соль рассыпанная, как разбитое зеркало, как в море оброненное колечко, как чернейшим из котов пересеченная дорога.

Я же не мешал тебе, когда ты грезил. Вот и ты не мешай мне грезить.

И сидят напротив меня три дамы: одна вся такая из себя пасторальная, другая — лунная (именно лунная, в отличие от солнечного мужа), третья — патетическая.

Фет — буфет. А у Маяковского даже: Фет — кафе.

и две коровы: одну назвали Догма, другую — Доктрина

Конь задохся, как удавленник. Бубенцы осатанели.

И еще женское имя: Агентура.

Дочку назову Пилюля, и вообще как-нибудь так ласково.

Mutantur tempora. В правлениях совхозов висят портреты патера Менделя. Стаханов, преклонный старик, застрелен в затылок при попытке к бегству ракетой «земля-воздух». Проходимец Лысенко объявлен врагом народа, а Надежда Крупская уличена в лесбиянстве. Мичурин, оказалось, на своем участке в Козловском уезде выполнял задания фашистских агентур. Сыновья удавлены. «Чорт» снова пишется через «о», а «весна» через «ять».

раздроблена нижняя челюсть правой ноги

Великолепное «все равно». Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и поэтому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это — только в самые высокие минуты, т.е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особой утраты. Это можно было бы развить.

Во Вьетнаме учрежден вымпел, который вручается подразделению, сбившему самолет противника после доклада Хо в Пхеньяне. Вымпел называется: «По приказу дяди Хо разгромим американских агрессоров».

У В. Тихонова ни сердца, ни ума, ни постоянства, ни идеи — одно только: индивидуальность.

А что нам с этих трехсот грамм будет? Мы же гипербореи.

И это желание выпить — вовсе не желание просто выпить, а то же тяготение к демократии. Заставить в себе говорить то, что по разным обстоятельствам подремывало, позволить взглянуть на те же вещи по-иному. Исподлобья или одухотворенно — не важно.

Ну, иногда поддам в присутствии дам — имбирную, агдам. А так я хороший.

Это кто тут у вас, Ерофеев, все стреляет? — спрашивает она.
Это Амур, — отвечаю, — стреляет мне в сердце, жестокая девушка.

Девочки должны быть парализованы. Так лучше.

«ни гласа, ни послушания»

Геббельс, автор неологизмов: «железный занавес» и «трудовой фронт».

отсутствие динамичности в моем характере

все потеряно, кроме индивидуальности

Не любить собак. Любимая собака Гитлера в подземье имперской канцелярии разделяет его судьбу. Собака-овчарка Блонди. Гитлер в марте 45 г.: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак».

Солнце останавливали словом. Иоанн Богослов. Первые учебные заведения мира — школы риторики, а не военного дела, не медицины и пр.

познакомились и согрешили

И совсем это не Божья любовь. Это шашни Природы.

Байрон говорит, что порядочному человеку нельзя жить более 35 лет, Достоевский говорит: 40.

А какие имена (не фамилии, а имена)! Лазарь Каганович, Лаврентий Берия, Иосиф Сталин...

рожа красная, как святые раны Господни

Мне ненавистен «простой человек», т.е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его «простота», наконец... О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения. Я поседел от того, что в милом старом веке называли попросту «мизантропиею».

Господь, кого следует, приговаривает к стольким-то и стольким-то годам душевного потрясения.

стучит казбечиной по пачке «Казбека», гладит пистолет и дует в него точит нож о голенище — «Ну, так как же, будем говорить?».

С этими людьми мне НЕ О ЧЕМ ПИТЬ.

Английские книги по этикету XV—XVI вв. запрещали во время трапезы плевать через стол и сморкаться в скатерть.

понемногу суживать тот круг вещей, над которыми позволительно смеяться

Мелкая сволочь. Люди вдесятеро сильнее их чувствующие зовут к самообузданию и являют образцы. А эти — не могут!

Публиций Сир: «Мы начинаем интересоваться людьми, когда видим, что они интересуются нами».

Вы такой нежный человек, Ерофеев, такой неожиданный. Я буду реветь, когда вы уедете.

Гёте имел привычку принимать королевских особ у себя — во фланелевом халате и в тапочках.

Колхоз дело добровольное: хошь, не хошь, а вступать надо.

А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности.

Магазины на ул. Пушкина. Соболя и колбасы. Вино, фрукты и диапозитивы.

«Буря возмущения среди трудящихся Англии»: консерваторы ввели трехдневную рабочую неделю.

и ограниченность и нормативность

Сравни их тяжесть и безвыходность и мою, дурацкую. У них завтра зарплата — а сегодня нечего жрать. А у меня ленинградская блокада.

А Тихонов бы все напутал. Он в Афинах был бы Брут, а в Риме — Периклес.

Т.е. виною молчания еще и постоянное отсутствие одиночества; стены закрытых кабин мужских туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых — ни строчки.

гарнизонным языком и походкою

с врожденным, но трогательным идиотизмом

Эпикур, в письме к Менелаю, свое знаменитое: «Благодарение божественной натуре за то, что она нужное сделала нетрудным, а трудное — ненужным».

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

«Гибельные следствия полуфилософии» (Карамзин).

Библейское: «И только печаль утоляет сердца».

Ввели новый термин: «бессильный гуманизм». Да и всякий гуманизм бессилен. Да здравствует бессильный гуманизм!

«вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями — ему подсунули заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий»

«за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация»

Вот и Христос: «тут же разрушу храм и в три дня его построю». Почему же в три, если он мог и в одно мгновение? Так убедительнее для обывателя.

«вмешиваться в земной правопорядок»

соитие страстотерпца с великомученицей

Они работают, ну и пусть работают. Это очень мило с их стороны.

Пресловутый Альмарик: «Россия — страна без веры, без традиции, без культуры и умения работать».

Марк Крепе у Максимова: «Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!»

«обморочным ощущением отчаяния»

На всей земле нет более скучного умом человека.

Был один священнослужитель. Бывший. Он утверждал, что служит одному лишь кумиру. И что кумир этот — утробная ненависть к свободе и прогрессу.

Ото всего этого несет непоправимостью.

У него зато душа грамотная, душа — с высшим образованием.

«Мир — результат самоограничения Бога» (Л. Карсавин).

Не забывать о главном: трогательность.

Одну руку вложил в другую и сделал так подряд несколько стахановских движений.

Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести — нехорошо и греховно.

Я нахожусь все еще в той стадии, которая уповает.

И в самом деле (где-то у Шварца): если бы Франц Моор пришел в театр смотреть «Разбойников», он болел бы за Карла Моора.

Св. Филипп, в мире Феодор: «Не разлучай меня с моей пустыней».

«подкрепившись молитвой»

Альбер Камю «примыкал к модернистскому направлению так называемого героического пессимизма».

У него: «из столкновения человеческого разума и безрассудного молчания мира рождается абсурд».

Восстановить эту параллель пьющих и непьющих: Христос — Магомет; Дантон — Робеспьер; Геринг — Адольф; Есенин — Маяковский

По примеру языка нести коммуникативную функцию.

я уважаю немоту, если она высокоторжественна.

«Сорокин тем лучше Тихонова, что, когда выпьет, не говорит умных вещей».

Возьми на память из моих ладоней немножко водки и немножко пива... и не вспоминай жизнь свою.

Прежде у меня были в ходу глаголы: перебрать, поддать, а теперь — перекусить, подкрепиться и т.д.

женщина неограниченных возможностей

«непригодна для молодых субъектов»

бесстыдство помыслов

пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом

«ангел ты мой поднебесный»

«Превыше всего — забота о сохранении собственного достоинства» (Цезарь у Саллюстия).

Самые часто упоминаемые фамилии по заморским радиостанциям: Пиночет, Попадопулос, Померанц.

Протопоп у Лескова: «Мечтателю подобает говорить бестолково».

Да мало ли от чего дрожит рука. От любви к отечеству.

«Эта работа тем более подходила мне (работа историка), что я был свободен от надежд, от страха и от духа партийности».

Человек внезапный. А у меня нет никакого вкуса к этим внезапностям

У меня есть предчувствие, что я скончаюсь где-нибудь между Звенигородом и Вестфалиею. Но только интересно: ближе к Вестфалии или к Звенигороду?

«искалеченных правильной жизнью»

и одесситская манера выражаться: «Не доводите человека до крайности» и «Наплюйте мне в очи».

«мы восприняли это как оскорбление нашей мечты»

«Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!»

«По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века».

«такой нечаянный и огромный душевный покой (отсутствие самых ничтожных тревог), по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным»

«одиночество, близкое к состоянию безмолвного душевного подъема»

«щемящие сердце взаимоотношения»

«у меня было какое-то важное дело на душе»

Ср. Сто дней Наполеона и Сто дней Магеллана.

«Поник я буйной головой,
Погибли идеалы».
(Некрасов)

Короткие мысли: «Любови цыганской короче», как говорил Блок.

На левую ногу я надел ботинок без носка, на правую — только носок. Пусть все видят, что я взволнован.

назидательное зрелище

Сходится клином земля, с овчинку кажется небо.

Это происходит и по вине людей и по Божьему попущению.

он щекотал под мышками эту великомученицу

Эпоха великих порнографических открытий

Солженицын не потому интересен, что о нем много трезвонят. Ср. например, шумы в местах радио «Свобода». Мы вслушиваемся не потому.

«хорошо образованную душу и хорошо устроенные члены» (у Коменского).

«кто хочет, пусть думает иначе»

«Здесь никогда не бывает благодатных времен года»

а иначе все это выглядело бы слишком легкокрылым

дегенеральный секретарь

«Наши внутренние силы ослаблены грехопадением»

«Это может доставить удовольствие только извращенному сердцу».

Из всех чар земных только пошлейшие на нее могут воздействовать.

«И все женские мысли твои,
Словно ласточки, стелются низко».

Романс Ипполитова-Иванова: «О, запах померанцев!»

Глупая радиостанция «Свобода», она выбирает для трансляций на Союз как раз те волны, на которых больше всего шума — нет бы сместиться влево или вправо.

Любить Родину беззаветно — это примерно значит: покупать на все свои деньги одни только лотерейные билеты, оставляя себе только на соль и хлеб. И не проверять их.

Никсон попросил Голду Мейр занять более гибкую позицию.

Уйди, противный, а не то я тебя убью из револьвера.

Глаза ее лучились и сверкали. Нехорошее, невысокое было это сверкание. Однако ж это было сверканием.

«Распускайте Думу, но не трогайте Конституцию» (Столыпин).

«таил в себе сокровища эгоизма и эпикурейских склонностей» (П. Анненков).

Вот у Некрасова изображение горя:

«Соленых рыжиков не ест,
И чай ему не пьется».

«Что мне в ваших рукоплесканиях?» (Иоанн Златоуст).

Настойчивость — это, по-моему, постоянное желание шлепнуть какой-нибудь настойки.

Всеблагий Боже, но чем же закусывать?

До победного конца. Т.е. или Садат пополам, или Мейр вдребезги.

послан на прежние местожительства

«там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов»

«заражен чужеземными взглядами»

«Обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур».

«Идеальный человек. Но жаль, что пьянствует» (Чехов о Горьком).

Мы так и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда, а через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

Чета Апухтин — Чайковский. Продлить и заподозрить: Рождественский — Таривердиев.

суесловие и пустозвонство

не инакомыслие, а супротивословие

Дуры песни поют, а дурак все горит, разгорается.

Князь Вяземский советует иметь по русскому часовому при каждом поляке.

«и раздвояется сердце человека»

«Не родись красивой», как сказал Андрей Эшпай.

И посылает нам искушения, чтобы удостовериться, насколько мы усовершенствовались.

«Я христианин и не подобает мне кланяться твари» (А. Невский).

«махровые головки» у цветов (русская поэзия)

Жандармский генерал-майор Глоба телеграфирует в Петербург директору Департамента Полиции: «Астапово полное спокойствие. Население относится безучастно к участи графа Толстого».

Графу Толстому, за 3 дня до кончины, для поддержания деятельности сердца дают коньяк.

«Счастлив тот, кого смерть застигнет за подобным занятием» (Эразм Роттердамский).

Он все путает Андре Жида с Андреем Ждановым. Леконта де Лиля с Руже де Лилем и Мусой Джалилем. Бук с бамбуком.

вела себя естественно и позорно

30 лет, а выглядит, как цветочек, как блядиолус какой-нибудь.

Жители острова Гельголанд желают друг другу в Новый год не здоровья, не удачи, а «спокойного сердца».

«Иногда, хоть и редко, свежевыпущенная моча светится фосфорическим светом; причина фосфоресценции еще не выяснена» (проф. Бок).

Одоевский, 13 дек. 25 г.: «Ах, как славно мы умрем!»

Пленцдорф. «Еще один гвоздь в мой гроб, старики!»

я упал в обморок, но не показал и виду

Не замечать за собой ничего дурного. Пусть левая твоя ноздря не ведает, куда сморкнулась правая.

«а по ночам обнимать пустоту», как говорит Мопассан.

«нечто необычайное, превышающее всякое вероятие»

Что в этом случае сказал бы псалмопевец? Он ничего бы не сказал.

Выпью еще стакан солнцедара, закушу луковицей и буду славить моего Господа.

Щербина говорил о русских:

«Мы — европейские слова
И — азиатские поступки».

во Владимирской области, «заколдованной области плача»

О где же необольстительный Судия? Чего он медлит?

Не возмещу моральной потери, но и подставлять левую щеку потом не буду. Попробую забыть и «перестрадать». Пусть левая твоя щека не ведает, что тебя съездили по правой.

параноик «с византийским уклоном»

в скоморошьем расположении духа
в дидактическом, менторском etc.

свежа, как предание

«Прости меня, благородное животное».

Опять о животных. Столкновение со стадом кабанов... Когда Гос-

подь прибирает нас к рукам, против этого нечего возразить. Когда человек — это еще куда ни шло. Но — эти... etc.

«в этих стихах слышится вызов небосводу»

нации, скопом, вымирают от угрызений совести

Эразм говорил: всего безопаснее спать на клевере, потому что змеи никогда не прячутся в этой траве.

Конституция должна гарантировать человеку право на галлюцинацию и «перманентную угнетенность».

Сколько среди персонажей русской беллетристики XIX самоубийц — больше, чем было в действительности. Ср. в XX — повальные самоубийства, а ни один почти персонаж не покончил с собой.

И не забывать о своем диаспорическом родстве с иудеями.

Ключевский: «гальванистические подергивания мозгами».

От каждой двадцатой бабы тебя, Ерофеев, кидает в озноб.

Ему вообще пить нельзя: он от этого сразу падает в обморок. Особенно, если пьет в бабьей компании — они его так корежат, они его так пронзают, что он берет и шлепается в обморок. В один из этих обмороков он подхватил себе гонорею... а потом — вторую...

Твоя фатальная девочка скоро облысеет, раздавая локоны разным православным бабникам.

«в мою взволнованную душу, в которой свирепствуют тысяча бурь»

Какого им еще мессию? И что он сможет добавить к тому, что тот уже сказал? Этот, ихний, будет молчать и заниматься судопроизводством.

Еще женское имя: Прокуратура (просто Прошка).

«Между нами зияла метафизическая бездна»

Сослан в Тулу за гомосексуализм.

морганатический (т.е. тайный) брак скреплен симпатическими чернилами.

Этого глупца даже удобно держать у себя в квартире: он поглощает углекислоту и выделяет чистый кислород.

«Ночь глуха, полна соблазна.
Девы грудь волнообразна»
(В. Бенедиктов)

Хотел ее пощупать, но это вызвало бы большой международный резонанс.

Установить для Мельниковой, был ли Дантес евреем, она мне за это полтинник даст.

Черный сентябрь. Под угрозой парабеллума направить автобус с детишками куда-нибудь. Дорогой выбрасывать трупы первоклассников и цветы.

Мгновенье. Безобразно ты. Не продлевайся. А впрочем, погоди.

и никто во вселенной над этим не властен

Они мне вот: Россия погибает. Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому бы так не пошло умереть, как Ей. Причем самым недостойным образом. Это входит, по-моему, в расчеты Господа Бога.

«поднять русского человека превыше страха и колебаний земли»

и лишить его демонического ореола

рукотворный, т.е. ману-фактурный

Если в граммах считать, я больше пролил слез, чем Боря водки выпил.

И Сергей Михалков, одержимый холопским недугом.

До чего дошло дело: передачи по радио для любителей русского языка: «Труженики-суффиксы и работяги-приставки».

А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом.

Еще замысел: если меня сейчас остановят и спросят (вздор какой-нибудь), я отвечу (невпопад). Если догонят, возьмут за локоть и спросят (опять вздор), я уберу локоть и ничего не отвечу. И т.д.

Что он замышляет против мира, знает он сам.

Сергий Радонежский: «От юности своей я не был златоносцем, в старости же тем более хочу пребывать в нищете».

«романтическая причуда» — прежде чем уничтожить человека, обрезать у него уши

О степенях взволнованности: у Ахматовой перчатку с левой руки надевают на правую руку. У Самуила Маршака те же перчатки уже надевают вместо валенок.

Лучшее назначение перчаток у «полноценных» людей. Герой Жуковского швыряет ее даме сердца в ебало. Герои Лермонтова — кидают ее оскорбителям, требуя сатисфакции. Герой Льва Толстого лайковой перчаткой лупит татарина по зубам.

всеобъемлюще, незыблемо и достоверно

Не умер, а «ушел за грань земного кругозора».

Старик Петруша: «А сегодня вот что снилось: сижу я на завалинке, курю, и вдруг мне глас с неба: брось курить, Петруша, а то умрешь».

Европе нужен бык, быку нужна Европа.

Ткацкая фабрика имени Пенелопы.

Вы такая аппетитная дамочка, такая соблазнительная, дозвольте у вас п-пульс пощупать.

Дурачить людей по методу Станиславского.

Я стал терпимее к иноверцам

Лучше недобдеть, чем перебдеть

в целях продолжения перспектив

разделяя его разрушительные идеи

Все то, что можно короче назвать собирательным именем «муки транзита».

Надо только уметь подкараулить это в себе и облечь в более или менее зловонную форму.

вульгарное	*изысканное*
хлебные карточки	гиацинты
жилотдел	грезы
казенные портянки	па-де-труа
маргарин	левкои
подоходный налог	протуберозы
ливерная колбаса	любовники
солдат	жюрфикс
туберкулезный диспансер	грациозно
«попердывал»	фильдекос
автобаза	богиня
младший сержант	фиал
Дашка	сладостный илот
совнархоз	маминька
понос	лирический вздох
санпропускник	гармония
завскладом	Санта Мария Новель

Смрадные и грешные отверстия ниже пупа

на мне слишком много вериг

О русских и прочих песнях. Русские продиктованы тем или иным видом опьянения, тоскливого или бесшабашного. А песни типа: «Под горою, под сосною спать уложите вы меня» — в состоянии похмелья, наутро.

Ср. итальянские: «Купите фиалки, они недорого стоят».
Ср. украинские: «Я не пойду за тебя, у тебя нет хаты» и пр.

Кстати, об Иоганне Штраусе. Проститутки у Чехова, Куприна, Горького etc. от него без ума, то есть именно от него: см. у Горького в рассказе «Отомстил»: «У него нервный звук. В его музыке звучит нега и страсть».

Вот чем (арифметически) измерять моральную ценность индивида: длительностью реакции на эквивалентное ранение.

«А что я с этого буду иметь,
Того тебе не понять»
(Новелла)

Тертуллиан и его знаменитое «душа человеческая есть по природе своей христианка».

Розанов: «Душа человеческая по природе своей язычница, которой, чтоб воспитаться христианкою, нужно пройти через тесные врата бесчисленных отречений».

В «Правде» 37 г. статья «Колхозное спасибо Ежову».

Советская власть стала взрослеть тоже на 37-м году.

мальчик величиной в 5 лютиков, в 2 одуванчика

Не говори с тоской «не пьем»,
Но с благодарностию «пили».

А после пива сразу красное, «не переводя дыхания», как говорил Эренбург

французские композиторы на М: Манто — Маникюр — Манекен — Медальон — Меню

Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

«это я сделал, и вседержитель это видит»

толстеет, раздается, как топор дровосека

Макс Штирнер: «Я ничего не делаю — ни Бога ради, ни человека ради; все, что я ни делаю, я делаю лишь ради самого себя».

Из чьей-то скептической песни: «Ври, Мюнхгаузен! Выдумывай, барон! Выдавай за чистую монету! Не стесняйся, старый пустозвон, — все равно на свете правды нету!»

«И скончался на 88-м чихе под громкий смех окружающих».

Когда Господь прибирает нас к рукам — против Него нечего возразить.

Любить тебя или наоборот? Т.е. перед тобою пуд соли и тебя терзает: съесть с тобою этот пуд или высыпать его тебе куда-нибудь.

Я, как стакан, хрупок и тонкостенок. Я многогранен, как стакан.

«невозмутимо и безжалостно совершил свое черное дело»

пастельность и цельность

выебончик с надрывчиком

По Шопенгауэру: бессмысленна всякая деятельность (кроме деятельности мыслителя, философски доказать эту бессмысленность).

Как у тургеневских девушек — страсть к чему-то нездешнему, зыбкому, к чему-то коленно-локтевому.

инакопишущие

беспутства хватило бы на 10 гениев

В разврате каменейте смело.

У меня нет адресов, у меня только явки.

А какой твой любимый знак препинания? А какие отправления ты больше любишь: почтовые отправления, отправления поездов или отправление естественных потребностей?

На столе сервированы были болгарские духи с водой из унитаза.

С меня, болшевского, П.И. Чайковский написал свое знаменитое Andante cantabile на тему «Сидел Веня на диване, курил трубку с табаком».

Как увижу черноокую,
Промтовары разложу.

От одних только икр ее мороз подирает по коже.
И зимних друг ночей, трещит мужчина перед ней.

«без всякого намерения, из одной опрометчивости»

«следствие расположения духа и обстоятельств»

Народные заговоры и средства:
1. От зубной боли. Стиснув во рту корень лесной земляники, задушить двумя пальцами крота.
2. Все почти заговоры начинаются так: «Лягу я, раб Божий, и, помолясь, встану, благословясь, умоюсь я росою, утрусь престольной пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, в июле и скажу... (что-нибудь ляпнуть)».

и трепетная, как реальность

Мартин Бубер: «Чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят — в противоположность, например, гомеровским — не о форме и цвете, а о звуке и движении».

Снять с него штаны и избить по пяткам дирижерской палочкой.

От любви к Родине: расстройство чувств, нарушение координации, дрожь в руках, в висках боли.

Я бесил их своим бессилием.

и преуспела на поприще бессловесности

Из всех слов женского рода это слово претерпело наибольшую девальвацию

Ну, конечно, зачем ему знать латинские глаголы и спряжения, когда ему «ведомы глаголы вечной жизни».

Не будем обижаться, не будем издеваться,
А будем обнажаться, а будем раздеваться.

мне хотелось бы черпать тебя загорелою рукою

вместо «плащ» говорить «гиматий»

«книга, полная романтических измышлений»

музыка балетно-дивертисментного характера

«Она (христианская религия) всегда оставалась в Советской России самой значительной альтернативой большевистской идеологии».

А в ответ на это сказать какую-нибудь гадость, например: «Служу Советскому Союзу».

Фрейд: «Удовлетворять свои сексуальные импульсы гетеросексуальным путем».

обед: опоссум с бататами

«До сих пор нет большей печали для человека, чем начать лысеть преждевременно».

Еще один предмет для подражания: св. Денис, когда ему отрубили голову, взял ее в руки и прошел с нею восемь верст.

В те дни, когда твоя осанна проходила через горнила.

В поваренной книге определение того, что такое гювеч — болгарское национальное кушанье из мяса, риса и овощей, которое может быть без мяса, и без риса, и без овощей.

«спивается от неосуществившихся амбиций»

Алиготэ — это лучше, чем либерте, эгалите, фратерните.

Когда легковерен и молод я был,
Российскую водку я очень любил,
Молдавскую водку я очень любил,
Кубанскую водку я очень любил,
Ну, да и Перцовую очень любил.
Когда ж легкомыслен я быть перестал,
Московскую водку я пить перестал
Стрелецкую водку я пить перестал.
И вдруг словно замер мой конь на бегу —
Стрелецкую водку достать не могу,
Российскую водку найти не могу,
Донскую, Степную купить не могу,
А что за причина — понять не могу.

В колыбель тебя надо! В землю тебя надо, в колыбель человечества.

«и ему стала так невыносима мысль о разлуке с сыном, что он задушил его носовым платком»

«и не было б детей, разрывающих наши сердца»

Ты вынул из меня душу. «Сердце трепетное вынул».

болеутоляющие функции

«Делая букет, надо в душе поговорить с цветком» (5-е правило из «50-и заповедей икебаны»).

Музыка хороша в высшей мере и не исполнена, а приведена в исполнение.

Со времени Паганини скрипка его лежала в Генуе, и никто не имел права прикоснуться к ней. Первый, кто дерзнул взять ее в руки и сыграть на ней, был скрипач Б. Гребенщиков.

Дон Гуан говорит Командору: Я чай пью — приходи ко мне чай пить — только со своим сахаром.

баба должна быть безгневною

«Твои глаза от этого синеют»
(П. Б. Шелли).

Ты как-то запала мне в душу, и я больше о тебе не вспоминал.

Они боятся вредного. «Это вредно». Вредно сдерживать в себе газы. Вредно сообща прикладываться к одному кресту.

не «пока живу», а «дондеже есмь»

Всё пусть. «Пусть скачет жених, не доскачет». «Пусть неудачник плачет».

Так и умру, не научившись свистеть. Так и не свистнув ни разу.

Приснилось однажды милиционеру, что он бабочка. Он весело порхал, делал ноздрями и не знал, что он — милиционер, был счастлив. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он совсем не бабочка, а милиционер. И он не знал уже, — милиционеру ли снилось, что он бабочка, или бабочке — что она милиционер.

Может обойтись без всех тот, кто в себя погружен.

«Только питье держит в равновесии тело и душу» (Г. Белль).

У Горбунова: «Кто-то кричит и тонет. Чья-то душа Богу понадобилась».

Ты такая толстая, что тебя не то что таскать на руках, на тебя смотреть тяжело.

Поговорим о чем-нибудь несуществующем, хватит плоского реализма: об деньгах Тихонова, об уме Любчиковой.

Кто из нас больше всего накоротке с Богом? Людские мнения мы уже слышали, но на них начихать.

«Перед великим умом я склоняю голову, — сказал пошляк Гёте. — Перед великим сердцем — колени».

Родилась тогда-то. И была со мной каждый день. А потом куда-то делась, я не знаю куда.

Идем, дома у меня никого нет, сестра-студентка — на овощебазе, брат в командировке, мать в параличе, отец — в Анголе.

Я выбросил ее из окна, с 9-го этажа на 4-й. Я защекотал эту великомученицу.

Из нее Лорелея бы хорошая вышла. Лежит в болоте, в чепце, в цветах, и ее, как магнолию, уносит потоком.

Прелюдия Глиэра в исполнении Я.Флиэра.

Удач тебе на всех путях твоих.

Я вначале мечтал быть стеклодувом, потом — фальшивомонетчиком, вампиром — а потом опять стеклодувом! И прекрасной дамой!

Ты с детства лелеял эту мечту — или эту мечту ты начал лелеять после детства или вообще никогда не лелеял?

Кто бы ни был прав — Библия или Дарвин — мы происходим, стало быть, или от еврея или от обезьяны.

Тем же занят был, чем были заняты пажи с графиней на виноградниках Мабли.

Плакать надо от чего-нибудь большого, не надо мелким быть в сле-

зах. Например, от большого количества выпитого, от большой глупости Тихонова, от большого ума Любчиковой.

Почему я должен болеть за арабов? Ни один араб меня еще ни разу не похмелил.

И днесь не пью, и присно не стану.

Завет Николая Гоголя — не оставлять порывы. Мы даже в этом переборщили.

Он избрал самую скверную из баб. Надежду. Такое же отсутствие вкуса у него во всем, и в выборе самого скверного способа правления.

Снова выплыли гады из мрака.

Это мы уже одолели. Мы уже привыкли ценить только непомерное.

На нашей стороне все, в ком еще душа держится.

Это, можно сказать, не просто хорошая проза, а вкусная и здоровая пища.

«У лиц с пониженным или отсутствующим этическим чувством».

В этом, конечно, есть своя правда, но это комсомольская правда.

Хорошие сравнения у Гейне: как говорили о евреях, распявших Христа, так и в год знаменитого восстания в Сан-Доминго чернокожих: «Белые убили Христа! Перебьем всех белых!»

Слово «социализм» изобрел в 1834 г. Пьер Леру.

174 года со дня изобретения Карамзиным слова «впечатление».

Ты черный металл, я цветной, я и мягче и ценнее.

и ненависть к людям исполинского духа, где бы он ни проявлялся

«Однажды Бог явился мне и сотворил чудо», как сказала Юлия Шмуклер.

недемократические привычки, например, мыть руки перед едой

Нагадить — на вершинах Килиманджаро, Джомолунгмы, Фудзи, Монблана и на обеих вершинах Эльбруса. Вот это я понимаю.

Адам из мягкой глины, а Ева из твердого ребра.

проговорили ночь о первопричине всех явлений

Все мыслью объять и все успеть совершить.

мечта о благосостоянии в прямом, а не в карманном смысле слова

исправлять диспетчерские функции

вольный каменщик на богостроительстве

Мне все равно кем быть — барабанщиком или банщиком.

Любой донос хуже, чем тысяча плохо сделанных порнографических открыток. Любой дон-хуанов список лучше, чем самый лучший проскрипционный.

Пора домой. Я чем-то удручен.

«Она мечтала уйти из мира, где отсутствует замысел».

«Словно бы, говорит, мне скушно, третий день сердце чешется».

Прощай. Веревку и мыло я найду.

Гроза-то мелкая-мелкая. Гроза Николая Островского.

С таким грузом добросовестности можно ли жить?

У Гейне: «Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. Но удалась революция или потерпела поражение, люди с большим сердцем всегда будут ее жертвами».

И этот хронический гамлетизм, хотя я не убил ни одного отца ни одной из своих невест, и мама моя не выскакивала замуж за убийцу моего папы.

«Пусть жена изменяет мне, только бы Родине не изменила»

Я влюблен в свою Родину, достоинства и изъяны ее.

Королева изящества и рыцарь мечты. Барышня и хулиган. Подлец и проститутка.

«Чувство юмора» (так называемое), доведенное до масштабов мефистофелевщины. И дурак Фауст с его прожектами, и оскорбленная девка, Мефистофель на случай «великого преобразования природы» удаляется на Брокен плясать с голыми ведьмами, и ни одна баба от него не накладывала рук.

Короче, свальная безгрешность.

«в тихий край медлительных движений и медлительных улыбок»

Взрыв в Хиросиме и единственное существо, выразившее протест, — Римский Папа.

И чего стоит мир, если над ним не тяготеет ни одно проклятие.

К вопросу о «больше пролил слез», чем и т.д. У меня больше грязных мыслей в голове, чем грязных волос на ней и т.д.

«подкрепляя достоверность своих слов ссылками на Талмуд»

Манера письма должна быть чрезвычайной, а интонация — полномочной.

И кроме, еще: мы обязаны свято хранить (оберегать) массивы Уссурийской тайги. Так разве я нарушил? Я сижу и свято оберегаю. Я в эти массивы еще даже ни одного окурка не бросил.

Так много зайцев в этих сверхснегах. Дед даже поскользнулся на одном из них.

Если б в 45 г. мы двинули бы дальше на Запад, дошли до самых западных штатов США, то по типу Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический, Дибич-Забалканский, маршал Жуков звался бы Жуков-Колорадский.

Когда Господь глядит на человека, он вдыхает в него хоть чего-нибудь. А тут он выдохнул.

Прямо пойдешь — жить не будешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь, вправо пойдешь — умрешь, назад пойдешь — околеешь.

И холодно, как будто ты не у себя в постели, а где-нибудь в море Лаптевых.

чуйствую с утра недостаток ядерного потенциала

Не надо ничего, кроме соединения крайней бестактности с крайней неповерхностностью. Величайший образец — Иисус. Верх глубинностей и вершина бестактностей.

умен от вечной темноты

«крайне жизнеспособная посредственность»

Служить не катализатором, не ферментом даже, а просто антифризом.

Надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением

Ну, да что говорить, все зависит от душенастроения. Вот и наш портвейн народ зовет иногда пренебрежительно бормотуха, а иногда ласково портвешок.

Вино крепленое — «бормотуха». Тогда уж водяру надо ласково называть «косыночка».

Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил бы: нерадиво.

Куда ты ведешь нас, безумный старик?
А хуй его знает, я сам заблудился.

Русское народное. Моя милиция меня бережет, сперва посадит, потом стережет.

А веселиться я не люблю. Я человек бесшалостный.

Ты буднишношатающийся, а я праздношатающийся.

«Чудней живи — скорей прославишься»

Ну, конечно же, буду более или менее весело и бессовестно врать. Ложь, только ложь, и ничего кроме лжи.

Андре Жид называет бескорыстную ложь «беспричинным актом».

В високосный год надо, чтобы водка стоила 3.66.

А вот Хомейни. Они поступают как Магомет, и торжествуют потому. Кто бы в Европе рискнул бы поступить à la Иисус?

До чего же разные: эти почитают грехом спутать Ишуя с Абессаломом, а те — перепутать Белу Руденко с Евгенией Мирошниченко.

Кто это говорил, что деревья — это всего-навсего недорезанные бревна?

И как быстро наступает тьма в этом ноябре. Я размахнулся — было еще светло, а как ебанул, полная темнота.

И два взгляда на вещи: точный и восточный.

Ведь блядь блядью, а выглядит как экваториальное созвездие.

Писал себе письма, похерив гордость мужскую, говорил о любви, просил перемениться. И пр. И сам себе, из девичьей гордости, не отвечал.

Урожай был получен не ниже, чем в прошлом году, несмотря на то, что в этом году погодные условия были таковы, что обусловили некоторое снижение урожая ввиду неблагоприятных погодных условий.

«вот рассмотрите сами внимательно Вашу душу»

очень невонючий образ мыслей, та́к что подозрительно

Самое милое из именований партии: правящая с этого года в Канаде прогрессивно-консервативная партия.

Спросят, кем работаешь, скажи первое, что в голову подвернется, например так: энергетиком Нурекской ГЭС.

Вернее, не так. На вопрос: кем работаешь, отвечать: энергетиком Нурекской ГЭС и по совместительству узурпатором.

надо так и говорить: «в лето Господне 1972-е» и т.д.

Зуся говорит: «Бог не хочет, чтобы я был Моисеем. Он хочет, чтобы я был Зусей».

«девушка с пальцами слишком тонкими, с мечтами слишком хрупкими» (Эренбург)

И у них, у этих девушек, в душе что-то такое большое-большое, неразрешимое-неразрешимое, как проблема иранского Курдистана.

Да ну, чепуха, так просто. Чтобы чаще Господь замечал.

Да и брамины говорят: «Религия должна состоять не в соблюдении внешнего культа, а в том, чтобы служить ей каждым своим дыханием».

и все дела-то у меня такие, мокрые, от слезы

Веня и теперь тупее всех тупых

«эволюция к более возвышенному воззрению»

А Кант вот что сказал: «Истинная нравственность поступков (заслуга и виновность) даже наших собственных — остается навсегда совершенно скрытой от нас».

Балаганный взгляд их на нашу словесность. В какой-то державе симпозиум: Войнович и Ерофеев. Пьеро и Арлекин. И пр.

Ну, короче, все то, но немножко не так, и подозрительно оттого. Как у героя 70-х гг. Ипполита Мышкина: аксельбант не на том плече.

«Стальная птица» и пр. у Аксенова. Пустые щти хлебает мельхиоровыми ложками.

Мои познания в альпинизме ограничены только тем, что «народному вождю Красной Армии» в сказочно далекой Мексике раскроили череп альпинистским ледорубом.

так же скучно, как делить человечество на две категории: брахицефалов и долихоцефалов

«Ну что же, это честная печаль», говорили в 80-х гг. прошлого века.

Я оптимистично гляжу на мой народ: Количество подбитых женских глаз все-таки больше, чем количество доносов женских.

души прекрасные надрывы

сидит такая ликующая, праздно болтающая

бесполезное ископаемое, вот кто я

внелогичен и по ту сторону всяких обязательств

Зин. Гиппиус говорила о повороте русской поэзии (и не только) от «понятного о понятном» к «непонятному о непонятном».

спец по части религиозных наитий

Погоди, я приеду позднее, тов. Суркин будет делать двухчасовой доклад о существе человека.

Под знаком вышибаемой из ума икоты. Под знаком рвоты, которой нет предела. Канун трагический.

а ведет себя так, будто он народное достояние

И по любому поводу говорит: «Спокойно, Маша, я Дубровский».

Ей — шлея под хвост, а мне кортик в грудь, по самую рукоять.

К вопросу о русской необгонимой тройке. Март 1953 г.: «Динь-динь-динь, и тройка встала, Ямщик спрыгнул с облучка».

«И сам летишь, и все летит» (о нынешней русской птице-тройке).

Я на мир не смотрю, я глазею на него.

Я живу в эпоху всеобщей невменяемости.

Все сообщают какую-то чепуховину: в Тель-Авиве подорожали яйца и бензин.

Помолчи, не проникай, я сам знаю свои сроки, не вводи свои танки в мой Кабул.

Гибну — потому что взломали стены в Сантьяго-де-Куба, штурмуют казармы Монкада.

Любопытные сведения из последней русской истории: в 1932 г. была объявлена «безбожная пятилетка», планировалось к 1936 г. закрыть последнюю церковь, а к 1937 г. — добиться того, чтобы имя Бога в нашей стране не произносилось.

А вот Михаил Евграфович говорил, что если хоть на минуту замолчит литература, то это будет равносильно смерти народа.

достойно только восхищения и ничего больше

Мне уже по вкусу бедные, но опрятные стихи.

И не то что слова эти не имеют ни цвета, ни вкуса, ни запаха, а сами эти обороты холостые, как у нового агрегата Саяно-Шушенской ГЭС

И набожность должна быть одаренной — а у него она и не глубока, и упряма.

Ну, немножко покаянствуешь, немножко подушегубствуешь.

Ты что же, зараза, хочешь изменить предначертания судьбы?

Стороны той государь, Генеральный секретарь.

а в это время я, одержимый гегемонистическими амбициями...

Красота моя с ума меня свела.

«пустота, которая утешает и морочит себя подвижностью»

А на прощанье — шаль с каймою
И что-нибудь еще — стяни.

«Я сказать тебе не смею,
Что давно тобою тлею,

От твоих прекрасных глаз
И от пламенных зараз».
(Ермил Костров)

Громадная ода Клушина, с заголовком: «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие края с жалованьем».

Нонешний русский патриарх выступает с заявлениями типа «Все советские люди должны сплотиться вокруг...» или «Долой конфронтацию! Да здравствует детант!»

А я на них (на православных) гляжу флегматично, как на декабристов-диссидентов барон Дельвиг.

Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого — антимузыкальны. А стало быть, ни в чем не правы.

Я третий день шел в пятый класс школы, когда русские испытали атомную бомбу. 3 сентября 1949 г.

Говорить о ней, как по радио говорят о каком-то агрегате: отличается большой маневренностью и высокой проходимостью.

Человек — это звучит горько (просто сорвалось).

Контрреволюции не делаются в перчатках.

Почему британцы все это должны делать за нас: Орвелл, Конквест, Кестлер и др.

А все, что загадка, то гадко.

в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чем и нет.

А генерал Людендорф в 29 г.: «истинные германцы не могут быть христианами».

Нужно долго мучиться,
И тогда получится.
(Советская песня)

Да ты же написал гимн Советского Союза. И слова твои, и музыка твоя.

«Покажи мне Бога», — сказал некогда атеист христианскому мудрецу Феофилу Александрийскому. «Прежде покажи мне человека в себе, способного увидеть Бога», — ответил Феофил Александрийский.

Или начать так: «Я очень баб люблю, они смешные и умные».

Ах, зачем я не птица, не синяя птица?
Помолчал бы уж, старый вахлак.

выражает стиль не столь низменного, сколь неизменного народа

Сидит, надулся, как какой-нибудь Буонаротти.

Глядя на военных. Почему-то свербит из Чехова: «Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина».

вечером — неусыпный, утром — беспробудный

«Мне, конечно, трудно сравниваться с передовыми доярками».

ты просто вписался в полукультуру.

И чего из себя воображает. Прямо не человек, а букет цветов из Ниццы.

Приятная и мучительная роль доверенного лица.

Мой партнер по стратегическому альянсу

Мне не до сук.

Даже когда их много, я к ним ко всем вместе обращаюсь на «ты».

Придать своим словам достаточную теплоту, и вместе с тем не переусердствовать.

Меланхолия ищет несчастье и фиксируется на нем.

«умудренный знанием грусти»

Нежность серьезная, без сюсюканья, без слащавости, без причитаний, даже без излишней ласковости.

Это такое страдание, что и смотреть на это было жестокостью.

Между прочим, самая милая из современных русских песен: «...я с каждой елочкой знакомлюсь за руку...» и т.д.

А разве я кого-нибудь трогаю? Даже иду когда, собачка какая-нибудь выскочит, я ей говорю: «С легким паром тебя, собачка». Только и всего.

Ж.П. Сартр: сахарная болезнь и самопроизвольная дефекация — болезни русского социализма времен диктата Иосифа.

Я в последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет «ум и сердце», делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри.

Если «да», то «да». Если «нет», то «нет». Что сверх того — то музыка.

Орфея и Фауста роднит то, что оба они заклинатели царства теней.

Человек, запятнавший себя сделкой с дьяволом, опознается после смерти: на смертном одре вы увидите его лежащим лицом вниз, и хоть пятикратно его перевернете, все равно так он и останется.

заключившие союз с чертом могут еще спасти свою душу путем принесения в жертву тела — т.е. самоубийством.

обходительная музыкальная манера

это возвышает меня, но не стимулирует

не попутно, а мимоходом

В 10-х гг. этого века сочинения Зигмунда Фрейда были внесены в «Индекс запрещенных книг». (См. Фрейд: «религия — иллюзия без будущего».)

греховный потенциал человека

Искусство теперь завязло, отяжелело и само глумится над собой.

он стонет и сознается уже на допросах «с малым пристрастием».

Эта колыбельная мелодия так же смахивает на траурную, как — еще Манн заметил — немецкая зыбка смахивает на катафалк.

необъятность сферы банального

ощущение своей социальной второстепенности.

желание чуть пофосфоресцировать

Но так как виновны мы, наш вопль повисает в воздухе и, подобно молитве короля Клавдия, «не достигает неба».

Это гибель, озаряющая небосвод багровыми сумерками богов.

Что лучше: дремать или следовать за ложными пророками?

Не исследование, а мечтательное умствование.

очень добропорядочная мысль

Сравнить превращение бесцветной мелодии в более терпкую и приятную с превращением воды в вино в кувшинах Галилейской Каны.

Я овладевал ею по мере того, как она мной овладевала.

Раньше привораживали мазью, сделанной из жира умершего некрещеного младенца.

Из числа людей уклоняющихся, сторонящихся, соблюдающих дистанцию.

временное приобщение к сельскому примитиву

Для того чтоб посвятить себя музыке, нужны известные душевные предпосылки, в которых ему отказано природой.

он страдал от чрезмерно развитого чувства комического

средневековая грехобоязнь

Мир вступает под новые, еще безымянные созвездия.

здесь слышатся короткие резкие удары, как звон пощечин по лицу Спасителя

На 27-м году жизни, наконец, научили понимать Шопена и женские партии Римского-Корсакова.

Я знаю ее и визуально и акустически.

моя привязанность к сфере словесно-гуманитарной

Не надо говорить: «прописной истиной», надо говорить: «общим местом».

Женщину красит заурядность.

Надо преодолеть высокоинтеллектуальную напряженность беседы, соскользнув в сферу легкой и обыденной болтовни.

Мое сердце не говорит этой музыке «нет», но и «да» оно не говорит. Мое сердце пожимает плечами, когда слушает ее.

В первой части оркестр был настолько взволнован, что на протяжении второй он никак не может отдышаться.

крупным планом подаются, без связи и разбора, отрывчатые «поросячьи триоли» и только на задворках их блуждает где-то нищая, бледная, одичалая мелодия

О 3-м квартете Бартока: у него очень много есть что сказать, он захлебывается от обилия мыслей, сбивается, начинает все сначала, путается снова и заключительным аккордом махает рукой — э-э-э, мол, все не то, все не то.

адмирал своему барабанщику: сыграй мне что-нибудь меланхолическое

Ср. Кодан, соната для виолончели и фортепиано. Виолончель изнемогает от эротических томлений, а фортепиано слушает ее с холодной невнимательностью и иногда, в знак участия рассказчице, кивает ей четкими ударами, почти всегда впопад.

В 1-й части он храбрится и шутит, во 2-й слюнтяй и нюня и мочится на пол, как маленький.

Самозабвенное неистовство шахсей-вахсея сменяется угрызениями совести pianissimo — зрителям представляется возможность высморкаться и почесать пузо.

Честно задуманная музыка и не без хороших манер.

расстрелян по подозрению в эстетстве

От гавайских гитар до гаванских сигар, от сиамских близнецов до сионских мудрецов.

И что такое вообще йоги и что это за властвование их над своим организмом? Они могут только поставить себе клизму и то так изощренно, что она им не помогает.

Трудно было, конечно. Представьте себе, что у вас на дне рождения сидят одновременно: дядя Ваня и Чайка, Бирюк и Хамелеон, волки и овцы, жидяра Обломов и православный Корчагин. Гамлеты из Химок и из Ховрина Клеопатры.

Не важно, на кого сколько отпущено строк, это случайность. У Пушкина в «Суровом Данте» на Сурового Данта — 1 строка, по одной на Петрарку, Шекспира и Камоэнса, по три на певца Любви и барона Дельвига — и целых четыре Уильяму Вордсворту.

Мари Шарль Фердинанд Вальсен Эстергази — вот как звали того французского офицера, который выдал германскому генштабу секреты. А не Альфред Дрейфус. Вечно вы все валите на евреев.

Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки.

Ни у мамы, ни у папы не было ни братьев, ни сестер. А так хотца хоть с неделю побыть племянником.

Поль Валери: «Из истории можно извлечь лишь наклонность к шовинизму. Никаких уроков извлечь нельзя».

Мой путь саморастрачивания ничуть не хуже и не лучше других. «Что есть польза?» — спросил бы прокуратор Понтий Пилат.

И почему Василиса должна уходить к Иванушке, если ей и с Кащеем хорошо?

Милые характеристики: «Чистый ариец. Характер нордический. Спортсмен. Неуклонно выполняет свой долг».

В будущем году спрыснуть 150-летие великого наводнения в Петербурге — 7 ноября 1824 г.

Чаадаев по поводу этого наводнения и по всем подобным поводам: «Первое наше правило должно быть не избегать беды, а не заслуживать ее».

Вот, еще один вид непредвиденности и смерти. Оса в бутылке красного вина — укус в горло и смерть от удушья.

Вот вам Мао: «Война необходима, etc. Если даже половина государств будет уничтожена, то еще останется половина, зато империализм будет полностью уничтожен, и во всем мире будет лишь социализм. А за полвека население опять вырастет, даже больше, чем наполовину» (на совещании в Москве коммунистических и рабочих партий, 1957 г.).

Рейган в Пекине: «Война — это большой грех и прискорбное растрачивание ресурсов».

в самом плачевном смысле этих слов

Наклонность к творчеству с розовых лет: рисовал мочою картины, прорезая желтым белый снег.

«Я с детства не любил вокзал,
Я с детства виллу рисовал».

«Стала пухнуть прекрасная Елена».
(Песни западных славян)

Могут приобретать, как говорят лингвисты, модальные оттенки.

истина, поданная в денатурированном виде

Возведение дружеских связей и бесед, «салонное просветительство», в ранг высокого творчества. Чаадаев.

Девушки должны собирать цветы, ибо это вырабатывает в них навык низко нагибаться.

По повсеместным деревенским понятиям собирающий цветы мужчина — придурок и размазня. «Раз у него душа к цветку лежит...» и т.д. И почтение к бутафорским цветам из города — украшение икон и пр.

«И улыбка познанья светилась
На счастливом лице дурака»

Вяземский, узнав о душевной болезни Батюшкова (33 года недуга): «Все мы рождены под каким-то бедственным созвездием».

Фашисты, постоянно: «не заниматься беспочвенным теоретизированием», «быть ближе к реальной жизни».

Тогда Чаадаева упрекали в двух слабостях: унынии и нетерпении.

«Нести неверующую Россию на своих плечах», как выразился митрополит Антоний Блюм.

Я ортодокс. Бог обделил меня, ни одной странности.

четверых убил, шестерых изнасиловал, короче, вел себя непринужденно.

Ну что ж, пусть они звереют, эти ядерные маньяки. Меня не испугаешь. Я готов в любую минуту сменить рабочую спецовку на походную шинель. Обнимать только свой карабин, целовать только полковое знамя свое. Даешь Лиссабон — Копенгаген!

А турецкая резня: это когда турки режут или когда режут турок?

Убивать сразу полтора-два миллиона человек — это, по-моему, несимпатично.

христоцентризм

Богородица, фатимской девочке Люсии: «В Моем Пречистом сердце ты всегда найдешь убежище».

В британском энциклопедическом словаре: «Kak zakalyalas stal» — «история успеха молодого калеки».

«Мне скушно обыкновенное, а по сравнению с Христом все обыкновенно» (Василий Розанов).

умственная и эстетическая аскеза

из метафизических соображений

Пушкин, с отвращением: «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Чаадаев: «покорный энтузиазм толпы».

Крестоносцы тоже, говорят, были немножко мародерами, но это их рыцарского облика не исказило. Вот так и мы — если немножко побуйствуем среди сарацинов...

Омрачает, бередит и расширяет сердце всякая тяжелая токкатность. Вот и сегодня слушал финал 7-й сонаты Прокофьева.

«когда грешная Россия готовилась к отступничеству от Христа»

противостояние двух болванов

«Большой скачок» в Китае. Едят траву в Пекине и обливают мочой трупы на площади Тяньаньминь. «Несколько лет упорного труда — десять тысяч лет счастья» (Мао).

Китайцы, ведущие свои передачи для зарубежа на 40-х частотах даже (в нарушение международного права) на волнах, предназначенных исключительно для сигналов бедствия.

Мао, в беседе со Сноу: «Мне лично нравится международная напряженность».

в сторону с «надлежащих путей»

Начальник московской жандармерии о Петре Чаадаеве: «Образ жизни его весьма скромен, страстей не имеет».

Если умрет, то останется говно, а не умрет — унесет много добра.

Тип забавника. Могущего, например, столкнуть в канаву слепого, из затейства.

Н. Страхов в 70-х гг.: «Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видели».

Антисемит бы сказал: «Почему в песне «Вот мчится тройка» — нехристь староста татарин — допустили бы мы такое о жидах?»

Мигель де Унамуно: только видения Дон Кихота обладают истинным бытием. Все остальное в романе — иллюзорно.

«Мистификатор» и трюкач Сальвадор Дали.

«Мы лишаем свою интимную жизнь трепетных красок».

змееведы, то есть герпетологи

дромомания — охота к перемене мест

будуарная струя в поэзии

«В момент страшного испытания Церковь Христова парализована немощью» (1939—1945 гг.).

Сплетение обстоятельств, солнечное сплетение обстоятельств.

Важно еще, чтобы преступление считалось преступлением в момент его совершения, а не в период судоговорения и приговора.

Законопослушность. Курсивная, слишком подчеркнутая. Охуелостью это не назовешь, но ведь не назовешь и иначе.

Нездешне, инфернально взвизгивает, как Брюнхильда в «Валькирии».

Я в жизни адмирал, и чувство это знаю.

Человек должен быть как вода, говорили древние китайцы: в круглом сосуде — круглым и так далее. Попалась преграда — остановись. И теки все вниз, вниз, никуда больше.

истощим и неисчерпаем

«поединок латинского ума и тевтонской воли»

«общество, смирившееся со своим крахом»

Эти античные (опять) занимались только гомосексуализмом, а если и любили баб, то только безруких (Ника Самофракийская) и безголовых (Венера), т.е. наоборот.

«и через 15 лет расконвоировали»

идеи с чужого плеча

Брать билеты в транспорте, сморкаться только в общественных уборных, etc.

«Кручусь перед туалетом: М и Ж. Один для жидов, другой для масонов. А мне, русскому коренному, куда пойти прикажете?»

Опрос рабочих завода «Рено» по поводу их литературных симпатий. «Авангардистских выкрутасов» они не любят. Два любимых большинством произведения: «Железная пята» Джека Лондона и «Как закалялась сталь» Ник. Островского.

Ни один композитор мира не покончил с собой и не умер насильственной смертью.

Святейший Синод при Николае I учреждает новую епархию, глава которой носил титул епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.

Розанов: «Русь молчалива и застенчива, и говорить почти что не умеет. Вот на этом просторе и разгулялся русский болтун».

«Симпатичный шалопай — да это почти господствующий тип у русских».

«для обуздания разврата», как говорил адмирал Шишков

Жорж Матье, мэтр «лирического абстракционизма»: три его заповеди для подступа к картине: «1) опустошить себя, 2) сконцентрироваться в этой пустоте и 3) писать с максимально возможной скоростью».

Первая заповедь отношений к вам: незаинтересованность.

Вы нас благословляли, когда воевали мы, теперь и мы: будь благословен, Израиль.

моя хлопотливая и суматошная должность тунеядца

они со всех сторон обложили меня своими контрибуциями

«продал себя за рюмочку похвалы» (Розанов).

«Ты-то, Ерофеев, возвышенных соображений, ты высмаркиваешь

на все, что для них нужнее всего, но все-таки и их позови, вдруг да они возвышеннее тебя?»

«Не спят, не помнят, не торгуют», у Блока. Чем мы заняты? Если спросят, — так и отвечать: Не рассуждаем. Не хлопочем. Не спим, не помним, не торгуем. Не говорим, что сердцу больно. Etc.

Я с каждым днем все больше нахожу аргументов и все больше верю в Христа. Это всесильнее остальных эволюций.

«с удручающей регулярностью»

«порочный режим, но прочный»

Меня, прежде чем посадить, надо выкопать.

И это меня-то лупить! Меня! Кабинетнейшее из земных существ! Внебрачного сына Евы Браун!

Объявление: «Меняю гнев на милость. Звонить по телефону...»

У Седаковой в прозе, дворничиха: «Мертвые — они умрут, а живые по ним убивайся!»

Скатертями — все твои дороги.

писать так, во-первых, чтобы было противно читать, — и чтобы каждая строка отдавала самозванством

Их терминология: «Скончался при невыясненных обстоятельствах».

обиходного свойства истины и сведения

Великолепные экземпляры. С 8 до 5-и въебывают, с перерывом на подъебки с 12-и до 13-и, потом с 5 до 7 ебануть, с 7 до 10-и взъебки, потом etc.

Жив ли Абрам Моисеич? Нет еще.

без пролития желчи

а мою, мол, точку зрения, оставили в стороне как неосновательную

То есть заблудившись, найти что-нибудь более значительное, чем следуя проторенным путем, идти в направлении обратном общепринятому, — Колумб и его Новая Индия.

Не выпьем. Не пойдем никуда, чтобы на людей не смотреть и себя не показывать.

Господь не прощает такую вражду и такие потери Господь не прощает.

сочетать неприятное с бесполезным

«никогда бы не унизился до такой тривиальности»

В туалете на пл. Ногина: «Давно известно и не ново, что только здесь свобода слова. Да здравствует академик Сахаров! О'кэй!»

О принципе добровольности, американский публицист Норт: «Я предпочел бы видеть весь мир пьяным добровольно, чем одного человека трезвым насильно».

Христа (как следует) знали 12 человек, при 3 с половиной миллионах жителей земли, сейчас Его знают 12 тысяч при 3,5 миллиардах. То же самое.

В этом мире я только подкидыш.

Это предохраняет от морщин вокруг рта.

Завтра написать Курту Вальдхайму о том, что я признаю независимую республику Гвинею-Бисау. А Курт Вальдхайм мне в ответ телеграмму: «Дурак ты».

Карамзин изобрел только букву «ё». Х, П и Ж изобрели Кирилл и Мефодий.

Его замысел был умножать, а не делить, вычитать, а не прибавлять — в противовес Его.

«таким крайним бесстыдством, такой способностью к неистовству» (французский роман)

Проза документальная и проза орнаментальная. И живопись геральдическая.

В Талдоме (ночь): «лучше быть стройным тунеядцем, чем горбатым ударником».

Все делается по бабьему наущению: бедняга Макбет, дезертир Антоний, вор Адам, все трезвенники мира.

Из всей латыни знать только NB и Sic.

Ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего.

«Путеводитель по кварталу публичных домов Барселоны».

Люди, не убивайте друг друга, ибо это доставляет мне огорчение.

Деревья гибнут без суда и следствия.

Вот до чего довели русских. Пришел по вызову телемастер. Всего-то навсего. А старушка ушла на кухню, и у нее от испуга руки трясутся — может быть, из органов?

«Я назову тебя проблядью», как сказал Виктор Боков. «Часто сижу я и думаю. Как мне тебя называть».

Подлец ты конченый, больше ты никто, высшей марки. Или: и завтра ты будешь иметь бледный вид с голубым отливом.

издержки детопроизводства

фамилии: Пассажиров и Инвалидов

И милее всего. Неисчерпаемая череда пасквильных фельетонов Буренина, на всех, от Надсона до бальмонтовских рабочих стихов 1905-го года.

о спартанском царе Клеомене: «общаясь со скифами, он научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие» (у Геродота).

Московские евреи Пляцковский и Фрадкин: «Увезу тебя я в тундру».

Выбить этот козырь из их бессовестных рук, то есть сделать наше здравоохранение платным. По любому поводу.

Как аллилуйи делятся на аллилуйи просто и сугубые аллилуйи.

«прогрессирующий сатанизм»

«послужит для них началом бесчисленных бедствий или безмерного счастья»

У Г.П. Федотова определение понятия «русская интеллигенция»: «Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

дамочка, плачевная во всех отношениях

стремительное превращение сопляка в старого хрена

Прекрасные египетские фараоны. По свидетельству Геродота: «После Мена было 330 Царей. Ни один из них не совершал никаких деяний и не покрыл себя славой. Они ничего не совершили».

Обстановка и мебель. Чугунная ограда, сосновая кровать, пара электрических стульев, скамья подсудимых.

Испанский сапог. Столыпинский галстук. Смирительная рубашка. Терновый венок.

Но ему-то надо привлечь 2—3 сердца, а мне-то надо 20—30—40 сердец. Вот отсюда разница.

Когда камыш только шумит, гнутся деревья.

Замечаю в канун 56-й годовщины: я умею кривить морду только слева направо, справа налево не получается.
У меня болит шея от недоброкачественных грез.

Какой-то британец: «Рыцарство — удел бедняков».
Знаю, что такое рыцарь. И терпеть не могу рыцарства. За то, что у них забрало, а страха и упрека нет.

Геродот не верит в существование Оловянных (Британских) островов.

Геродот говорит: надо чтить чужие обычаи. И спустя двести страниц: «Закапывать жертвы в землю живыми — персидский обычай».

Стихи поэтов Бангладеш. Отсутствие мелкой монеты не может служить извинением безбилетного проезда.

Какой-то шотландец-ученый рекомендует для укрепления голоса вдыхать росу цветов.

Оставьте мою душу в покое.

«Я был никто, теперь я — некто».

«У Израиля находится больше вопросов, нежели у Него ответов» («Саул» Жида)

Шерлок Холмс подавляет Скотланд-Ярд своим титаническим интеллектуальным превосходством.

А может, Он ждет вопросов крупнее, и Ему кажутся мелким узколобым вздором все наши warum, wozu, wieso, «отчего?» и т.д. Как мне кажутся смешными вопросы моих коллег.

У Него бездна ответов, и Он удивляется: почему так мало вопрошаем? почему ленивы и нелюбопытны и суетны?

Видеть сны необходимо мне вот для чего: для упражнения и удостоверения в моральных принсйпах и чтобы понять: одинаково ли оставляют след страхи и горести сна и яви. В конце концов, горе — внутренняя категория, и оно не обязано иметь под собой основание. Граф Толстой или Федор Достоевский выдуманные потрясения и утраты переживали острее и глубже, чем иной свои основательные. И т.д.

Опять Добролюбов и К°. Слушая песню на слова барона Розенгейма «Степь за Волгу ушла» и т.д. Они-то, собаки, смогли бы написать хоть строку, от которой бы у русского замер дух?

Энона — нимфа, верная подруга Париса во время его пребывания в Идейском лесу. Т.е. Парис ушел из Идейского леса, и Энона тут же перестала быть верной подругой Париса.

Повсюду в Ногинском, Ореховском и пр. районах, на всех предприятиях висят соблазны; у входа: «Желаем хорошо потрудиться», а при выходе: «Спасибо за труд. Желаем вам отличного отдыха».

Все о том же смягчении нравов. На предприятиях не пишут «Соблюдайте правила техники безопасности», а пишут: «Папы и мамы! Будьте осторожны! Вас дома ждут дети».

вегетативная твоя душа, растительная то есть

Несовершенство наших душевных процессов: ср. как отлично работает наш кишечный тракт. А здесь — застой, тошнота без вышашнивания, неспособность вовремя освободиться от того, что накопилось нечистого и т.д.

Ну зачем им, сволочам, пить? Они без того постоянно качаются, ходят боком, движутся не так как надо, говорят вздор и не стыдятся ничего. Самоуверенны и безошибочны.

И, что там ни говори, даже самая хорошая ошалелость требует сейчас хорошего рационального руководства (рационального, т.е. во вкусе Фомы).

Матфей: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата».

Коллекционировать те способности, которые отличают человека ото всей фауны: 1) способность смеяться, 2) пить спиртные напитки, 3) совершать беспричинные поступки, 4) поступать наперекор своей выгоде, 5) решиться поднять на себя руки.

Ну так что ж, что пляшет? И царь-пророк Саул плясал перед Самуилом.

Хорошо как лекарство, но не как пища.

Граф Толстой о книге Паскаля: «Он показывает людям, что люди без религии — или животные, или сумасшедшие, тыкает их носом в их научность, безобразие и безумие...»

У меня в душе, как на острове Свободы: не бывает праздничных дней.

Я буду вас пестовать, а вы меня — лелеять.

«Все это слишком просто, чтобы вы могли понять» (Честертон).

Екатерина Великая: «человек безукоризненной честности, но недалекого ума».

Как говорил Фома, «я впал в несовершенство».

Степень бабьего достоинства измерять количеством тех, от чьих объятий они уклонились.

так, чтобы твою ценность измеряли в каратах

В старых открытках: «Люби шутя, но не шути любя».

Она уже закончена, но ее надо исполнить.

Это все мысли, которые лень даже прогонять.

Из всех пишущих русских К. Победоносцев более всего ценил Мельникова (Печерского). Даже пересылает «В лесах» Александру III и рекомендует прочесть.

Говоря райкомовским языком, она всемерно способствовала мне.

Их всех убил палач Сансон, значит, он один и виноват.

все равно пригвожденность, ко кресту ли, к трактирной ли стойке...

Я как Борис Годунов. Глад и мор и гнев народный и смуты, и терзания. Являются плюгавые, чернявые и энергичные Василии Шуйские, являются и плетут интриги. Являются юные Лжедмитрии. А я — только стискиваю голову, мечусь между Владимиром и Талдомом с вечным «Уф, тяжело! дай дух переведу!»

Случай во Владимире: я — дошел уже до такой степени, что у меня часы пошли в обратную сторону.

Игнатий Лойла, из поучений: «Работающий в винограднике Господнем должен опираться на землю лишь одной ногой, другая должна уже быть приподнята для продолжения пути».

драгоценные мысли Мухтара Ауэзова касательно Абая Кунанбаева.

предсмертную тоску Пушкина («Ах, какая тоска!», он говорил, что от нее он страдает больше, чем от боли) — приписали воспалению брюшной полости.

Каждая минута моя отравлена неизвестно чем, каждый мой час горек.

Губы синенькие, как апрельское небо. И нос — красный, как Моссовет.

«все мерзостно, что вижу я вокруг», как сказал Самуил Маршак.

Ну, разве можно так терзаться! Не терзайся!

У меня тоже комплекс Эдипа, но совсем другой. Т.е. я сознательно ослепил себя.

Яхрома, порт семи морей.

Любимый герой Анджелы Дэвис — Вас. Ив. Чапаев.

Из формы церковного отлучения и проклятия (XIII—XVI в.)
«...Да постигнет его проклятие наше в его доме, житнице, постели, поле, в городе и дороге. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, в питье, во сне. Да будут прокляты все его чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело его от темени головы до подошвы ног...
Как я гашу теперь эти светильники, так да погаснет свет его очей. Да осиротеют его дети, да овдовеет его жена. Да будет так, да будет так! Аминь».
Можно прибавить: да будет проклят: в лесах и на горах, в гостях и дома, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью.

Перевести в умственную сферу понятия «ультра» и «инфра». Т.е. выше понимания и ниже понимания. Ср. звук ультра и звук инфра.

Все эти сарматские цветочки, которые умеют распускаться на галльской только почве. См. Фредерик Шопен, Мария Склодовская, Костровицкий-Аполлинер...

У меня, как у лилии, пыльца на рыльце.

Конфликты в итальянских песнях:
«Лю-блю я ма-ка-роны,..
Хотя моя невеста их не любит».

«Мы с этой дамою почти единоверцы».
(Аполлинер)

«Полноте ребячиться», как говорит Германн графине.

Сравнивают бергмановский кинематограф отчаяния и феллиниевский кинематограф надежды.

Виктор Гюго, 1877 г. Принимает у себя в гостях на ул. Клиши императора Бразилии дона Педро. Тот робеет при входе.

Дураки, они свою столицу Христианию переименовали в Осло.

«от элементарности — к бесчеловечности»

Ты родилась под знаком Солнцедара.
Но бархатистостью своих лядвей
Она и это, впрочем, искупала.

Спорт Бори Сорокина, многоборца: прыгает выше собственной головы, убегает от самого себя, борется с соблазнами, гимнаст: ходит по острию ножа меж двух бездн, поднимает душевные тяжести рывком и жимом, играет со смертью с выигрышем для себя, etc.

Вольная борьба — с соблазнами. Классическая борьба — с предрассудками.

Оказывается, от Гейне начинается понятие «сверхнатурализм», т.е. понятие, включающее в себя все, кроме реализма.

французская народная песня «Ах, как же я простужен!»

существо, призванное прорицать и заклинать

«исполненное чисто кастильского благородства»

Сент-Бев и Мюссе то и дело ходят в публичные дома «в поисках забвения».

Тягомотина и банальности, хуже нет, Аполлинер, вся поэзия и все письма: «Я умел любить — это ли не эпитафия!» Или: «Ты воспламеняешь сердце, Мадлен, как проповедь в храме!» Или еще: «Пусть долетят до тебя, Лу, снаряды моих поцелуев». О войне пишет: «Я умолчал о некоторых фактах... Мои впечатления, зафиксированные по горячим следам...»

Опять этот ненавистный пошляк Аполлинер. «Мое сердце голосует за надежду», «Прошу Вас, очаровательное видение, напишите мне письмо подлиннее».

Опять письма Аполлинера: «Пожалуйста, Мадлен, обнажите свою душу, свое тело, свое сердце».

И еще: «Видел твою жену. У нее вкус лаврового листа».

Шопенгауэр: «Жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит родовых мук».

Ты будешь музицировать, я буду вальсировать.

Мы отдохнем. Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах.

Честертон о разнице в пессимисте и оптимисте. Оптимист это тот, кому все хорошо, кроме пессимиста. Пессимист — тот, для кого все плохо, кроме него самого.

«В девяти случаях из десяти человек, меняющий фамилию, — прохвост».
случалось, она теряла авторитет, но не теряла достоинства

«Он следовал за ней взором и мечтою».

Это уж у нее так заведено. Потребность наутро уничтожить своего ночного мила-друга-приятеля умышленно деловым складом физиономии и обратно пропорциональной ночи холодностью — я бы назвал это комплексом Клеопатры.

Наслаждайся, богоподобная! Ты еще в самом разгаре!

Теперь уже говорят не о «муках слова», а (в применении к кино, музыке, etc.) — о «муке приблизительности».

опять все то же: тайники души, кладовые подсознания и пр. дичь

«арлекинада как средство и против обывательского застоя и против натужной героизации»

«самосозерцание на грани нарциссизма»

«бесцеремонная сентиментальность»

элитаризация масс

французский католик Анри де Монтерлан о половой любви: «Это власть, оккупация чужой души».

две кошечки во дворе, их зовут Алгебра и Гармония

Как сказал Данте Алигьери, пусть взглянет в ее глаза тот, кто не боится вздохов.

О поборниках смешанной, универсальной религии говорит Г.К. Честертон: «Она будет хуже, чем любая религия сама по себе, даже чем индийская секта душителей».

О христианстве еще спорят, дурно ли оно, хорошо ли. А вот о духовом оркестре спорить нечего: здесь чистая духовность и т.д.

и вся их, разграфленная по пунктам, профессиональная этика.

Боэций презирал народную молву и народную мудрость на том основании, что она лишена способности различать.

слава богу, лишен Ordnung und Zucht — порядка и дисциплины
У вас вот лампочка. А у меня сердце перегорело, и то я ничего не говорю.

но ведь ты-то! ты! человек «тончайшего сердца!»

она меня обуяла, я обуреваем ею

Ценить в человеке его готовность к свинству.

«Ты не холоден и не горяч, ты только тепловат; не могу тебя терпеть, выплюну тебя из уст моих».

Два молодых человека, встревоженные, хотели повернуться ко мне спиной, но их разнесло ветром.

и это так же глупо, как... как уходить добровольцем на фронт

Шесть раз я выстрелил ему в затылок — он не шевельнул и бровью.

У них харкотина взамен души, и вместо мозгов — блевота.

меня выковыряла она на свет, как козявку из носу

Музыка — средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумения писать музыку.

Что ж, и мне тоже свойственно бывает томиться по прошлому,

по тем временам, например, когда еще твердь не отделилась от хляби, а только тьма изначальная.

Все лучшее во мне говорило мне: ...
А все худшее возражало на это так: ...

Но человек он был мглистый и шаткий, его обвинили в (...) и Ф. Э. лично защекотал его в своем рабочем кабинете.

Сынок утонул в ведре, потом дочь — последняя дочь — расшиблась насмерть, упав с веника. Мама не могла перенести этих двух потерь сразу — и через три недели родила третьего.
Третий был странным существом. Он молчал... и только на третьем году жизни заплакал.

Могу ли я сказать, что ты послана мне с высоты небес? Да, я могу это сказать, я еще много что могу о тебе сказать, но не скажу.

Ты пролилась на меня с облаков.

Ты лишила меня вдоха и выдоха.

Меня околдовать трудно, я чарам не поддаюсь.

С веткой в ушах, с парализованными ногами, я вошел в этот дом. Меня встретили оплеухою.

Одна дымящая головня упала рядом со мной — я плюнул на нее, я высморкался в нее — она вспыхнула и разлетелась в небе тысячью искр.

Пламенный хитон натяну я на вас! День гнева воссиял! Где моя паяльная лампа?

Опали им гортань и душу

Т.е. у конца: я жду от вас: Не так: я ничего от вас не жду, вернее, нет — я жду от вас сказочных зверств и несказанного хамства.

Израильтянин, в котором нет лукавства.

Уже на 3-м курсе спрашиваю: а на каком я учусь факультете?

И еще раз о том, что тяжелое похмелье обучает гуманности, т.е. неспособности ударить во всех отношениях, и неспособности ответить на удар.

Цели в жизни нет. Все в жизни лишь средство, как сказал В. Брюсов, стихотворец.

Мы с каждым днем все хуже. И каждый, и все человечество с каждым днем все хуже. И поэтому, если говорить о качестве людей, то лучше всего тот, кто это чувствует, т.е. тот, кому с каждым днем все хуже и хуже.

Человек не самолюбив и суеверен. Он уважает все болезни, кроме тех, которые он сознательно в себя внес.

рубашка на груди так была распахнута, что видны были ноги

Мы все так опаскудились мозгами и опаршивели душой, что нам 13-летняя привязанность кажется феноменом. Мы, правда, живем в мире техники и скоростей, ну, что ж, пропусти технику, иначе действительность собьет, протиснись сквозь все эти такси и иди куда тебе надо.

Человек, идущий за малой нуждой, все-таки ценнее машины, летящей для доклада в СЭВ.

И опять: могу ли я понимать это так, что ты пролита на меня с облаков?

«прочти и порви» совместить с «прочти и передай другому», т.е. верх интимности с верхом всеобщности.

Ну, что прибавила техника! Она просто отвлекает от дела. Т.е. пересекая улицу, надо сначала смотреть налево, потом направо, etc.

Не дают опустить свою же голову на свои же плечи

О необходимости вина, т.е. от многого было б избавление, если бы, допустим, в апреле 17-го г. Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик.

Т.е. задача в том, чтоб пьяным перестать пить, а их заставить.

Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедию с фарсом, музыку со сверхпрозаизмом, и так, чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в один, от рондо до пародии, на меньшее я не иду.

простодушие с желчью

С Пентагона до Кремля, с небес до земли, с головы до ног — все изменено.

В конце прошлого века Ф. Достоевского на Западе еще так мало понимали, что, например, во Франции в переводах исключалась как балласт «Легенда о Великом инквизиторе».

от Достоевского у экзистенциалистов концепция абсурдности бытия и трагизма человеческого существования

«Идея личной ответственности каждого взамен идеи безличной безответственности всех».

Их терминология на этот случай: разобщенность, изолированность, обреченность, забытость, заброшенность.

загнанность, завербованность, проданность

не самоирония, а самоглумление, самоподтрунивание

а о внутренностях героев сейчас говорят так: раздвоенность, разбросанность, расколотость, расщепленность, раздавленность, разбитость

Ну, пусть они меня признают. Но ведь это все равно что Кубу пока признали только Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго.

«в этой погоне за миражами, потребности забыться и уйти от обыденности» к чему-нибудь, хоть блядкам, etc., — будничность, еще более облезлая и тошнотворная

Для Бори Сорокина — мир маленький комок, подступивший к горлу и застрявший в нем.

Хуйня война, как говорит Вадя Тихонов, страшны маневры.

Иногда ведь скажешь так тихо, что себя самого хуй расслышишь,

а иногда так, что «цыганки закачаются на высоких, сбитых на бок каблуках».

Какой-то папа XVIII в. на предложение хоть немного изменить status quo католичества и его доктрины: Simus ut sumus aut non simus: «останемся как есть или перестанем вовсе быть»

Идея тления, «кончины всех вещей»

Я не знаю своей Родины, но я немножко ее избороздил.

Хочешь увидеть падающую башню — поезжай в Пизу.

Совместить в компании все голоса и придать видимость махонького единства, упражнения в контрапункте.

германизм ее склонностей и симпатий

Гоголя называли русским Фомой Кемпийским (его последнее чтение и самое излюбленное).

Делиль (18 в.) хвалится тем, что впервые в истории французской поэзии употребил слово «корова».

Чтобы попасть в гостиницу, рекомендуется: «Я внук знаменитого Павлика Морозова, геройски замученного партизанами» (из рассказов Прошки).

мы с тобою не нашли ничего, кроме общего языка

О выборе непременно цейлонского чая. Скорбь мы уважаем каждую, и пустяковую в том числе, а вот смех нужен определенного сорта.

Поэзия должна быть горьковата

в качестве пряности добавлять во все это элемент шарлатанства

Это уже ползалога полууспеха.

Гуманности нет на земле, она где-то далеко, гуманность в созвездии Андромеды.

Екатерина Великая, по сообщению Загряжской, всего только два раза была сердита, и оба раза на княгиню Дашкову.

Ямщик, не гони лошадей,
Им некуда больше спешить.

Победительнице-мученице от побежденного мучителя.

она раскинула свой стан (там-то и там-то)

Какой-то одесский еврей у Эренбурга пишет такие стихи:

Велико мое одиночество!
Нет у меня ни имени, ни отчества.

так ступает человек, влекущий тяжелое бремя

он дал мне этот верховный совет

В ноябре: входит Раскольников, а его старушка рраз топором.

Это было еще в те времена, когда нельзя было рифмовать такое поэтически близкое, как «преступник» — «пристукнет».

Не говори, что много наизусть ты знаешь. Скажи, что многого не знаешь наизусть.

Недостойные Валгаллы после смерти попадают в холодное и темное царство Геллы.

Бедлам учрежден в XIII веке.

Как надоело это шлепанье шампанских пробок, это щебетание птах, эти белые фиалки и алые гвоздики, — как хочется в каземат.

Жить не торопится и выпить не спешит.

И всего-то рупь-двадцать прошу у тебя. Иль нож мне в сердце вонзишь, иль рай мне откроешь.

Юный Пикассо, на поводу у Мигеля де Унамуно, в 1901 г.: «искусство порождается горем и скорбью».

Унамуно различает две основные возможности существования: повседневная, или тривиальная жизнь и жизнь трагическая, подлинная.

«Личность — это человек, который страдает» (Унамуно).

Потерять корзинку с грибами — и сесть на пенек, и плакать, и выть — выть, как серый волк, плакать, как Красная Шапочка.

Он хоть подлый, но подлинный.

несовращеннолетний возраст

Карл Линней швед, изобретатель термина homo sapiens.

До чего трогательно звучит у Фета еще не обосранное большевиками слово: «разоблаченная», т.е. без покрывала.

В.К. Тредиаковский, про ласточку:
«О птичка особливых свойств!»

«Италия! Ты сердцу солгала!» (Фет)
«Молчи, Флоренция, Иуда!» (Блок)

Как прежде хорошо назывались всякие повстанцы: не патриоты, не бандиты, не душманы, не и т.д. А просто: инсургенты.

Пойдем с тобой, Люся, в отдельное помещение. Или в водоем.

И Марк Твен сказал: «Быть хорошим — это очень изматывает человека».

Степан Трофимович: «К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без труда и немцев».

Почти библейские милые аббревиатуры: УОВ, ИОВ — на дверях кабинетов врачей: Участник ОВ, Инвалид ОВ.

А седьмое июня нового стиля следует называть не глупым Ивана Купала, а точно: «Рождество пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна».

Наименование израильской знаменитой разведки очень легко запомнить: Моссад. (Моссад с каждым днем увядает.)

Из русских исторических песен:

> «Не хвалися, вор-француз, своим славным Парижом!
> Как у нас ли во России есть получше города!»

Или еще русская историческая песня. Говорит царь:

«Конституциею (!) связан
Я не буду никогда.
Представительных собраний
Я с пеленок не терплю!»

При случае сказать Ольге Седаковой, что ее подружка Зара Долуханова больше подкупает не армянской «Ласточкой», а мадьярскими «Журавлями».

Голос из хора, останавливающий чтеца:

«Оргазм уж наступил!»

«При деспотическом режиме виновен только тот, кто карает» (Кюстин).

Политикой партии и правительства не интересуюсь. Газет не читаю. Скрытен, замкнут, способен на любое преступление.

Но клянусь тебе ангельским садом,
Я к тебе никогда не приду.
Так сказал нам товарищ завскладом
По фамилии Жорж-Помпиду.

Кюстин: «В России ничто не называется своим именем».

Кюстин: «Русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира».

Неисправимейший балбес Блок. Из дневников 18-го г.: «Чувство неблагополучия — музыкальное чувство».

В самом деле балбес: «Россия заразила уже человечество своим здоровьем» (и это в дневнике 20 фев. 1918).

Маркиз де Кюстин в беседе с великой княгиней Еленой Павловной. Она: «Почему г-жа Жирарден ничего более не пишет?» Кюстин: «Она — поэтесса, а для поэтов молчание — также творчество».

О Пугачевщине знают все, а о чуме 1771 — никто почти. А умерших больше, чем в Пугачевщину с обеих сторон. Ср. «испанский грипп» 18—19-го гг.

Узнаю из сапгировских стихов: цензор Николай I поправил Пушкина. Финальное «ликует» в «Борисе Годунове» зачеркнул и, подумав, начертал: «безмолвствует».

Все сделать как-нибудь через попу. Назначить директором Малого театра Егора Кузьмича Лигачева (лучше Егора Лигича Кузьмичева), а перед входом соорудить статую Фридриха II с созвездием Кассиопеи на брюхе.

Да и в XIX веке. Когда хоронили Мих. Розенгейма: 40 артиллерийских салютов. Когда Пушкина — разрешили только Вяземским в ночь сопровождать тело.

В письме к Ахматовой Николай Гумилев: «Мне кажется, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби» (1912 г.).

Еще раз и последний: новую орфографию, отмену ятей и пр. — ввело Временное правительство. Большевики только усиленно стали внедрять ее.

В паспортах таких людей, как я, надо вводить новые графы. Например, «размах крыльев» и пр.

Гаспаров про Горация: на улицах Рима пальцами показывали на этого «невысокого, толстенького, седого, подслеповатого и вспыльчивого человека».

Если враг не издается — его уничтожают.

Карамзин о тацитовом Риме:

«Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!»

1799

«Почему тебя все куда-то заносит? Написал бы что-нибудь интересное... Для всех...»

«Физикам хорошо. Они запустили хиросиму в Нагасаки...»

Я не гастроном, я эмпирик.

Из речи Председателя Государственной Думы М.В. Родзянко: «Не дерзайте касаться нашей святой Руси!»

А я глядел ей вслед и ронял янтарные слезы.

щемило слева и справа от сердца

Он стрелял в меня весь вечер.
Но два раза не попал.

Как «говаривал» Вадя — «Меня преследует рок изобилия».

В учебнике общей энтомологии советуют вот как бороться со скорпионами: схватить и погрузить в 70-градусный спирт.

«потому что климат в России суров, но справедлив».

«Окно в Европу было открыто Петром в 1703 г. и 214 лет не закрывалось».

«История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне его!» (Пушкин, 1830 г.)

Из пропущенного:

Из наслаждений жизни
Один вермут любови уступает,
Но и вермут — мелодия.

Говорят, что есть такая заветная черта, через которую мы, русские, никогда не переступим. Интересно, что же это за заветная черта. Если черта бедности — то... и т.д.

Пропуск в «Вальпургиевой ночи»: Югославия все клянчит Триест, все клянчит и клянчит Триест — и чего это она все хочет Триест? Ну, дадим мы ей Триест, пусть подавится своим Триестом!

Мой сосед Эдик тоже сочиняет:

«Наша русская мгла
Смогла
То, что западный смог
Не смог».

Отчасти — да. Но весь я не свихнусь.

идет, такая величественная, а на раменах ее накинута такая хламидомонада.

И опять: Карпентер-Борхес-Маркес-Кортасар.
Ричардсон интереснее.

Умирающий Давид — Соломону:
«Не ужасайся и не унывай».

Давай побибиседуем

Так чего же ты, после этого, от нас еще хочешь, самородок?

Молод еще Господь со мной спорить-то

И вещий Олег, не боясь ничего,
Отбросил копыта коня своего.

он хочет ее использовать в неблаговидных целях

И зачем людя́м гарибальди нужны?

«задавил, как оползень»

Все убеждены: в 86 г. русский народ убьют. Немножко не так: в 86 г. весь русский народ убежден, что его убьют.

Какое качество вы прежде всего цените в людях? — незадачливость. Ваше любимое занятие? — физзарядка.

А я бы эти пруды запретил.

А в детстве мечтал стать — ну, кем мечтал стать? — лжесвидетелем, огнепоклонником, кормилицею...

И вот мы уснули вместе с моей мечтой. Вначале уснула моя мечта, я — следом за ней.

Самое лучшее из всего написанного Петром Ильичом все-таки куплеты мсье Трике.

Девизом последних лет Свифта было: «Да здравствуют безделки!»
Вот так и живу. Докучаю Богу, людям и животным тварям.

Здесь проделаем дырочку в стене — я обожаю сквозняки. Здесь — веточку флер-д'оранжа и букет асмоделей. Сюда — вобьем крюк в потолок. Для фламандских люстр.

А вот генерал де Голль жил скромнее — и до старости сохранил силу. В 85 лет он произвел на свет внука — до чего еще свеж был генерал.

«Уф, тяжело, дай дух переведу». Переводчик духа.

Ведь как просто можно было обращаться к публике: «Я сказал бы вам еще кое-что, если бы вы не были теми, кто вы есть». (Великий магистр Ордена тамплиеров, 1309 г.)

А весна на Кавказе с этого и начинается. Раскрывается первый розоватый цветок. Он зовется Колхикум Биберштейна.

Шуточки московских интеллигентов:
«Из-за леса, из-за гор едет дядя Кьеркегор».

Из хасидской притчи: «И сотворил Господь чудо: везде была суббота, но там, где проезжал Рабинович — пятница».

Каждому советскому человеку повесить на грудь красивые таблички с обозначением его крепости и сахаристости. Цена одна, не нужно.

Отметить 400 лет со дня смерти Малюты Скуратова.

Основные черты русской нации: заколдованность и недорезанность.

Клавдий Птица, отличник хоровой и космополитической подготовки.

О русской нации лучше: не загадочность, а заколдованность в самом худшем из смыслов этого слова, т.е. приплюснутость, т.е. полузадушенность, т.е. недоношенность плюс недорезанность (измордованность).

За отравой стоим. Стоит усатый Сальери за прилавком, а к нему в очередь 25 Моцартов.

Ну а что Моцартам «Жигули»? Им нужна неотложная отрава, алгебра и гармония.

короткая, как замыкание

250 миллионов заложников, захваченных террористами

Нам черт не брат и Бог нам не владыка.

Почему ты, сука, не можешь сделать мою жизнь яркой и насыщенной?

на моем очень жизненном пути

Как цену, тебя набью и, как цену, вздую.

Если этой музыке находить соответствия в сфере обоняния, так это запах паленой шерсти и псины.

Тихонова из дома, как слово из песни, не выкинешь.

О Галине Вишневской: «как певица тихо за морем жила».

Запоминать надо только то, что никогда тебе не пригодится.

И в бабах и в детях уважаемее всего: пухлость и кротость.

А я и тогда глядел на всю эту партизанщину глазами русского машиниста, летящего под откос.

В 1702 г. в Турции был издан закон, запрещающий евреям носить желтые туфли.

Ненавистнейшие из людей: те, для которых всё само собой разумеется. Да что же это всё? Да и чем собой? Да и что такое «разумеется»?

Моя Родина в 1938 г., когда вынашивала меня, была в интересном положении.

Мне Стан твой понравился Теплый
И весь твой...

И вечно-то он всё о любви да о любви, как будто это не человек, а Эдуард какой-то Колмановский.

Захочу — травмирую, захочу — казню.

А Джимми Картеру не до этого, он качает права человека.

Вот бегает кровавый мальчик...

Слушай, ты, вдохновенный кудесник, Мамай губастый!

Слушай, ты, бродячий сужет!..

Слушай, ты, аленький цветочек!

Все устремились на Капказ, что промеж Хвалынского моря и Эвксинского Понта.

Т.е. мы имеем дело с явлением, которое не стоит даже и борьбы против него. Не надо придавать ему значения.

Олимпийские икры.

Когда бы грек увидел наши икры!

Что ж! И у Хлебникова были заслуги. Он, например, придумал слово «летчик» (взамен блоковского «летуна»).

Почему мы отмечаем День милиции только 10-го числа 11-го месяца? Надо предложить 10-го числа каждого месяца отмечать День милиции.

Вот как выражались прежде генерал-губернаторы: «сей отвратительный очаг политического распутства».

А вот в сравнении с Римским Папой ваши православные лидеры совсем охолуели.

И да здравствует традиция. Блюхера и милорда глупого все-таки на черном рынке больше ценят.

Проект постройки газопровода слезоточивого газа.

Идеал мужчины (по радио): сказал — и сделал. Генрих, например, Гиммлер, сказал: уничтожу шестую часть славянства. Взял — и уничтожил.

Англичанин Морис Бэринг, побывавший в России в начале XX в., пишет: простой русский считает «ненормальным, неумным человека, не верящего в Бога».

Кто виноват? Никто не виноват. Что делать? Ничего делать не надо. Кем быть? Никем не быть. Где приют для мира уготован? В пизде, на третьей полке, где ебутся волки.

Почему молчишь целых пять лет? — спрашивают. Отвечаю, как прежде графья отвечали: «Не могу не молчать!»

Оперетта Соловьева-Седого «Самое заветное».

Я хорошею, как села Казахстана.

А этот дождик в разгар сенокоса был, конечно, спровоцирован израильской агентурой.

И мало того, что Бога ни всуе, ни как иначе называть не надо, но и давление-то должно быть незаметным, атмосферным давлением.

А вы-то говорите о Боге так, как Эдуард Хиль поет о Тынде.

Японский премьер Сукабуду Навэки.

Не то что небожителем я был, а просто нездешним. Она ж меня смеясь на землю пролила.

А он, мятежный, просит бури,
Как морда просит кирпича.

Им-то это не трагично, а мне очень даже. «И все засмеялись, а Веня заплакал».

Через 20 лет после соловьевского:

«Со стихиями надзвездными
Он в сношение вступал,
Проводил он дни над безднами
И в болотах ночевал».

у Николая Клюева, 1911 г.:

«С той поры я перепутьями
Невидимкою блуждал,
Под валежником и прутьями
Вместе с ветром ночевал».

Свято место пусто не бывает, но ведь и отхожее тоже.

А вот он, например, и в городе Богдан, и в селе Селифан, и тпру и но, и рыба и мясо, и т.д.

За такое поведение (кричать, перебивая оратора: «Есть такая партия!») сейчас бы по головке не погладили. Ср.: в Большом поют:

«Кто может сравниться с Матильдой моей!» — встать и крикнуть: «Я могу сравниться с Матильдой твоей ебучей!»

Ср. прежних и нонешних интеллигентов: те были слегка пьяны и до синевы выбриты, нонешние слегка выбриты и пьяны до синевы. Те знали все от Баха до Фейербаха. Нынешние — от Эдиты Пьехи до иди ты на хуй.

А. Твардовский (1968): «Что делать мне с тобой, моя присяга?»

У нее есть корпус, а у меня корпуса нет.

Русская нация — просто невыспавшаяся, потому бестолковая, невезучая, противная, нервическая. У всех же было время поспать, много лет добротного мещанского искусства и бытия.

Кто первый стал говорить с бумажкой перед еблом? Говорят, что Вильям Питт-младший.

служу антисоветскому союзу

Да ведь мы ничего, по существу, не делаем. Мы передаем каждый день сигналы точного времени.

Во мне ведь коварства нет, так, легкая подколодность.

Я — орел, я — соловей, я — сокол, а она — сорока, она — трясогузка, она — пустельга.

Ты, Вадя, пройди сначала мои университеты, а потом иди в люди.

Отвечай моим коренным интересам, сука!

Проходящие мимо: «Я хохотала даже внутри».

Мимо проходят две женщины с костылями: «Движение — это воздух... Нет, нет, воздух — это движение...»

Паустовский и пр. Поклонение святым хвощам.

Странно видеть такое начало. Будто видишь с «Ы» начинающееся слово.

А все это доброе, что они делают, — это все продиктовала им корысть, чтоб избежать житейского волненья.

А Господь меня сюда втащил, как та мачеха, пославшая в декабре за подснежниками.

Дареному коню в зубы не бьют.

Хочу быть отъявленным и оголтелым.

сдаются меблированные воздуся

а мы-то день ночь въебываем, как какие-то силезские ткачи

Громят в 1949 г. Гуковского за идеализацию поэзии Жуковского, «царедворца, врага декабристов, ретрограда и певца сумеречных, упадочных, христиански-антиреволюционных настроений».

Говорят о космонавте Вал. Быковском то же, что можно и обо всей нации: «обладает феноменальной способностью переносить большие перегрузки».

«щедр на комплименты, скуп на алименты»

Стыд-совесть-честь. У меня, например, так много стыда, что совести уже поменьше, а чести так уж почти совсем нет.

тревожная сосредоточенность на ничем и вечная мерзлота

У Вал. Бармичева не голова, а боеголовка.

Таким камвольно-суконным языком.

И все это написано слогом сверкающим, с почти нестерпимым блеском.

Язык Барбароссы и Эрнста Тельмана, канцлера Бисмарка и доктора Геббельса — велик и могуч.

не смертоносная женщина, но болезнетворная

читать между глаз

На что живешь? Для кого работаешь? У кого учишься?

Речитатив и ария Анны из оперы Гранелли «Анна Каренина». Ария Катюши Масловой из оперы Альфано «Воскресение».

Помню, что фамилия какая-то длинная и кончается на «х». Вроде «Соснопомволоствоиховсяных».

А я ей говорю: ты нравишься мне своим умом бесчеловечным и нечеловеческим телом.

Полуразбитое полукорыто,
Полунакрытое полупиздом.

Умеешь ли ты играть хоть на каком-нибудь из мусикийских орудий?

Если и приходят мысли, то щуплые, неказистые и плюгавые.

А она требует от мужичков того, что вообще-то мужичку надо требовать от баб, т.е. неосновательности.

А между тем отшельник в темной келье
Веселых и приятных мыслей полон.

В тебе нет ни сумрака, ни рассвета, ни вздоха, ни даже полноценной ублюдочности.

Вам легче, вы слушаете обенди, а мы — попали в западню.

Они (как говорят о венгерских футболистах) «хорошо играют головой».

Глуп ты, братец, как черноплодная рябина.

Это еще не обездоленность, это просто обделенность.

Жалуются на исчезновение товаров и пр. «Сколько всего пропало!» Ср. прежде... 30 лет назад. «Сколько всех пропало».

Да это же всё так, всё это неаполитанская тарантелла, вечерний звон.

В ночь со 2-го на 3-е октября говорят по радио: «Счастливого, евреи, вам Нового 3759 года».

Если его так часто будут пиздить, доживет ли Амальрик до 1984 года?

Трех котят назвать Седуксен, Демидрол и Люминал.

Хотел бы иметь какую-нибудь еврейскую фамилию типа Глинтвейн.

Пшеничная водка «Колос Америки».

О кошке, которая вечно лазила через большую дыру в заборе, а когда явились у нее котята, сделала для них махонькую дырочку: через большую они ведь не пролезут.

Пришедший к Христу как раз человек, которому все нужно, а не так, как Авдиев — кроме этого все посторонне и ненужно.

Или так: ведет себя, как будто ему был Голос с небес: Фигли-мигли-блядки-штучки-дрючки пре-кра-тить! Смиирна! Равнение на крест! — Так и стоит, сложив руки не по швам, а бестолково и безудержно крестясь.
Одеревенелость...

Уходил бы ты, комсомолец, куда-нибудь на гражданскую войну. Если смерти, то мгновенной.

Я был, как грязно-белый пудель, грязно-бел. Теперь я черен, как черная сука.

Со мной в этом году все случается такое, что у нормальных людей бывает только в високосные годы.

Рекламное объявление: «Храните гордое терпенье во глубине сибирских руд».

И дорогой он все время: «А это тебя ебет?» Я про Альдо Моро, про коварство Пол Пота и пр. А он одно: «А это тебя ебет?»

Если б я заполнял анкету, в пункте: что вы больше всего цените в женщине? — я бы ответил: жизнеспособность и невзыскательность.

Веду себя, как фортепьяно в бетховенских сонатах, т.е. главное первая часть, а потом (в 1-й и ум, и одежка), а потом — что угодно.

Ильич: «Теперь надо архиспешить».

Я не имею ничего общего с действительностью; как всякое провокационное сообщение.

И все это у тебя так быстро обращается в системность — ты скоросшиватель.

Погубить меня всякий не прочь.

А кошелек-то у него — я сама видела — окровавленный

Слушая скрипичный концерт Мендельсона. У него скрипка не противоборствует оркестру. Она его (оркестр) гладит по головке, лобзает и ложится с ним спать.

В ту же коллекцию пушкинских ямбов:

«Цыганы шумною толпою
Толкают жопой паровоз».

Оказывается, С. Дали называл Арама Хачатуряна: «взбесившийся шашлык».

Он совсем не сложный, он просто художественный и многосерийный.

Впервые озлобился Мао, когда отвергнуто было его предложение быть изображенным пятым на славном барельефе.

Северянин:

«В его значительном ненужьи
Биенья сердца вовсе нет».
(О Вячеславе Иванове)

Северянин. Одна из самых нескучных и симпатичных форм разгильдяйства.

17 век: «а он говорил хульные и непригожие слова».

Отличие Ольги Седаковой от многих. У тех в голосе: все знаю! У этой в голосе ничегонезнание в самом высоком смысле слова. Вытаращенные глаза в каждой реплике.

Бей Россию. Спасай жидов.

Кончай экзекуции, начинай вивисекции.

О владимирцах. Они — растут, а я расти перестал. Они — как ногти мои.

Уеду куда-нибудь в Стерлитамак и стану нахимовцем.

ВЧК — век человеческий короток.

Об этом стиле можно жандармским языком так: «Отсутствие особых примет».

И не забыть полоумного Феликса. «Феликс! Позвони Андропову, спроси, сколько времени!» Снимает тапок, бормочет в него — полвторого! «Феликс! Позвони Геббельсу, узнай, что на ужин будет!» И т.д.

«Юродство без душеспасения
И шутовство без остроты».
(Тютчев)

Дебют Веры Инбер. В Париже выходит 1-й сборник стихов «Печальное вино». Хвалит сам Блок. (1912 г.)

Серб Александр, на мой вопрос — много ли он смеялся при переводе (поэмы «Москва — Петушки». — *В. М.*), ответил: я больше плакал.

Игра в желябчики, в каракозочки

В столице шутют: 99% мужиков любят толстых баб и только 1% — очень толстых.

Всё пропьём. Гармонию оставим.

Генрих Белль: «Прогресс совершенно лишен юмора, ибо он оптимистичен».

«Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен». (Фон-Визин)

Он же: «Государство требует немедленного врачевания».

Паскаль: «Христос в агонии до скончания мира».

У Сенеки: «Избежать этого нельзя, но можно все это презирать».

отличать вымыслы от реалий

[Свящ.] Фудель: «Церковь есть тайна преодоления сиротства и одиночества» (и заброшенности и бездомности).

У Власа Дорошевича: «отчизноведение».

В беседе... с соседом по палате — он отсутствовал много часов и сообщил, что все, с кем он говорил на «Мосфильме» — сценаристы, художники, режиссеры, молодежь, — все хотели бы побывать на моих чтениях трагедии. «Тебе здорово повезло», — сказали они ему. «Я так не считаю», — добавил он мне.

«то, что можно понимать без большого напряжения ума» (Ф. Нитче)

Вот еще — летать я совсем не могу и не умею. Ни на помеле, ни на крыльях песни. Etc.

Сердобольность, которая выше разных «Красота», «Истина», «Справедливость» и прочих понятий более или менее условных.

Венедикт! Какое незапятнанное имя! Ср. как запятнаны Николай, Александр, Борис и пр.

Беру со всех взносы, а, в сущности, никому не нужен. Как профсоюз.

не имей имущества, а имей преимущество

удивление, медленно переходящее в подозрение

не имей зрения, а имей подозрение

То, что можно говорить только при женщинах — в противоположность тому, что при женщинах не говорится.

Дружба наша — дружба барана с новыми воротами, мир апельсинов со свиньей.

Чтобы целовать ручки у малознакомых дам, для этого канцлером надо быть. А он канцлер?

И я умертвлю твою бессмертную душу

Патриарх Тихон, послание Совету Народных Комиссаров, 26 окт. 1918 г.: «взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая».

воздействие должно быть тлетворным

у нее пышная грудь и консервативная натура

умный, как канделябр, и глупая, как жардиньерка

Тургенев: «Нет ничего утомительней невеселого ума».

В Ленинграде, на прогулке: Сколько языков ты знаешь? — Два. Русский устный и русский письменный.

Здесь у меня — лобное место.

У Трофима Д. Лысенко — одних только орденов Ленина — шесть. Не считая всех остальных.

Ленин о христианстве: «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо менее опасны, чем «тонкая», духовная, приодетая в самые нарядные идейные костюмы идея боженьки».

Ночевала сучка молодая
На груди Исака Левитана

Валаамова ослица и Буриданов осел

Юмор переходит всякие границы. Не всякие.

К вопросу об обладающих 20-ю общими истинами и пр. Самое ненавистное из всех фразеологий: «все ясно».

Все твои привычки — пагубны. У тебя есть хотя бы одна непагубная привычка?

Когда Павлу I стукнуло 18 лет, царствующая мать пожаловала ему звание генерал-адмирала (высшее воинское звание России).

От рук твоих пахнет ногами, но это ничего.

Мысль должна быть подвздошной.

Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но зачем ты выпил мой стакан портвейна? Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же ты все-таки выпил? Я понимаю, земля — колыбель человечества, но нельзя же пить стакан чужого портвейна!

Как смешно мне слушать в очереди в винный: «А он так пьет, так пьет, что его, почитай, все Коровинское шоссе знает!»
«Почему вы недокушиваете, когда кушаете? Если уж вы решили кушать, то надо докушивать».

По радио: «без преувеличения можно сказать, что самое главное — это правильное пищеварение». Т.е. будь ты хоть людоед, но главное — это...

Петр III, идя за гробом Елисаветы, подпрыгивал.

Мой сверстник нейлон изобретен в Штатах в 1938 г.

Идя в ванную, составлять список всего, что надо вымыть, и периодически вычеркивать.

Я ощущал всем своим существом, что это все-таки крепленое вино.

Русские переводят «Ave Maria» — «привет тебе, Мария».

В доштраусовское время говорили: «вальс, эта музыка для ног».

Чем ты сейчас занят? собственными мыслями.

Мы обречены на честность. Когда они говорят «Нет денег», у них их полный карман. Когда же мы говорим «Нет»...

система полупрозрачных намеков

Ты проскакал на розовом коне, а они шли привычной линией.

И бойтесь данайцев, сказал бы Лаокоон.

Гегель: «Никто из моих учеников не понял моей системы. Понял только Розенкранц, и то неправильно».

Они все, паскуды, примиряют «свободу воли» и «генетический детерминизм».

Фридрих Энгельс почти на столетие опередил Гитлера: «Кровавой местью отплатит славянским варварам всеобщая война, которая вспыхнет, рассеет этот славянский зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых наций».

Быть экономным в жестах доброй воли.

У нас в паспортах так и записано. У меня: «Недоносок», а у нее: «Пеннорожденная».

В.Короленко называл из всех национализмов украинский самым бутафорским.

То, о чем мечтал Флобер: «Написать книгу, которая держалась бы исключительно на внутреннем достоинстве стиля».

Набокову импонировало в Ходасевиче «высокое качество его язвительности».

Набоков и Гоголь. «То, что для Гоголя было грехом, т.е. унижением души и оскорблением Бога, для Набокова — преступлением против художественного вкуса». Не имморально, а антиэстетично.

Душа, захламленная дребеденью.

Один сказал: в Мадриде есть чего кушать безработным тореро. А я — нет, сказал, в городе Мадриде совершенно нечего кушать безработному тореро. (Мы немножко подиспутировали в Париже.)

А Бог теперь только тем и занят, что метит великих шельм.

В «Современнике», где были помещены рассказы Ник. Ник. Толстого, старшего братца Льва, так и написано рецензентом Некрасовым: «Рука Николая Толстого тверже владеет пером (языком), чем рука его брата».

Юз Алешковский: Нельзя облегчать отчаяние алкоголем. Страдания должны быть чисты...

На мне все-таки не узда, а недоуздок.

Я еще не окончательный и обжалованью подлежу.

Мы очень разных воззрений люди, но таким образом, что меж нами ничто не рождает споров, да и к размышлениям не влечет.

Кто твой самый любимый певец? — Демьян Бедный, певец пролетарской революции.

О единицах измерения. Ядовитость измерять в вольтерах.

Пригожих людей не люблю, окаянные мне по вкусу.

По вечерам бывает так приятно иногда прибегнуть к геноциду. Или к погоне за химерами.

Повышение цен на минеральные воды, бенгальские огни и медные трубы.

Плыть только по рекам, текущим к северу. Фи, этот юг, тьфу, эта Ницца.

А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в диссиденты не годитесь.

Салтыков-Щедрин придумал слово «мягкотелый».

Есть чрезвычайность в этих писаниях и речах, но нет полномочности.

Я тучен душою. Мне нужны средства для похудания: ничегонеделание, сужение интересов и пр.

Душою надо полнеть, девки, а не телесами. Поэт Алексей Кольцов, от чего-то там отказываясь, говорил: «От этого душа не пополнеет».

Пенная Цветаева и степенная Ахматова.

Может, ты и Державина будешь называть Гавриком?

У них содержательные, осмысленные глаза и действующие лица.

Недурно бы вспомнить. Лепта = 1/100 драхмы. В таланте 6 000 драхм. Итак, 600 000 лепт составляют талант.

В последние свои годы Гюго всерьез предполагал возможность переименования Парижа в Гюгополис.

Как говорил Карамзин, «вижу опасность, но еще не вижу погибели».

И вообще: что значит «последнее слово». Мы живем в мире, где следует произносить слова так, будто они — последние. Остальные слова — не в счет.

Вот что значит — кончился славный V век до Р.Х. Уже в первый год следующего века (399) был приговорен к вышке 70-летний Сократ.

Демоны не громыхают, они говорят вкрадчивыми голосами. Грохочут только ангелы Господни.

Кто хочет, тот допьется.

Моя проза — в розлив с 70 г. и с 73 на вынос.

Возвращающихся ностальгированных эмигрантов называют подберезовиками.

Не квартира, а библиотека приключений.

«И отдал Богу свою маленькую душу».

Евангелие для меня всегда было средством не прийти к чему-нибудь, а предостеречься ото всего, кроме него.

Роковое заблуждение Ницше, будто наступило засилье интеллекта и надо спасать инстинкты.

Мое любимое междометие «увы», но я замечаю, что с последнего времени оно становится нецензурным.

Относят к числу бестселлеров злопыхательского толка.

Одна из самых неуважаемых мною добродетелей: догадливость и сметливость.

Вести звездный образ жизни, т.е. более или менее сиять, иногда падать и пр.

Не придавать этому никакого успокоительного значения.

Я люблю дебелых, я дебелогвардеец.

Вакханка-пулеметчица.

Надо все называть полностью. Например, Наримановскую улицу во Владимире называть: улица Наримана Кербалая Наджаф-оглы Нариманова.

И еще угораздило родиться в стране, наименее любимой небесами.

Поэтессы салонные, площадные, уличные, бульварные, скверные и подъездные.

Когда умчат тебя составы преступлений.

Жирный, как шрифт.

Можно извратить существо любого дела. Давайте мне любое существо любого дела — и я у вас на глазах его извращу.

Пришедший к абсолюту, т.е. с этих пор обреченный ни разу не поковырять в носу или почесать в затылке.

Постепенное превращение подкидыша в найденыша.

Мужчина с несущественным характером.

Колумб едет, едет и натыкается на Соловецкие острова.

Вооруженщина.

Слишком все это затянулось. Затянулось, как лобзанье.

Подошел к осине. — Дрожишь? С тех пор все? Ну дрожи, дрожи.

Как вспомнишь, что есть нечего, так смех берет.

Вот еврей — виноват в том, что он еврей. Француз заслуженно родился французом. А быть русским — это легкая провинность.

А она говорит: я люблю только социально-опасных мужиков.

Заметный рост банкротских настроений.

Почему я такой большой дядя, а веду себя, как маленькая тетя?

И как жаль, что у нее только две коленки!

Я, если мне заглянуть вовнутрь, напичкан экстравагантностями, но чудаком меня никто не назовет.

Вот какие мы разные. Крот погибает уже после 14-часового голода. Зато клещи могут по нескольку лет совсем не есть.

Ты, Вася, единственный предмет роскоши, который прошлой осенью в цене не поднялся.

Анекдоты: жених, чтоб развеселить публику на свадьбе, нахлобучил на голову чугун и не смог снять. Доставлен в больницу. Диагноз: «голова в инородном теле». (Было.) Вот и у меня так: голова на инородном теле.

«На волнах мистики» в «омут порнографии».

«Катя идет, как пишет. Одной ногой пишет, другой зачеркивает».

Правда, к тому времени из меня уже будет струиться песок, ну так что же, должно же из человека что-нибудь да струиться, пусть не из души, так хоть откуда-нибудь.

Они дышат мне в душу чесноком и чечевицею.

Меня еще спасает то, что каждый из них — один, а меня много.

В апреле, в больнице: один интеллигентик-шизофреник спрашивает ни с того ни с сего: «Вениамин Васильевич, а трудно быть Богом?» — «Скверно, хлопотно. А я-то тут при чем?» — «Как же! Вы для многих в России — кумир».

Баба должна быть совершенно натуральной: понятливой, но одновременно глупой и многогранной. Т.е. быть и тонкой, и толстой, и слепой. И двенадцатиперстной.

Я такой безутешный счастливчик в кругу этих неунывающих страдалиц.

Не хочу быть полезным, говорю я, хочу быть насущным.

Она по размерам и роскоши превосходит Версаль.

Я бы пропил все сокровища Оружейной палаты, оставил бы только булыжник.

Всю жизнь здесь лежу — но зато бесплатно — у врача спросил: сколько еще лежать? «Пока не подохнешь — бесплатно».

Хочу быть самым мыльным из всех пузырей.

Что ж, и я Россию люблю. Она занимает шестую часть моей души.

Я, например, считаю, что если на Францию правильно глядеть — то она расположена справа, а Германия — слева.

Почему это я должен быть приятным? Даже и в новой Конституции нет такой статьи — быть приятным.

Если и стрелял, то только глазами стрелял, если кто острое-доброе скажет. Если и вешал, то буйну головушку на грудь. И топил если, то горе свое в вине топил. И правду-матку резал, а больше никого не резал. А если иногда и насиловал — то разве что факты в угоду предвзятой идее. И т.д.

Междометия — самые старые из человеческих выражений, поэтому их надо уважать. «Ой» и «тьфу» намного старше Добра и Истины и следовательно почтеннее намного.

Бертран Рассел, побывав в России в 20 г., обратил, во-первых, внимание на ненавистнический догматизм в большевистских взглядах: «это сулит миру века беспросветной тьмы и бесполезного насилия».

(Рассел, «Практика и теория большевизма», 1920 г.)

Любимое кантовское изречение Фридриха II: «Умствуйте сколько угодно и как угодно, но пребывайте в послушании».

Чародейке пусть приснится чародей
С толстым пузом и с заклепочкой в носу.

Глядя на меня, у меня волосы встают дыбом.
А вот еще мнение о трагедии: «это издевательство над человеческим духом, вообще над литературой... Я бы в 5 минут такую сочинил» и пр.

«Нечего церемониться с иноземцами!»

ее, мою лапушку, тиснению предавали
К маленькой плачущей еврейской девочке надо обращаться так: «Ну, ты чего, Ревекка?»

Поступают охлаждающие суждения о драме («Вальпургиевой ночи». — *В. М.*): плагиат «Кукушкиного гнезда»; «этот человек внимательно смотрит программу «Время».

У меня хоть и серые глаза — но душа, душа у меня черноокая.

Лондонская «Times» 23 окт. 1917 г.: «Большевизм надо лечить пулями».

Всенародные летние лозунги 1985 г.: «Не дадим отнести зеленого змия в Красную книгу!» и «Белой горячкой по красному террору!»

В.Делоне «Портреты в колючей раме» (Ср. Терц «Голос из хора»). Блатные о Гамлете: «Тоже он, все на придурка косил, на шизика! Быть или не быть! Надо было сразу мочить короля, а то ходил, ходил, вот и доигрался! Не сумел толком за папаню постоять».

Ты становишься болтливым, Ерофеев, как всякий немой. Прекратить.

Я — сторонник труда безударного.

Меня спрашивают, почему я люблю цветы и птичек. Цветы я люблю за хорошие манеры, а птичек — за наклонность к моногамии.

«Богом не дадено — в аптеке не купишь».

О фатализме знать только по Михаилу Лермонтову, о метафизике по Хемницеру etc.

меня не лелеять надо, меня надо тетешкать.

Чем я занят в свободное время? Высеваю цветы, строю далеко идущие планы относительно АСЕАНа, муссирую миф о советской угрозе.

Почему она клюенчатая, а шурстит?

совершенствоваться в бескорыстии

О предсмертном жизненном кредо пасечника: «Всё в мире хуйня, кроме пчел. А вообще-то и пчелы — тоже хуйня».

Байкало-амурское иго и татаро-монгольская магистраль.

А вечером росистым
Даем отпор расистам.

И всё-то у них в ладонях. У Эдуарда Межелайтиса солнце в ладонях. У Мариэтты Шагинян «Столетие лежит на ладони».

Кто в тереме живет? Я, Венька-вахтер, на язык востер.

Простим угрюмство. Разве это
Сокрытый двигатель евонный?
Он весь — дитя добра и света,
Он псих и диссидент говенный.

Алё, это автобаза? — Какая тебе к хую, еб твою мать, автобаза? Это Министерство культуры.

Шутят: чукча — это состояние, русский — это судьба, грузин — это профессия. Еврей — это призвание.

Впусти меня в твою отверстию

Рабинович, вы член партии? — Нет, я ее мозг.

С небольшой душой, с деловой головой.

могильщики социализма

Да, да, и Христос говорил: не надо клясться, не надо неверморничать.

А как пойдешь в гости, возьми с собой что-нибудь искрометное: меня, например.

Пузо у меня никак не растет. Я должен получать пенсию за непузоспособностью. Пособие по беззаботице.

Китайский поэт Люнь Тяй.

А глас ли это народа? А фолькс ли это штимме?

В самом деле, подростковая глупость — не уважать всякий возврат, со школы вынесенное недоверие ко всякой реакционности («назад к Канту» — дурно, не зная ничего о Канте). Потом уже является относительность всяких vorwärts и zurück. И я бы с Фамусовым выпил. С Чацким бы не стал.

Это заняло у меня времени совсем немножко. 2 часа. Т.е. ровно столько, сколько длилась полтавская баталия-виктория.

Надломлены мои мечты, как говорил Валера Брюсов.

«Великий пост следует кончать ночью до куроглажения»

и родилась в смирительной рубашке

Ребенок имеет право на смерть, сказал Януш Корчак.

Гераклит Эфесский говорил о них: глазам и ушам этих людей не следует верить, «ибо они имеют грубую психею».

И еще Гераклит: «По какому бы пути ты ни шел, границ психеи ты не найдешь: столь глубок ее логос».

В ихних газетах братство компартий и пр. называют «чудовищной международной мафией».

Одно сочинение Плутарха так и называется: «О том, почему божество медлит с воздаянием».

Мне, конечно, легче сойти с ума, чем им. Я, например, увижу на карте Пакистана: там, где должен быть Исламабад — там оказалось Равалпинди, а там, где прежде было Равалпинди, увижу Исламабад — и все, я сбрендил. А они все даже не заметят.

Хоть и промерз, а все-таки иду и пою: «Вдоль да по садику, вдоль да по зеленому сизый молодец идет».

У Островского («Не все коту масленица»): «Нас с малолетства геройству не обучали».

«Божье слово слишком тяжелая роскошь,
И оно не для всякой души».
(Эренбург)

Она невзрачна, но целесообразна.

Вы — вы, а не богатыри.
А мы — богатыри, не вы.
Вы всадники без головы.
Вы Щепкины. А я — Куперник.

или, обращаясь к Мельникову:

Ты — Соловьев, а я — седой.
Ты — Иванов, а я — Крамской.
Ты — сер, а я, приятель, сед.
Ты — Мельников. А я — Печерский.

И тебе еще рано слушать речи Миттерана.

А я между тем начал спуск, вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование.

«Есть вещи поважнее, чем мир», — говаривал бывший госсекретарь Александр Хейг.

Ничего вальпургиево не было в наших ночах. Но вот варфоломеевщина — точно была.

Да, я пленный. Я пленник своих старых концепций.

«Достоинство человека — неприкосновенно. Уважать и защищать его — обязанность всех государственных властей» (статья Конституции ФРГ).

Впрочем, вот мысль: перевести целиком на русский Конституцию ФРГ.

Наш современник кардинал Баджо: «Господь использует нас, но Он в нас не нуждается» (о смерти папы Иоанна-Павла I).

Одна из первоочередных задач, говорил Юрий Нагибин, «психологически подготовить нашего современника к изобилию».

Все будет у всех. У каждого мертвого будет припарка. У каждой козы — баян, у каждой свиньи по апельсину, у барана — новые ворота.

Самое мое любимое из всех немецких слов все-таки «vorbei», мимо.

и всего несколько мыслей, но таких приземистых

Для 1-ой эмиграции — мы тернии, выросшие на развалинах России.

Когда с него живьем сдирали кожу, он только хмурил брови.

Их надо ошеломлять чем-нибудь совсем ни к чему не годящимся: например, в дни 11-ой пятилетки клясться в том, что каждая пятилетка будет 11-ой.

Никакой призрачности. Четкая программа. «Приезжай в Тибилиси, зарэжем на хуй».

Пушкин и Пугачев. И весь этот цветаевский маринад.

А сырники со сметаною я очень люблю. Больше, чем отчизну.

Как у Антихриста за пазухою.

На трибунах мавзолея выставлены были продукты земледелия и животноводства.

И вообще люблю совершать действия, несовместимые с моим статусом.

Безвозвратно ушли в прошлое те времена, когда меня не существовало.

И это не забыть. Станция Пояконда, 30-е гг. Начальник станции Гейденрейх, дежурный по станции Вас. Ерофеев.

Глядя на абрамцевскую кошечку, вылизывающую своего кутенка. А ты, Ерофеев, кого из своих ближних...?

А эти поганые мизантропы вот как глядят на осень: а ебал я эту осень, и в туман и в слякоть, и в золото и в багрец.

А будешь ли ты от грусти меня врачевать?

Стрельбище в Мытищах имени Жоржа Дантеса. Краковское высшее артиллерийское училище имени Лже-дмитрия I-го.

я удостоился тернового венца

В этом нет прелестности, а значит и искусительности нет.

Гуревич: если прикажет партия, буду иметь три подмышки. Но только как на это посмотрит партия?

Дессау. Ария торговки рыбой из оперы «Осуждение Лукулла».

Большая халда, а строит из себя этакую маленькую субрэтку.

Прекрасно у Тургенева: «Русский человек тем прежде всего и хорош, что он сам о себе предурного мнения».

Национальный герой Греции Недонеёбылос.

Я, конечно, не хочу вводить в заблуждение мировое общественное мнение, но... и т.д.

А мне наплевать на все потрясения, я сейсмостоек.

Какой-то мелкий диссидент-художник сказал: «Какая огромная страна Россия, и несчастий навалено на нее по размеру. Видно, такой ее жребий в мире — не жить самой и мешать другим».

Сальвадор Дали: «Разница между мной и сумасшедшим — в том, что я не сумасшедший».

Мы враждуем из-за несходства заблуждений.

Бисмарк: «Бог Всемогущий заботится только о младенцах, пьяницах и американцах».

ты холодец, студень ты

алкаш, играющий в каш-каш

Если б я строчил на них на всех донос, я б напротив Бориной фамилии Сорокин написал бы nota bene и sic.

покрывает, познает и топчет

Он самый строгий и самый длинный из нас, как литургия Василия Великого — самая длинная и строгая из всех литургий.

Старые индусы о пяти элементах мироздания. Пять элементов твоего мироздания.

Надо говорить: не пять элементов мироздания, а пять уголовных элементов мироздания.

Спустя столько лет — опять Анатоль Франс. Почему-то весь этот олимпический комплекс: невозмутимость, легкое и высокомерное сочувствие, ирония, красивость, etc. — все называлось «мудростью». Скверно.

Самый верный признак немудрого — бестревожность.

Глядя на гобелен:

«Узнаю блядей ретивых
По их вышитым коврам».

Заставить трудиться свое воображение. Например, если б ты был введен в семейство Ульяновых, какие книги ты утащил бы из библиотеки семьи Ульяновых?

Герцен говорил про Станкевича, что тот, «будучи серебряным рублем, завидует каждому медному пятаку».

У Якова Полонского все трогает, даже пустяковая рифма «косынка-блондинка».

В знак протеста против жесткости и бессмысленности бытия делаю разные буффонадные глупости («ваши сердца ослепли от вздора», «оглохли от мелкой дребедени») — днями и ночами сидеть на дереве, разговаривать с котом Вовой о каких-то непонятностях. Дебаты с котом. Нет, с черным пуделем. Давать неслыханные обеты.

В.Шкловский о своей героической жизни: «я соленый и тяжелый от слез».

Вот какое задание было у Эйзенштейна: «Путь Ивана Грозного был правильный, неправильны были только угрызения совести Ивана Грозного, которые помешали ему стать в памяти народа Великим».

занят самопочитанием

Некрасиво отстаивать прописные истины, их и без того ожидает триумф.

Это не музыка, это причитание по всему, что умерло

Мне нужно однообразие для избавления от скуки, пестрота зрительных впечатлений нагоняет скуку.

Архиповы. Союз богословско-философского трактата и неаполитанской тарантеллы.

Что будет, то будет. Обойдемся без предначертаний.

Почти всё почти благословляю.

Относительность всякого знания. 2x2 — сорок один, потом просветление и гигантский прогресс: 2x2 все-таки 13.

«Полярная звезда». Журнал Герцена и оперетта Баснера.

Не возвышать голоса, говоря с людьми. С Богом еще можно, но только в положении Иова.

Фаддей Булгарин, единственный из русских литераторов кавалер Ордена Почетного Легиона.

По Августину: единственное назначение знания и рационализма — «для ниспровержения неверия», для доказательства ложности того, что людям кажется истинным вопреки христианским догматам.

Вот еще разница между ними и мною: они говорят мало, чтобы не молчать, я мало говорю, чтобы не говорить много.

Ты мой хлеб и все мои зрелища.

Христос для них — дело №306, господин 420.

Это о блядях или не о блядях? У Дидро: «Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему количеству людей».

Еще не родился человек, который захотел бы меня укусить.

Советские пословицы: «Иконы да лампадки — темноты остатки». «Вера в Бога к земле гнет, вера в себя силы дает».

Следует исказить существо любого дела.

Не родись суетливой, а родись совестливой.

У меня со всеми своими органами — взаимопонимание и доверие, без мелких обидчивостей. Ср. как у них: не верят глазам, не верят своим ушам, «ноги не повинуются», «я сердце свое захотел обмануть, а сердце меня обмануло» и т.д.

Изобретатель мороженого — Александр Македонский.

Полуостровом сокровищ называют Таймыр.

Что в сущности дали нам арабы, кроме своих арабских цифр и — через Испанию — кастаньет?

Вот видишь. Меня называют одним из душевноталантливейших людей России, а ты меня шпыняешь, пиздюк малосольный.

А.Н. Толстой о своем великом однофамильце: он, мол, пишет блестяще, когда пишет о том, что он видит. «Но когда он пишет об отвлеченных вещах, он не видит, а думает. И если б он думал так, как думает товарищ Сталин, то, наверное, он не затруднялся бы во фразах».

Он рассматривал христианскую идею как очистное сооружение.

Опять о продуктивностях. Общая площадь художественных произведений Диего Риберы — 5 тысяч квадратных метров.

Нужна, как сказал Гораций, мера, — норма, как сказал Беллини.

Одно и то же надо вам твердить сто раз, как сказал мельник.

О нынешнем режиме. В погребе ихнем темно, в кухне темно, дверь ни одна не скрипит. Итак, глазки скорее сомкни.

Тяга изблядовавшихся и грехом изнуренных к длинноволосой пылкости моралистов. «Комплекс Магдалины».

И. Во. «Добро пожаловать в царство хаоса и вечной ночи».

На мне, длинном, как мачта, повисла, распущенная, как парус.

с принужденной грацией

Виктор Буренин, автор либретто «Мазепы».
Яков Полонский, либреттист «Черевичек».

Еще из всех необходимых минимумов — минимум желторотости. Если это и повредит, то только в житейском смысле.

Русское поле, березовый сок, аксессуары Инны Гофф.

И опять Тютчев. Иисус, если б ходил вокруг озера какого угодно, рыбарей-дураков, может быть, и увидел бы, а вот мусикийского шороха в прибрежных камышах... и т.д.

Лучшее, что я прочел в этом году — маленький рассказик И. Во «Коротенький отпуск мистера Лавдэя».

Сенека в письмах: «Несчастна душа, исполненная забот о будущем».

Об одном только я попросил Господа Бога — «в виде исключения» сделать это лето градуса на полтора попрохладнее обычного. Он ничего твердого мне не обещал.

Казахстанская степь. Уважение ко всякой необитаемости, ко всякому бездействию. Лишенности всего, кроме форм протяжения. Представ перед Господом, ей не в чем будет себя упрекнуть. А действуя, есть риск несколько раз сплоховать.

Сказал бы про тебя этот дурачок Аполлон Григорьев: «Ты Евы лукавой лукавая дочь».

Чего там развенчивать (меня, например) — вначале еще увенчать надо — увенчан ли?

Я сначала хотел быть кавалеристом. А теперь я знаю, кем я буду: я буду следить за пожарами, чтобы никто не вредил пожарам, чтобы принимать редкие меры против тех, которые тушат пожары. Хе-хе, лет пятнадцать назад эта мысль меня бы согрела.

Сначала воззвать к справедливости, потом к рассудку, или сначала к рассудку, потом к справедливости?

А вот еще коктейль: «Божья роса».

Ее взгляды на вещи за истекшие два года осунулись, стали поджарыми.

Права, которых следует добиваться: право на меланхолию, щегольство, бездуховность, etc.

Он пениться стал, переливаться и потрескивать

Идешь направо — дурь находит,
Налево — Брежнев говорит.

Какое омерзение не сама экзекуция, а то, что в нее вносится привкус порядка, точности и красоты.

Академик Шевырев превозносил до небес мелюзгу. А о Тургеневе и Гончарове — бездари. Лермонтов — самый ничтожный стихоплет и пр.
Ср. Надеждин и Греч о Пушкине.

Самый громкий и самый читаемый во Франции писатель 1850—60-х гг. — Понсон дю Террайль.

В книжном магазине: Сергей Орлов, Сергей Смирнов, Сергей Васильев, Сергей Викулов, Сергей Баруздин, Сергей Наровчатов.

Этак и любой крысенок будет бахвалиться, что побывал в постели княжны Таракановой.

Прежде на Руси в ходу было понятие «болванопоклонник».

люблю буржуазных писак

она отказывается от сочетания с ним, пока тот не изживет свои идейные заблуждения

Надя Крупская любила говорить: «Я не спец по стихам».

А потом — «станешь прахом, тенью и преданием» (Персий).

Если архитектура — застывшая музыка, то Дмитрий Шостакович сажает на Дворец Съездов химеры Нотр-Дама.

А.Н. Толстой в 1937 г.: «Мы поднимаемся все выше и выше к вершине человеческого счастья».

А.Н. Толстой в 1938 г.: «Кто старое помянет — тому глаз вон. Глаз вон вредителям, тайным врагам, срывающим нашу работу, — это уже сделано, глаз у них вон».

Из БСЭ, 1940 г.: «понятие буржуазного права. В советском социалистическом уголовном праве термин «политическое преступление» не употребляется» (статья «Политическое преступление»).

Германия. 1 мая 1934 г. Всенародно отмечается первомайский праздник, с вождями. По улицам и площадям проходят под звуки «Интернационала» с другим текстом. У всех на грудях — значки с портретом Гете, в обрамлении серпа, молота, черного орла и свастики, — значки, специально отчеканенные для масс.

«Дай руку, товарищ далекий», как сказал Сигизмунд Кац.

В ботанике есть понятие «полупаразиты».

Гильгамеш говорит царице Иштар: «Давай перечислю, с кем ты блудила!»

«Дьявол же раздул ее чрево воздухом и дыханием и иными вещами».

«Трагедия Анны Карениной сегодня уже пустое место, потому что колесо паровоза, под которое легла голова Карениной, для современной женщины не может разрешить противоречия любовной страсти и общественного порицания» (А.Н. Толстой).

Она отбросила меня, как Жорж Марше от бросил концепцию диктатуры пролетариата.

Не то, чтобы «без царя», а междуцарствие в голове.

Ломброзо: «дело не в чувственности, а в нравственном идиотизме».

Мысли, если и являются, не найдя за что зацепиться, соскальзывают туда, откуда пришли, не потревожив головы и не вспугнув душу.

По сообщению статистики, каждый тысячный человек на земле абсолютно глух (0,1%) — наполовину глухих в 4—5 раз больше.

А.Н. Толстой в апреле 1938 г.: «Наш советский строй — единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала».

Иди и миротвори, безрассудный!

Ну и что же, что безнравственна поэтесса? Кукушечка вот тоже безнравственна: свои яйца подкладывает и удирает. А кукует славно.

Я был в те дни «вирусом беспокойства», по терминологии Кёппена.

Плыви отсюда, бригантина! Плыви, раздувай паруса!

Вот как привораживают в Верхнем Пфальце: парень должен до крови оцарапать руку девушки лапкой зеленой лягушки, пойманной в день апостола Луки.

Высшей мерой наказания в государстве должно быть, например, такое: за обедом лишить человека положенного ему куска дыни или порцию бланманже уменьшить.

Моя профессия — тужить и кручиниться. Все дни должны быть черными. Ни одного нечерного дня.

Из циркуляра министра просвещения (XIX в.): «Для спасения благомыслящих не щадите негодяев».

свежие формы идиотизма, москвичи с уездным складом мышления

Павел I в ранней юности занят «нежными мыслями и «маханием». Возвратившись от фрейлин, говорит: «с такой-то вот начал махаться».

Гвардейцы задушили Павла I, потому что он не позволял им ездить в театры.

«На кого вы похожи в глазах всей Европы?» (Павел I, матушке).

Павел I, публично, прощаясь с митрополитом Платоном, посылает ему воздушный поцелуй.

Итак, я пережил уже и Робеспьера (36 лет) и Пугачева (33).

Гаутама стал Буддою в 37 лет.

Характерные лады японской музыки
инакабуси
миякабуси

Даже когда их много, я к ним ко всем вместе обращаюсь на «ты».

Свиньи.
Семейство нежвачных млекопитающих, отряда парнокопытных. Желудок простой, пищу не отрыгивают. Стадные полигамные животные. Всеядны. Встречаются на всех материках, кроме Антарктиды.

Эстет, обессилевший от эротических наслаждений.

Придать своим словам достаточную теплоту, и вместе с тем не переусердствовать.

Это такое страдание, что и смотреть на это было жестокостью.

Дж. Гарибальди называл своего осла Пием IX.

Ж.-Ж.Руссо: Любите детство, поощряйте его забавы.

Фон Папен посвящается в «рыцари плаща и шпаги».

Кстати об аскетизме:
Святой Исаакий принимал пищу только через день. Святой Паисий ел только по субботам и воскресеньям. Святой же Виссарион «иногда по 40 дней ничего не вкушал».

Св. Онуфрию, который 60 лет не стригся, волосы служили одеждой.

Св. Макарий Александрийский «садился в болото нагим и давал комарам жалить тело свое».

Св. супруги Андроник и Афанасия, двенадцать лет прожив в одной келье, ни разу не сказали друг другу ни слова.

Искусство теперь завязло, отяжелело и само глумится над собой.

этот мир корифеев искусства сплошь состоит из полупомешанных эксцентриков.

«обходительная музыкальная манера»

это возвышает меня, но не стимулирует

попотчевать его чем-нибудь комическим

решительно влюблен во все, запечатленное в звуке.

XIX столетие было, наверное, на редкость уютной эпохой, ибо человечество никогда с такой горечью не расставалось с воззрениями и привычками прошлого, как в наше время.

Из числа людей уклоняющихся, сторонящихся, соблюдающих дистанцию.

Шекспир в «Бесплодных усилиях любви»: «Клянусь Создателем, любовь безумна, как Аякс! Она убивает баранов, убивает меня, я — баран!»

а начиная с утра, приобщал ее к духовной сфере.

Я знаю ее и визуально, и акустически.

музыкальное кровосмесительство

Приподнимите мне веки!

Комичное, веснушчатое лицо — а в голосе корнелевский трагизм.

«Я часто слыхал, что стихотворению нельзя быть слишком хорошим, чтобы получилась хорошая песня».

Гиперборей, поющий шансонетки.

уже в XIX в. в ходу trillo carpina — трель, напоминающая блеяние козла.

Нужно, чтобы из твоей жизни можно было скроить хоть какое-нибудь либретто для оперы, пусть даже не lyrica и heroica, а просто buffa.

Ретроград из Петрограда.

Я не знаю своей Родины, но немножко ее избороздил.

«Я, брат, послан тебе в наказанье: я терн в листах твоего венца. Носи меня с почтеньем!»

Побег из тюрьмы. 58-14 статья. Квалифицируется как «контрреволюционный саботаж».

Не знает ни одного человека из родословной Иисуса, даже Давида царя, но знает пофамильно всех 26 бакинских комиссаров, от Шаумяна до Азизбекова.

Есть такая наука — герниография, т.е. описание всех существующих видов грыжи.

Никто не запил, и ничто не запило.

Бить ее надо «по долинам и по взгорьям».

«Я непреклонен в своих намерениях», как любил говорить Николай I.

«слова должны быть совокуплены с действием»
(Екатерина II)

«она навела столь великий ужас, что иные от страха умерли, а другие захворали».

Гитлер ни разу не нарушил Женевское соглашение о неприменении химического оружия.

Геббельс: «Война — самое красивое желание для каждого немца».

«Думай всегда о возвышенном, прежде всего о фюрере, и ты победишь» (памятка немецкого солдата).

Гитлер: «Вернемся к детству, станем снова наивными».

Гитлер: «Я благодарю судьбу за то, что она лишила меня научного образования».

Пушкин о своем камер-юнкерстве, только что услышав, в дневнике: «а по мне хоть в камер-пажи».

Загадка: зверь цвета сирени, видит сзади так же, как и спереди, и прыгает выше Спасской башни?

Обязанности. Если хочешь написать стихотворение, где должно быть «Христос воскрес», то надо непременно ямбом.

Я сам один и Моцарт и Сальери.

Всех переженить: смешных жеманниц на варварах, виндзорских кумушек на братьях Лаутензак и т.д.

О том, что много пью и пр. — так ведь, как говорили Каролина и Марина, это мое святое ремесло, моя напасть.

в этом обществе черноглазых и картавых

«Я его не впускал, а он, как Спиноза, у меня промеж ног проюркнул».

Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.

В Средние века сухая ладонь считалась признаком отсутствия темперамента.

А влажность ладони — признаком чувственности.

Донна Анна: Но знать желаю...
Дон Гуан: Не желайте знать.

Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как что-то на ё?

Бедлам учрежден в XIII веке.

Юридический термин: «Очередность удовлетворения претензий».

Похолодело в ногах и в сердце, больше нигде не похолодело.

«В СССР детоубийство носит исключительно редкий характер». (Юридический словарь)

не подражает, а покушается на идентичность

Вот еще — летать я совсем не могу и не умею. Ни на помеле, ни на крыльях песни. Etc.

Поглубже дышите, товарищи (утренняя гимнастика).

Приготовьтесь к вашему упражнению. Согните ноги в коленях, руки опущены.

Теперь начнем пружинящие повороты в стороны.

«подошел человек, тот, которому больше всех надо».

«Недоужинавши, если уснешь, обязательно жид приснится» (Записная книжка Гоголя).

маленькая, но требовательная, как забастовка.

дурачок неумный, псих ненормальный

Беру со всех взносы, а в сущности никому не нужен. Как профсоюз.

Мне некогда, я загружен, как доменная печь.

«О, это легко устранить!»

«Господи, наполни пустоту мою!»

Поэтом быть или не быть,
А гражданином быть обязан.

«Трансформация метаморфоз».

«во всех стихиях природы»

В 20-х годах отделяли будуарных дам от паркетных дам.

О пушкинских «Цыганах» одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек и тот медведь.

Когда разделяли Новую Гвинею Англия, Германия и Голландия, один только Миклухо-Маклай выразил протест.

Я теперь подлее стал в желаньях.

«чтобы не повадно им было совать свое свиное рыло в наш советский огород» (И. Сталин)

Мозгов трам-пам-пам-пам во мне не нашли,
Их нет и не будет на русской земли.
(Иван Сусанин)

Парнас — высота 2458 м.
Олимп — высота 2983 м.

низкопробность ценить выше всяких других качеств. С 17 г.

у нее пышная грудь и консервативная натура

Я ей кивнул его головой, подморгнул его левым глазом.

«Я бежал, но меня поймали собаки».

Крокодилы нападают главным образом на детей. Взрослых они почти никогда не трогают.

Аристотель: «Привычка находить во всем только смешную сторону есть самый верный признак мелкой души».

Ленин о христианстве: «Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость».

Он же: «Прежде говорили: «Каждый за себя, а Бог за всех», и сколько горя из этого вышло.
А мы скажем: «Каждый за всех, а без Бога мы как-нибудь обойдемся».

Изобретатели идиом:
Кисейная барышня — Помяловский
Лебединая песня — Эзоп.
Белая ворона — Ювенал.
Буря в стакане воды — Монтескье.
Время деньги — Б. Франклин.
Красной нитью — Гёте, Избранное средство.
Медовый месяц — Вольтер («Задиг, или Судьба»).
Государственная машина — Гоббс.
Пушечное мясо — Шатобриан.
Воздушные замки — Августин
Деньги не пахнут — император Веспасиан (сыну Титу, об обложении налогом писсуаров).

Одного годика не дали мне повегетативничать.

Никаких подъемов и спадов. Аллювиальная равнина.

принесла скверных грибов, т.е. играет в сальерчики.

«Повреждаются естества уставы».

Этот вечер у меня уже зафрахтован.

Не спиться б, няня, здесь так душно.

Мысль ее всегда напряжена.
Грудь ее всегда обнажена.

прекрати свои ламентации

Нагель — Дагни: «Я оттолкнул вас на тысячу верст».

«порожденные кургузой фантазией»

Натали Архипова:
«Когда тебя, Авдяшка вдохновенный,
Я застаю у Веничкиных ног...» и т.д.

«Почему вы недокушиваете, когда кушаете? Если уж вы решили кушать, то надо докушать».

пусть бесплотные, зато бесплатные.

Наша балалайка громче ихних фортепиан.

Или, как говорит Маяк, на нашей музыкальной волне программа «От ритма к ритму».

Алладин, Али-Баба, волшебная лампа и сорок разбойников.

Даже наши онежские былины записывает почему-то Гильфердинг.

Партизанский
Молдаванский
Собираю я отряд.

Рассказ. Страшный город Бобруйск. Невозможно разменять червонец, во-первых, потому что его нет.

Завещание: мой пепел разбросайте по Пекше, как пепел Джавахарлала над Гангом.

Умом Авдяшку не понять,
В Авдяшку можно только верить.

Непоправимый ты человек!

Тебе говорят, царь Навухудоносор, царство твое отошло от тебя (Даниил).

Мое головокружение от ее успехов.

Если дочь, то Домна. Если сын, то Мартен или Конвертер.

классовая борьба и кассовые сборы.

Хочется поплясать под чужую дудку.

Ч. Дарвин был последним учеником в своей школе.

Король вальса Штраус умер от простуды, которую подхватил, раздавая на улице автографы.

О, оставайся, дыши своими испарениями!

чем ты сейчас занят? собственными мыслями.

Мы, зачатые в январе...

«Невесело встречают Новый год миллионы людей, живущие в странах капитала».

Недостижимые непостижимости, например, сплясать как Майя Плисецкая, или как Стифен Нийл, африканец, съедающий в 10 минут 50 килограмм бананов.

Маркс о Бакунине; и вообще о русских: «московиты-оптимисты, осуждающие западную цивилизацию для прикрашивания своего собственного варварства».

Ты проскакал на розовом коне, а они шли привычной линией.

Корнеплод, а не друг.

«Девушка проходила по жизни, собирая цветы, опустив ресницы».

Коллектив имени Чиприана Парумбеску.

льстец, подхалим, с и к о ф а н т

«Я ли тебя не упреждала?»

Клавдия Коток и Мария Мордасова.

не первосортная, а второй сорт Б.

Воинственные мечты на Сретенке.

Наклонность к творчеству с розовых лет: рисовал мочою картины, прорезая желтым белый снег.

Есенин, утонул в 1925 г.

О Степанове: «какой клепильник разума угас!»

Ленин в Шушенском. Просторная изба 120 м. Пособие для ссыльного (от царя) — 8 руб. (фунт хлеба — 1 коп.). Теща и девочка Паша для хозяйства (1-я) и прислуги (2-я). Писание, гонорары, присылка книг.

«А Луначарского сечь за футуризм» (У — Ленин).

Человек должен быть как вода, говорили древние китайцы: в круглом сосуде — круглым и так далее. Попалась преграда — остановись. И теки все вниз, вниз, никуда больше.

Андрюша Архипов, хорошо темперированный.

все амулеты, все геммы.

Ни один композитор мира не покончил с собой и не умер насильственной смертью.

«и чтобы ничто не было извращено»

Не выпьем. Не пойдем никуда, чтобы на людей не смотреть и себя не показывать.

«Молодые девушки у лидийцев все занимаются развратом, зарабатывая себе приданое» (Геродот).

Задача у Аверченко: два теленка пробегают в час 8 верст. Спрашивается: сколько телят пробегут за час одну версту?

«Алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм его при полном сгорании дает 7, 18 калорий» (д-р Гертнер).

Обстановка и мебель. Чугунная ограда, сосновая кровать, пара электрических стульев, скамья подсудимых.

«Гадюки водятся на земле повсюду» (кн. 3, 109, Геродот).

«Букет Абзахии» — в народе это называется: подхватить одновременно триппер, сифилис и мандавошек.

современники называли Альбера Великого «всеобъемлющим доктором».

«довести слушателя до онемения и раскрытия рта» (Климент Александрийский).

Мы все только мореплаватели. А Мореходом был только Один.

И плечи у него, как у Женни Маркс.

Эней, между прочим, бежав из Трои, тоже несколько лет не имел определенного места «жительства» (выражение Саллюстия).

У Ключевского: «Говорят, собаки перестают лаять, когда видят человека, плачущего над могилой».

Щеки видать со спины, губы срамные, но лоб — сократов, но глаза — анютины.

Еврей: «такой унылый собеседник, что только сойти с ума и умереть!»

чудовищно утомительный мальчик.

Мальчик Люся: «А из этого одеяла можно сделать динамит?»

И не забыть этих матросов Магеллана, бегающих за крысами. Ползолотого дуката за крысу.

В дневнике Суворина: мужик, которого лечат от чахотки: «Напрасно стараетесь, с вешней водой уйду».

И еще совсем не старая. Она еще в самом разгаре.

Собака лает. Караван идет. Король забавляется.

О помешанности Бори: Господь готовит его на медленном огне, периодически помешивая.

Что ты, Ерофеев, больше любишь танцевать: кадриль или котильон?

В еврейскую копилку: Большая Советская Энциклопедия под редакцией Крицмана и Ротштейна.

«Я твой тонкий колосок», как сказала Инна Гофф.

Скиньте с меня кокошник.

Статистика России 20-х г.г.
Рост алкоголизма в СССР:
В 1924 г. выпито 850000 ведер чистого алкоголя.
В 1925 г. — 4 100 000 ведер.
В 1926 г. — 20 000 000 ведер.
В 1927 г. — 31 000 000 ведер.

Восточные люди так определяют достоинства дамских пупочков: сколько унций орехового (постного) масла можно влить в них.

и так взволнован, что с души воротит

То, что они называют «Liebe» etc. — у меня всегда локализовано. Форма крайнего вожделения, граничащего с маниакальностью.

Первыми, кто пропутешествовал вокруг света, были два еврея Беллинсгаузен и Крузенштерн, а вовсе не Магеллан, как принято думать.

Со времени смерти Паганини скрипка его лежала в Генуе и никто не имел прав притронуться к ней. Первый, кто добился сыграть на ней, был скрипач Б. Губерман.

Шатобриан, будучи с пирамидами совсем рядом в Египте, отказался взглянуть на пирамиды.

самый худощавый из всех апостолов — Иуда из Кариота

Тебя на пользу мне дал царь Небесный. На потребу.

бюст ее так глубоко уязвлял его сердце.

Эудженио Монтале: «коронное блюдо из риса с лягушками, чудо Милана».

И будешь ты царицей пира.

О домике в Болшеве:
А в обычные дни этот пышный подъезд осаждают убогие лица: прожектеры, искатели мест, и преклонный кретин, и вдовицы.

«Поврежденная шкура вдвое дешевле шкуры 1-го сорта»

Ну, так что же? И Самозванец влюблен в Марину Мнишек по уши, однако почитает за благо в глаза называть ее «глупой шляхтенкой».

Вот рекомендуемые русскому читателю книги (1911 г.):
«21 день среди гулящих женщин» (дневник неврастеника).
«Цветы страсти» (под черной юбкой).
«Торжество смерти» (любовь над мертвой).
«В аду страстей» (дневник содержанки).
«Бабник» (пикантные похождения холостяка).
«Холодность женщины» (способы возбудить в женщине страсть и сделать ее горячей).
«В вихре наслаждений» (записки массажистки).
«Дневник падшей женщины».

Глупый Реомюр. Разделил расстояние от таяния льда до кипения воды на 80, а не на 160. Поэтому, если ты подыхаешь по Цельсию (42), то по Реомюру ты уже подох и остыл — у тебя 33,6.

Все мыслью объять и все успеть совершить. Нагадить на вершине Килимакутаро, Фудзи, Гольхеппигена, Эвереста, Монблана и на обеих вершинах Эльбруса. Согрешить с черной кошкой, с собственной племянницей, с умирающим лебедем и с медными трубами.

Еврейская народная песня в стиле Кольцова:

Там, где я прошел,
Делать нечего.

Вот ответ сионистам:
«Я люблю свою землю. Музыка Птичкина, слова Харитонова».

И поеду, на чем угодно, хоть на вагоне, изобретенном Пульманом.

Лев Бронштейн-Троцкий, антинародный герой, антигосударственный деятель, антипартийный вождь, ветеран трех контреволюций.

Из каталога YMCA-Press. «Жития св. Мучеников Бориса и Глеба». «Приготовил к печати Д. Абрамович».

И всех евреев мне жалко-то, и того-то жалко? А Спинозу разве не жалко? Еще как жалко!

Вадя: рубля она мне не дала, но зато дала целую гамму нюансов.

У Вади все наоборот. Вначале он прошел мои университеты, потом пошел в люди, потом детство началось.

Боря Сорокин.
— У тебя не сердце, Боря, у тебя кровоподтек.
— Да. Пожалуй, что так.

— Не спорь со мной, Боря. Это спор румянца с зарею.

Остер ты очень. В речку тебя надо бросить, чтоб тобою чесались наяды.

Я убью тебя чем-нибудь, Боря, ты будешь и мертвым прекрасен.

А! Боря! Эта «грохочущая слякоть»!

Боря Сорокин, небесный тихоход.

Цитаты
Извини-подвинься (Гамлет)
Делов-то куча! (Гёте)
Ах, напрасно я влюбился,
На забор полез, убился (Франч. Петрарка).
Юбилейной вахте — ударный финиш (Рене Декарт).
Заебешься пыль глотать (Рене Декарт)

Анкета
Что ты больше всего любишь почесывать (затылок, пузо, подмышку, мошонку). Ненужное зачеркнуть.

Какого из Петек ты больше всего обожаешь? Петра I, Петра III, Петьку Чапаева или Петьку Чаадаева?

Н. Добролюбов уверяет, что Лермонтов написал «Выхожу один я на дорогу» «в минуты самого гадкого разгула, в борделе».

Потроха вдов и сопли сирот.

Судя по клинообразным письменам, в Вавилоне варили пиво за 7 тыс. лет до Р.Х.

и распускаются протуберанцы

«Перемени обстановку, поезжай в Италию», — говорят в таких случаях у Симоны де Бовуар.

Модная в 20-х годах песня «Прощай, активная работа. Прощай, любимый комсомол»

Добролюбов называл стихи Пушкина вроде «Я вас любил, любовь еще...» — «альбомными побрякушками».

Добролюбов это называет «сладенькими чувствованьицами».

Нас было много на челне,
Но мы мозгов не напрягали

Я беззаботный, я шаловливый,
Меня подонком все зовут

Мой прах разбросай над Гангом. Жене передай мой привет, сыну отдай бескозырку, лошадушек сведи к батюшке, с агрономом не гуляй, ноги выдерну.

И вот с этой прилипчивостью (приткнутостью) ничего не поделаешь. Какая первая ассоциация с Абеляром? Известно какая.

Лотос — олицетворение верности, мужества и чистоты. «Хо Ши Мин очень любил этот цветок» («Огонек»).

VI съезд писателей. 567 делегатов представляют 7942 члена.

Новгород, то же что Неаполь.

Гос-во Сан-Марино. Основная статья экспорта — почтовые марки (покрывает 1/3 национального дохода).

Русским духом пахнет. В скобках: Баба-Яга.

Когда бы грек увидел наши икры. Не ходи прощупывать икры наши девичьи.

Отметить 14 мая день рождения Израиля (1948 г.)

И Войнович, мешочком ударенный пыльным, как тропинки далеких планет.

Малахов курган. «Пьяный шкипер Малахов любил валяться там в кустах».

«Уважаемая редакция «Комсомольской правды», я очень интересуюсь гравитацией. Не могла бы «Комсомольская правда» ответить на интересующий меня вопрос: что нового в гравитации?»

«Ребенок — это ничто», сказал Бюффон.

Вымеряющий дозу по булькам: бульдозерист.

И вот: взгляните на очертания Каспийского, Черного, Аральского морей и т.д. Почему так или иначе? Можно было б расположить остроумней, и с большим вкусом сделать береговую линию и пр.

В него запустили, прямо в лицо, горячим блином, — он ушел в чулан и свихнулся от горя.

4-х стопный хорей:

> «Мы не сеем и не пашем,
> А валяем дурака». И т.д.

Иногда (как у Лермонтова в «Русалке») — переход:

> «Хуй цена тому поэту
> Кто пишет здесь, а не в газету».

А начало «А во вторник мне было совсем плохо».

А кончить так: «Теперь мне уже легче».

«весьма премудрый и легок ночами, аки пардус»

Феликс Эдмундович: «надо быть храбрым, как лев, и мудрым, как змий».

Феликс Эдмундович в Швейцарии: «Здесь хорошо, прекрасно... но эти горы... куда ни посмотришь, взор везде встречает препятствия... Кругом горы, и кажется, что ты отрезан от жизни, товарищей по дулу».

Дзержинский — Варскому: «Ах Адольф, я и сам против самоопределения, зачем оно победившему пролетариату?»

Прячась в траве, злобно, 1905 г., Прухняк о Дзержинском: «Он всегда вот так. Сначала поможет товарищу, а потом уже думает о себе».

«милая улыбка Дзержинского, от которой всегда было светло на душе».

О Феликсе Эдмундовиче в годы полового созревания:
«Его властно тянула к себе маленькая печатная машина, называемая «стукалкой».

Фотограф Шапиро попросил Щедрина улыбнуться, единственный раз в жизни — и это получилось. «Разве можно выставлять в публике такое чудище?» Щедрин улыбается во весь рот. «Выходило совершенно по преданию: «Зороастр улыбнулся только один раз в жизни — при рождении, — но эта улыбка была чудовищна».

Салтыков о переводе своих сказок во Франции: «им-то зачем? Для них это не интересно даже в значении курьеза».

Салтыков в письме: «Надо прокладывать новые дороги, а это и трудно, и противно».

гладкая, как взятка.

У Г. Серебряковой труднопроизносимое сочетание: «Маркс скончался».

Галина Серебрякова об Энгельсе: юноша Энгельс, любитель прогулок верхом, несколько раз попадал под ливень, «но одежда на нем быстро просыхала от избытка внутреннего жара».

Ты что, милочка, охуел с горя? Выпей стаканище — и пиздарики на воздушном шарике.

Эмпирический способ разливания вина у Вадика Делоне.

Я расправлюсь с тобой каким-нибудь метафизические способом.

Вот еще вид спорта: погоня за химерами.

1959 г. В китайских театрах идет пьеса «Обуздание дракона и покорение тигров» о трудовом энтузиазме горняков.

Нынче шутят так: спи, дитя, а то съест КПСС.

насыщенность звуковой гаммы

Исколочен был «до испущения духа».

И почему это (к вопросу о кобяковских упреках) я вечно должен куда-нибудь да эволюционировать. Я уже устал от крутых и утомляющих эволюций, хоть десять лет я имею права от них на заслуженный отдых.

Маленький «исправительный дом» на пути в академический поселок.

«Фрагментарность вселенной мне что-то не нравится».

а в это время послать в магазин несколько парламентариев, т. е. уполномоченных, т. е. аккредитованных, конечно.

Ну как, нравится тебе стонать под игом кровавых узурпаторов?

Стиль мышления Тамарочки — рококо.

Я родился там, где во всей моей Родине самые высокие морские приливы. Т.е. северная часть Белого моря. До 10 метров.

Добро еще, что у меня сохраняется устойчивость интересов.

А «Бороться и искать, найти и не сдаваться» — это строка из поэмы Теннисона «Улисс». Кто из нас вообще читал Теннисона, кроме леди Годивы?

Сначала прощупать, разведать, водятся ли у них деньжата и дадут ли их нам, короче провести рекогносцировку.

Амундсен. Отплытие «Фрама» летом 1910. Перед отплытием провозгласили здравицу королю и родине. Король и королева посетили корабль.

«все полярные собаки очень любят свою упряжь».

Меню: пингвины на сковороде и чайки в сметане.

«а на ужин тюлений бифштекс с брусничным вареньем».

«мы стремились сюда не только ради провианта».

Миловидным языком писаные дневники Стендаля.

А.Н.Толстой самыми сталинскими чертами в Сталине считает две: скромность и интеллигентность.

А самый любимый мой стихотворный жанр — фальшивки ЦРУ.

Леся Украинка, которую «очаровал суровый багрянец красных знамен».

«он пустил под откос 40 поездов на Пермской дороге и по совместительству работал шпионом в пользу Японии».

столкновение двух нравственных уровней: советского гуманного и капиталистического пещерного.

По поводу Курской дуги. «Немезида, — а по-русски судьба, — сложила из трех пальцев Гитлеру дулю под самый нос: накося-выкуси!»

Очень простые у мен гардеробные мечты: чтобы в потертой и застиранной гимнастерке у меня был партбилет.

Скажи мне, Беловежская Пуща, свою родниковую правду.

Дятел у Салтыкова-Щедрина, который 22 года «пил запоем и символизировал Академию наук».

«и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться со вдохно-

венным, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом».

«Мы — народ веселый. Но мы хотим, чтобы каждый новый человек, появляясь из материнской утробы на свет, получал путевку — на счастье».

«Дети, желаю вам всем учиться на отлично, это будет приятно нашему другу и учителю товарищу Сталину».

ну, не подавать же это как оно стоит, надо немножко фальсифицировать.

Алиса, по телефону: «На повестке дня у нас стоят парапсихологические вопросы, но не без социальных их аспектов».

Все мои силы, в частности, устремлены на восстановление своего военно-промышленного потенциала.

П.Перцов пишет Брюсову: «Знаете ли вы поэта Блока? У меня два его стихотворения — удивительно красиво и удивительно непонятно».
Брюсов отвечает: «Блока знаю. Он из мира Соловьевых. Он — не поэт».

Тлетворные физии, пагубные хари

самое хорошее для них: заправилы.

Я как Гитлер в 39 г. «избалован безнаказанностью и попустительством»

сижу с утра обреченный на провал

я, конечно, вызываю озлобление у врагов мира и прогресса

главное, что меня отличает, — поистине боевой трудовой настрой.

я полностью сфабрикован в Вашингтоне.

А вообще, если ко мне примкнет Дунайская конференция, я буду лучшим гарантом безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

Мой любимый из музыкальных коллективов — Образцово-показательный оркестр комендатуры Московского Кремля.

«Ваши статьи о половом воспитании способствуют укреплению воинской дисциплины»

(в журнале «Здоровье»).

«И почему меня мать скотиной не родила? Давно бы прирезали».

На террасе столько скопилось товаров, что можно везти их на верблюдах в Багдад.

У кого-то, не помню, писано о том, что в отличие от многих, русские не умеют восхищаться собой.

«Сложна, богата, миролюбива, талантлива славянская душа. Но не тронь ее!»

«Ну-ка, немецкие ребятишки, разом — поднавалимся, — и долой Гитлера» (март 42).

Обилие русских смертей в 41-42 гг. «Не легко Родине принимать эти жертвы. Затуманены скорбью прекрасные глаза ее» и т.д.

Президент Британской Академии Художеств Альфред Меннингсон рассказывает: они гуляют с У.Черчиллем и, между делом, Черчилль спрашивает его: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, поможете ли вы дать ему ногой в зад?» Тот ответил: «Разумеется».

Сталин как-то заметил: «Беспечность — идиотическая болезнь наших людей». И сам же стал жертвой этой болезни, недооценив подлость Берия. От той же болезни погиб и Берия, переоценив собственную подлость.

Единственные грехи Сталина — он был иногда вспыльчив, неровен, особенно в 41-42 г. И очень любил чай с лимоном и армянским коньяком (причем выдавливал лимон лично).

и холодна при этом, как Аскольдова могила.

Если бродяга к Байкалу не подходит, — Байкал подойдет к бродяге.

Радищеву говорят, что его «слишком восторженный образ мыслей уже раз навлек ему несчастия».

Максим Горький, в 31 г., в беседе с Вронским: «Вот Гамсун, коньяку пьет по бутылке в сутки, — а ему уже за 70. Завидно!»

Отъезжанты и прихожане.

Он обхватил ее так, как чувство гордости за Родину охватывает душу.

Ты почему, кошечка, мною манкируешь?

Вот как надо скорбеть. Курьез из сочинения школьника: «Герасим шел по берегу, опустив голову в воду».

А вот о переселении душ. Может, я когда-нибудь был птичкою? Почему меня тянет на север с наступлением лета?

Что я вам? Гей-Люссак какой-нибудь?

А вот еще, на вопрос: кем ты работаешь? — Фальсификатором истории.

Когда при мне убивают женщину, изнеженную, молотком по голове, я не могу смотреть на это без слез.

Бакунин называл декабризм «проявлением ребяческого фанфаронства».

она оказывала на меня стабилизующее внимание.

«От сильного расстройства я лежал в постельной принадлежности».

«Прошу освободить от воинской службы моего единственного источника».

Шел мимо старик и спросил у нее:
— Девушка, почему ты плачешь?
— Подруга мне шишкой глаз выбила.

И все тот же Нирайдак. Вот он как со своей красавицей-женой: «Положил ей тогда Нирайдак камень на живот, чтобы она есть больше не просила. А сам в тайгу ушел».

Вначале: «Жил-был одни эвенк. У него было три жены: одна любимая, другая красивая, а третья молодая».

В конце: «Схватил их эвенк, ударил друг об другу. Из них дух вон, и сам тут же помер».

«Мозги мои портятся, тоскливо мне, жениться хочу».

и много других товаров антинародного потребления

Ну, что ж, здорово, здорово, маленький разгильдяй, наушник Томочки, начинающий доносчик, юный разглашатель великих тайн.

Что это ты все молчишь да молчишь, как будто портвейну в рот набрал.

а я сижу на лавочке, такой свирепый и бездушный.

А предстоящих кошкиных детей решили назвать так: Катя Кабанова, персидская царевна, бедная Лиза, Ермак Тимофеевич, и Чапай (ну, можно и Дмитрий Писарев).

Она написала мне, что на днях умерла от тоски по мне и какие на ней были цветы в день ее похорон.

А кто тебе больше нравится: Вивальди или Гарибальди?

Что я, в сущности, люблю? Лютики, песни Блантера, портвейн и человеконенавистнические замыслы американской военщины.

Письмо Фадеева 54 г. к Арагонам начинается так: «Милая Эльза! Дорогой Арагон!»

У меня на ноге вскочила какая-то гмыря.

Бабочки ничего не едят, всю свою жизнь, т.е. всю свою двухнедельную жизнь. А только пьют. И то исключительно цветочный сок!

В голову пришли полторы-две мысли...

Да, это меня сразу воспалило.

Живу один. Так, иногда заглядывают в гости разные нехристи и аспиды.

Оказалось, что я воротила крупного международного подпольного синдиката.

На вопрос: что ей больше всего нравится в мужчинах, — она написала: сухопарность. И добавила: во всех отношениях.

Вот какие апофеозы в конце некоторых французских народных сказок: «Так нашел он, наконец, свою красавицу. И они на радостях задали пир на весь мир. На всех перекрестках стояли бочки с вином, по улицам бегали жареные кабаны с перцем и солью в ушах, с горчицей под хвостом и с вилками, воткнутыми в бок».

(«Французские народные сказки»).

Зачем мне сюжет? Был бы бюджет.

И — довольно балясничать.

Лоснится весь, сверкает, как лимузин какой-нибудь.

«Надо уважать гражданство каждого растения» (Эдельштейн, профессор Тимирязевской академии).

Вот уж как сойдут снега, введем на портвешок мораторий и...

Разве я потерял рупь-тридцать? Я потерял веру в человечество, вот что.

Я — человек, который за всю свою жизнь не испытал ни одного экстатического ощущения.

Попиваю, да, но ведь без всякой эскалации.

По радио обещают погоду: «от плюс до плюс семи».

но в голосе — директивные ноты

для надписи под чем-нибудь дарственным: Вовке от Венедикта Васильевича.

«Шапки прочь! В лесу дают пизды»

«Обнимаю небо потными ногами».

Запомнить: из всех цветов любимыми цветами Ильича были георгины, флоксы, душистый горошек и анютины глазки!

И все это покоится на нечистом основании.

Надо добиться того, чтоб писать ежедневно стало физиологическим отправлением.

Рассуждают у магазина Абрамцева несколько ханыг: «Усадьба. Говорят, кто-то знаменитый тут жил. Стасик говорит, что Ворошилов».

Родина винограда — царство Урарту.

Глядя на Люсю Старшинову — какой народно-хозяйственный эффект даст этот прокатный стан.

Ему все не по нраву, но при всем том смягченная форма противления, т.е. он на все кладет, но как-то без прибора.

А Гоголь говорил: «со словом надобно обращаться честно».

Оздоровить моральный климат

А он в это время, оказывается, беззастенчиво хозяйствовал в Пуэрто-Рико.

И вот котята слепые, но ведь через месяц будут видеть и в полной тьме.

Сижу на берегу пруда, такой длинный, небритый Алёнушек.

А все мое вино долакали мастера резца и кисти

Просто — ходил в лес исследовать апрель, каковы его свойства.

И, как говорил Верхарн, «ногти на ногах ее были стерты лобзаниями».

И вот так — всю весну, не зная роздыха, позабывши роздых.

Мой закадычный приятель, парагвайский диктатор Стресснер, обычно мне говаривал за табльдотом: «Укрепляй свои связи с ФБР, Веня, и будешь здоровым».

справиться, как обстоят дела и вообще — обстоят ли они?

Очень глупо, вместо Соловков летом отправляться в Севастополь. То же, что, зная о фиордах, ехать в Патагонию.

мальчик обоюдотупой

Я — человек вопиющий

Снова качаюсь, как пурга качается над Диксоном.

Помните, как у Эдгара По? Этот хмырь спрашивает у ворона: ты когда, ворон, пить завяжешь? А тот в ответ: НЕВЕРМОР.

Снимите шляпы, люди. Сникните, цветы. Кончайте пиздоболить, птички.

— А жена кем работает?
— Великомученицею.

Почему бы не выпускать конфекты с такими именованиями: «Кэмп-девидская сделка» или «Пентагончики».

Публика идет. Будь смелей, акробат.

А в Донбассе есть такая река: Мокрый Еланчик.

Каждый год все урожайнее, стали и проката все больше, производительность труда вырастает самым бешеным образом. Когда же все это кончится, маманя?

А не заняться ли мне конным троеборием?

«промеж нами ничего не было», как говорил Зощенко.

— А тебе, волюнтаристу, не налью.
— А что это такое: волюнтарист?
— А кто его знает? Да и никто не знает. Но тебе, волюнтаристу, я не налью.

Уже в 1970-м году, в мемуарах авиатора Яковлева:
«Глаза у Сталина — обаятельные, даже без улыбки, а с улыбкой — подкупающе ласковые».

Таких корифеев убивать надо, из вертолета. Вот только вертолета нет.

Когда я вижу ее в конце аллеи — у меня подкашиваются руки, а ноги сжимаются в кулаки.

У нас в стране наказуемый гомосексуализм, оттого что он наносит ущерб работоспособности людей. Лесбиянство же не преследуется, как такого ущерба не наносящее.

Вот как перевести на испанский «горький пропойца»? Почему горький? Вот «постоянно навеселе» — это очень переводимо.

По радио; каждый третий врач в мире — советский.

«Все больные небритые мужчины похожи на Иисуса Христа».

«Верблюд пьет очень много и долго, маленькими глотками, важно оглядываясь по сторонам».

Бойцы пишут письма домой, с поговорками: «Жду ответа, как соловей лета» или «Родила мама, не взяла сырая яма».

Оказывается, еще на тыльной стороне конверта они пишут (после «жду ответа, как»и т. д. — поперек пишут: «Шире шаг, почтальон».

просто у нее «слабая пропускная способность»

Завтра, 21 июня, нашей гидрометеослужбе исполняется 60. «Достоверность суточных прогнозов достигла 85%» (радио).

Настой из раздавленных гнид, да еще включая те гниды, которые пока еще не раздавлены.

Он путает даже Осоавиахим и Гамсахурдия.

Шагане ты моя, Шагане, в старомодном ветхом шушуне.

У меня от этого лезут на лоб мои экс-голубенькие, мои бесцветные шары.

«Много сорняка накопилось в Грузии, надо перепахать Грузию» (Сталин).

Для вас, девки, мир — кухмистерская и столовая, для меня — забегаловка и опочивальня.

74—81 г. Мое постепенное превращение из подкидыша в найденыша. Из прекрасного лебедя в гадкого утенка.

— Ах, Маша! — прибавил он (питерский извозчик) внезапно упавшим голосом. И, не выпуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицей на глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами — и уж более не произнес ни слова.

Хочешь, я пройдусь перед тобой на передних лапах?

Слишком современная девка. Мне-то больше по вкусу люди преждевременные или, напротив того, рудиментарные.

фашистские люди с мальчишеской искрой в глазах

если даже она и выскочит за какого-нибудь лягавенького, я все равно каждый день хочу охватить ее масштабы.

Я самый спокойный из лоботрясов, самый неунывающий из всех простофиль

Не трогайте моих очертаний.

Я на бочке сидю,
Слезы капают.
Никто замуж не берет,
Только лапают.

Когда я ее раскусил, яду там не оказалось, там была малина со сливками.

И слышал, как от зноя трещали ее недра.

Вильям Шекспир получил за своего «Гамлета» семь фунтов стерлингов — цена плаща актера, игравшего Полония.

Надо, чтобы ребенок читал только серьезные вещи, но думал при этом только о постороннем, так чтобы понять ничего не смог.

Доведение зерна до посевных кондиций.

Хрестоматия бенгальской прозы.

Коран рекомендует: «возноси хвалы при уходе звезд».

Страстью Суинберна было с удовольствием заглядывать в детские коляски.

Старинный американский романс «Возьми меня обратно в старую Виргинию».

Так! Недобрый дух во мне поселился.

Марко Поло: «Люди разумные, и знают по-татарски».

Шутки железнодорожников: «На половом довольствии».

Еще не родился человек, который захотел бы меня укусить.

«Боже, храни королеву!»
(глупейшую из королев).

Вот так и живу: докучаю и богам, и людям, и животным.

Не надо спешить с публикацией и обнародыванием чего бы то ни было. Ньютон, открывший всемирное тяготение, ознакомил с ним людей 20 лет спустя.

Следует исказить существо любого дела.

Не родись суетливой, а родись совестливой.

Лейбниц говорил, что все бедствия людей от неумения ясно выражаться.

У меня со всеми своими органами взаимопонимание и доверие, без мелких обидчивостей. Ср. «как у нас не верят глазам, не верят своим ушам», «ноги не повинуются», «я сердце свое захотел обмануть, а сердце меня обмануло» и т.д.

На станции Янгиюль. С дежурным проводником Уркумом Игамбердыевым.

Казахстан, плоская шутка усталого Господа Бога.

У них. Поза льва. Сесть, расставив коленки и впившись в них кистями рук. Слегка откинув голову, выронить изо рта язык до пределов возможного и выпучивать глаза. Средство от ангины.

Отправляющемуся в Тель-Авив: «Передай привет моей тетке, она в Канаде, если негде будет ночевать, можешь переночевать у нее».

Еще из всех необходимых минимумов — минимум желторотости. Если это и повредит, то только в житейском смысле.

Феномен заразительной зевоты.

Из писем Сенеки: «Давайте оставим эти хитроумные мелочи».

Больше Средняя Азия ничего не может мне предложить, и стоило ли ехать сюда, если ничего предложить не может?

Об одном только я попросил Господа Бога — «в виде исключения» сделать это лето градуса на полтора попрохладнее обычного. Он ничего твердого мне не обещал.

Александр Македонский в канун решающей битвы с Дарием спал так глубоко и долго, что утром его пришлось трижды и очень громко окрикнуть, чтобы тот проснулся.

Возьми на память из моих ладоней немного пуха и немного праха.

Он пениться стал, переливаться и потрескивать.

«Господин Кюхельбекер подвержен нервическим припадкам».

Она отказывается от сочетания с ним, пока тот не изживет свои идейные заблуждения.

Все дурные слова оканчиваются на «ма» (исключение «мама») : сума, тюрьма, тьма, Колыма, Хиросима, Коряжма.

Андрей Волконский о своей жене-еврейке и переезде в Тель-Авив: «Жена не роскошь, а средство передвижения».

Готтентотки кормят своих детишек, сидящих у них на закорках, перекинув груди через плечо.

бессовестное синкопирование и смещение акцентов.

Со мной в этом году всё случается такое, что у нормальных людей бывает только в високосные годы.

А знатоки конюшенного дела говорили о кобылах: первые признаки породы — поджарость ног, овальный круп и крутые бока.

А ставит она такие условия: чтобы ноги были волосатые и чтобы он во сне скрипел зубами.

Лишить тебя головы и на радостях проплясать с ней — комплекс Иродиады.

В защиту уединения: можно почесать себя у мошонки не вызывая нареканий.

А наилучшее из колдовских средств: семя слона, который был спугнут человеком в тот самый момент, когда собрался покорить слониху.

Древнекитайское: «От слез намокают завязки у шляпы».

Чтоб избавиться от комаров, следует разводить в водоемах рыбу гамбузию.

Сплевываю в канал им. Акопа Саркисова и лелею пустые надежды.

и сохну, как травы полей

Отцы наши ели кислый виноград, а у детей одеколон на столе.

инсектоубийцы мы

Высшей мерой наказания в государстве должно быть, например, такое: за обедом лишить человека положенного ему куска дыни или порцию бланманже уменьшить.

Моя профессия — тужить и кручиниться. Все дни должны быть черными. Ни одного нечерного дня.

У каждого на соломенном сомбреро пришито изображение Гваделупской девы, покровительницы Мексики.

Приколдовывание у цыган. Цыганка лепит из теста фигурку того, кто ей мил, на перекрестке дорог зарывает эту фигурку в землю — когда луна идет на прибыль — поливает это место водой и приговаривает при этом: «Петя, Петя — я люблю тебя. Ты должен гоняться за мной, точно кобель за сукой».

Композитор Титов, автор романсов, генерал, командир Финляндского полка, в числе романсов: «Кружится, вертится шарф голубой».

покрывает, познает и топчет

На все эти товары у меня каждый год снижение.

Заставлять трудиться свое воображение. Например, если б ты был введен в семейство Ульяновых, какие книги ты утащил бы из библиотеки семейства Ульяновых?

и привязанность к праху и тлену

Марина Цветаева: «Пастернак одновременно похож на араба и на его лошадь».

В двенадцати поприщах от Оружейных бань.

У Шкловского: «Смотри, сентиментальный щенок!»

Скажите мне, где мой одр? Где мой одр благоуханный?

Может, кто-то умастит меня елеем? Нет, никто не хочет умастить меня елеем.

А в самом деле? Зачем мне умащаться елеем? Так много славных. И сходили в могилу, так ни разу и не умастившись елеем.

женщина ультравысокой чистоты

не белого цвета, а белобандитского

Любить в этом мире следует только Бога, душу и мать.

Дождь хлестал во Владимире 7 дней и 7 ночей. Я спасся и те, кто со мной на моем челне. На 13-й день показался из-под воды шпиль: горкома комсомола.

Шекспир о ком-то: Купидон уже хлопал его по плечу, но еще не трогал его сердце.

Графит. «Жирен на ощупь. Пачкает руки» (минералогия).

и как приятно быть совершенно непрозрачным.

и стерильна от всякого обаяния

я бабоупорный

Занят самопочитанием

Здесь так хочется спать от вина, что рассказываешь, например, анекдот о Чапаеве, скажешь «ча», а «па» уже не успеваешь.

Бить депутатов Верховного Совета можно, они боли не чувствуют.

Эддингтон говорит, что для разумного ученого вера в Бога стала возможной с 1927 года.

Законодатель и диктатор литературного вкуса Ефим Давыдович Зозуля

Не спится только ветерану.
Ночь растревожила в нем рану.

Он лег на нее, как раздумье на чело ложиться.

Возбудитель чумы — мучная палочка; бочкообразной формы, закругленная со всех сторон. Характеризуется незначительной устойчивостью.

У Антона Чехова: «Чем человек глупее, тем легче его понимает лошадь».

История терроризма от Юния Брута до Фанни Каплан.

«нетелесный недуг» («Джатака»)

Это не музыка. Это причитание по всему, что умерло

Погода не нравится оттого здесь, что очень проста и понятна. Полная застрахованность от всяких неожиданностей.

хоть как-то оправдать эту восторженную аттестацию

Прохладительная палата во дворце фараона.

Вот и Будда: советует смотреть вперед лишь «на сажень».

Все эти глупые бхикту собираются в зале дхармы, беседуют, сосредотачиваются и размышляют.

Что будет, то будет, обойдемся без предначертаний.

Относительность всякого знания. 2 x 2 сорок один, потом просветление и гигантский прогресс: 2 x 2 все-таки 13.

Если бы Господь Бог повторил потоп и спросил бы, кого оставить, я бы сказал: «А вот есть такая девка, толстая etc.»

желтолихорадочный комар

«одинокий монах, бредущий по свету с дырявым зонтиком».

У меня осталось еще 5-6 усилий. На чем бы мне их сконцентрировать?

Энтомология так говорит о скорпионах:
«Во избежание неприятностей лучше умервщлять их на месте, опустив в 70-градусный спирт».

в самом дубовом, в самом склеротическом смысле слова.

некрасиво отстаивать прописные истины, их и без того ожидает триумф.

великие виолончелисты: профессор Московской консерватории г.Козолупова

Сказки старой бабушки. Мимолетности наваждения. Сарказмы.

«Но скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям?»

Пустите детей приходить ко мне.

И возбуждать улыбки дам
Огнем нежданных 200 грамм.

невразумительная баба

он рожден для подмостков, они — для панели

Я люблю этот край, как любил Дальний Восток Рувим Исаевич Фраерман.

Из цикла Мои стишки.

Догорает свечка,
Спи, товарищ Гречко.
(муз. Тихона Хренн.)

Обманули Пильняка
Молодчаги из ЧК

Единственный российский отклик на начало войны в 39 г.: Президиум Верховного Совета ввел семидневную рабочую неделю.

У кулинаров есть термин «дефрострация», т.е. размораживание.

Конечно, здесь немножко прохладнее, чем на островах Бахрейн...

Поговорка, услышанная за чаем: «С нами Бог и два китайца».

О керамических изделиях говорят: «высокопустотные».

Как к лицу им было быть «рикши» и «кули».

По свидетельствам: мужик должен быть свирепым, волосатым, кривоногим и вонючим.

Кто-то у Симоны де Бовуар говорит: «Я циклотемична». То есть женщина, подтвержденная циклической резкой перемене настроений.

В переделах русских народных сказок: «Направо пойдешь — помрешь. Налево пойдешь — жить не будешь. Прямо пойдешь — жизнь потеряешь».

Не форси, форсун паршивый.

Я в 48 г. Удивляюсь, как пропустили и почему не сажают, — слышу песню «Наши бедные желудки были вечно голодны».

У Ломоносова славный термин: не единение антиподов или еще как-нибудь, а: «сопряжение далековатых».

Высадил ее из такси, так локтем высаживают стекло.

ты схлопочешь по ебалу, ненаглядный мой, слова Риммы Казаковой.

Пусто и бестолково. Пух не летит из уст Эола. Мышь не дуется на крупу. Соловей лета не ждет.

Я чем-то таким подернут. Но чем я подернут?

Ты одним своим рублишком можешь боль души моей уврачевать.

И солнце никогда не заходит, как в державе Филиппа II Испанского.

«Но васильки — ведь это сорняки,
Они вредят успеху урожая».
(оперетта Дунаевского «Сын клоуна»).

С тех пор все переменилось. Крести козыри у нас, черви были в прошлый раз.

Чукчи называют себя не чукчи, а «луораветлан», т.е. «настоящий человек». Все остальные — не настоящие.

Милейшее гос-во Непал. 11 мил. человек. В Катманду, с помощью Советской власти, сооружен госпиталь на 50 коек.

Япония. 1 января 46 г. император Хирохито официально отказался от титула «божественный».

Ты не человек, ты инвентарь, ты камчатский бобр.

«Постепенно страна Комсомолия
Открывала мне тайны свои».

2/VII. Серебрянка. Она кричит ему через дорогу: «Иди домой! Ты мой и я твоя. Домой, а не то пизды вломлю».

10 тысяч ахейцев пиздой чавкнули.

Этот год хорош уж тем, что отбросил копыта последний генералиссимус на свете.

гляжу на птичек-черноголовок «с чисто материнской прозорливостью».

Музыка, вообще-то говоря ничего, так, среднего радиуса действия.

Леся Украинка, которую «очаровал суровый багрянец красных знамен».

«да, мы умеем воевать, но не умеем и танцевать».

Письмо 02 г. пылкого поэта Чехову: «Берегите себя» Живите для громадного дела будущего! Вы нужны и полезны как мстители за погибающих!»

Лучше уж так: покойный Чехов, июль 1904 г., приезжает в вагоне, на котором крупно «Вагон для устриц».

я, конечно, вызываю озлобление у врагов мира и прогресса

От «Чому я не сокил, чому не литаю» до «Хорошо быть кисою, хорошо собакою».

И даже, слушая «На Муромской дорожке» прикидываю, во что обойдется повалить эти три сосны, обрубить сучья, перепилить «Дружбой» на полуметровки.

Невинноубиенный Кеннеди, оказывается, из всех напитков предпочитал пиво и водку с томатным соком.

Любимый лозунг Махно: «организованная недисциплинированность».

Это было еще тогда, когда сегрегация была обычным явлением.

а я сижу на лавочке, такой свирепый и бездушный.

У Горького: юный Павел Власов говорит матери: «Другие пьют — и ничего, а меня тошнит». («После бурного припадка рвоты»).

Фрунзе, на вопрос анкеты, какие он знает специальности?» — написал: «Столярное дело и военное».

В Британии вот уже скоро 100 лет как очень любят П.П.Чайковского и называют его «благозвучнейшим».

В XIX в. Оксфорд пожаловал свои ученые степени Г. Александру I и Ивану Тургеневу.

«фамильные последствия этой перепалки»

Ото всего громадного мира флоры грибы отделяются тем, что — единственные — не содержат хлорофилла. «Обойдемся без хлорофилла».

Еще о грибах. Они делятся на 3 категории: симбионты, сапрофиты и паразиты. Симбионты: белые, маслята и пр. Сапрофиты: сморчки, строчки, дождевики, шампиньоны. Паразиты: трутовики, опята.

Она — моя экономка и ключница.

Классическая формула знаменитого русского всеведения: «Что ж тут непонятного? Наливай да пей».

Вот и поплыли три моих серо-белых кошечки, у одной — солдатик, у другой — баттерфляй, у третьей — кроль с выебончиком.

И вот так — всю весну, не зная роздыха, позабывши роздых.

всего-навсего «мне хотелось получить стаканчик водки из прекрасных рук».

Невозвращение Максима

Снова качаюсь, как пурга качается над Диксоном.

Вот еще: любимцем семьи Пушкиных был отнюдь не Александр, а младший — Лев.

«промеж нами ничего не было», как говорил Зощенко.

все движения его мысли стремительны и неверны

и вообще — он человек сфабрикованный

Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.

Анкетный вопрос «Был ли в плену ложных иллюзий?»

Грибоедов — Нине Чавчавадзе-Грибоедовой:
«Помнишь, как я тебя прижимал, а ты, дружка, раскраснелась, я учил тебя как надобно целоваться»

Как молоком облитые, параличом разбитые.

Манера говорить у коми:
— Кто там ходит?
— Какой-то хуй там ходит.

«Мальчик Маркс был неутомимым на выдумки и очень шаловлив. Он не раз запрягал девочек, как лошадок, и бегал с ними по песчаной дороге».

Давайте весь вечер будем спорить, какая нация богоизбраннее: эскимосы или эвенки? Коряки или юкагиры?

Народ говорит: «К делу! Хватит жопу морщить!».

Был наездник, лихач, пьянь, забияка, блядун, сорвиголова — короче, все эскадронные добродетели.

Больше в этих местах меня не видели. И в других местах — тоже не видели.

Почему бы тебе, например, не обзавестись вот чем: поверхностными воззрениями?

— Интуёбочка меня выручила.
— Инту — что?
— Инту-то-что-слышала.

Погоди немного. Вот только зашпилю волосы и подоткну подол.

Пилот в Серебрянке — в Мурмаши: «Запишите посадочку». Или: «Как там на Серебряночку прогнозик?»

И повернулась так, что дух захолонуло.

Герпетологи (змееведы) говорят, что к змеям нельзя подходить взволнованным, — они от того делаются более агрессивными.

Неукротимый архитектор Витберг, опростоволосившийся с Дворцом Советов, воздвиг МГУ.

Звезды, оказывается, делятся на обычные, новые и сверхновые.

8-го, на обратном пути, в автобусе: «Как надо писать Мадонна — с одним или 2-мя н?» — «С двумя, это старославянское слово».

В коллекцию поэтесс: Алла Стройло.

Новый способ выпрашивания пива: ходит с таблеткой — запить таблетку.

В итальянских народных сказках: «И вот захотелось королю отдохнуть от своих королевских забот».

Там же: «но, клянусь бородой Магомета».

И, как женщины, все струятся да струятся. А для чего струятся?

Уже лишившийся рассудка Батюшков постоянно спрашивал себя: «Который час?» и постоянно отвечал себе самому: «Вечность».

Единственное, что бы им хотелось посадить из древонасаждений — дубовый частокол.

«видеть мир лихорадочно-воспаленным взором».

Помятый вид Риббентропа на процессе. «Ничего, отвисится».

У виноградарей, виноделов и пр. есть понятие «благородное гниение».

Кто я? Московская особа я.

По постановлению Главискусства фильм Довженко «Земля» снимается с репертуара до устранения кадров с голой женщиной и пуском в ход трактора.

Я студенею, девушка, залей в меня антифриз.

Что бы ты больше хотел иметь: гангрену или латифундию?
Лучше маленькая латифундия, чем большая гангрена.

Статья в сельскохозяйственной энциклопедии: «Свистящее удушье лошадей».

И даже не знаешь, где проснулся. В лесах или на горах? В вишневом саду или в дворянском гнезде? В тихом омуте или на сопках Маньчжурии?

И пусть цесари цесарствуют.

Какой же циркуляр без доктрины?

Я удавился бы с тоски, хотя б хоть чуточку.

Ты видела, девка, художественный телефильм «На руинах любви?» Так вот, ты хорошо сидишь на этих руинах.

Тебя надо в речку бросить, чтобы тобою чесались наяды.

Дилемма: лежать-ночевать в болоте с лягушками или в крапиве.

А город у нас большой. А смеху было еще больше. Сорок тысяч пупков развязалось.

Хорошее начало для грустной кантиленной элегии: «Континентальная блокада!»

Сидит, будто янтарем подернутый.

И мое неотъемлемое право распоряжаться своими ресурсами.

Это не для меня, это для менее сложных натур.

Россия ничему не радуется, да и печали, в сущности, нет ни в ком. Она скорее в ожидании какой-то, пока еще неотчетливо какой, но грандиозной скверны, скорее всего возвращения к прежним паскудствам. Россия — самая беззащитная из всех держав мира, беззащитнее Мальты и Сан-Марино. Можно позавидовать Великому герцогу Люксембургскому Жану, но завидовать Мишелю Горбачеву никому не придет в голову.

О взаимной приязни партии и народа много говорить не приходится. Один мой приятель, отец трех малолетних детей, — когда узнал в семьдесят не помню каком году о крутом повышении цен на шоколадные конфеты, какао и пр., с удовольствием потирая руки,

взволнованно ходил из угла в угол и все повторял: «Так им и надо! Так им и надо!» Не детишкам, разумеется.

Начиная с весны 85 года мне отчего-то становится все лучше и лучше с каждым днем. На мой взгляд, пока еще не поздно, пора снова начинать деградировать.

Что Вам приходится в 89-м г. делать чаще: плакать или смеяться? — Ну, я почти всякий день нахожу достаточно поводов и для того, и для другого. Сегодня, допустим, хохотал над перепиской Максима Горького. Уже автор «Если враг не сдается...», он пишет деловое письмо маститому французскому литератору, симпатизирующему Российской компартии: «Дорогой учитель и друг!.. и т.д.». А тот отвечает Максиму: «Дорогой друг и учитель! Я получил Ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами, и, читая его, я как бы бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами Ваших мыслей, уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий».

В самом деле, никого нет более прозрачного и беззагадочного, чем русский.

Покажи палец — рассмеется, помани — пойдет, ткни — и развалится.

В этом мире честных-честных людей что делать мне, любящему говорить неправду?

«ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ, – БЕЗВОЗВРАТНО»

ИНТЕРВЬЮ

«СУМАСШЕДШИМ МОЖНО БЫТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ»

С писателем беседовал Л.Прудовский

— Родился в 1938 году, 24 октября. Родители были грустная мамочка и очень веселый папочка. Он был начальник станции. Он все ходил и блядовал, ходил и блядовал, и, по-моему, кроме этого, ничем не занимался.

— *А мамочка?*

— А мамочка переживала.

— *Тут запереживаешь.*

— Еще бы, ебена мать. И вот папенька блядовал, блядовал, блядовал, блядовал и доблядовался до того, что на него сделали донос. И папеньку в 38-м году, когда я родился, только и видели. И действительно, папеньку мы увидели только в 54-м. Естественно, по 58-й статье. Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол.

— *Честно говоря, трудно представить, что были люди, которые в открытую ругали советскую власть.*

— А почему бы и нет — на этой маленькой станции, да еще в поддатии. На станции Пояконда в районе Полярного круга.

— *А куда ж его сослали из-за Полярного круга?*

— В том-то и дело — в Крым.

— *Действительно в Крым?*

— Шутка. Его сослали всего-навсего на 12 или там на 10 тысяч километров к востоку.

— *Значит, ты рос безотцовщиной? И вы так с мамой и прожили на этой крохотной станции?*

— Нет, меня перетащили в детский дом г. Кировска Мурманской области, и там я прозябал.

— *А маменька-то куда делась?*

— Маменька сбежала в Москву.

— *И тебя бросила?*

— Да.

— *А с какого момента ты себя помнишь?*

— В средней школе я уже писал. Сочинения.

— *А самые первые в жизни ощущения?*

— Самые первые воспоминания почему-то самые траурные. Покойная мать сказала всем старшим братьям и сестрам — подойдите к кроватке и попрощайтесь с ним. Со мной то есть.

— *Почему?*

— А все — врач. Он сказал: пиздец. Очень, очень умный врач. Это был 41-й год, значит, мне было два с половиной года. Очень умный врач.

— *Значит, в школе ты учился в детском доме. И, конечно, самые светлые воспоминания?*

— Ни одного светлого воспоминания. Сплошное мордобитие и культ физической силы. Ничего больше. А тем более — это гнуснейшие года. 46—47-й. В сорок седьмом, например, доходили слухи, что в Мурманске мясо продают на рынке, но в этом мясе находили человеческие ногти.

— *Я помню, правда, это уже было в 50-х и в Москве, так вот, ходили слухи, что из детей варят мыло.*

— Короче, все это невыносимая мудозвонщина, и я твоим слухам не удивляюсь ничуть.

— *Веничка, а амнистию 1953 года ты никак не запомнил?*

— Очень запомнил, потому что я в это время учился в 8-м классе, а весь Кольский полуостров был переполнен этими лагерями, одним словом, мы больше видели колючей проволоки, чем чего-нибудь другого. И до 10-го класса. И вдруг их отпустили. И тут скверный, дурашливый народ пустил слухи... и в самом деле, вот эти отпущенные на волю — как их тогда называли, бандиты, — они действительно вели себя не лучшим образом, но этот слух был настолько искусственно раздут, чудовищно раздут в 53-м году, я тогда переходил из 8-го класса в 9-й, вот это было время на Кольском полуострове совершенно чудовищное. Во всяком случае, мать нас загоняла в дом с наступлением сумерек, а ночи там осенью наступают сам понимаешь когда.

— *Значит, мамочка к тому времени вернулась?*

— Вернулась. Я в детском доме учился до 8-го класса.

— *И как ты ее принял?*

— Ну что, мать. Иначе она не могла.

— *Веня, а ты в детдоме был среди тех, кого били или — кто бил?*

— Я был нейтрален и тщательно наблюдателен.

— *Насколько это было возможно — оставаться нейтральным?*

— Можно было найти такую позицию, и вполне можно было, удавалось занять вот эту маленькую и очень удобную позицию наблюдателя. И я ее занял. Может быть, эта позиция и не вполне высока, но плевать на высокость.

— *А сочинять ты начал в детдоме или уже в школе?*

— Начал еще до поступления в школу.

— *И что же ты в таком нежном возрасте сочинял?*

— «Записки сумасшедшего».

— *Кто же был сумасшедшим?*

— Ну, я, конечно.

— *Что — в шесть лет?*

— А сумасшедшим можно быть в любое время.

— *Каково же это — в шесть лет ощущать себя сумасшедшим?*

— Очень интересно.

— *То есть ты себя так ощущал или создал такую маску?*

— Разумеется, маску. К сожалению, эти глупые матушки — они ничего не сохраняют. Вот молодец моя сестра Тамара Васильевна, которая сохранила все мои письма с 55-го года до 88-го. Вот это она молодчага. А первая теща вообще ставила на мои рукописи сковородки с разной хуетенью.

— *Веня, а ты не можешь сейчас вспомнить содержание этих записок?*

— Это знает только одна моя матушка. Убей меня Бог, не помню. Первое осмысленное писание началось с 56-го года, тогда, когда я кончал 1-й курс МГУ. Вот тогда началось то, что я бы сейчас немножко уделал, немножко бы...

— *А оно сохранилось?*

— Сохранилось. Но я попросил человека, у которого это все лежит — это пять толстых тетрадей, — чтобы он до моей кончины не издавал.

— *Хорошо ли это, Ерофеев?*

— Хорошо. Потому что там так много того, что не годится, так много непечатного, если так, по-русски говорить...

— *Непечатного по языку или по стилю?*

— Все эти дураки — Алешковские, Лимоновы — они плетутся в хвосте, да причем еще в двадцатилетнем хвосте...

— *А кто-нибудь, кроме того друга, это читал?*

— Нет, не читали. Однокашники, правда, читали...

— *То есть нельзя сказать, что это оказало какое-то влияние на Лимонова и Алешковского?*

— Упаси бог! Просто это хронологически опережает, но никакого влияния...

— Вернемся назад. После 7-го класса ты уже учился в обычной школе?

— С 8-го по 10-й я уже учился в общей школе.

— Большая разница?

— Большая. Но я ее одолел. Представь себе, у нас был 10-й «А», и 10-й «Б», и 10-й «В», и 10-й «Г». Я учился в 10-м «К» и единственный из всех десятых получил золотую медаль. У нас были дьявольски требовательные учителя. Я таких учителей не встречал более, а тем более на Кольском полуострове. Их, видно, силком туда загнали, а они говорили, что по зову сердца. Мы понимали, что такое зов сердца. Лучшие выпускники Ленинградского университета приехали нас учить на Кольском полуострове. Они, блядюги, из нас вышибали все, что возможно. Такой требовательности я не видел ни в одной школе потом.

— Может быть, это и дало тебе такую образованность?

— Возможно, возможно.

— Ерофеев, ты — широко образованный человек. Я сомневаюсь, чтобы у родителей была хорошая библиотека, сомневаюсь, что и в детдоме она была, и в школе...

— Я наблюдал за своими однокашниками — они просто не любят читать. Ну вот, скажем, есть люди, которые не любят выпивать. Поэтому выделиться там было нетрудно, потому что все были, как бы покороче сказать... ну, мудаки. Даже еще пониже, но — чтобы не оскорблять слуха... Таков был основной контингент. А когда я кончал 10-й класс, в это время на Ленинских горах воздвигли этот идиотский монумент на месте клятвы Герцена и Огарева. И я решил туда к нему припасть. Я Герцена до сих пор уважаю...

— За что же — не за то ли, что он был одним из диссидентов?

— Я когда читаю переписку Маркса с Энгельсом, всякое дурное слово об Александре Герцене мне прямо душу щекочет. Я уважаю его не за диссидентство, а за то, что он — блестящий мыслитель и блестящий человек, и его любят все, в этом сходятся все, начиная от Кайсарова до Аверинцева, от Айхенвальда до Эйхенбаума. Если в отношении Радищева есть маленький спор, то Александр Герцен не вызывает возражений. И правильно делает, что не вызывает.

— И у тебя — при твоем критическом уме?

— И у меня не вызывает. Я вот недавно прочел второй том, настолько молодчага парень, что разеваешь... все разеваешь.

— А как же Петр Чаадаев?

— Что говорить о Петре Чаадаеве, когда его только-только

издали. А этот мудак Урнов говорит, что есть произведения, которые набальзамированы долгостоянием, неиздаваемостью. Он, мудак, хотя бы взял в образец Радищева или Александра Грибоедова, Петра Чаадаева — неужели они настолько живучи, что набальзамированы? Долгим запретительством — как он говорил: что есть произведения, набальзамированные долгим запретительством, а иначе их бы не читали.

— *Как ты относишься к такой поразительной в российской истории вещи, что такой верноподданный человек, как Александр Грибоедов, стал выдающимся сатириком? Написал такую блистательную сатиру на весь строй, как «Горе от ума»?*

— Мало того: он еще дружил с самыми подоночными людьми в России, и это, как говорит советская власть, ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет, что он был большой друг Николая Греча и Фаддея Венедиктовича Булгарина.

— *Что это, свойство таланта — диктовать пишущей руке, даже несмотря на убеждения?*

— Черт его знает.

— *А каково жить в России с умом и талантом?*

— Можно. Можно тут жить. Если приложить к этому усилия. То есть поменьше ума выказывать, поменьше таланта, и тогда ты прекрасно выживешь. Я это за собой наблюдал, и не только за собой.

— *Как же? Насколько я знаю, ты никогда на продажу не шел.*

— Еще бы!

— *А искушения были у тебя?*

— Ни разу. Со мной этого не случалось. Я как раз из числа мудаков неискушаемых и неискушенных.

— *Хорошо. Не покупали. Но напугать-то пытались. Я это знаю определенно.*

— Ну, мало ли что. Это было в 50-х годах.

— *И в 70-х было. Помнишь, ты скрывался от призыва в армию...*

— Не в этом дело. Весна 62-го года. Приходит человек и говорит: «Вы Ерофеев?» — «Да». — «Вам нужны пистолеты?» Представь, город Владимир. Я лежу в похмелюге. Мне надо похмелиться во что бы то ни стало, а тут этот мудак спрашивает: «Так вам нужны пистолеты?» Я говорю: «На кой ляд мне ваши пистолеты! Дайте мне грамм пятьдесят похмелиться, а потом поговорим о пистолетах». А он не отстает: «Нет, вы скажите, вы Ерофеев или не Ерофеев?» — «Ерофеев, мать вашу!» — «Ага. Значит, вам нужны пистолеты».

— *Веничка, а как ты оказался в МГУ?*

— Как только я кончил 10-й класс и как только мне вручили из... сколько там было 10-х классов, хрен его упомнит, и я из 10 «К» получил золотую медаль, вот и двинул, и впервые в жизни пересек Полярный круг, только в направлении с севера на юг... И вот я на семнадцатом году жизни впервые увидел высокие деревья, коров увидел впервые...

— *Что же у вас, кроме зэков, там водилось?*

— Кроме зэков, ничего не водилось... А тут увидел я корову — и разомлел. Увидел высокую сосну и обомлел всем сердцем... И вот 55-й год. Там с медалью было только собеседование, и этот мудак так меня доставал, но достать не смог. Я ему ответил на все вопросы, даже которые он не задавал. И он показал мне на выход. Что ему еще оставалось? А этот выход был входом в университет. На филологический.

— *А как же потом ты во Владимире оказался?*

— Это уже нескромный вопрос.

— *Насколько нескромный?*

— Потому что между МГУ и институтом был кочегаром, приемщиком посуды, милиционером.

— *В таких случаях обычно пишут стюардом и репортером.*

— До этого не дошло.

— *А писать осознанно начал в МГУ?*

— Писать начал в университете. И отличные вещи...

— *За что и был изгнан?*

— Нет, нет! Там не было никакой скверны, никакой политики... была какая-то иная струя, которая будоражила всех...

— *А кто читал это?*

— Читали мои знакомые, и этого довольно.

— *А из-за чего выгнали?*

— Я просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары. И скучно было, да и незачем. Я приподнимался утром и думал, пойти на лекцию или семинар, и думаю: на хуй мне это надо, — и не вставал и не выходил. То есть у меня было... ну, не созерцательная система...

— *Скажи, а ты не вставал от самопогружения или после вчерашнего?*

— Какое там переживание вчерашнего! Просто я, видимо, не вставал, потому что слишком вставали все другие. И мне это дьявольски не нравилось. Ну, идите вы, пиздюки, думал я, а я останусь лежать, потому что у меня мыслей до хуища.

— *А вот эта знаменитая песня «Проснись, вставай, кудрявая...» — она тебя не будоражила?*

— Будоражила. Потому что я очень люблю Дмитрия Шостаковича.

— *И все равно не вставал?*

— И все равно — брал себя в руки и не вставал.

— *За это и был вышиблен — сколько же можно не вставать?!*

— Вышиблен был в основном военной кафедрой. Я этому подонку майору, который, когда мы стояли более или менее навытяжку, ходил и распинался, что выправка в человеке — это самое главное, сказал: «Это — фраза Германа Геринга: «Самое главное в человеке — это выправка». И между прочим, в 46-м году его повесили».

— *А насколько к моменту вышибания из Университета была велика в народе твоя популярность?*

— К тому моменту она ограничивалась двумя-тремя комнатами и, честно говоря, отнюдь не 19 государствами.

— *Не искушали ли тебя? Не нашептывали ли, что коли пишешь, то надо печататься?*

— Нет. Среди них были такие, вроде чуть-чуть видящие, вроде Володи Муравьева — опять же мой однокурсник.

— *То есть удивительно приличная у вас подобралась публика?*

— Да. Немножко на царскосельскую, на кюхельбекерскую такую, в несколько заниженном варианте. Я там представлял что-то вроде барона Дельвига.

— *То есть ты был такой же толстый?*

— Нет, наоборот. Я не был толст, а во всем остальном...

— *А скажи, вот мы сейчас вздыхаем, что не осталось таких понятий, как честь и совесть. В этом вашем братстве были такие понятия?*

— Вот в том-то и дело. Нас и презирали за то, что в нас уживались... вся эта ненавистная братия — я забыл их фамилии, и, значит, их фамилии ни к чему. Никто и никогда не вспомнит их фамилии. Все остальные смотрели на нас, как на зачумленных детей.

— *То есть именно на присутствие в вас этих понятий?*

— Хотя бы поэтому.

— *Муравьев, кто еще — может быть, кого еще вспомнишь?*

— Они немного переродились... ну, хотя бы Катаев... не из тех Катаевых.

— *Хорошо. Произошло изгнание из МГУ широко известного в узких кругах писателя. Как-то это на общественном мнении отразилось?*

— Ничуть. Я ушел тихонько, без всяких эффектов. Вот спустя

пять лет я уходил из Владимирского, каждый человек, который со мной встречался, задавал вопрос, где продается водяра, — в этом магазине есть, а в этом нет — этот человек подлежал немедленному исключению из пединститута. Вот до какой степени я был опасен, а всего-навсего я говорил то, что это — пародия на «Москва — Петушки». Я, в сущности, говорил только о водяре. Решительно только о водяре и больше ни о чем. Ну почему к книге придрались? Почему ее изымали при всяком обыске? Немыслимые люди эти большевики.

— *Веничка, а что делал ты после исхода из Университета, когда тебя, естественно, выкинули из общежития?*

— Я с тех пор сменил примерно 12 профессий.

— *А где жил?*

— Господи, жил в Тамбове, в Ельце, в Брянске — это можно называть все города. И Золотое кольцо, и не Золотое.

— *То есть из Москвы ты уехал сразу?*

— Ну, естественно. Короче: я бы так и исцвел на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмурь глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем — и попал в город Петушки. Это было в 59-м году. Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведений был Владимирский пединститут.

— *И поступил с ходу?*

— Еще бы! А золотая медаль?

— *А собеседование?*

— Там его практически не было. Какое там, на хуй, собеседование.

— *Теперь расскажи: как же ты разложил Владимирский пединститут настолько, что даже имя твое стало запретным?*

— Да. Они сейчас извиняются. Мне одинаково смешно вот это вот — извинения Бельгии перед глупой оплошностью Голландии... Почему-то Бельгия приносит извинения за Голландию. Вот точно так же мне смешно, когда владимирская газета «Комсомольская искра» печатает обо мне более или менее мутные биографические данные, хотя та же самая газета весной 1962 года требовала выдворения меня за пределы города Владимира и Владимирской области навсегда. Всякий человек, встречающийся с Венедиктом Ерофеевым, подлежит немедленному выдворению из Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского. И вообще с территории.

— *То есть ты попал в персоны нон-грата?*

— Хорошо бы еще в персоны нон-грата. То есть человек, который кивнул бы мне при встрече, уже сам стал бы персоной нон-грата. А хрен ли обо мне говорить.

— Чем же ты их все-таки так достал? Все же Владимир близко к столице. Что они так напугались-то?

— Вот этого я не знаю. Я немножко их понимаю. Все-таки, когда я стал жениться, приостановили лекции на всех факультетах Владимирского государственного педагогического института им. Лебедева-Полянского и сбежалась вся сволота. Они все сбежались. Потом они не знали, куда сбегаться, потому что не знали, на ком я женюсь — опять же было неизвестно. Но на всякий случай меня оккупировали и сказали мне: «Вы, Ерофеев, женитесь?» Я говорю: «Откуда вы взяли, что я женюсь?» — «Как? Мы уже все храмы... все действующие храмы Владимира опоясали, а вы все не женитесь». Я говорю: «Я не хочу жениться». — «Нет, на ком вы женитесь — на Ивашкиной или на Семаковой?» Я говорю: «Я еще подумаю». — «Ну, мать твою, он еще думает! Храмы опоясали, а он еще, подлец, думает!» Это апрель 62-го.

— Но ведь времена-то на дворе еще либеральные.

— Какие либеральные! Вот опять я повторил этого мудака, не знаю, жив он или нет, лучше бы не жив. Вот этот декан филологического факультета, который отсидел... сколько он отсидел — я забыл, но во всяком случае не меньше 15 лет отсидел, сволота. И мне в лицо заявил: «Я очень сожалею, Ерофеев, что сейчас не прежние времена. Я бы с вами обратился гораздо более круто». Вот тут-то я понял, с кем имею дело — с каким вонючим дерьмом, и...

— Веничка, и все же чем ты их так напугал?

— Понятия не имею. Я лежал себе тихонько, попивал. Народ ко мне... в конце концов получилось так, что весь институт раскололся на две части. Вот так, если покороче, то есть, как говорили девушки, тогда одиозно очень поверхностные, называл вещи своими именами, весь институт раскололся на попов и на... Там было много вариаций, но в основном на попов и комсомольцев. Этак я оказался во главе попов, а там глав-зам-трампампам оказался во главе комсомольцев моим противником, и у нас даже выходило... «Подходите, — говорил человек (не помню фамилию), — подходите, только без рукоприкладства». За мной стоит линия, за ними тоже линия. Мы садимся, это я предлагаю садиться за стол переговоров, чтобы избежать рукоприкладства и все такое. Они говорят: давай, садимся. И вот мы садились и пили сначала сто грамм, потом по пятьдесят, потом по сто пятьдесят, потом... и понемногу, ну, набирали...

— *А что же вы пили, Веничка?*

— Не помню. Какую-то бормотуху. Ну, во всяком случае, вырабатывали какую-то общую терминологию...

— *Попы с комсомольцами?*

— Попы с комсомольцами садились тихонько... Ну, одним словом, они занимались делом. А я сидел и чувствовал себя человеком, который предотвратил кровопролитие.

— *Признаться, трудно представить тебя в роли предводителя религиозной общины. Поэтому мне представляется, что название «попы» следует понимать достаточно условно.*

— Конечно, конечно. Потом вот, например, характерно — в том же 62-м году девочка, которая была в разряде «попов», — я сидел в саду и дышал воздухами, — а она ко мне подскочила и сказала: «Ой-ей-ей, я сейчас убегаю, потому что, если меня увидят, то все — мне в институте не быть». Так что тут все очень запутанно.

— *Писал ли ты, Веничка, во Владимире?*

— Еще как писал. Даже наоборот, когда поступил во Владимирский пединститут, мне сказали: «Венедикт Васильевич, если вам не на что будет жить, то у нас есть «Ученый вестник» Владимирского пединститута, и мы вам охотно предоставим страницы». Но я, как только охотно сунул им в эти страницы всего две статьи о Генрике Ибсене, они заявили, что они методологически никуда не годятся.

— *А что значит — методологически?*

— Я и не стал спрашивать. Еще бы я стал спрашивать, ебена мать! Они сказали: это опять же никуда не годится. Неужели человек не понимает, чего он городит?

— *А прозу писал?*

— Тогда — нет. Писал тогда исключительно о скандинавах, потому что я был тогда ослеплен вот этой скандинавской моей литературой. И только о ней писал.

— *Отчего же ты был ими так очарован?*

— Потому что они — мои земляки.

— *А кто конкретно из скандинавов?*

— Ну как это — кто конкретно? Опять же Генрик Ибсен, Кнут Гамсун в особенности. Да я, в сущности, и музыку люблю только Грига и Яна Сибелиуса. Тут уже с этим ничего не поделаешь.

— *Когда же ты впервые стал писать беллетристику — после тех тетрадей? Что — был большой перерыв?*

— Нет, не большой перерыв, просто... зимой семидесятого, когда мы мерзли в вагончике, у меня явилась мысль о поездке в Петушки, потому что ездить туда было запрещено начальством,

а мне страсть как хотелось уехать. Вот я... «Москва — Петушки» так начал. И примерно в последних числах января, а кончил примерно второго-третьего марта.

— *А между тетрадями и «Петушками» было еще что-нибудь?*

— Да, ну, конечно, было. Вот это... черт, ее надо восстановить и возделать...

— *Рукопись хоть существует?*

— Вот часть рукописи доставили люди из Гуся-Хрустального.

— *Это тоже такая же грустная...*

— Отнюдь. Мне она не нравится, и правильно сказала одна очень такая литературная женщина, что это таки подделка под Пильняка. Вот ведь что. А как это — подделка под Пильняка, которого я до сих пор не читал ни строчки?

— *По-моему, Ерофеев не может ни под кого подделаться, так же как никто не может подделаться под Ерофеева. Как хоть называется?*

— «Благая весть».

— *Веничка, литературные дамы читают, а широкие круги миролюбивой общественности до сих пор — нет. Хорошо ли это?*

— Ну, ее надо получше обделать, потому что там много... как бы это... кто умеет выражаться помягче...

— *А в каком году ты ее написал?*

— В 63-м.

— *А между 63-м и 70-м было что-нибудь?*

— Вот тут был провал. Я слишком жил: кино, бабье и эт цетера.

— *Хорошо, «Петушки» написаны. Как же они стали известны народу? Откуда народ вокруг тебя появился?*

— Ну вот, допустим, Слава Лён. Я, допустим, сижу во Владимире в окружении своих ребятишек и бабенок, и вдруг мне докладывает Вадя Тихонов: «Я познакомился в Москве с одним таким паразитом, с такой сволотою». Я говорю: «С каким паразитом, с какой такой сволотою?» Он говорит: «Этот паразит, эта сволота сказала мне, — то есть Ваде Тихонову, — что даст... уплатит 73 рубля (почему 73 — непонятно) за знакомство с тобою». То есть со мною. Ей-богу.

— *То есть Лён прочел «Петушки».*

— Ну да. Я удивился, а Лёну Губанов сказал: «Вот если Вадя Тихонов, который хорошо с ним знаком...» — вот тогда он и залепился со своими 73 рублями.

— *А ты еще не был тогда знаком со смогистами?*

— Абсолютно!

— То есть ты как бы в безвоздушном пространстве существовал?

— Почему в безвоздушном?

— Ну, если брать эту московскую культурную среду, ты о ней ничего не знал?

— Об этом понятия не имел. И тут мне Владислав Лён предложил 73 рубля за одно только знакомство.

— И благодаря ему ты стал известен в мире?

— Не благодаря ему. Благодаря совсем другим людям, которые сейчас уехали. Эти люди, которым я обязан, живут теперь в Тель-Авиве... и так далее.

— Лён утверждает, что это он передал «Петушки» на Запад и благодаря ему они были опубликованы.

— Как всегда, врет.

— Раз они за кордоном и им ничего не грозит, то не грех их и упомянуть.

— Отчего бы, действительно. Во-первых, это Виталий Стесин, потом Михаил... поэт, который при всех регалиях приходил ко мне в больницу... Михаил...

— Веня, а почему на твоей афише (вечера в ДК МГУ) написано: 20 лет творческой деятельности. Ведь гораздо больше.

— Плевать! Пусть что пишут, то и пишут. Пусть напишут: «Десятилетие графа Толстого»... Поэт... женщина очень хорошая... опять забыл фамилию... надо бы спросить у девки. Михаил Генделев и Майя Каганская.

— И впервые было опубликовано в израильском альманахе...

— «Ами».

— А ты-то знал, что готовится публикация?

— Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: «А ты знаешь, что, Ерофеев, тебя издали в Израиле». Я решил, что это очередная его шуточка, и ничего в ответ не сказал. А потом действительно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

— В 72-м издали?

— В 73-м.

— А как складывались материальные отношения с издателями за границей — ведь потом издавали еще во многих странах?

— Это действительно очень больной вопрос. Например, Англия и Соединенные Штаты... Два издательства в Соединенных Штатах не плотят ни копейки по той причине, что они купили — Соединенные Штаты — они купили у Британии... А Британия купила

у Парижа... То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

— *Замечательно! А вот есть такая организация — называется ВААП.*

— Она есть, но ее вот эти деяния не распространяются. Только на страны Варшавского пакта, а вот на страны НАТО не имеют даже малейшего влияния.

— *Ерофеев, погоди. Эта организация дерет со своих клиентов жуткие проценты и могла бы нанять самых лучших адвокатов. Кто-нибудь из них к тебе обратился: «Давай, Ерофеев, мы будем защищать твои права»?*

— Ни разу не было ко мне такого обращения. Было только в случае с Венгрией и с Болгарией.

— *Здесь они сами обратились?*

— Это уже по пьесе.

— *Ерофеев, а как ты сам отнесся к своей всемирной известности?*

— Какой провокационный вопрос.

— *Нормальный вопрос, Веня, нормальный.*

— То ли еще будет.

— *Ощущаешь ли ты себя великим писателем?*

— Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, это — более или менее мудозвонство.

— *Ерофеев, а если бы тебе предложили определить свое место в пантеоне великих, куда бы ты себя поставил — между Гомером и Эпиктетом или...*

— Между Козьмой Прутковым и Вольтером.

— *А кто все-таки впереди?*

— Козьма Прутков.

— *Хорошо. Вернемся в 69-й год на кабельные работы. Ерофеев пишет «Петушки». Делился ли ты с коллективом? Давал ли читать бессмертные страницы товарищам по профессии и одобрили ли бы они твои писания?*

— Наоборот. И хорошо, что я не давал им этих записок. Они говорили: «Ты что, Ерофеев, хочешь в институт поступать — все равно ни хуя, ни за что не поступишь! Сейчас туда только по блату берут. Только по блату. Только по блату». А я свесился с верхней полки и говорю: «Ну неужели только по блату?» А они мне говорят: «То-о-олько по блату!» Вот как обстояло дело.

— *А насколько биографичны бессмертные твои записки?*

— Почти...

— *Скажи, ты действительно никак не мог попасть на Красную площадь, а всегда попадал на площадь Курского вокзала?*

— Да-да-да! И между прочим, вот меня обычно спрашивают об этих сценах в «Петушках», вот хотя бы с этим дурачком контролером. А ведь действительно, я ведь стоял зимой, зимой трясся весь от холода, стоял, и у меня была в грудном кармане эта самая бутылка... бутылка... ну, известно чего. Бормотуха — 0,8. И когда вошел контролер, один контролер сразу последовал туда, а этот остановился и сказал: «Ва-аш билетик! Ва-аш билетик!» Я говорю: «Нет у меня билетика. Нет у меня билетика». И он тогда внимательно присмотрелся, а я тогда неосторожно поставил эту свою 0,8... «А это — что у тебя?» Я говорю: «Да это — так просто». — «Это как то есть так? А ну-ка вынь!» Я вынул, и он тут же немедленно сделал: бум-бум-бум-бум-бум-бум. И мне протянул: «Езжай дальше, молодой человек». Как они не понимают, из чего делаются литературные произведения? То есть вот из такого... такой малости.

— *А правда ли, что ты, будучи бригадиром на кабельных работах, ввел пресловутые графики?*

— Еще как! Это Вадим Тихонов — свидетель.

— *Ерофеев, я знаю, что одно из твоих бессмертных творений ты потерял то ли в электричке, то ли еще где. Может быть, можно попытаться отыскать?*

— Едва ли. Потому что то ли одна, то ли две МГУшные экспедиции ездили по линии Москва — Петушки, с тем чтобы найти, и ничего подобного они... Они смотрели и по левую, и по правую сторону очень внимательно и ничего не обнаружили.

— *А что это было за произведение?*

— Ну, я вообще не люблю называть жанры. Ну, просто — «Шостакович».

— *Не биографическое же эссе?*

— Еще бы! И то — Шостакович там присутствовал только самым косвенным образом. Там как только герои начали вести себя, ну... как сказать... Вот, у меня этот прием уже украден — как только герои начали вести себя не так, как должно, то тут начинаются сведения о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Когда родился, кандидат такой-то, член такой-то и член еще такой-то Академии наук, почетный член, почетный командор легиона. И когда у героев кончается этот процесс, то тут кончается Шостакович и продолжается тихая и сентиментальная, более или менее, беседа. Но вот опять у них вспыхивает то, что вспыхивает, и снова продолжается: почетный член... Итальянской академии Санта-Чечилия и то, то, то, то... И пока у них все это не кончается, продолжается ломиться

вот это. Так что Шостакович не имеет к этому ни малейшего отношения.

— *А вдруг откликнется тот, кто это нашел? Расскажи подробнее, когда это было и как это выглядело?*

— Это — две черные тетради и четыре записные книжки.

— *А в чем все лежало?*

— Все это было в сетке. Я могу назвать точно — вот это знойное самое лето. 72-й год. Знойное лето под Москвою. Я когда увидел пропажу, я весь бросился в траву и спал в траве превосходно. Представь себе, что это было за лето, когда можно было ночевать в нашей траве.

— *А почему «Шостакович», а не «Хренников»?*

— Тихон Хренников — очень хороший человек.

— *Чем же?*

— Мне у него нравятся ранние песни.

— *Одна или все?*

— Все.

— *Тогда действительно — хороший человек.*

— Очень славный малый.

— *Старый хрен Тихонов и молодой Тихон Хренников — очень старая шутка.*

— Причем, заметь, мною же изобретенная в 56-м году.

— *Ладно. Хрен с ним, с Хренниковым. Давай лучше вспомни поточнее: какого цвета была сетка? Может быть, вспомнишь?*

— Трудно установить, потому что сетка была не моя, а была моего знакомого из Павлово-Посада. И потом, там были две бутылки, что и соблазнило.

— *Бормотухи?*

— Да. Что и соблазнило тех, которые покусились. Я бы на их месте поступил бы гуманнее.

— *Не знаю, как ты на их месте, а я бы...*

— Я бы тоже, пожалуй. Я бы тоже.

— *Ты оставил в электричке?*

— Господи, откуда мне знать? Я проснулся в электричке с совершенно угасшим светом, и я сидел один в вагоне, и причем в тупике.

— *А что же ты пил, Веничка, что дошел до такого?*

— Еб твою мать — он задает мне вопросы какие! Он ведет допрос, как самый неумелый из следователей.

— *Как это? Я веду допрос по всем правилам. Как завещали отцы и деды.*

— Хуево ты ведешь допрос.

— *Пил ли ты в этот день коньяк?*

— Еще как!

— *А зубровку?*

— Пил и зубровку.

— *Зверобой, и охотничью, и полынную, и померанцевую, и кориандровую... весь ностальгический набор.*

— Очень жалко «Дмитрия Шостаковича», потому что, когда я писал, действительно спрашивал сосед: «Ерофеев, ты чего опять какую-то блядь приводил?» Я говорю: «Какую же это я приводил блядь?» — «Ну как же, ты всю ночь смеялся!» Я говорю: «Почему же, ну... я просто так...» — «Я человек бывалый. Я человек бывалый. Так я тебе и поверил, так я тебе и поверил, что ты — просто так. Опять какую-нибудь блядь приволок».

— *А где ты жил тогда?*

— На станции Электроугли.

— *Снимал угол?*

— Какой там — снимал угол, когда крысы бегали из угла в угол.

— *Значит, «Дмитрий Шостакович» — 72-й, а «Розанов»?*

— «Розанов» попозже на год. 73-й. И то меня пригласил человек, который возглавлял журнал «Евреи и мы».

— *«Евреи в СССР»?*

— Нет...

— *«Страна и мир» есть...*

— «Евреи в СССР», по-моему. Он еще приехал ко мне, я снимал маленький дом в Болшево, он ко мне приехал и демонстрировал мне вот эту желтую звезду... и все такое. И с ним была целая публика с этими желтыми звездами, а в ответ у меня в этот день были люди слишком православно настроенные, там... ну, известная заваруха. Рождественская заваруха 73-го года.

— *То есть уже тогда общество «Память» существовало?*

— Оно тогда у меня на глазах возникало.

— *И они у тебя в доме встретились?*

— В том-то и дело. Все встретились у меня в доме: и воинствующие иудаисты... забыл я фамилии... Воронель, который был главным редактором «Евреи в России», и вот эти вот, которые их ненавидели...

— *Не произошло ли у них конфликта?*

— Маленький был, но я исполнял роль вот этого маленького...

— *Арбитра? Ты им говорил: «Брек!»?*

— Я им этого не говорил, но они поняли.

— *Ерофеев, а родная советская власть — насколько она тебя полюбила, когда слава твоя стала всемирной?*

— Она решительно не обращала на меня никакого внимания. Я люблю мою власть.

— *За что же особенно ты ее любишь?*

— За все.

— *За то, что она тебя не трогала и не сажала в тюрьму?*

— За это в особенности люблю. Я мою власть готов любить за все.

— *А что больше нравится тебе в твоей власти: ее слова, ее уста, ее поступь и поступки?*

— Я все в ней люблю. Это вам вольно рассуждать о моей власти, ебена мать. Это вам вольно валять дурака, а я дурака не валяю, я очень люблю свою власть, и никто так не любит свою власть, ни один гаденыш не любит так мою власть.

— *Отчего же у вас невзаимная любовь?*

— По-моему, взаимная, сколько я мог заметить. Я надеюсь, что взаимная, иначе зачем мне жить?!

— *Хорошо. Между «Розановым» и «Вальпургиевой ночью» 13 лет. Что-то было в этом промежутке?*

— Какое кому собачье дело?! Кому какое идиотское собачье дело, было чего-нибудь или не было? Это — вторгаться в интимные отношения.

— *Но от тебя, как от Шекспира, ждут новых эпохальных произведений...*

— Это я понимаю. Я если чего-нибудь пишу, то эпохальное, как говорит мэтр Тихонов.

— *Кстати, ты замечательно создал образ Тихонова. Твой друг Вадя так прочно вошел в наш фольклор, а, кстати, сам Вадя подозревает, что он настолько остроумен и гениален?*

— Он не подозревает. За него приходится придумывать даже вот эти штуки, вроде: «Двадцать шесть бакинских комиссаров — ты бы смог слопать?»

— *Так это ты Вадю изобразил в «Вальпургиевой ночи»?*

— Вадю стоит везде изобразить. Во Владимире, когда мне сказали: «Ерофеев, больше ты не жилец в общежитии». И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: «Ерофейчик. Ты Ерофейчик?» Я говорю: «Как то есть Ерофейчик?» — «Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?» Я говорю: «Ну, в конце концов, Ерофейчик». — «Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище».

— *А, кстати, история с пистолетами тогда же произошла?*

— Да, да, да.

— *Это когда ты уже у Вади жил?*

— Да.

— *А зачем этот человек считал, что тебе нужны пистолеты?*

— А вот хрен его знает. Но тут удивляться нечему. За день до этого меня останавливал один парень с физико-математического факультета, вернее, я его остановил и спросил: «Там, внизу, есть водяра, хоть какая-нибудь?» Он говорит: «Есть. Есть «Российская». Так вот, на следующий день торжественное собрание, ей-богу, торжественное собрание вот этого вот физико-математического факультета этого парня исключает. Человек уже на 4-м курсе, ебена мать.

— *То есть человек с пистолетами решил, что тебе придется отстреливаться?*

— Нет, просто слава моя была такова, что все думали, что мне нужны пистолеты.

— *Трудно поверить, что о Ерофееве шла слава, как об извозчике Комарове или Ваньке Каине.*

— Больше. Девушка... как звать эту девушку... Ивашкина...

— *Ерофеев, ты заявил «Вальпургиеву ночь» как первую часть трилогии, а у меня на дне рождения сказал, что заканчиваешь вторую часть.*

— Мало ли чего по пьянке не брякнешь. Ебенать.

— *А может, все-таки напишешь?*

— Ну, не знаю. Это надо мне за город поехать и печку затопить.

— *Ну, давай я тебе дачу найду.*

— Я сам найду и сам...

— *Ладно, Веничка. Последний вопрос. Кто из советских литераторов или политических деятелей оказал на тебя наибольшее влияние?*

— Если говорить о влиянии, то культуртрегерское — Аверинцев, Аверинцев.

— *А Лотман?*

— Лотман пониже, как говорят дирижеры. И Муравьев. Я знаю, о чем говорю, ебена мать!

— *А из политических деятелей?*

— Аракчеев и Столыпин. Если хорошо присмотреться, не такие уж они разные.

— *В таком случае, сюда бы Троцкого.*

— Упаси бог. Этого жидяру, эту блядь, я бы его убил канделябром. Я даже поискал бы чего потяжелее, чтобы его по голове хуякнуть.

— *А кого из членов большевистского правительства ты бы не удавил?*

— Пожалуй, Андропова.

— *Душителя диссидентов?*

— Нет, он все-таки был приличный человек.

— *Не кажется ли тебе странным, что за 70 лет единственный приличный человек — и тот начальник охранного отделения?*

— Ничего странного. Наоборот. Хороший человек. Я ему даже поверил. Потом, он снизил цены на водяру — четыре семьдесят. Подумаешь там, танки в Афганщине...

— *Ну, танки Брежнев ввел.*

— Плевать, кто вводил и куда. Этого уже народ не помнит. Но то, что водка стала дешевле!..

«ЕСЛИ МЕНЯ ПРИГОВОРЯТ К ПОВЕШЕНИЮ...»

С писателем беседовала И.Тосунян

— *Венедикт Васильевич, вам, наверное, нестерпимо хочется работать?*

— Еще как! Именно поэтому хочу уехать в Абрамцево, собрать свои тридцать с лишним записных книжек и блокнотов — и в Абрамцево!

— *А какие-то определенные наметки есть?*

— Даже две. Одна — пьеса «Фанни Каплан», которая почти готова. Уже на Западе было сообщено, что она вот-вот выйдет в журнале «Континент». Вторую пьесу, «Диссиденты», готов принять к постановке Театр на Малой Бронной. Это уже не трагедия, а чистейшая комедия. И в прямом, и в переносном смысле. Мне уже звонили и сказали: «Слушай, Ерофеев, зачем с таким материалом обращаться таким юмористическим образом?» Пьеса о жизни 60-х годов. Поэтому у меня двоякая цель в Абрамцеве — закончить и «Диссидентов», и «Фанни Каплан», трагедию в пяти актах, где вообще из героев ни одного в живых не остается. Мне говорили о «Вальпургиевой ночи»: «Ерофеев, ты хотя бы пожалел и нескольких людей оставил в живых!». А здесь ни одного не остается.

— *А почему?*

— Потому! Режиссер Портнов сказал, что это невозможно поставить на сцене. Все действие происходит в пункте приема бронебойной посуды (нет Лепажевых орудий — есть бутылки).

— *Как же Портнов будет ставить, если говорит, что не может?*

— Понятия не имею. Упростит опять до предела. И все-таки хочет ставить. Ему ведь надо поднимать театр. Их готовность меня порадовала.

— *А из прозы что-то новое пишете?*

— Есть кое-что недоделанное. Черновиками у меня забит стол. Даже, вернее, их черновиками назвать нельзя — это еще что получится! Думаю заняться очень веселым делом: составить набор цитат из Маркса и Энгельса с небольшими авторскими комментариями. Это никому не приснится. Грабарь, когда был у меня в гостях, сказал: «Если бы даже на «Маленькой ленинниане» не было твоей фамилии, я бы безошибочно понял, кем это написано».

— *Как получилось, что вы, Ерофеев, так рано стали «зрячим»?*

— Это я и сам не понимаю. И потом, не так рано я стал, как ты говоришь, «зрячим». Только в десятом классе. Мне было уже 16 лет. А почему — понятия не имею. И еще более «зрячим» стал после поступления в Московский университет. Тут опрокидывающее действие оказала первая любовь. Авторы всех статей обо мне упускают самое главное — то, о чем я сейчас говорю, я говорил уже на первом курсе. И это вовсе не пустяк.

Встретил как-то своего одноклассника... До чего же невозможно они себя ведут! Так нельзя, надо вести себя посветлее! А они стали, как говорят артиллеристы «зачехленными». Я им сказал как-то: «Ну почему вы всё паскуднее год от года? Побойтесь если не Бога, то хоть меня!». Все хотят выйти в крупные начальники. Так вот, встретил как-то своего одноклассника, он сказал: «Ерофеев, когда я буду крупным начальником, ты будешь лежать под забором (это был 1968 год), и я со своим дипломатом пройду вдоль тебя — и сплюну.

— *И стал?*

— В том-то и дело, что его до сих пор никто не знает.

— *В 1988 году в Лондоне был переиздан «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года» Вольфганга Козака. Это, пожалуй, пока единственный справочник, где говорится о вас, но многие сведения не верны. Что бы вы сказали о себе для будущего справочника?*

— Мне скоро 51 год, 24 октября. Папеньку посадили, у них это было принято: по системе Кагановича сажать! Так что сажали дважды — в 40-м, потом в 46-м. И почему мои глупые сестры скрывают, по какой статье?..

Важно, что в 1954 году отца освободили. Мне он понарассказал такое, что тебе и не снилось. То есть что это такое — быть начальником станции, которую занимают то русские,

то финны, то немцы, а потом все снова, и при этом исполнять свои обязанности. А я-то, дурак, когда видел в небе самолеты — то финские, то немецкие, — махал платочком и приплясывал. Мне было ровно три с половиной года.

Отцу было дьявольски плохо занимать должность начальника станции, которая то в одних руках, то в других, и в конце концов стать «предателем родины». Это теперь понять трудно.

С первого по десятый класс у меня не было ни одной четверки, а когда схлопотал одну, мама меня побила по попочке.

Кончил школу и впервые в жизни пересек Полярный круг, поехал поступать в МГУ. Ехал в поезде и про себя пел песню Долматовского «Наш дворец — величавая крепость науки». Когда я пришел в эту «величавую крепость», услышал: «По отделениям! Делай — раз! По отделениям! Делай — три! Руки по швам!» И был немедленно разочарован. Но за три семестра у меня опять не было ни одной четверки. И все же меня отчислили.

А потом — работал. Сначала — на стройке, затем — грузчиком, потом — приемщиком винной стеклотары, потом — забыл, как называется должность, — на Украине. Плюнул на Москву...

— В «Словаре» о вас есть и такое утверждение: «Ерофеев, по слухам, знает латынь, любит музыку. По имеющимся сведениям, он рано стал алкоголиком...»

— Ну, какой болван! Он ничего не понимает ни в музыке, ни в алкоголизме! Музыковед Леонтович тоже говорил мне: «Я что-то не понимаю, как можно одновременно и пьянствовать, и понимать сложную музыку? Одновременно интересоваться делами, которые происходят в Намибии, и стряпать бормотуху?» Чтобы все это соединять — им и не снилось!

С латынью ладил всегда. Я ее не знаю, но я в нее влюблен. Если бы меня спросили, в какой язык я влюблен, то выбрал бы не французский, а латынь. Недавно, в 1984 году, кончил курсы немецкого языка на Дорогомиловской. Сдал на «отлично» все экзамены.

— Вы ведь и в студенческие годы писали прозу?

— Конечно. «Записки психопата». Мне студенты об этой вещи говорили, что это невозможно, что так писать нельзя. «Ерофеев, ты хочешь прославиться на весь институт?» Я отвечал: «У меня намерение намного крупнее».

— *А когда дали свое первое интервью?*

— Убей, не помню.

— *Что из написанного дороже всего?*

— То, что мне надлежит написать, это гораздо важнее. Я это говорю без всего того, чем люди любят обволакивать свои фразы.

— *Любите читать о себе рецензии?*

— Они все настолько никудышные!... Еще в «Новом мире» — ничего, тепло написано, а в «Знамени»... Лакшин... я-то думал, что он умный мужик, а это все — пустышка. Рецензии пустые. Они меня интересуют на час-полтора. Я еще не видел ни одной путной статьи. Только одна диссертация из Швейцарии.

— *В «Словаре» сказано также: «Судьба его неизвестна...»*

— Мало того, мрачно пошучу. В 1986 году «Немецкая волна» сообщила, что скончался русский писатель Венедикт Ерофеев. А я в это время беру зеркальце, дышу, в нем действительно ничего не отражается. Я тогда сказал: «Если меня приговорят к повешению, я через час встану и дальше пойду!». Это черный юмор, но в самом деле так.

— *В одном из ваших интервью есть слова: «С языком просто, мой антиязык от антижизни...»*

— Подобные фразы я не произносил. Зачем мне приписывать совсем не свойственные мне фразы? Что они все ищут — «антиязык», «аллюзии»?.. Неужели нельзя выражаться человеческим языком! Когда мы им напомним, что есть просто русский язык? Для меня самое главное не то, что не прав их стиль, не права их победоносность.

— *Давайте поговорим о литературе.*

— Что такое вообще литература, я не знаю.

— *А кто оказал на вас влияние?*

— Сначала, конечно, Гоголь, в этом не стыдно признаться. Немножко — Мопассан. Но не Золя, которого я терпеть не могу, я не люблю бездушия. Я это сразу определил. А Мопассан, да, влияние оказал — и в определенных вещах, и вообще, как Мопассан. Больше всего мне нравится «На воде». Я даже не подозревал, что эта вещь потрясла Льва Толстого. Недавно прочитал его переписку и подивился единству взглядов.

Меня интересует английская литература начала прошлого века, от Байрона до Вальтера Скотта (не как романист, а как поэт в блестящих переводах нашего В.Жуковского).

— *А если говорить о Библии?*

— Меня за чтение Библии даже изгнали из Владимирского пединститута весной 62 года. На улице во Владимире ко мне подъехала черная «Чайка», возвели меня на четвертый или пятый этаж какого-то здания: «Берегитесь, Ерофеев, всех людей, с кем вы знакомы, ждут неприятности. Даем двое суток на размышление и на то, чтобы вы покинули нашу область!»

Я Библию тихонечко держал в тумбочке общежития ВПГИ, а те, кто убирали в комнате, ее обнаружили. С этого началось! Мне этот ужас был непонятен, ну подумаешь, у студента Библия в тумбочке! Я помню громадное всеобщее собрание института...

Я тогда возглавлял ребят, которых почему-то называли «попами».

— *Из-за Библии?*

— Не знаю. Но были другие — «комсомольцы». Доходило до рукоприкладства, стенка на стенку. Тогда главарь «комсомольцев» сказал мне: «Давай сядем за стол переговоров, чтобы разрешить все это мирным путем». Но пока мы сидели за столом, началось мордобитие между «попами» и «комсомольцами».

— *Что для вас Библия?*

— Это то, без чего невозможно жить. Я жалею людей, которые ее плохо знают. Я ее знаю наизусть. Этим могу похвалиться. Я из нее вытянул все, что только может вытянуть человеческая душа, и не жалею об этом. Человека, который ее не знает, считаю чрезвычайно обделенным и несчастным.

Мне очень не нравятся праведные речи Василия Белова по радио. Я сегодня еще раз послушал его выступление. Знаю его как писателя — и не люблю. Он вдруг ударился в антисталинизм. А где он был раньше?

Я измеряю размах и значимость писателя тем, сколько бы я ему налил, если бы он вошел в мой дом. Отчего бы не мерить такой меркой?

Белову я бы не налил ни капли, Астафьеву — 15 граммов, Распутину — граммов 100. Василю Быкову — целый стакан с мениском. А тем более Алесю Адамовичу. А больше и некому. Фазиль Искандер пусть сам бегает за выпивкой в своих тренировочных штанах. Я его не люблю за его невлюбленность ни во что и любование самим собой. О ком еще говорить? Неужели об Айтматове, которого я удавил бы своими руками?

— *Не находите, что это — максимализм?*

— До какой-то степени. Если живешь в такое максималистское время, отчего бы не говорить максималистски? Надо во что бы то ни стало, когда бы ни жил, быть, по мере сил, честным человеком. Если и трудно.

— *Каждый писатель может сказать, что живет в максималистское время...*

— Тому же Блоку казалось, что его время экстремальное, последнее. Все времена — максимальные и последние, и, однако, ничего не кончается. И потому главное — не надо дешевить!

Мне очень понравился его, Блока, финал, когда к нему подселили двух красноармейцев. Зинаида Гиппиус съязвила: «Почему — двух? Надо было — двенадцать!» Молодец, Зинаида Гиппиус, я ее люблю и как поэта, и как личность. Если бы я заполнял анкету «Кто из русских женщин вам по душе?», я долго бы рыскал в своей неумной голове и сказал: «Зинаида Гиппиус».

— *А из мужчин?*

— Все-таки Василий Розанов. Его наконец-то начинают понимать. Могу похвалиться, что я первый обратил на него внимание, когда о нем страшно было даже говорить. Прочел несколько его «Опавших листьев». Многие московские литераторы сейчас пишут на темы российской истории, морали, о российских судьбах... Я им дал понять, что Розанов более чем за полвека до них сказал об этом крупнее, ярче. Когда я был в гостях у Александра Кушнера, говорил об этом. Тогда же познакомился с Андреем Битовым. Явился Битов с двумя бутылками. Он понемногу тускнеет. Во всяком случае, при последней встрече я сказал, что мне его читать скучно. Он ответил: «Что делать, я не могу писать так весело, как ты». То есть дал понять, что в нем заложена такая глубина, что таким поверхностным людям, как Ерофеев, читать скучно. «Я не бью на дешевую сенсацию!» — сказал. Как будто я — бью.

Кушнера люблю, мне понравился он тем, что когда в 1975 году звонил из Ленинграда, то признался: «Я единственный раз в жизни перепился, когда вы, Ерофеев, были у меня в гостях». Он иногда бывает слишком антологичен. Я его тогда обвинил в отсутствии дерзости. Для писателя это, по-моему, необходимое качество. Он согласился.

— *А с кем чувствуете духовную близость?*

— С могучим белорусом Василем Быковым. И еще Алесем Адамовичем. Отличные мужики. Маленькое расположение испытываю к Распутину, и то не очень большое.

Меня многие обвиняют в излишней глобальности. А их можно обвинить в том, что они слишком «байкальничают».

— *А вы следите за молодыми дарованиями?*

— Они ко мне наезжают. Мне кажутся наиболее перспективными Друк, Иртеньев, Коркия. По-моему, эта струя поэзии перспективнее всего.

— *А представители «другой прозы»?*

— В этом я не искушен.

— *А в литературной борьбе?*

— Вещи подобного рода от меня ускользают, я на них не обращаю внимания. Это примерно вещи того же рода, что и перемещения в Политбюро. Эти люди этим живут. Я схватился за голову, когда прочитал в «ЛГ», что в связи с 200-летием Аксакова создана комиссия — громадная комиссия. Им что, делать нечего? Состав от Бондарева до черт знает кого — на полстраницы. И все для того, чтобы заседать. Скоты неумные.

— *Как вы относитесь к Булгакову?*

— Прохладно. Мне не нравится. Я до сих пор не прочел «Мастера и Маргариту». Дохожу до 38 страницы и не могу, мне невыразимо скучно. И одержимость остальных я мало понимаю. Мне также ненавистен Эрнест Хемингуэй. Я прочел его двухтомник, и меня чуть не выворотило наизнанку.

— *А в XX веке кого любите?*

— Кафку, которому многим обязан. Фолкнера («Особняк»). Но только не этого дурака Хемингуэя.

— *А Набоков нравится?*

— Еще бы! Никогда зависти не знал, как говорил Сальери, а тут завидую, завидую.

— *А у него равнодушия не замечаете?*

— Нет, нет, нет!

На полчаса рассмешил Войнович. Я перечел заново «Чонкина» и, правда, полчаса хохотал. Но ведь тут же и забыл. Правильно сказал Станислав Лэм в «Книжном обозрении», что он вульгарен и мало имеет вкуса.

— *А Солженицын?*

— Он вне абонемента.

— *Что может дать сейчас публикация «Гулага»?*

— Ребятам вроде моего 23-летнего сына она необходима до зарезу. А те, кто поглупее, может, поумнеют.

— *Вы перечитываете ваши вещи?*

— Иногда перечитываю. Понимаю, почему вторым изданием вышли «Петушки». Из всего написанного они мне больше всего нравятся.

— *А когда их перечитываете, что испытываете?*

— Смеюсь, как дитя.

— *Не хочется ничего переделать, доделать?*

— Там ничего не надо менять.

— *А если бы «Петушки» не были написаны, вы их смогли бы написать сейчас?*

— Пожалуй, нет. Тогда на меня нахлынуло. Я их писал пять недель и пять недель не пил ни грамма. И когда ко мне приехали друзья и сказали: «Выпьем?», я ответил: «Стоп, ребята, мне не до этого, нужно закончить одну гениальную вещь». Они расхохотались: «Брось дурака валять! Знаем мы твои гениальные вещи!»

— *О чем вы жалеете?*

— У меня есть куча идей, рассыпанных в моих записных книжках, до сих пор не реализованных. Чтобы их реализовать, нужно перестать быть таким урбанизированным. С утра до вечера гости. У меня нет ни одного дня свободного.

— *Говорят, у вас пропал роман «Шостакович». Не возникало желания его восстановить?*

— Было. Я пробовал. Но получилось то, что примерно получилось у большевиков из российской империи к лету 1918 года — крохотная Нечерноземная зона. И я свою попытку тихонько задвинул в отсек своего стола.

— *А вам не снятся ваши тексты?*

— Еще как снятся! Как вы угадали? Практически еженощно снятся, я не преувеличиваю.

— *А что было толчком к написанию «Вальпургиевой ночи»?*

— Ко мне опять же приехали знакомые с бутылью спирта. Главное, для того, чтобы опознать, что это за спирт. «Давай-ка, Ерофеев, разберись!» На вкус и метиловый, и такой спирт — одинаковы. Свою жизнь, собаки, ценят, а мою — ни во что. Я выпил рюмку. Чутьем, очень задним, почувствовал, что это хороший спирт. Они смотрят, как я буду окочуриваться. Говорю: «Налейте-ка вторую!» И ее опрокинул. Все внимательно всматриваются в меня. Спустя минут десять говорю: «Ну-ка, налейте третью!». Трясущиеся с похмелья — и ведь выдержали, не выпили — ждут. Дурацкий русский ра-

ционализм в такой форме. С той поры он стал мне ненавистен.

Это и было толчком. Ночью, когда моя бессонница меня томила, я подумал-подумал об этом метиловом спирте, и возникла идея. Я ее реализовал в один месяц. Мне, правда, сказали, что я зря брякнул о Британских островах, о Сакко и Ванцетти, но ладно.

— *А почему такая классическая форма?*

— И две пьесы, которые намерен этой осенью закончить, будут трагедии в 5-ти актах. Правда, трагедии — условно, потому что шутовство и гаерство, но все равно в живых никто не останется. Только подлецы.

— *А к прозе не тянет?*

— Пока нет. Почему-то потянуло к трагедиям. Если потянуло, то, стало быть, основательно.

— *Постановки пьес удовлетворяют?*

— Не очень. Но я рад, что в марте 1989 года в «Московских новостях» спектакль был назван самым значительным событием театрального сезона

Вчера был в гостях один из актеров. Я ему говорю: «Зачем нужно было начисто еврейскую тему убирать?» Правда, оставили несколько фраз типа: «Евреи очень любят выпить за спиной у арабских народов!»

— *А вы свою волю как-то выражали?*

— Знаешь, как-то мне пришлось быть главой президиума в доме культуры «Красный текстильщик». И был вечер, где Саша Соколов читал свою прозу. Меня посадили председателем, как генерала на свадьбе. А в зале были члены общества «Память». Я и не подозревал, что это за публика. Слева от меня — Саша Соколов, это еще куда ни шло, справа — православный черносотенный священник. И как по разыгранному спектаклю к нему подходит другой священник и говорит: «Давайте все встанем и споем «Вечная память». И все стали петь. Огромный зал, примерно в три раза больше, чем зал Театра на Малой Бронной. А я, будучи неучтивым человеком, бочком, бочком вышел за дверь. Я не люблю такие спектакли. Мне больше по нутру элементарная сердечность. Саша Соколов тоже ускользнул и показал мне горлышко бутылки. Было одновременно и отвращение к зрелищу, и приязнь к тому, что показал Саша (парень отличный, но проза его мне не нравится, я ему так и врезал).

— *На родину вас не тянет?*

— Тянет, но уже поздно. Там моя сестра Тамара. Когда умирала моя матушка в 1972 году, она сказала Тамаре: «Все остальные — Нина, Борис, — они найдут свои пути. Наблюдай за самым младшеньким, Венедиктом!»

— *Почему Венедикт?*

— Это совершенно диковинное дело. Брата моего покойного отца звали Венедиктом. Он с похмелья вместо вина выпил что-то, от чего скончался. И меня в его честь назвали Венедиктом.

— *Вот где истоки «Вальпургиевой ночи»!*

— Если глубоко копаться, — да!

«УМРУ, НО НИКОГДА НЕ ПОЙМУ...»

С писателем беседовал И.Болычев

— *Венедикт Васильевич, чем вы занимались, так сказать, до 1985 года?*

— Чем занимался? Да чем только не занимался. Работал каменщиком, штукатуром, подсобником на строительстве Черемушек, в геологоразведочной партии на Украине, библиотекарем в Брянске, заведующим цементным складом в Дзержинске Горьковской области... Кем угодно. Людям и во сне не приснится.

— *И все это время вас хоть и не печатали, но зато читали...*

— Как, то есть, не печатали, когда практически во всех государствах... Сначала был на меня наплыв стран НАТО, примерно с 76-го по 81-й, потом они отхлынули. Потом пошли страны Варшавского Договора.

— *Ну а в России, давайте о России...*

— Опять о России, вечно о ней, о бедной...

— *Вы все эти годы чувствовали своего читателя?*

— Да нет, дело даже не в этом. Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное, был оттенок запрещенности. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут смотреть очень и очень.

— *Но были и другие?*

— Еще бы, я для них это и делал. Я, когда писал, знал заведомо, кого имею в виду.

— *Извините за некорректный вопрос: на что вы жили? И где брали время, чтобы писать?*

— Ну я же постоянно работал. А когда я писал, лежа на второй полке строительного вагончика, ко мне подходили и говорили: а ты чего там кропаешь?.. нечего кропать, давай пойдем пить водяру. Таким образом снимается всякая

проблематика. То есть великолепный рабочий класс у нас. Или вот еще очень неплохой штрих к...

— *К вашей биографии?*

— Нет, на мою биографию наплевать в конечном счете. Я имею в виду русский народ. Так вот, стоит кабелеукладчик, но у него каким-то постыдным образом эта вот основная чудовищная металлическая стрела падает, и все тут. И почему она падает, никому не понятно, но все-таки падает. И ведь кому-то надо подползти под нее и подключить там кабель. И самое странное — никто не решается. Я гляжу на всех своих коллег — никто. А вдруг эта штука возьмет да рухнет действительно. Она то и дело и впрямь рухает. И не потому, что отважный человек, а потому, что мне было противно на них глядеть, — я встал, подвесил куда надо этот кабель, и как только из-под этой стрелы колоссальной железной выполз, она тут же и упала.

А был такой случай. Вывалился кабель в траншею с ледяной водой, и я полез в эту траншею. А в это время проходит мимо мамаша с ребенком, показывает ему на меня, у которого в жизни не было ни одной четверки, и говорит: вот, если будешь плохо учиться, то придется потом, как этому дяде, по траншеям лазить.

— *Венедикт Васильевич, а что за история с Сорбонной?*

— Меня пригласили из Парижского университета на филологический факультет, и одновременно с этим было приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны, сейчас не помню фамилий, тем более что мне не отдали назад этих приглашений. И приглашения эти были отпечатаны так красиво и на такой парижской бумаге и все такое... И вот тут стали заниматься почему-то моей трудовой книжкой. Ну зачем им моя трудовая книжка, когда нужно отпустить человека по делу? А тем более когда зовет главный хирург Сорбонны — он ведь зовет вовсе не в шутку, кажется, можно было понять. И они копались, копались — май, июнь, июль, август 1986 года — и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке — но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, — вот тут уже... Умру, но никогда не пойму этих скотов.

— *Не возражаете, если мы поговорим о русской интеллигенции?*

— Господи, а это что такое?

— *Считаете ли вы себя интеллигентом?*

— *(Смех.)* Нет, ну надо же... Я, конечно, не буду отвечать на

этот самый паскудный из всех вопросов, который тут... И потом, я не вижу никакой интеллигенции.

— *А как вы относитесь к тому, что советская интеллигенция должна унаследовать лучшие традиции интеллигенции русской?*

— Это чистейшая болтовня. Чего им наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то наследство...

— *А существует ли советская литература? Вы советский писатель?*

— Любой рассмеется в ответ на такой вопрос. Но я даже смеяться не буду, потому что мне врачи смеяться запретили.

— *Можно ли говорить о кризисе русской культуры?*

— Никакого кризиса нет, и даже полное отсутствие всякого кризиса. То есть вообще ничего нет. Добро бы был хотя бы ну элементарный кризис, а то вообще — ни культуры, ни кризиса, ничего, решительно ничего.

— *Появляется ли сейчас что-нибудь интересное в современной литературе?*

— Появляться появляется. Но, по-моему, самое перспективное сейчас направление — это вот те, что плетутся взаду у обэриутов.

— *Вы считаете это направление самым перспективным?*

— Да, а остальные... Ну неужели Чингиз Айтматов перспективен, ведь смешно говорить об этом. И при всем моем почтении к Алесю Адамовичу, Василю Быкову, все равно считал самым перспективным направлением, которое идет вслед за обэриутами. Поэты вроде Коркия, Иртеньева, Друка, Пригова. Они просто иногда кажутся очень шалыми ребятами, но они совсем не шалые ребята, они себе на уме в самом лучшем смысле этого слова.

— *А в прозе?*

— А в прозе никого не нахожу. В прозе мне нравятся наши культуртрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Аверинцева. А среди прозаиков я не нахожу никого. Я, по-моему, их хорошо ощупал всех и ничего пока не нашел.

— *Венедикт Васильевич, а что у вас из написанного еще не напечатано сегодня?*

— Ну не знаю, потому что «Записки психопата» вряд ли решатся печатать. Они вряд ли на это пойдут, потому что там столько, — я говорю не о непристойностях, — но неожиданных лексических оборотах, мягко говоря. К непристойностям уже привыкли, я наблюдаю за телевидением, уже с голыми задами ходят, но вот с лексическим проворством они никогда не примирятся. Потом «Благая весть», надо ее восстановить. Потом статьи о норвеж-

цах — о Кнуте Гамсуне, Бьёрнсоне, о позднем Ибсене, все ведь это надо как-то найти...

— *А писали когда-нибудь стихи?*

— Писал. То — под Маяковского, то — под Игоря Северянина, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать. И у меня то получалось, то не получалось. И потом я решил, что хватит дурака валять.

— *И стали «говорить шекспировскими ямбами»...*

— Ну, примерно то.

— *А ваши поэтические пристрастия? Вы говорили, что ближе всего вам русский Серебряный век, начало века?*

— Ну начало, конечно, ближе, чем середина.

— *А в этом Серебряном веке кто?*

— В молодости я влюблялся во всех поочередно. Сначала втюрился в Константина Бальмонта, потом, спустя два месяца, — в Игоря Северянина, спустя три месяца — в Андрея Белого, ну и так далее. Я был влюбчивый. Как говорила мать Олега Кошевого: он просто влюбчивый. Обо мне то же самое можно сказать.

— *А осталась какая-нибудь любовь из этих юношеских влюбленностей?*

— Все остались, в том-то и дело. Всем признателен. А то ведь люди обычно лихо расправляются с теми, кому они обязаны. Люди, подхватившие самое необходимое, скажем, у Анны Андревны или у Марины Иванны, уже смотрят на них как бы свысока, плюют просто. Вот это мне непонятно. Я, например, совершенно люблю каждого человека, которому хоть немножко обязан. Будь то Бальмонт, будь то Северянин, — я знаю, что они немножко придурки, но все равно люблю.

— *А где же вы познакомились с чередой ваших возлюбленных?*

— Это, разумеется, когда поступил на первый курс в МГУ. Хоть и ничего еще не было издано, но среди студентов — основное студенчество было настолько плохо, что противно и вспоминать, — но опять же, как всегда, как и в Царскосельском лицее, непременно найдется семь-восемь людей, которые кое-чего кое в чем смыслят. Так вот мне повезло, я на них напал.

— *А кого вы числите своими учителями?*

— Конечно, Салтыков-Щедрин, Стерн, Гоголь, ранний Достоевский, ну и так далее, я мог бы слишком многих перечислить. Но, в конце концов, даже Северянин — и то учитель, даже Афанасий Фет — и то учитель.

— *А в жизни встретился вам человек, которого вы считали своим учителем?*

— Да, встретился. Мой однокашник Владимир Муравьев (переводчик, историк английской литературы, критик. — *И. Б.*). В университете мне сказали: «Ерофеев, ты тут пишешь какие-то стишки, а вот у нас на первом курсе филфака человек есть, который тоже пишет стишки». Я говорю: «О, вот это уже интересно, ну-ка покажьте его мне, приведите мне этого человека». И его, собаку, привели, и он оказался, действительно настолько сверхэрудированным, что у меня вначале закружился мой тогда еще юный башечник. Потом я справился с головокружением и стал его слушать. И было чего слушать. И если говорить об учителе нелитературном, то — Владимир Муравьев. Наставничество это длилось всего полтора года, но все равно оно было более или менее неизгладимым. С этого все, как говорится, началось.

— *Венедикт Васильевич, а есть ли у вас ученики? Вы рассказывали, что ребята, которые, как вы выразились, «плетутся взаду у обэриутов», подарили вам стихотворный сборник с надписью «Все мы вышли из «Петушков»...*

— Опять же без всякой гордыни я считаю, что это наилучшее направление в русской поэзии. А о прозе что и говорить, она погибла.

— *Вы считаете, безвозвратно?*

— По-моему, безвозвратно. Все, что делается в России, — все безвозвратно. Даже могил ничьих не найти. Нам ли еще шутить по поводу безвозвратности.

— *А если говорить о прозе не только «молодых»?*

— Мы однажды говорили о прозе и меня спросили, каким критерием мерить. И я сказал: очень простым критерием — сколько я б ему налил, это абсолютно точный критерий. Астафьеву ни грамма, Белову — ни граммули, Распутину — и то погодя, ну туда-сюда, грамм сто, Василю Быкову — полный стакан, даже с мениском, Алесю Адамовичу — даже сверх мениска, ну и так далее.

— *Венедикт Васильевич, в Театре на Малой Бронной прошла премьера вашей «Вальпургиевой ночи». Понравилось вам, как ее поставили?*

— Чудовищно не понравилось. Я даже заранее главной администраторше театра заказал себе место крайнее справа, чтобы уйти.

— *Но все же досмотрели?*

— Досмотрел.

— *Значит, не настолько чудовищно, можно было досмотреть?*

— Я, знаете ли, еще и педантичен. Но нельзя же урезать, так урезать-то... Всю израильскую тему... Диалоги...

— *И реплики санитарки Тамарочки?*

— То, что это было убрано, это чепуха, хотя это, в сущности, не чепуха. Когда я был в Четвертом отделении, мне приходилось несколько недель подряд слушать вот эту фразеологию. И никому не советую ее слушать. И когда я сказал: «Женщина, вы все-таки женщина, вы неужели не можете без этого?» А она сказала: «А ты кто такой...» Ну, все понятно. А дальше она говорила примерно две минуты то, что она говорила...

— *В пьесе?*

— Нет, ну в какой же пьесе, добро бы в пьесе, а то именно в Четвертом отделении больницы Кащенко. В пьесе это бы еще хорошо.

— *Венедикт Васильевич, позвольте вопрос дурацкий. Вы знаете, «кто виноват»?*

— Понятия не имею, еще бы задал вопрос «что делать?». Я не люблю таких вопросов. И вообще пора кончать с этой фразеологией. Нужно избрать для первого случая хотя бы немножко другую, а там, глядишь, и остальное получится.

— *А что вы скажете о перестройке?*

— Мне незачем перестраиваться. Остаюсь статус-кво, и навеки останусь.

— *А вообще?*

— А вообще-то недурно. А теперь давайте, задавайте ваш последний вопрос. Я очень люблю последние вопросы, как не люблю первых и вторых.

— *Хорошо. Вот вы сегодня всем стали нужны. Вчера у вас было ЦТ, сейчас я, там, в соседней комнате, ждет девушка из «Экрана». Эти «цветы запоздалые»... Как они вам?*

— Ну, какой вопрос, очень поэтический и ненужный. Не «цветы запоздалые», вовсе нет. Наоборот, меня бесит не их запоздалость, а эта вот их запоздалая расторопность. Вот что бесит меня больше всего.

«МОЙ АНТИЯЗЫК ОТ АНТИЖИЗНИ...»

С писателем беседовала С. Сухова

— *Венедикт Васильевич, ваша поэма «Москва — Петушки», написанная 20 лет назад, наконец опубликована и у нас. Поздравляем и радуемся вместе с вами, но почему так долго пришлось этого ждать?*

— Многие отрицали, что это литература.

— *У вашей пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» более счастливая судьба. Она была опубликована в журнале «Театр» (№ 4, 1989) и поставлена в Театре на Малой Бронной. На подходе другие премьеры. Когда она была написана?*

— В 1985 году. Здесь мы с Михаилом Сергеевичем шагали в ногу. Только я успел поставить последнюю в своей трагедии точку, на следующий день вышел «Указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом».

— *А вы как относитесь к проблеме отечественного пьянства?*

— Сейчас много пишут, что пьянство — это масонско-жидовское вторжение в русское язычество. Что русский человек никогда не пил, что после нашествия масонов и жидов русский человек почему-то запил под их гипнотическим внушением... Я прекращаю, но я не люблю эту игру в антисемитизм.

— *Во все ваши произведения изящно входит пласт нецензурных выражений. Употребление таких слов — это следование литературной традиции? Но ведь даже Пушкин был в таких вопросах целомудренным скромником...*

— Я тоже не замечал, что это в традициях нашей литературы. Но ведь надо же что-то в ней обновлять. Хотя, по существу, я традиционен. Я терпеть не могу, например, абсурдизм и авангардизм в стиле моего однофамильца Виктора.

Противно слушать и незачем, ведь все это писано за ради смехов и не заключает в себе никакого духовного потенциала. Ну, для чего столько городить, столько писать ради нескольких удачных фраз, надо чтобы каждая фраза была удачной.

— *Насколько серьезно, по-вашему, литература отражает состояние современного общества? К примеру, в 60—70-е годы болевой точкой общества, судя по литературе, была русская деревня. Целый пласт прозы кричал о ее гибели, вырождении духовном и численном. Сейчас — где эта точка, и почему литература молчит?*

— Ну, болевая точка остается та же. Духовное вырождение человека. Но вот сколько я ни исследую опубликованную литературу, пока не наблюдал, чтобы хоть кто-то мог к ней приблизиться. Все — от Дмитрия Пригова до Фазиля Искандера — впадают в какой-то эйфорический смехотворный стиль, в особенности молодые поэты, которые работают под обэриутов или под раннего Заболоцкого.

— *К какой «болевой точке» хотите приблизиться вы? Чего нам, читателям, ждать от Венедикта Ерофеева?*

— В 4-м номере журнала «Даугава», который выйдет в следующем году, готовится к публикации моя крамольная «Лениниана». По такому же типу хочу написать «Энгельсиану». Слава богу, материала предостаточно даже в одном шестом томе их совместных с Карлом Марксом сочинений. Еще есть идея восстановить некоторые нюансы взаимоотношений Чернышевского и Добролюбова. Последнего Николай Некрасов объявил «чистейшим светильником», а между тем, оберегая репутацию Добролюбова, Чернышевский уничтожил почти половину его дневников...

— *Откуда же вы знаете о Добролюбове столько нехрестоматийного?*

— Из оставшейся половины. Вот уеду на дачу в Абрамцево и попробую там с этим поработать.

— *Кто вам выделил дачу для работы? СП? Литфонд?*

— Нет, на свою дачу меня пригласил мой знакомый Толстой. Я ведь, слава богу, не обил порог ни одного издательства, не был ни в одном журнале, ни в одной газете. Ни у кого не просил ничего, а тем более у СП, боже меня упаси.

— *Вы приняты в члены СП?*

— Да нет, конечно, да я и никогда не подам заявления на это. Нехорошо.

— *А как вы стали членом Литфонда?*

— Просто пришел ко мне человек из Литфонда. Он узнал, что у меня пенсия всего 26 рублей и предложил мне вступить в Лит-

фонд, пообещав, что пенсия будет тогда 126. Вот это меня захватило. Ведь я человек корыстный. И я решил: отчего бы мне не вступить в Литфонд? Пастернак ведь умер членом Литфонда. И Солженицын был изгнан, будучи членом Литфонда. А я чем хуже их? Вот уже первую повышенную пенсию получил...

— *В трудные для вас времена помогала ли вам московская писательская братия?*

— Кто-то помогал... Белла Ахмадулина... Булат Окуджава хотел как-то приехать ко мне в гости, да чего-то сдрейфил. Все прибыли — а его нет.

— *«...Но сегодняшняя скверна и сегодний день — вне заповедей». Я цитирую ваше эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика». Не кажется ли вам, что «скверна» распознается, что количество нравственно деградировавших людей, людей «вне заповедей», достигло своей «критической массы»?*

— О деградации надо говорить в бытовом смысле. Мне часто звонят женщины, говорят, что боятся вечером выходить на улицу, потому что с каждым днем все больше расползается эта скверна. Самоуправство и рукоприкладство. Беспардонность и безответственность. Одним словом, все, чем богата русская нация.

— *А что же делать? Или какой, по-вашему, вопрос стоит сейчас перед советской частью человечества: «что делать?», «кто виноват?», «быть или не быть?»...*

— Понятно только кто виноват, а все остальное проблематично.

«ВСТРЕЧА С НИМ СОСТАВЛЯЕТ СОБЫТИЕ ЖИЗНИ»

СОВРЕМЕННИКИ

О ВЕНЕДИКТЕ ЕРОФЕЕВЕ

Нина Фролова
Лидия Любчикова
Игорь Авдиев
Владимир Муравьев
Александр Леонтович
Ольга Седакова
Галина Ерофеева
Наталья Шмелькова

Нина ФРОЛОВА*

Родители наши из Ульяновской области, с Поволжья, но когда в Поволжье был голод, отец и его братья уехали на Север и все стали железнодорожниками. В общем-то, наше детство на Кольском полуострове было такое нищее, что и вспоминать его не хочется. Но отцу полагались бесплатные билеты, и мы каждый год ездили на родину, в его деревню, где половина жителей были Ерофеевы.

На первой фотографии Веничке года три, а это Боря — старше на полтора года. Они росли вместе, как близнецы, даже разговаривали между собой на особом языке и в школу вместе пошли, хотя Вене еще семи не было. В школу пошли вместе потому, что так было удобней для всех, Веничка уже давно умел читать, то есть обогнал своего брата, а еще это было экономно: портфель один на двоих. Веничка необычный был и маленький: когда он научился читать, мы даже и не знали, никто его специально не учил, может быть, сам что-то спрашивал у старших. Он был сдержанный, углубленный в свои мысли, память у него была превосходная. Например, такой эпизод. Книг особых у нас не было, поэтому читали все подряд, что под руку попадается; был у нас маленький отрывной календарь, который вешают на стену и каждый день отрывают по листочку. Веничка этот календарь — все 365 дней — полностью знал наизусть еще до школы; например, скажешь ему: 31 июля — он отвечает: пятница, восход, заход солнца, долгота дня, праздники и все, что на обороте написано. Такая была феноменальная память. Мы, когда хотели кого-нибудь удивить, показывали это. К тому же у него всегда был независимый характер.

* Сестра писателя.

Например, на него жаловалась учительницав первом классе: когда детей принимали в октябрята, он ей сказал, что не хочет. Учительница была вне себя: «Как же так, все же октябрята!» — «А я не хочу как все». Так и не стал октябренком. И ни пионером, ни комсомольцем он не был. А ведь это было в 40—50-е годы.

Жили мы очень тяжело, но не считали это чем-то из ряда вон выходящим: все так жили. Мама не работала, нас пятеро было, и кое-какое хозяйство, козы. В 1941 году мы последний раз ездили на родину родителей. (Мама была из той же деревни, родители там и поженились.) А в начале войны мы эвакуировались. Пока добрались до своей деревни, чего только не было, и спали на перронах. Мы ехали целый месяц, в дороге, конечно, все изголодались, у всех кончилась еда, и подкармливали только тех, у кого были дети: давали сухарики и тому подобное. Веня с Борей оба были маленькие. Боря без конца канючил: «Хочу кушать!» А Веня молчал, ничего не просил. А когда садились есть, хотя во время войны было голодно, всего было по норме, по кусочку, — он всегда кушал медленно, интеллигентно, аккуратно и долго, безо всякой жадности. Ехали мы с мамой, а папа оставался работать на Кольском: там было военное положение, так как это граница с Финляндией. Там часто и налеты бывали на поезда, и бомбежки. В начале войны, я помню, наш дом был на станции, и мама нас всегда отправляла в лес, чтобы мы у железной дороги не торчали — это было опасно. Когда мы уехали, через неделю бомба упала прямо около дома и все разнесла.

У нас семья была дружная, несмотря на тяжелую жизнь, было и весело, и интересно. Я помню, в войну мы жили в доме, который подлежал или ремонту, или сносу: печь дымила, всегда было холодно, а Тамара, наша старшая сестра, при лампе читала вслух «Войну и мир».

В 1946 году отца посадили. Нам нужно было кормиться, старшая сестра уже жила в Кировске, там работал и брат. Только сейчас я понимаю, каково было маме смотреть на нас: нас было трое, я училась в четвертом или пятом классе, а Веня с Борей были крошечные. Мы голодаем, а маме не дают карточку, потому что на работу ее не берут как жену врага народа (у нас — карточки иждивенцев). Получается, что она живет на наш счет, нас объедает, а там и так минимум. И тогда мама решила, что если она не уедет, то мы пропадем с голоду. Это был 1947 год, отец уже полтора года сидел. Мне, кстати, недавно пришло письмо с реабилитацией: «Осужден по статье 58-10 (это пропаганда: он был человек очень остроумный, мог рассказать анекдот, а этого было достаточно) к 5 годам с последующим поражением в правах сроком на 3 года». Он все это

полностью отсидел. Под следствием отец находился больше года, пока не заболел туберкулезом. Тогда он понял, что все равно умирать, и подписал все, что ему предлагали: враг народа и так далее.

Короче говоря, мама, по-видимому, так решила: если она уедет, то государство о нас позаботится. К нам действительно сразу пришли из милиции и стали спрашивать, куда она уехала. Я знала, что она поехала в Москву, к сестре, я сама ее провожала, но она наказала никому об этом не говорить. Бориса с Венедиктом сразу забрали в детский дом и увезли в Кировск. Мама приехала, только когда папа вернулся. Тогда и Борис с Венедиктом вернулись домой. Когда отца забрали, ему было лет сорок шесть: молодой, веселый, всегда любил пошутить, всегда с улыбкой, а вернулся совершенно больной, без зубов. Веня в каком-то интервью наплел бог знает что об отце — он маленький был, ничего этого не помнит. Во-первых, он там сказал, что Карелия то переходила в руки немцев, то возвращалась к нам — этого не было. И вроде бы отца посадили чуть ли не за то, что он сотрудничал с немцами — какая глупость! Немцы никогда не были на Кольском полуострове. И взяли отца не в 1938 году, а в 46-м.

Когда после 10 классов Венедикт поступил в МГУ, мама с папой были ужасно горды. Есть фотография времен, когда Веня уже учился в университете и приезжал домой на каникулы. Мы с Борей похожи на мать, а Веня с Тамарой — на отца. У Венедикта были темно-русые волосы и светлые глаза, как у отца. Отец был высокий, стройный. Венедикт в него, только улучшенный вариант. Веня очень хорошо выглядел до болезни.

Чего бы Веня ни касался, он знал досконально. Музыку он знал так, что мог бы быть музыковедом. Мне рассказывал Кобяков, с которым они вместе поступали в МГУ и жили в одной комнате, как он проходил в университете собеседование по литературе: «Жду его, нет долго, час. Потом выходит, а с ним еще трое из приемной комиссии, расшаркиваются, благодарят. Он потом рассказал, что речь у него зашла о древней поэзии, и тут смекнул, что эти товарищи совершенно не знают ее. Пришлось их просветить».

Потом меня послали на Украину в Славянск, он к нам приезжал, жил у нас несколько месяцев, а сам работал в экспедиции. Вообще поначалу Веня был типичным бродягой: отрицал родственные чувства. Даже когда жил у нас, говорил, что это оттого, что больше негде. А когда мама умерла, он вдруг сказал: «Раз мамы нет, мы все должны теперь держаться друг друга», — я была приятно удивлена такой переменой. Когда Веня у нас жил, моя дочь Марина, еще совсем маленькая, очень была привязана к нему, и он к ней, мне казалось. Он тогда презирал всякие поцелуи, и ме-

ня поразило, что, когда Венька уезжал от нас, на вокзале он ее поцеловал. Она заплакала, и он был очень растроган.

Тогда, на Украине, он много писал в записные книжки, очень много читал. Я помню, тогда Венька составлял антологию «Русские поэты». Не знаю, какими источниками он пользовался: Гумилева тогда не издавали, а Веня откуда-то выписывал. Он очень много наизусть знал и цитировал без конца. А еще он любил руководить чтением всех своих близких. Я помню, он мне составлял списки, когда приезжал на Украину, спрашивал: «Что ты читаешь?» — «Пикуля». — «Фу! Вот Набокова надо читать». А о Набокове тогда и слыхом не слыхивали. «Неужели ты дожила до таких лет и не знаешь, кто такой Набоков?» Вот сейчас печатают Конквиста, а у него эта книга была в такие годы, когда за нее можно было сесть. Он давал эту книжку нам с Тамарой на одну ночь.

В 1956 году мы переехали в Москву, и он приезжал к нам несколько раз со своей первой женой Валентиной. Он очень любил сына, пока тот был маленький, потом как-то остыл. Это в отца, отец наш все говорил: «И зачем они растут, оставались бы маленькими...» А в те годы Веня приезжал ко мне с зарплатой и говорил: «Ты знаешь, что я все потрачу, пойдем, пока есть деньги, купим сыну подарки». Мы покупали конфеты, орехи, игрушки. Однажды он фотоаппарат купил с увеличителем — так был горд! И сам потом фотографировал Валю с ребенком.

Приезжал он к нам и один. Часто с ним приезжал этот Тихонов, которого я терпеть не могла за его нахальство. Он окружал Веньку обожанием, слушал его, открыв рот, и поддакивал. Но нам говорил ужасные гадости. Однажды муж даже взял его и вывел на автобусную остановку. Веня промолчал. Сорокин с ним тоже приходил, хиромантией тогда занимался, предлагал погадать по руке.

На какое-то время Веня исчез, а потом позвонил мне на работу: «Я женился». На Гале. Но на свадьбу меня не пригласил: он считал, что я для этой компании не подхожу, что меня будет кто-то или что-то шокировать. Я тогда всерьез к этой женитьбе не отнеслась. Но потом я встретилась с Галей, она рассказала, что у него было безвыходное положение. Он потерял свой паспорт, что при его беспечности вполне понятно. Почти тогда же он рукопись романа «Шостакович» потерял. Я помню, как он приехал ко мне с этой сеточкой — ну кто же в сеточке носит рукописи?.. Но потом оказалось, что его женитьба всерьез. Галя о нем заботилась — именно это нужно и было: Венька — человек непрактичный, не приспособленный к жизни. Галя ему была как мама родная, а когда он заболел — тем более.

Он любил что-нибудь рассказывать, это было очень интерес-

но, но, когда ему сделали операцию, говорить не мог, а аппарата еще долго не было. Мы пришли к нему с сестрой, и он написал нам в записке: «Мне теперь все время снится, что я болтаю, болтаю...» Больше всего его потрясла потеря речи. Все физические страдания он перенес без жалоб (операция прошла под местным наркозом, он все помнил и чувствовал). Врачи хвалили его за мужество. А он так был счастлив, что после всего этого жить остался!

Но даже больной он лежал, а вокруг по-прежнему сидели несколько человек, и все внимали ему с удовольствием, хотя говорил он через ужасный аппарат. Галя тогда не раз звонила: «Нина Васильевна, Венедикт уже все, не переживет сегодняшнюю ночь». Я бросала все, приезжала, а Венька лежит довольный, сияет, около него сидят три девицы и ведут разговоры. Но в последний раз в больнице он сказал: «Собирался я, собирался умирать, а теперь, кажется, собрался по-настоящему».

Лидия ЛЮБЧИКОВА

Знакомство мое с Беном началось в 1964 или в 1965 году, значит, больше 25 лет назад. (Я всегда звала Ерофеева Бенедиктом, считая наше «Венедикт» — испорченным.) Он работал в одной шарашке с Вадимом Тихоновым, бывшим моим мужем. Я была хозяйкой в маленькой семиметровой комнатке на Пятницкой. Очень удобное место: близко метро, близко центр, кругом магазины. Ерофееву тут — как транзитному — очень хорошо. Впервые он пришел к нам со своей женой — Валей Зимаковой. Оба высокие, крепкие, очень привлекательные. У Вали — роскошные длинные волосы гривой. Но оба какие-то неприкаянные, неустроенные, в поношенной бедной одежде. Меня поразило, как много они выпили, причем Валя мужчинам практически не уступала. С этих пор они часто появлялись у нас, когда бывали в Москве. Разговоры были обычно самые пустые, я их часто оставляла с Тихоновым и уходила по своим делам. Потом, когда они подверглись репрессиям моей матушки, я уже их не бросала, беззащитных. Комнатка у меня была крохотная, разместить всех было негде, приходилось или мне уходить в комнату матушки — а это скандал, или спать на полу. С Тихоновым отношения Бена были сложные и простые в то же время. Ссорились они редко, да и то Бенедикт ему все спускал: «Ох, Вадимчик!» Их соединяли и совместные проказы, например, они во Владимире вместе поджигали райком. Взаимное подтрунивание, иногда до ожесточения, и тут же любовное распитие и умиленные взоры друг на друга. А я обеспечивала закуску, по безденежью чаще всего яичницу, которую Бенедикт очень бережно, кусочком хлеба всю подбирал со сковородки. Есть он всегда хотел ужасно, но выражал это застенчиво, ел не

жадно и действовал кусочком хлеба как-то чрезвычайно деликатно.

Мы с Тихоновым тоже побывали у них в гостях в деревне Мышлино, где жила Валя «с тещей и козой», а потом и с «пухлым младенцем». Изба была какая-то темная, мрачная, холодная. Новую избу Валя нечаянно сожгла. А в этой, старой, и печка русская была уже нехороша, приходилось топить еще и другой печкой. Труба от нее тянулась через избу в окно. Уюта не было никакого. И лада в семье тоже было мало, потому что теща не очень любила Веню, как водится у тещ. Про нее «владимирцы» сочинили, что она была ведьмой, как, впрочем, и Валя. Бен рассказывал: «Смотрю, стоит теща, а козы нет, потом тут же стоит коза, а тещи нет». В те поры мне казалось, что Бен любил Валю. А Валя любила его. Он непременно что-то вез в Мышлино, когда ездил туда, и, заходя к нам, обычно показывал, что везет: ему нравилось изображать хозяйственность и что я его хвалю, хотя в его клади преобладала выпивка. Валя была очень хороша во время беременности: кожа нежная, чистая, лицо как будто нарисовано акварелью, глаза большие — прелесть. Она казалась счастливой тогда. И сына назвала по отцу (наверное, он один в стране Венедикт Венедиктович — «дважды благословенный»). Ребенка мы увидели уже годовалого или старше, когда приехали опять в Мышлино, на этот раз ватагой «владимирцев», встречать Новый год. Ребенок был действительно «пухлый» и «кроткий», по-моему, ни разу не заплакал, хотя жил в очень трудных условиях. В этой старой избе воздух от пола на полметра никогда не нагревался и мальчик жил при минусовой температуре, вечно простуженный («весь в соплях», сказал Бен).

«Владимирцы» — это действительно владимирцы: Боря Сорокин, Игорь Авдиев, Андрей Петяев, Вадим Тихонов, Валера Маслов и его девушка Валя, Владик Цедринский, потом Андрей Архипов и другие, которые возникали и пропадали. Бен во Владимире учился в пединституте и жил на квартире у матери Тихонова. Отсюда все эти ребята, их девушки, их знакомые. В пединституте Ерофеев был, по рассказам, очень заметен. Очень красив, очень беден, очень счастлив в любви. Это ему и дружкам его, вроде Тихонова, помогало и жить и пить. Они подкатывались к очередной жертве и, пользуясь своей красотой, с нахальством занимали трешку «до понедельника», не уточняя — которого. Бен пил уже тогда «гомерически». Он рассказывал, что у него бывали дуэли с самыми знаменитыми выпивохами и он перепивал всех, причем знаменитости валялись под столом, а он, чистый, как стеклышко, в домашних тапочках на босу ногу (бедность!), снисходительно

принимал восторги дев. Но и вылетел из «педа» за все подвиги, хотя учился там лучше всех, получал именную стипендию.

В пединституте он был «первый парень на селе», в него там влюблялись все поголовно, мне потом перечисляли девиц, которые прямо-таки драму переживали. И Бен этот свой статус ценил. В юности он был очень добродушен и деликатен, никогда он никого резко не отталкивал. И у него, по-моему, были романы, но не знаю, насколько они его глубоко трогали. По рассказам, он любил Юлию, и чуть ли это не осталось болезнью на всю жизнь. Юлия у них была «комсомольская богиня». Она была, кажется, секретарь комсомольской организации, девица с волевым характером, ездила на мотоцикле, стреляла и так далее. Она училась на биолога и сейчас, кажется, кандидат наук. Тогда дело кончилось разрывом: наверное, в этом виновата и его богемная натура, и очевидная неустроенность, и благосклонность ко всем девушкам, которые вокруг вились. Была легенда, что Юлия хотела даже застрелить Бена.

Валя Зимакова, тоже из пединститута, оказалась, очевидно, той, которая полюбила Веню сильнее других, «прилепилась» к нему, как советует Писание, и стала в конце концов его женой. После распределения она поехала к себе в Мышлино преподавать. Это под Петушками деревня, совершенно захолустная: через поля, через леса. Там несколько деревень близко друг от друга. Валя жила в Мышлине, а преподавала немецкий и потом что придется в соседней деревне в школе. Бенедикт приезжал в Мышлино, когда у него были свободные дни. Валя начала очень сильно пить, а может быть, она пила еще со Владимира, там была тогда мода на пьянство и бесовство: все девицы объявляли себя ведьмами, была общая истерия, вечно их нужно было вызволять, спасать; то они себе разрежут вены, то еще что-нибудь. Контора Бенедикта была в Москве, жил он где придется, у него никогда не было своего дома. Неустройство было ужасное. Когда он бывал свободен, если оказывался в Москве (они работали без выходных на прокладке кабеля, а потом выходные дни набирались), заходил и ночевал у друзей — у Муравьева, Кобякова.

Ребенка своего Бенедикт называл «младенец» — так это и повелось. Он ужасно его любил, но не показывал этого впрямую. Ему несвойственно было говорить нежные слова, но интонация, выражение лица... Он сыну все время возил какие-то подарки, как и написано в «Петушках». Авоська у него была самая задрипанная, с какими-то газетными свертками, чемоданчик невзрачный. И мне казалось, что он с охотой ездил к сыну и Вале, а не по долгу.

Ребенок в «Петушках» — это Валин сын, а женщина — не она. И даже буква «Ю», я думаю, идет от имени Юлия. Бен потом снова сошелся с Юлией, и на какое-то время семью у него как отрезало, он о них даже не вспоминал, не говорил. У Юлии была трехкомнатная квартира в Пущине, она постаралась его обиходить, потому что он в переездах среди своих пьяных мужиков, житья на квартирах и в гостиницах оборвался весь, даже, наверное, и мыться там было негде. И она взялась его одевать, обувать, отмывать, всячески холить и нежить. Приезжает он как-то раз к нам и портфель несет. То у него были какие-то замызганные чемоданчики, а тут — роскошный министерский портфель, и оттуда он вынимает замечательные тапочки — мягкие, коричневые. Он нам тапочки показывает, усмехаясь над собой, и говорит: «Что тапочки! У меня теперь холодильник даже есть, представляете! Первый раз в жизни у меня есть холодильник, и чего там только в этом холодильнике нет!» И весь сияет и рад по-детски. Тихонов говорит: «Как же так, ведь Юлия...» — «А я не пью, — отвечает, — совершенно». — «Быть этого не может», — говорит Тихонов. — «Как же я могу пить, если она меня по методу Макаренко воспитывает? Она мне дает деньги и посылает в магазин. Ну как же я могу истратить их?»

Он пожил у Юлии, а потом страшно чем-то отравился. Кажется, у нее где-то спирт стоял, как у биолога. И, по-моему, она стала ультиматумы ставить, чтобы он не пил. И Бенедикт снова появляется, вынимает эти тапочки и говорит: «Я в Мышлино еду». Обмолвился о том, что в Пущине у него стала коса на камень находить. Не в силах с тапочками расстаться, он их с собой взял. Потом через некоторое время появляется и снова тапочки достает: «Я, — говорит, — в Пущино еду». И так и ездил некоторое время. Если он доставал тапочки, мы знали, что у него эксцесс в Пущине. Если эксцесса нет, то тапочки не появлялись. Когда в Мышлине какой-нибудь эксцесс (очевидно, Валя ревновала), он уже из Мышлина уезжал с тапочками. Потом с Юлией опять вышел разрыв, и, кажется, инициатором его опять была она.

Сын рос, Бенедикт иногда с ним приезжал в Москву, специально его водил показывать Красную площадь. Бен о нем заботился, как-то говорил, что пальтишко надо купить, радовался, что мальчик вроде бы умный, боялся, что пить будет — там в деревне все пили. Когда мальчику было лет 15, говорил, что слава богу, ему, кажется, не нравится, что мать пьет. К сожалению, я слышала, что сын теперь все-таки попивает. Взрослого сына я увидела уже только на похоронах. Высокий, что-то у него от матери, что-то от Бена. От Бена особенно много жестов. И у сына эта осанка стройная есть, манера стоять, ходить. И лицом похож, но у Бена

было более значительное лицо, несмотря на то что очень милое и простое. Сын женился еще при жизни отца, у него родилась дочка, и Бенедикт с гордостью рассказывал, что он уже дедушка. Не знаю, сумел ли он повидать свою внучку.

Когда я узнала Бенедикта, он уже простился со всеми учебными заведениями, кончил какие-то курсы по междугородной связи и стал кочевать очень широко, укладывая и опять выкапывая кабель. Тихонов рассказывал, что работал он всегда очень прилежно. Он и сам говорил: «Я копаю, а все на меня смотрят, как на дурака». Деньги им платили приличные, но дома не было, семья за тридевять земель, кругом пьют зверски. И все это с него как с гуся вода. Изумительная способность Бенедикта не пьянеть длилась довольно долго. Очень он был крепко сделан. Такая собачья жизнь, как у него, могла бы доконать кого угодно очень быстро. Всю молодость ходил он очень бедно одетый, но при этом не прочь был пощеголять — помню, как он радовался, когда купил клетчатый пиджак. Но все на нем быстро изнашивалось: он все время был в разъездах, в неустройстве. У меня Бен всегда спал не раздеваясь (я потом узнала, что у него иногда не было нижнего белья). Стелила я ему на раскладушке или прямо на полу. Но при этом, надо сказать, никогда он не казался оборванцем, деликатно придерживал рукой ворот рубашки без пуговиц, и эта рубашка была аккуратно заправлена в брюки, которые, несмотря на ветхость, сидели на нем прекрасно, а пиджак, ношеный-переношенный, и вовсе щегольски. В любом вретище — лорд. Высок, строен, за осанку Петяев прозвал его «кедром ливанским». Осанка такая, что засунул сзади за пояс толстенную книжищу, выпрямился — ничего не видно, только бедненький пиджачок щегольски «упадает» с плеч. (Это он тренировался, чтобы таким образом стащить в районной библиотеке никому, кроме него, не нужную книгу. А я должна была оценить маскировку.) Походка легкая, красивая. Во всех жестах сдержанность, благородство, никакого махания руками, мельтешения, никакой вульгарности в облике. Жестов вообще делал мало, поэтому они памятны, например, ладонь к собеседнику: «Стоп, стоп, что ты мелешь?» И речь у него была размеренная, голоса никогда не повышал. Представить нельзя, чтобы он кричал, дрался, — никогда, по-моему, этого не было. Вот представить, чтобы убил, — это я могла. Но не как состояние его души, потому что он, по-моему, «несовместен» с убийством, я говорю о чисто физическом действии. Однажды при мне он гибким движением сразу поднялся с раскладушки и — как продолжение этого движения, как волна передалась в руку — так впечатал надоедливого, не дававшего спать, в стену, что я думала: надоедливый умрет, а стенка сейчас обвалится. Страш-

но было! Вот это я видела, а драки — никогда. Лицо у него было мальчишеским очень долго, густейшие волосы, которые я однажды взялась стричь и не одолела их гущины. Голубые веселые глаза. Нос вздернут. Все очень просто и очень симпатично, мало того, все женщины находили его красивым. Даже моя суровая к пьющим маменька была под его обаянием и увещевала его «не путаться с этой шпаной, которая тебе не ровня» (очень точно замечено насчет не ровни; «шпана» — это «владимирцы», среди них и умники, и оригиналы, а все-таки — не ровня).

Его значительность сразу чувствовалась всеми. Но, упаси Бог, никогда он не был истуканом, памятником самому себе. Только когда издали за границей его «поэму», в нем появилась какая-то горделивость, важность, но с примесью ребячьего, а скоро и это съехало. В молодости же никогда никакой важности, иногда только ленивая снисходительность к молодым «жрицам», кадящим ему, возлежащему на пирушке. Очень он любил возлежать. Ясно, что редко это удовольствие у него было. Итак, он возлежал, благосклонно взирая, молча курил, пил, все не спеша, благообразно, а кругом жрицы, которых время от времени утаскивают плясать или пить, и дым коромыслом. А если не было плясок, то обычно травили какого-нибудь несчастного новичка или из «стареньких» того, кто быстрее заводится. Все вокруг уже разгоряченные, спорят, кричат, машут руками. Тихонов был как бы в придворных шутах. Бенедикт его к тому никак не принуждал — тот сам из любви старался. Когда начинались насмешки над кем-нибудь из компании, чаще всего доставалось умнейшему и оригинальнейшему общему другу Сорокину. Дело почти доходило до ссоры, но обычно разрешалось любовно. И Тихонов, сидя с Борей Сорокиным в обнимку на тахте, проливали пьяные слезы умиления от того, что «они русские». И что интересно: Бен ни в дыме коромыслом, ни в травле совсем как бы не участвовал. Он только присутствовал и что-то себе там думал. Поэтому очень часто при нем веселье затухало — все как-то почтительно (безо всякого старания с его стороны) держали его в уме и усмирялись. Но это, я доподлинно знаю, ему не нравилось. И, пока он был «молод и весел», я взяла за правило не обращать на него внимания в часы общих сборищ и всех подвигала на это. Таким манером мы веселились сами по себе, а он, по-моему очень довольный, что его не теребят, спокойно возлежал или восседал, попивал и наслаждался болтовней жриц, отвечая им: «Молчи, дурочка», — очень нежно. Он в молодости не пьянел совершенно. Как-то при мне выпил литр водки и не изменился ни в чем: глаза чистые, живые, речь та же в интонациях, в занимательности, движения ловкие.

В молодости я его злым даже не припомню. Он был очень смешлив. Один раз мы до того с ним досмеялись, что уже не могли остановиться, я ему показала палец, он закатился, перегнулся, прижал руку к животу, уже болевшему от смеха. Для него очень характерно было так смеяться — практически ни от чего, как в детстве — все смешно. Я в нем много видела ребяческого, наивного, нежного. Помню, как он плакал над стихами Евтушенко. Принес его книжку, сел на тахту, читает, восхищенно восклицает, смотрю — заплакал. Смущенно, как ребенок, смотрит на меня, в глазах слезы: «Разве, — говорит, — это не хорошо?» И читает что-то чрезвычайно одухотворенное, но скверно написанное, на мой взгляд. Его тронула до слез доброта какой-то идеи.

Он всегда замечал цветы. В письме со своего отечества — Кольского полуострова — писал о тамошних «цветиках на холмах», очень сентиментально, прикрываясь шуточками. На балконе вырастил незабудки, маленькие, тощенькие. Сияя, потащил показывать, смотрит на них и на меня совершенно такими же, как они, голубыми глазами, губы сложил бантиком, умиленно-шутливо, — чувствую, они его дети, он им даже «козу» делает. Хорошо рассказывал о прегрешении кошки, которая прикрыла свой грех его тапочком, принесенным из соседней комнаты. Он этой кошкой восхищался — ее умом-разумом и тоже этой интеллектуалке — интонацией — «козу» делал.

Горше всего вспоминать о нежности Бена. Она осталась невостребованной. Всегда была глухая защита ото всех. В молодости мальчики и девочки ждали с разинутыми ртами от сверхчеловека «свершений», подтверждения гениальности. Он отшучивался, от всех, сперва весело, потом зло. Он жил не так, как ему было бы свойственно и естественно. Это мое чувство. Но к кому бы я ни обращалась с этим горем, никто меня не поддержал. Мало того, что в нем нежности не видели (или забыли), в его вещах никто ее не чувствует. Иначе откуда бы эта подлая расхристанность звероподобного Мартынюка в спектакле по «Петушкам» на Малой Бронной, который сипит, рычит, валяется, шатается, мечется — совершенно пьяный грузчик, антипод Венички из поэмы и тем паче Бенедикта. Если бы он хоть немного смыслил в той горестной нежности, с которой Бенедикт смотрел на жизнь, он, например, не бросил бы пьяную бабу на пол, а положил бы ее очень аккуратно, как поступил бы на самом деле Веничка. Много в спектакле рычаний и мало любви. Я была на премьере в ложе с очень плохо себя чувствующим Бенедиктом. Он почти не смотрел на сцену. По лицу было видно, что ему все глубоко не нравится. Когда я спросила: «Ну как?», он сморщился и выразительно махнул, как

прихлопнул. Не знаю, может, он потом, жалея актеров и режиссера, ничего плохого им не сказал. Но мне врать ему резона не было никакого. А я бы сказала режиссеру: «Уважаемый, не только голого пуза мы никогда не видели у Бенедикта (и, надо полагать, не должны видеть и у Венички, очень тесно соотнесенного с автором), но и горло свое он, будучи млад и прекрасен, всегда стыдливо прикрывал, стягивая ворот рубашки без пуговиц. Даже в самую жару, когда все уже и рубашки снимали, он оставался в пиджаке».

Такая «прикрытость», сдержанность чрезвычайно была для него характерна. Бенедикт, я думаю, открывался редко и очень немногим. Может быть, Муравьеву, который, очевидно, был его самым близким другом. Может, еще кому-нибудь. Но я не знаю никого из своих знакомцев, кто бы мог уверенно судить о том, что думал Ерофеев по самым коренным вопросам, о вере например. При мне на проповеднические речи он обычно глазами указывал на проповедников с доброй иронией или скучливым изумлением и говорил: «О коротенькие! И они думают, что я этого не знаю!» А между тем не крестился долго. При мне — Сорокин, что ли? — сколько раз к нему приставал с религиозными разговорами, как бы увещевая его: «Ты написал такую нехристианскую вещь» (свое первое произведение Бен сочинил под Ницше).

Я часто ощущала, что он отчужден от людей, даже тех, с кем в хороших отношениях. Поэтому, наверное, его поступки иногда были далеко не ангельскими. Бывало он поражал вроде бы приятных и близких ему людей действиями, которые как будто говорили о его пренебрежении к ним. Он был «плохо воспитан». Пойдет с последними деньгами хозяев за вином, и тщетно вся компания его будет ожидать: он сам, один, пропьет все. Однажды он сказал мне, что хочет собрать в своей деревне мужей, жен, любовниц мужей и любовников жен. Я его идеи не оценила и даже рассердилась, что он хочет всех «наколоть на булавку и разглядывать». А он улыбался, мечтательно прищуривался и приятным голосом говорил: «Нет, это было бы очень интересно». Я сейчас вспоминаю его милое лицо, и мне смешно и грустно. И я понимаю, что у него, очевидно, была потребность встать в сторонку или над и посмотреть. И это нисколько не исключает, что он смотрел из своего «над» с любовью, нежностью. А большинству, наверное, кажется, что со злостью, тяжестью, ерничеством. Вместе с тем он в душу не лез, был деликатен. Даже целомудрен.

Была у него забавная черта, которую я называла «супротивностью». Он всячески отбрыкивался, когда ему что-то не только навязывали, а просто хвалили и советовали. Защищал себя, что ли? Потом, потихоньку, прочитает и воздаст должное — не было у не-

го предвзятости. Принудить его к чему-нибудь, даже с «благими намерениями», по-моему, было невозможно. Правда, однажды его так принудили написать «Глазами эксцентрика», для чего пришлось запереть его в доме. Но Бенедикт вылез в окошко (он так рассказывал) и, топча редиску, спасся бегством. Свою свободу он отпраздновал с Тихоновым; лицо было блаженное — может, оттого, что написал? Но праздновал два дня и потом всячески избегал пленения. Помню, мы тащили его на «Земляничную поляну» в клуб МГУ: все кругом уже кричали об этой картине, мы билеты купили и были рады облагодетельствовать Бенедикта. Он собирался было, но затем тихонько прилег на тахту и решительно отказался. Я, зная его «супротивность», фыркнула, и мы ушли, оставив его наедине с «благоговейной жрицей» — одной из наших общих владимирских приятельниц. Эти «жрицы» все занимались каждением ему и вели себя как кролики перед удавом. И что же мы увидели, вернувшись? Он спокойно почивал на тахте, осыпанный хризантемами со сломанными стеблями. «Жрица» вынула их из воды и воздала ему почести. Он спал, вытянувшись, как надгробие самому себе, под белыми цветами. «Жрица» так и объяснила: сон был мертвецкий. А потом уже я сообразила, что ему, бедняге, попросту хотелось вместо кино поспать удобно, на тахте, а не на полу, — ведь ему вечно приходилось спать как попало. Очевидно, поэтому он в молодости во время пирушек всегда «возлежал» — устраивался на ложе, сперва полулежа, а потом и со всеми удобствами. Милый мой Ерофеев. В конце жизни опять он лежал на полу. Гарнитура не везли.

Так он никогда и не посмотрел «Земляничную поляну», не удосужился, а на все восторги морщился и отстранял ладонью.

В театр, мне кажется, он не ходил — никогда от него ничего не слыхала. Кто знает, отчего он стал писать пьесы? Видно, что-то собиралось. Ведь многое из «Вальпургиевой ночи» — это прямой бред, который он написал на Канатчиковой. Он был, правда, в так называемом «санаторном» отделении, но, очевидно, там все-таки лежали такие задвинутые.

Трудно его было вытащить в концертный зал. Он говорил, что терпеть не может слушать музыку, когда кругом так много народу. В музыке он был очень наслышан. Первый среди нас стал пропагандировать Шёнберга, французскую «шестерку» и прочих, по тогдашним понятиям, авангардистов. В конце концов любимым его композитором стал Сибелиус. Своего крошечного сына он глушил самой серьезной музыкой — и все такого толка. Когда он собрал нас в Мышлине на Новый год, он доказал свою великую любовь к Шостаковичу. У Шостаковича в какой-то вещи есть очень напря-

женное нарастание, разряжающееся оглушительным «бах!» всего оркестра (впрочем, может, это у Шостаковича во многих вещах — не знаю, но в какой-то вещи этот «бах» чрезвычайный). После того как мы услышали это нарастание и «бах» (остальное он не дал нам слушать как несущественное), Веня свалился с печки, перевел назад звукосниматель и с блаженной рожей полез на печку. Мы услышали второй раз «бах», Веня слетел с печки и поставил иголку на нарастание. После пятого или шестого «баха» мы взбунтовались, и Венина пропаганда прекрасного, слава богу, кончилась. Мне бы в голову не пришло подарить ему Бетховена. В тот день рождения (грустный), который описан в «Петушках», я подарила ему не только банку томатов, но и симфонию Брукнера. А Шёнберга он сам у меня стащил. Ему очень нравилась «Кармина бурана» Орфа, особенно тот мужской хор, где они лают, как собаки. Бен распропагандировал Тихонова, которому показалось вдобавок, что собаки лают нечто русское, и тот в восторге стал заводить этот хор многократно. У меня была температура под 40. Я встала, взяла пластинку и сломала ее, потому что она не билась. Ерофеев ужасно был шокирован моим вандализмом.

Пластинки он покупал постоянно, и превосходные. Наши с ним посиделки почти всегда были под симфоническую музыку. Все знают, что из того, что попроще, он любил Гумилева и почему-то не любил Варламова. Он много читал о музыке по своей привычке все делать фундаментально и даже взял у меня учебник по музтеории. Не знаю, куда его дел. Проку от учебника не было видно.

А живопись он совершенно не желал знать. Ему не нравился буквально никто. И только потом, когда из Франции стали присылать альбомы, он оценил, кажется, Босха — во всяком случае, этот альбом долго держался на виду. Может, и другие художники ему стали нравиться — не знаю. Однако он спокойно спроваживал шикарные альбомы в «бук».

Любимым его коньком была систематизация. Вечно он что-то упорядочивал, собирал, систематизировал. У него была страсть составлять антологии. Он по какому-то признаку систематизировал даже грибы (обожал их собирать), однажды начал читать из записной книжки их названия — я ахнула. Память его была удивительной. Он говорил, что помнит каждый день своей жизни. Когда о чем-нибудь рассказывал, обязательно упоминал и день, и час, и погоду, и все мелкие обстоятельства (насколько это было необходимо или характерно). Очень любил цитировать с указанием даты высказывания: «Дьяк такой-то тогда-то написал так». Я до сих пор не знаю, когда то была ехидная мистификация, а когда дейст-

вительно «дьяк сказал». В Бенедикте вообще была фундаментальность. Если он что-то знал, то досконально. Читал книги моментально и все запоминал. Где он их раскапывал? У него чутье было на книги, пластинки, информацию. Он, перед тем как заболеть, где-то на курсах учил немецкий язык и сообщал, что переводит Энгельса. Скорее всего, так и было: по большей части он правду говорил. А если шутил с серьезным видом, то делал такую специфическую физиономию — губки бантиком, что сразу было видно, что шутит. Тяжело было видеть в последний год разрушение этой памяти.

Очень о многом можно пожалеть. Из «физики» больше всего жаль голоса. Это был на редкость красивый, богатый голос. Говорил Бенедикт всегда ровно, без драматизма, без крика. Часто ограничивался хмыканьем, очень выразительным, с характерной юмористической гримасой. Комната у меня была с хорошим резонансом — высокий потолок. Однажды мы, поговорив, замолчали. Он уронил коротко и негромко что-то, кажется, «да». И на это полнозвучное, колокольное «да» отозвалась в тон струна пианино. Это была прекрасная минута, показалось, что застыли в воздухе два звука: золотой колокол и эхо — теплый звук баритональной струны. («Бернар и Бенжамен — ах — оба баритоны», — частенько говаривала я тогда: Бернар — Боря Сорокин, Бенжамен — Бенедикт.) Но он никогда не пел. Не знаю почему.

Я думаю, настоящих друзей у него было мало. Когда он был молодым, я знала, что его самым близким другом был Муравьев. Очевидно, это так и осталось до конца. А все эти «владимирцы», которые были в молодости, скорее сами дружили с ним, чем Бен с ними. И Тихонов, которому он посвятил «Москву — Петушки», в общем, другом его, конечно, не был, тут было что-то иное. Но все мы, друзья молодости, любили его не как знаменитого писателя, а как прелестного (именно!), обаятельнейшего, необычайно притягательного человека. Мы очень чувствовали его значительность, он был для нас значителен сам по себе, без своих писаний. И все мы страшно радовались, когда стали читать его тетрадку с поэмой. Оценили мы ее по-разному. Я, например, очень долго не могла воспринять это как художественное произведение, я читала как дневник, где все имена знакомые. С тетрадкой-рукописью «Петушков» была целая история: Бенедикт с Тихоновым ходили ее продавать — продавали кому-нибудь пишущему или собирателю — его знали — за трешку или пятерку, вдвоем пропивали деньги, а потом возвращались к покупщику и увещевали его, что он хочет заработать на бедственном положении собрата. Тетрадка возвращалась. И так несколько раз.

Я в конце концов отняла у них рукопись и спрятала. Но они ее выкрали снова.

Я последние годы с ним мало виделась. Обычно летом он уезжал в Абрамцево. Сначала жил на даче у деда Вадима Делоне, знаменитого математика, с которым он познакомился через самого Вадима. Бен любил этого деда, очень его уважал, и дед Делоне тоже любил Бенедикта, говорят, хотел ему даже завещать эту дачу. Но когда дед умер, наследники, конечно, выгнали Бена, и тогда он с Галиной стал жить на даче у Грабаря и сделался его очень хорошим другом. Бену очень там нравилось, он ездил в Абрамцево и зимой, первое время даже на лыжах ходил.

Он остался такой же веселый и хороший, как и в молодости, но только когда был трезв, а это случалось все реже. Очень жаль, что Бенедикт потерял способность не пьянеть. Потому что пьяным он становился совершенно другим — резким, неприязненным. Его трудно стало любить — ценить, все прочее, а любовь он мог оттолкнуть очень резко. И слава богу, что многие все-таки его видели настоящего и любили. Среди его поздних знакомых некоторым трудно себе представить, что бывают такие люди, как молодой Бенедикт. Поэтому скажу: ни мифа не создаю, ни «aut bene...» тут, а чистая правда. Дурные его поступки — это не он.

Игорь АВДИЕВ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
А.С. Пушкин

Раньше я мучился похмельем только с утра и поверху, это было в шестидесятые. В семидесятые — и день и два...

Смутное похмелье заставляет пристальнее вглядываться в себя. Уж вот поистине: «мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор 13, 12), но тем болезненнее напрягаем очи сердца. А там: лицом к лицу, сам не сам да сам не свой. С мучительной любовью к себе доброму и истинному и с любовной мукой за себя злого и лганого. Сидишь незапечатленный, как воздушный поцелуй, и непечатный, как матерное слово. И не отмеченный ни единой печатью, даже в документах, потому что документов тоже нет. А без документов в СССР или тебя — нет, или... СССР на тебя нет. Родная земля из-под ног уходит. И спасительная мысль: но Веня-то есть! И тоже без документов, без СССР, без земли под ногами и незапечатленный, непечатный. И спешишь к Вене как к доказательству своего бытия и сознания.

В 1990 году Веня умер, но еще осенью 1969 года в поэме «Москва — Петушки» он предсказал, — когда хмель ушел из сердца, явились страхи бытия и шаткость сознания, промчались полчища эриний над головами виноватых и головы виноватых легли на блюдо Саломеи, — Веня понял всю муку этого бытия, и с тех пор не приходил в сознание, и предрек: «И никогда не приду». И только тем, кому писал поэму — друзьям, — тихо добавил: «...и вы никогда не придете».

Осенью 1969 года я учился в МГУ. На историческом факультете. На первом курсе. Я получал стипендию 35 рублей в месяц. Сегодня, то есть накануне Сретенья, накануне принесения в 1991 году Младенца в Храм, я бы купил в подворотне близ Елисеевского у встречного одну бутылку водки, а тогда, осенью 1969, можно было два дня щедро угощаться с друзьями. И мы с Вадей Тихоновым решили навестить внезапно пропавшего на две недели Веню. Две недели без Вени для нас было непереносимо, а исчезновение на две недели Вени, который каждый день уж под вечер-то обязательно приезжал из Лобни (где его бригада тянула кабель) на Пятницкую улицу к Тихонову — загадочно. Тихонов сетовал: Ленин на Пятницкую к Розалии Самойловне Землячке приезжал хоть раз в неделю, а Веня две недели ко мне не едет. Что я, хуже этой деятельницы? И мы с Вадей поехали в Лобню. Очевидно, мы что-то выпили, потому что я не помню, как мы пересекли Садовое кольцо, были ли мы на Каляевской, но уж, наверное, мы не попали на Курский вокзал, а все-таки на Савеловский, потому что до Лобни мы доехали. Недалеко от вокзала стоял пустой дом, покинутый жителями. По комнатам этого дома и расселилась бригада связистов. «Спайщики и симметрировщики!» — пояснил Тихонов с профессиональной гордостью. С его легкой руки после Коломенского пединститута Веня почти десяток лет копал траншеи под кабель, потом его закапывал, а потом откапывал (см. тонкости «производственного процесса» в главе «Кусково — Новогиреево»). В пустой комнате на кровати, застеленной одним только матрасом, возлежал Веня, подперев голову кулаком. (Ну, то не помнит, как на вокзал попал, а тут вспоминает такие мелочи: как лежал, да куда головой. Поясню. Я запомнил, что Веня так лежал в Лобне потому, что он так возлежал во Владимире во всех гостеприимных домах, которых было, увы, немного; так возлежал в деревне Мышлино Петушинского района; на Пятницкой улице в Москве — у Тихонова и у меня, когда я поселился на Пятницкой; так возлежал в Орехово-Зуеве у тети Шуры — перекупщицы краденого; в экспедиции на Кольском полуострове и везде, где бы он ни оставался дольше одного дня, тем более когда возлег на тахте в проезде МХАТа, или, как он говорил, «в Камергерском» у Галины Носовой; а потом на Флотской улице; именно так Веня возлежал на двадцать четвертом этаже онкологического центра на Каширке. Да и вы разве не помните до мельчайших деталей, как лежала ваша любимая девушка, а Веня был нам дороже всех наших любимых девушек. Убедил?!).

Итак, Веня возлежал, подперев свою лохматую голову кула-

ком, и что-то писал. Увидел нас с Вадей, необычно засуетился, затолкнул тетрадь, в которой писал, под подушку, и, смущенно улыбаясь, встал навстречу.

— Вы чего, ребятишки?

— Как чего?! — изумился Тихонов. — Ты куда пропал?! Вон Авдяша стипендию получил, а тебя нет. Куда ж нам ее девать прикажешь, Сорокину с Седаковой дом, что ли, купить? (Борю Сорокина к этому времени выгнали из МГУ. Он искал дворничью работу со служебной площадью. Были даже фантастические планы купить дом в Подмосковье. Вся эта суета и тщета, чтобы жениться на мистической любимой — Боря иначе не умел — поэтессе Ольге Седаковой).

— А этот паразит Сорокин все еще тургенничает, все еще рудинщинничает, — расхохотался Веня. — А у вас, без смеха, чего-нибудь есть? А то я тут перешел на трехразовое питание: понедельник, среда, пятница.

— Что ж мы, Веня, Сорокин, что ли? Что ж мы к тебе с портфелем гладиолусов, что ли, приедем?

Веня кокетничал. Не было в его жизни недели, когда он ел три раза. Да и вообще, не припомню на его физиономии движения челюстями, не помню жевательных движений, Вене они были не свойственны. А Веня был очень консервативен. Я не помню его в пестрой, полосатой или клетчатой рубашке. Рубашки всегда были белые или голубые, застегнутые на все пуговицы. А если верхняя пуговица и расстегнута, то Веня воротничок придерживал рукой, чтобы он не распахнулся. Это был его характерный жест. Даже если Веня возлежал неделю-другую на какой-нибудь тахте, он и то не подумал бы снять пиджак. Трудно представить Веню даже в непереносимую жару без пиджака; так же трудно было, хоть и в лютый мороз, увидеть его в шапке. Шапка волос, будто никогда не чесанных ничем, кроме пятерни (хотя расческу Веня всегда носил в наружном кармане по обычаю пятидесятых годов), бушевала и в болшевскую капель, и в петушинский иней, и до радуги в Поломах, и после северного сияния в Чупе Лоухского района Карельской АССР на берегу Чупинского залива Кандалакшской губы Белого моря, где Веня родился.

Мы с Вадей достали из своих портфелей содержимое. Я не помню, что именно мы достали, и Вадя наверняка не помнит. А вот Веня всегда точно помнил, сколько, чего, почем, какого качества и как смешали. Графики, которые он составил в пору скоротечного бригадирства, — только скромный намек на те обобщения, которые были ему необходимы. Он, например, помнил, что

14 мая 1967 года мы с ним выпили 8 чекушек (почему-то той весной в караваевский магазин водку привозили только чекушечного достоинства), 3 огнетушителя вермута и 2 пузырька какого-то германского «Одорекса». И это было ему необходимо: помнить календарное имя дня в человеческой истории и точное содержимое этого дня, то́ есть чем Веня наполнил этот день от себя. И пили в этот день мы не просто так, а отмечая день рождения государства Израиль. На следующий день мучительное похмелье заставило нас выпить 14 чекушек, но не бездумно, а вспоминая, что на следующий день после дня рождения Израиля ему с утра объявили войну все соседи, а к вечеру, чуточку-чуточку поразмыслив, вступили в эту войну рука об руку Саудовская Аравия и Ирак. И для Вени было важно увидеть скрытую логику, решить загадку: почему за день рождения Израиля пришлось к чекушкам добавлять вермут и пузырьки «Одорекса», а вот арабские переживания откликнулись сплошной водкой в чекушках, да еще в удвоенном количестве.

Нам с Тихоновым было плевать, что пить, — идеологическое обоснование или синхронические таблицы истории в духе Шпенглера, мы доверяли Вене. Мы просто достали из портфеля все содержимое: бутылки и закусь. Не успели мы шлепнуть по маленькой, в комнату к нам стали всовываться коллеги Вени, работяги. Они были стыдливы. В них не было наглости и панибратства.

— Ну-ну, заходите, суки, — нехотя разрешил Веня. — Нальем им чуток? — Мы с Вадей согласились.

В комнату наползло человек пять-шесть. Что это были за люди? С ревнивым интересом я вглядывался в этих людей. Тихонов всех знал, он работал с ними. С Тихоновым они были на равных. А к Вене они относились с почтением.

Один из работяг, выпив, начал спрашивать у Вени что-то «умное».

— О дурак! Откуда это ты взял? — отмахнулся Веня.

— Да ты же, Веничка, сам советовал прочитать... — виновато промямлил пожилой обормот... — Вот я и взял в библиотеке книгу. — Вот — «Давид Строитель»...

Какой-то работяга рухнул в угол. (Веня сам никогда не пьянел. Он не позволял себе этого. На глупение, бормотание, приставание он смотрел как на невоспитанность, как на хамство. Тут он не дал бы лакедемонянам педагогического примера, но одной из добродетелей нашего круга друзей было непьянение, не теряние головы. Можно было рухнуть, но без энтропических переходов.)

— Все, без сознания.

— Сам ты бес сознания.

— Нет, я бес божества.

— Это Сорокин — бес божества.

— А ты — бес вдохновения. А кто бес слез?

— Опять Сорокин.

— Сорокин бес всего: бес порток, бес галстука...

— Ну-ну, пошляки. — Веня всегда был начеку, он не давал «играм нашим девичьим» терять очертания. Игры девичьи, как икры девичьи, должны быть точеными. (Ну, не так пошло, но... — согласился бы Веня.) — Что несомненно, это то, что ты, Тихонов, бес любви.

Тихонов оскалился и затряс всеми кудрями.

— А все же, Веничка, бес сознания — это ты.

— Врешь, Тихонов, — я бес знания. Без «со».

— Как это?

— А так. Ты, Тихонов, — сожитель, сотрудник, сочувствующий, собеседник, а я просто житель, трудник, чувствующий, беседник. Ты в состоянии быть с «со», а я в стоянии быть только без «со». Я другого словия, мне с тобой не в чем стязаться. У меня бытие; а у тебя событие, у тебя соитие, а у меня итие.

— Это как это «итие»? Это ты, Веничка, брось, это уж ты загнул.

Веничка хохотал, но придерживал воротник рубашки. Веничка любил хохотать и хохотал до слез. Хохотал, как девица, сгибая пах в поддых, локтями обхватывая пуп.

— О Тихонов, о недоумок!

— Почему же, очень даже доумок!

Слезы смеха брызнули и потекли беззвучно.

— Ты хочешь сказать, Тихонов, что ты — доучка! О доносок наглядный! О годяй и дотыка!

— Вежа и вежда! Взрачный и навистный!

— Дужный и настный! Такого взгоды не одолеют!

— Он всегда будет брежный и рушимый, казистый и тленный...

— Дотепа и ряха, поседа и христь...

— Топырь доедливый и ивный, всегда запный, всегда гативный!

— Как веста и офит!

— Как птун!

— Какой еще птун? Ой, Тихонов, пощади!

— Ну, не тот, который Нептун. Он не-птун, а я — птун. Я всегда в глиже.

И, как подобает «птуну» в «глиже», Тихонов ел на стуле скульптурно — Ваньку ваяя, и сделал из своих профилей барельефы.

— Я, Веничка, если хочешь знать, еще и потичный.

— А это еще что? откуда? Тихонов, дай еще пожить... Ой, мамочки, — Веня катался с боку на бок.

Я потом думал, ну что уж так хохотали. Но рядом с Веней нельзя было не хохотать. Он был заразный: он был дитя, и рядом с ним нельзя было не стать ребенком. (Этого не понимали стукачи, подонки — они не умели смеяться, и тем себя разоблачали, и больше к нам не ходили. Стыдно — не смеяться. А мы еще хохотали над ними, каким надо быть дураком, чтоб не смеяться.)

Веня смеялся, как смеются люди, приговоренные видеть трагическое в жизни.

Утро нас застало. Мы были подобны блаженным, которых Всеблагие призвали на пир, а потом забыли опохмелить. Да такими блаженными мы чувствовали себя из года в год. Да и какой из собеседников Всеблагих не чувствовал этого в посюстороннем пространстве в нашем потустороннем веке.

— У меня вся рожа в неглиже.

— А ты, Вадя, не распускайся. Надо быть в глиже. Мы вчера договаривались.

— Мало ли до чего мы вчера договаривались. Мы вчера до чертиков договаривались, а сегодня ангелочкам стыдно в глаза смотреть.

— Вадя, не пукай, а то крокусы завянут.

— Зато лямблии распустятся.

— Подожди, Вадя, вот Авдяша с остатками своего денежного вспомоществования, сиречь с останками stipendium'a, сбегает к Маруське, тогда крокусы распустятся, а лямблии заглохнут.

— Я не могу так сразу, — возразил я, — пойду умоюсь слезами...

— А ты умойся невидимыми миру слезами, — попросил Веня, — и сбегай в магазин к Маруське. Это двести шестьдесят метров по улице налево. Я уже сто девяносто девять раз бегал, а значит, почти преодолел Баб-Эль-Мандебский пролив туда и обратно, ведь ширина Баб-Эль-Мандебского пролива двадцать шесть километров. Мне осталось чуток на обратном пути до берега. Выбеги мне навстречу, и лавры пополам.

— Ты, Веня, умалчиваешь о терниях. Магазин еще закрыт. Что Маруська, там ночевала, как тучка золотая?

— Магазин еще закрыт, но Маруська уже там. Надо только зайти со двора и постучать — помнишь тему рока в Пятой сим-

фонии Бетховена? — в деревянный лоток окошка, куда хлеб разгружают. Лоток выдвинется. Туда положишь деньги из расчета два восемьдесят семь за поллитра и по полтиннику сверху за неурочность и для смягчения Маруськиной неподкупности. Всегда нужно мужественно малостью польстить женской неуступчивости. Ночевать эти тучки золотые на груди утеса-великана уже не ночуют, это не девятнадцатый век, а вот утром, когда о закрытую дверь магазина дробятся с ревом народные волны, они свое возьмут.

Веня всегда ходил в магазин сам. Как бы ему ни было тяжело. Он всегда полагал душу свою за други своя. Правда, нельзя было посылать Веню с Тихоновым: можно было не дождаться. Тихонов соблазнял Веню распить большую часть вожделенного для всех на обратном пути. Если это было летом, то это называлось распить «в лугах», а если зимой — то «в снегах». Даже если «луга» эти были проходным двором с Пятницкой на Ордынку в подворотне дома № 10, где жил Тихонов с женой Лидией Любчиковой с 1964 по 1973 год.

— Беги, Авдяша. Беги в эти «гражданские сумерки», как говорил граф Салтыков-Щедрин в прошлом веке, не предполагая, что после его смерти (светлая ему память, неулыбе-губернатору) наступит такой гражданский рассвет, что останется мечтать о таких сумерках, как о светлом будущем. А уж наши гражданские сумерки... Ой, больше не могу, беги. Хватит этих квипрокво. Драма затянулась.

И я побежал. Сочиняя бессмыслицы, чтобы скоротать свой отрезок Баб-Эль-Мандебского пролива:

Если утром кофе пьешь,
В восемь вечера помрешь.

Выпьешь виноградный сок,
Доживешь до файф-о-клок.

Утром выпьешь залпом чай,
Сгинешь в полдень невзначай.

Выпьешь утром кружку квасу,
Не протянешь больше часу.

И так крещендо и con brio, чем ближе становился магазин. Мне не пришлось долго развивать бетховеновскую тему рока, на мои вариации tremolo хлебный лоток откликнулся, и остатки вспомоществования уплыли.

Померзну в сторонке, делая вид, что меня не волнует ничто постороннее. Что мне плевать на все земное: от Родины с большой буквы до малой родины. Хотя в такие минуты надо быть чутким: советская родина могла появиться в виде милиционера, дружинника и просто ветерана с партийной совестью. Или любого другого гада, замыслившего с утра помешать тебе неоскверненно и искренне прожить этот день. Всякий чистосердечный человек должен беречься с утра, когда в его сердце может наплевать любая сволочь, воспитанием которой так гордится наша родина. Нужно помнить:

Родина слышит,
Родина знает...
Алыми звездами башен московских,
Башен московских
Смотрит она за тобою...

Веня добавил бы: «Долматовский, Евгений Аронович: «Люблю, друзья, я Ленинские горы», «Провожают гармониста в институт...», «Ходят девушки гурьбой...», «Любимый город может спать спокойно...», «В рубашке нарядной... над книгой раскрытой... А нынче не вышел в назначенный срок...». Сталинская премия 1950 года. Оратория «Песнь о лесах» вместе с тем же Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем».

Как это все умещалось в Венину голову и душу? Как не выворачивало и то и другое, даже наоборот, он умел все как-то душевно выворачивать в своей голове.

Лоток деревянно стукнул, но к этому тупому звуку примешалось нечто: будто кто пробежался на клавесине по второй гамме. Я быстро рассовал все по карманам и стал похож на кавалериста-девицу, то есть штаны оттопырились как галифе, и появилась полная грудь, как у тургеневской девушки (у Тургенева все девушки дышат полной грудью, как конфузливо замечал Веня, и добавлял: «Ой, не могу, дыхание перехватывает»). Я выбежал на берег, Ворота слез* остались позади. В Мекке ждали единомышленники: «Тот же в нас огонь мятежный, жизнью мы живем одной...»

Когда разлили по первой и осушили ее, как слезы утренней скорби, налили по второй и осушили — тогда выступили слезы благодарности.

— Слушай, Тихонов, — сказал Веня, — а за что ты пьешь?

* Баб-Эль-Мандеб переводится как Ворота слез. — *Примеч. авт.*

— За здравие Мери. За что же еще!

— Это за Маруську, что ли, из магазина?

— Подожди, Тихонов. Сегодня двадцать третье ноября, а значит, надо вспомнить о гибели сельской библиотекарши Елизаветы Ивановны Чайкиной.

Тост Вени был принят близко к сердцу.

О эти сельские библиотекарши! Они все очень похожи на Елизавету Ивановну Чайкину. Села наши стоят, будто вчера покинутые фашистами, а если есть посреди села библиотека, то в ней обязательно встречаешь растерянную комсомолку. Растерянную: вчера еще мучали и пытали, а сегодня ушли и забыли погубить, и комсомольская жертвенность родине не пригодилась. А «комсомольцы все доводят до конца»...

Веня бы добавил: Лев Иванович Ошанин, музыка Эдуарда Савельевича Колмановского.

На селе никто никогда не ходит в библиотеку. И вот ты переступаешь порог библиотеки. Девушка Елизавета Ивановна — пусть фамилия другая, но все они, эти девушки, «бедные Лизы», бедные Елизаветы Ивановны, — встречает тебя радостно и растерянно, как фашиста. Сейчас ты ей поможешь, комсомолке, довести все до конца. А ты чаще всего обманываешь ее дважды. Ты не пытаешь ее, не губишь ее... Но здесь необходимо чуть-чуть подробнее.

Как-то я застал Веню за таинственным занятием. Он наполнил пазуху, положил под брюшную перегородку, соорудил тюрнюр, зажал под мышками с десяток книжек. И стал прогуливаться по вагончику стараясь оставаться стройным. Затем подошел к столу и красиво расписался. Развернувшись «на каблуках» домашних тапочек, отбросил пиджак слегка, как лапландец свою сутану, подошел к двери, потянул за дверную ручку и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

— Что ты делаешь, Веня?

— Бригаду неожиданно перебрасывают в другое село, и мы отсюда уезжаем. Мне надо сдать в библиотеку всякую дрянь и унести сразу девять томов Ивана Бунина. А одиннадцать томов рассовать по сокровенным уголкам и сохранить фигуру, осанку, умение расписаться в формуляре, непринужденно выйти обремененным из этого интересного положения за дверь — нужна сноровка. А библиотекарша с комсомольским энтузиазмом смотрит на тебя, как на фашиста, и ждет не дождется ужасного насилия, и ты должен усыпить ее бдительность, держать ее в обольщении, но не дать наброситься на тебя... Ведь она три года своего девичества ждала читателя, и вот он пришел, и она зна-

ет, если ты уйдешь, другой читатель может не прийти до пенсии. Она может наброситься... А тебе нужно уйти от нее так, чтобы она поверила, что ты вернешься завтра, и тогда... Елизавета Ивановна должна не догадаться, что ты уносишь книжки и покидаешь ее непогубленной. Ни того ни другого комсомольское сердце не вынесет.

У Вени в Мышлине была богатейшая библиотека, где по книжным штампам можно было изучать географию СССР.

Мы выпили за Елизавету Ивановну Чайкину, не дожившую до пенсии Героиню Советского Союза.

— Давай тогда и за Зою Анатольевну Космодемьянскую, — робко добавил я. — Она тоже в ноябре погибла.

— Представляю, как немцы недоумевали, за что она лошадей в конюшне сожгла, — заволновался Тихонов. — За что же так лошадей не любить?! Давай выпьем за лошадей.

Не успели мы выпить, как в комнату стали просачиваться работяги. После вчерашнего никто работать не пошел. Услышав, что мы пьем за лошадей, они осмелели и стали задирать Тихонова. Тихонов гордо встряхивал кудрями и поправлял очки — самую умную часть своего лица.

— Ну, ладно, давайте и им нальем, — рассудил Веня. — Только так. В стакане двести граммов. Я буду спрашивать у вас историческую дату и на сколько лет вы ошибетесь, на столько граммов мы вам недольем. Ну, Тотошкин, когда была Куликовская битва? — —— — О! А Полтавская, Блиндяев? — — О! Суки, так мы вам не нальем ни граммулечки. Задохнуться вам в чаду перегара.

— А может, они с похмелюги не могут, — пожалел я дрожащих тварей. — Плесни им на донышко.

— Нет, уговор дороже денег. — Тихонов был неумолим.

— Ну, ладно. Вы вот неделю назад в Евангелие совались. Может, кто хоть первую главу прочел. Ответите — разливаю вам целую бутылку. Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, а Аминадав — кого родил? — — — — Ну еще раз, неофиты удрученные.

— И задр...ные, — добавил Тихонов.

Работяги посмотрели на Тихонова с ненавистью.

— Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, а Озия? Кого родил Озия?

— Да Тихонов тоже не знает. Тогда и ему не наливай.

— Я знаю, — встрепенулся Тихонов.

— Ну, скажи.

— Что я, ох..л с горя? Я и так сейчас выпью стаканище — и п...дарики на воздушном шарике. Так-то, милочка.

Вадино любимое выражение: «милочка», «милка моя». Веня

подметил, что словечко это появлялось у Вади в самом скотском настроении, в нем была победоносная ехидная подлость. И сравнивал с ленинским: «так-то, батенька».

— Да, ну скажи, Тихонов, как была фамилия Христа.

— Блиндяев! А если скажу, сколько ставишь, халявщик? Литр ставишь?

— Ставлю. — Скупердяй Блиндяев побледнел. — Ну, как фамилия?

— Думаешь, не знаю.

— Не знаешь! И на спор поставишь литр!

— Не знаю?

— Не знаешь!

— Не знаю?

Веня был невозмутим и полулежал, разминая характерным жестом кончик носа. А я встревожился. Денег у нас не оставалось. Тихонов мог ляпнуть все что угодно. А Блиндяев мог заартачиться: не такая фамилия. В лучшем случае спор кончился бы перебранкой и разрушил бы нашу мудрую гармонию, в худшем случае — Тихонова бы начали бить, и мне пришлось бы тоже драться. Это двое на троих. Веня не пошевельнулся бы. Он никогда не дрался и ничью сторону не принимал. Лежал бы и потихоньку допивал исподтишка*.

— Не знаешь!

— Галилеянин! — небрежно бросил Тихонов и гордо отвернулся.

Я вглядывался в Блиндяева. Сейчас он начнет спорить, что фамилия Христа Назаретянин.

Блиндяев отупело поморгал и скуксился.

— Откуда ты, Тихонов, знаешь?

— Я, милочка, все знаю и е.. твои ландыши. Беги за литрухой.

Блиндяев сбегал и принес. Две бутылки за два восемьдесят семь.

Все выпивали, но скучнее. Пьянка стала вялотекущей, как шизофрения. Веня говаривал: «Мне с вами не о чем пить». «Питие наше должно быть лишено, — по мнению Вени, — элементов фарса и забубенности». Веня ненавидел просто пьяниц. Ненавидел опьяневшее скотство: нетвердость в ногах, жесты чересчур, слабость, когда ты, как трехмесячный младенец, плохо голову держишь — это Веня прощал, но заплетающийся язык, нечеткость мысли, стилистическая несуразность, советские идеолекты, безмозглость логики, мертвость пошлости — еще чего? Чего же

* А как же Тихонов, тебе скажут? — *Примеч. Л. Любчиковой.*

еще!* Сам Веня никогда не был видимо пьян. Он или затихал, как дерево в роще, но только когда вся роща уже затихла, он затихал последним, как самое высокое дерево в роще, или, если роща вырубалась и молола посюстороннюю чепуху, Веня становился трагичен, как Бранд в вышине. Веня не любил налитые бельмы, бессмысленность взгляда. Ангелиус Силезиус говорил: «Глаз, коим я взираю на Бога, есть тот же самый глаз, коим Он взирает на меня». И Веня не любил окосения.

Пить — это тоже аскеза. Чтобы пить, нужно многое оставить: оставить близких, плюнуть на карьеру, выгрести дотла карманы, спать на сырой земле, закусывать акридами... Сохраняется только братство избранных и Бог, Который посреди двух или трех, поднявших глаза к созвездиям и просящих благословения. Опрокидывая стакан, человек учится смотреть на небо, но если пьяным становится на четвереньки, то начинает лакать, а потом блевать. Взирая на небо, невозможно блевать. С тем, кто лакает, не об чем пить.

Работяги быстро окосели, и Веня прогнал их. Вадя куда-то пропал. Веня задремал. А меня все эти два дня мучила загадка: что Веня спрятал под подушку, когда мы с Вадей вошли вчера с полным портфелем? Из-под подушки торчал краешек тетради.

Целомудрие записок, дневников, писем у нас не было принято хранить. Веня мог у меня пьяненького стянуть блокнотик и прочесть всем мои сокровенности, а вся братия бывала немилосердно остроумна. Особенно мы любили девичьи дневники: в них змеиная мудрость покидает девок, в своих дневниках они глупы, как голуби, но и сердечны. Мы считали: то, что написано, должно быть прочитано**. Я у Вени стащил кучу блокнотов с его записями. Читал прекрасные его письма середины шестидесятых годов к Зимачихе. У меня сохранились тетради его антологии мировой поэзии, которую он составлял в шестидесятых годах (она бы пропала, как пропали учебники истории, географии и литературы, написанные для маленького сына, и многое-многое, что пропало под Петушками).

Я тихонько вытянул тетрадь из-под подушки, подхватил портфель и устремился на станцию. В электричке я втиснулся в уголок

* Какие-то вы получаетесь недоброкачественные для нормального читателя (даже не оправдывается молодостью или чем еще). — *Примеч. Л. Любчиковой.*

** Очень красиво! Это мы понимаем и прощаем, а другие-то не поймут и взовьются. — *Примеч. Л. Любчиковой.*

и стал читать. Я всегда испытывал наслаждение от чтения Вениных записок, десятков копеечных блокнотиков — я трепетал всеми диафрагмами, и солнечные сплетения вспыхивали повсюду, едва я видел буковки Вениного почерка. Я трепетал, предвкушая изнеможение: целая тетрадка, аккуратно изрисованная буковками.

Весной 1969 года я попал в «академию Раевского». Так называли старинную горьковскую пересыльную тюрьму. Это было последствием чехословацких событий, подстегнувших гражданскую устремленность нижегородских романтиков к организации своей либерально-демократической партии. Так вот, весной 1969-го в академии Раевского, когда нас выводили из камеры в уборную, сержант давал для подтирки клочок газеты. Это была единственная возможность что-то — прочитать. Я не подозревал, что буквы для меня необходимы, как наркотик. Я сутками на нарах изнывал: не было курева и — буковок.

А тут целая тетрадка Вениных буковок. Я стал читать. Это был какой-то причудливый дневник. Сотню раз мы ездили туда-обратно — в Петушки, ватагой и поодиночке, с Веней и без него, пили из Вениного складного стаканчика, из баночек и футлярчиков, из пакетиков и фунтиков, да из чего только не пили, даже из девичьих ладошек и коленных чашечек. Когда мы собирались-соединялись все вместе — это превышало все критические массы, не было ничего более ядерного, ничего более ускорительного, ничего более расщепительного и поражающего. Мы заражали всю местность в большом радиусе, проникали неотвратимо, как излучение, во все души. Ну, конечно, эпицентром был Веня. Смех заражает сильнее, чем зевота, и лучше помирать со смеху, чем с тоски.

Представьте себе карнавал в Телемском аббатстве, куда пожаловали все скоморохи Господа Бога, и не забудьте позвать Венедикта Ерофеева! «Со спостниками». Триумф человечества, воскресшего от всех мертвечин и смертностей.

Я прочитал тетрадку от «Предуведомления» до главы «Воиново — Усад», то есть дочитал дневник этого путешествия до границы Московской и Владимирской областей. Рукопись была дописана до этой границы. Веня еще не пересек ее. Пока я читал, трепет предвкушения сменился тряской, конвульсиями и судорогами беззвучного хохота, перемежающимися столбняком возвышенных умилений.

Я дочитал последнюю фразу: «И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом». Я вышел из поезда на Савеловском вокзале, смахнув рукавом слезы безумного смеха и сердечных умилений.

Я был растерян, Земля уходила из-под ног, а Небо сползало на затылок. Надо было тихонечко выпить с кем-нибудь сочувствующим. Я не мог долго носить в себе все антиномии моих переживаний. Но куда делся Тихонов? Я позвонил на Пятницкую. Он уже был дома. Я что-то молол в телефонную трубку ему полусонному. Наконец вялый Тихонов заинтересовался моей горячкой. Через полчаса я пережил все антиномии, обуревавшие меня от Лобни до Савеловского вокзала, вместе с Тихоновым и его женой Лидией Любчиковой. В изнеможении мы слегли спать. Лежа на полу, я прижался к гнутой ножке пианино: музыка в душе стихла, но дека еще трепетала.

Наутро нас разбудил ошалелый Веня.

— Вы сперли зеленую тетрадочку?!

— Веня, это я! Прости. Вот она.

— Ну, слава богу. — И рухнул чреслами в кресло и размяк. — А я думал: потерял. С концами. Она же не дописана. Там же еще... Ну, слава богу.

Веня часто терял блокнотики и рукописи. «Все листочки опадают с меня, как с деревца осенью». Он терял блокнотики, «пышный свой убор», и всегда был грустен, как перед лицом загадочной вечности, куда все исчезает — и мудрость, и радость, и мимолетность, — как грустным бывает увядание.

— Веня, а почему у тебя в поэме водку в магазине дают с девяти, а ты на электричку 8 часов 16 минут шел с чекушечками. Значит, и в поэме была незримая Маруська...

— Еще как была, повсюду...

Мы, наши друзья, знакомые, выучили поэму наизусть. Как-то, сидя с Веней у Тихонова на Пятницкой, мы ловили «вражеские» голоса и попали на голос Тель-Авива: голос говорил о поэме «Москва — Петушки». Мы разволновались. Веня... Голос закончил: «Кто бы ни скрывался под этим вычурным псевдонимом «Венедикт Ерофеев», ясно одно: писатель — еврей!»

Без сомнения, Веня был евреем. Я это понял в самые первые дни нашего знакомства. Нельзя вынудить еврея не быть евреем, раз он родился таковым, как нельзя евреев разлучить водой, огнем, тюрьмой, сумасшедшим домом, — мы сердцем едины.

Конечно, родиться сразу евреем — это рок, фатум, предопределение. Но рок, фатум, предопределение вели к тому, чтобы мы с Веней встретились.

Я еще не родился — отца забрали. Ему пообещали, если он не подпишет ложные протоколы допроса, то молодую красавицу жену изнасилуют ротой-хорягой у него на глазах. Я только-толь-

ко родился — мать держала у груди новорожденного, в руках — топор и надсаживалась в криках о помощи, когда дверь в квартиру ломали. Отец подписал, и я вынужден был научиться писать ему письма — сначала картинками, потом буквами «по-печатному». В лагерь ему писал четырехлетний сын из владимирской ссылки.

Я рос, и росла куча-мала сверстников послевоенного помета.

Я врывался с улицы:

Говорит Москва:
Хлеба ни куска.
Говорит Берлин:
Хлеба не дадим.

Мать чернела лицом, махала в немом страхе руками.

Берия, Берия
Вышел из доверия...

Мать кидалась зажать мне рот.

И в куче-мале я иногда замечал на себе чей-нибудь взгляд — внимательный, больной. Отец одного мальчика, когда никого во дворе не было, оглядываясь по сторонам, подзывал меня и давал мороженое.

В пять лет я полюбил девочку с длинными волосами, но военный папа запретил ей дружить со мной.

В школе я подрался, и директор школы сказал: «Вражина, как и его отец!» Я дрался все одиннадцать лет учебы: я нападал, чтобы защитить в себе что-то нежное.

В девятом классе я полюбил Ницше и на комсомольском собрании стал проповедовать идеи Заратустры. Из комсомола меня исключили. Вместе со мной исключали парнишку, который зарезал своего друга, — но тому дали выговор.

Я был потрясен: «А меня за что?»

«Ты — опаснее!» — сказали комсомольские вожаки.

Я стал писать стихи об одиночестве и смерти в пустыне. Учителя на уроках меня не спрашивали, а я делал вид, что читаю по-церковнославянски книгу. На обложке было написано «Катехизис». Я не знал, что это такое, но чутье меня не обманывало: это был страшный бунт.

Классная руководительница подошла сзади, заглянула и прошептала: «Ты плохо кончишь».

Тут-то я и встретил персонажей будущей поэмы: Борю Соро-

кина, Владика Цедринского, Андрея Петяева, Валеру Маслова, Сашу Филиппова — «секту», как их называли во Владимире, и сам стал членом секты. Потом из Москвы приехал Вадим Тихонов. Мне объяснили: «связной из центра». Для проверки мне дали толстую рукопись стихотворений Мандельштама, которую я спрятал на чердаке, мгновенно, конечно, выучив наизусть.

Потом мне доверили Пастернака, Цветаеву. Мы собирались по заброшенным домам, у Саши Филиппова, который снимал квартиру где-нибудь в старом доме, у Андрея Петяева на окраине и читали наизусть запрещенные стихи Гумилева, Ходасевича, Заболоцкого, Хармса, Верхарна, Бодлера, Галчинского... О, как запоминаются запрещенные стихи. Страниц сто Иосифа Бродского вся секта выучила наизусть за три дня. Мы слушали запрещенную музыку Вагнера, Бетховена, Стравинского, Малера, Шёнберга, Пендерецкого... Запрещенную музыку можно слушать и трепетать душой на каждый звук сутки напролет. Андрей Петяев играл на гитаре, и мы пели запрещенного Окуджаву*.

Я ушел из дома. Скитался с сектой. Неделями не спал: слушал запрещенную музыку, пел сектантского Окуджаву и толстыми тетрадями переписывал запрещенные стихи. «Никого не будет в доме. Кроме сумерек...» — что должен чувствовать в этих стихах семнадцатилетний сектант, выросший в пугливом Владимире, в трущобной квартирке при свете тусклой двадцатисвечовой лампочки.

...тишину шагами меря,
ты, как будущность, войдешь...

«Будущность» — это, конечно, Вадя Тихонов, «связной из центра». А кто же в «центре»?

— Ну ладно, поедем! — сказал Боря.

На вокзале к нам присоединился Тихонов. Мы купили три бутылки перцовки по 2 рубля 12 копеек и поехали на поезде (электрички тогда не ходили) в Петушки. Боря Сорокин следил, чтобы не было хвоста, а Тихонов снисходительно ухмылялся, как бесстрашный связной из центра. В эту зиму 1966 года снега навалило столько, что автобусы от Петушков довозили только до Ларионова, а дальше — километров двенадцать — пешком. Мы чуть-чуть выпили, чтобы согреться, и пошли. Хроменький Боря все время падал, путался в сугробах и — отставал. Поднялась пурга.

* За Окуджаву во Владимире исключали из комсомола. — *Примеч. авт.*

— Это Кузьминична насылает, — сказал Вадя. На дереве шарахнулась ворона. — А вот и она сама!

Решили еще чуть-чуть выпить, а пустой бутылкой запустили в ворону Кузьминичну.

— Ты только, Игорек, потом никому этот путь не показывай. Даже если пытать будут, — сокрушался Боря. — Если погубим такого человека!..

Я понимал величие конфирмации и благоговел перед адептами «центра» — Вадей и Борей.

Чтобы Боря шел уверенней, мы с Вадей взяли его под руки. Боря грянул: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой!..» Мы с Вадей подхватили, и так с песнями, падая все втроем, печатая шаг, вошли в деревню Мышлино... Вломились, в крайний покосившийся дом...

Дом — большой пятистенок с сенями и пристройками для скотины, с сеновалом. Но зимой отапливалась только одна комната, половину ее занимала русская печь с лежанкой. Через всю комнату тянулась труба от железной буржуйки. Стол у окна деревянный, некрашеный, лавки вдоль. Детская кроватка с младенцем. Радиола с горой пластинок. Изба избою. Что интересного в бочке, если в ней не ночевал Диоген, или в колодце, коли не в него упал Ли Бо. Но...

Музыкою изба звучала...

Старуха метнулась от двери, будто из-под наших ног, и недовольно забубнила. Красивая девка в легком платьице захохотала:

— Ой, Кузьминична, какая ты инфернальная! Они же замерзли! Вадя, Боренька! Сейчас мы вас согреем! Раздевайтесь!

Младенец испуганно встал в кроватке.

Веня поднялся с кровати у печки. Он был рад, но будто стыдился своей радости. Вместо приветствия он сказал, одобряя: — Ну-ну!

Вадя стал рассказывать, ерничая, как Сорокин по дороге выпил все три бутылки. Боря с комическим изумлением стал оправдываться: «Да что ты, Вадя, врешь! Что ты врешь! Веня, он все врет! Он все время врет! Не стыдно тебе, Тихонов! Хоть бы Веню постыдился! Врет и врет, и чего врет!»

Тихонов, довольный, тщеславно залоснился. Игра завязывалась.

— Ладно, ребятишки! — хмыкнул Веня. — Давайте по маленькой!

Девка — а звали ее все, и Веня тоже, Зимачихой, и была она Вениной женой — подложила в миску квашеной капусты, и мы сели за стол. Выпили без тоста. Девка затуманилась и стала приставать то к Боре, то к Ваде.

— А это кто с вами, такой молоденький? Поэт или такой же дурачок, как ты, Сорокин?

Я понял, что нападать на Борю Сорокина — это хороший тон.

— Да, Сорокин, кстати о владимирских поэтах, — сказал Веня. — Опять стукача привезли?

— Ой, — запричитала девка, — такой молоденький и уже стукач.

— Да пусть молоденький. Молоденький-то пусть. Плевать, что молоденький. Сегодня — молоденький, а завтра — старый хрен. Стукач и молоденький, и старенький — стукач! Молоденькие эти состариться еще с грехом пополам состарятся, а вот стукачами так и останутся. Стукачами будут, пока им молотком по крышке гроба не постучат. А в этом Владимире поэты, писатели и священники, комсомольцы и говночисты, пенсионеры и журналисты... тьфу, всю сволоту не перечислишь, — все стукачи или доносчики... Во Владимире стучат до соития и после зачатия и во время зачатия стучат друг на друга. Дошкольники — уже стукачи-любители, пионеры — уже стукачи-специалисты, а в институты принимают такую стукотень, что потом до смерти — сколько бы лет этому падле или этой падлюге ни стукнуло — стукотню из него не выбьешь!

— Ну что ты, Веня! Игорек — не стукач! — Боря Сорокин засюсюкал. — Игорек — поэт! Прочти что-нибудь нам!

Я ошалело молчал. Обвинения целили в меня, но били мимо. Скорее мне было жаль города Владимира, такая буря риторического гнева обрушилась на милый древний город моего детства. Боря защищал меня так несуразно! — а Боря всегда бросался на помощь обижаемому, — но так глупо, что только помогал загнать в угол.

— Он — что? В стихах доносы пишет? Ой, как интересно! — Зимачиха подпевала. — Почитайте нам! Налей ему, Вадя!

— Налей, налей ему, собаке! — сказал Веня. — Развяжи ему, гаду, язык.

Вадя быстро предал меня и подливал масла в огонь:

— Да не наливай ты ему, ему и сказать-то нечего. Это же сорокинский выкормыш. Разве может Сорокин чему-нибудь путному научить? Даже доноса порядочного не напишет.

Зимачиха: Совсем, что ли, дементный?

Вадя: Как коза у Кузьминичны.

Зимачиха: Так коза хоть молочка дает.

Вадя: А Авдяша тоже даст, он еще недоеный.

Боря: Да ладно ты, Тихонов! Веня, ты что, доносов боишься?

Веня: Это ты, Сорокин, не боишься! А я — боюсь. Я люблю бояться. Я вот пыток боюсь. Тебя, Сорокин, ногами бить будут, и ничего не отобьют, и ничего не выбьют...

Вадя: Из Сорокина нечего и вышибать, у него ничего ни за душой, ни в сердце*.

Веня: Вот-вот. А когда есть что-нибудь за душой и в сердце, человек всего боится. Я, например, щекотки боюсь. Ногами бить будут — еще потерплю с полчаса. А вот щекотаться будут — все расскажу. Чего не знаю, расскажу: и про маму... и бабушку предам. У меня очень много щиколоток и подмышек. Они у меня повсюду. Честный человек должен иметь много щиколоток и подмышек и бояться щекотки. Мне, например, даже Северянина или Елену Гуро много читать нельзя. Я в изнеможении могу факты подтвердить — все!

Я ничего не понимал. Я боялся щекотки всегда, но сколько раз, перебирая на чердаке свои сокровища — бумаги и тетрадки со стихами и недавно доверенную мне статью какого-то Альбера Камю, где он «не мог молчать» о бойне в Венгрии 1956 года, я сжимал зубы: не вырвать у меня ни слова врагам. И хотя представление у меня о врагах было комсомольским, я понимал, что комсомольцы из горкома и есть враги, которые захотят отнять у меня мои тетрадки. Они же сказали, когда исключали меня из комсомола за любимого Ницше, что я страшнее убийцы. Потом я видел этих комсомольцев в заграждении вокруг Успенского собора на Пасху. Меня они чуть не избили, и пришлось пробираться в храм хитростью. И в самом горкоме было нечисто. Один знакомый журналист из комсомольской газеты остался вечером в редакции и тайком перепечатывал Гумилева. Случайно зашел редактор и застал его, ничего не сказал и молча ушел. Но бедняга журналист так испугался, что пришел домой и повесился над кухонным столом. Осталась жена с двумя детьми. Пыток боялся? Или слишком много подмышек было у человека?

Боря: Ну, Веня, я тоже боюсь...

Веня: Ты, Сорокин, всего боишься, но не боишься щекотки. Я с тобой читал Северянина и катался со смеху — и от молодчаги Северянина, и от того, как ты не смеялся ни в одном месте. Хорошо, Боря, еще о подмышках... Одна девка отсидела семнадцать лет в лагерях, вернулась недавно и отказалась жить в Москве. «Не

* Опять Венька нехорош — чего он тут себя, прекрасного, так поднимает над Борей? Опять же, это нам понятно, что тут просто прием такой, да, может, и не прием. А другим это не понять, они Веню захают после таких воспоминаний. — *Примеч. Л. Любчиковой.*

могу жить в этом городе: здесь кровью пахнет». Ты вот ходишь вокруг Кремля, и тебе ничем не пахнет. А я не могу на Красную площадь пойти, мне уже на Пушкинской трупиком воняет. Или вот мы у Вади Тихонова во Владимире сидели с тобой, Сорокин, и ты даже не ежился. А у Вади по соседству с его домом психушка, кладбище с могильной плитой мамы Клима Ворошилова и — о тупицы, не могу! — политическая тюрьма, а повыше монастырь*, где Лаврентьевскую летопись ребятишки написали, чтобы Дмитрия Донского разбудить на Куликовскую битву, забит гэбэшниками. И сколько там сейчас славного народа измордовали. От Даниила Андреева и до... да и сейчас там Буковский, и еще кто-нибудь... Тяжело мне, налей, Вадя!

Зимачиха: А стукачу налить?

Веня: Налей ему, дураку! Весь Владимир в стукачах. Уже замечено: как монастырь — так сумасшедший дом, тюрьма или детей-инвалидов свезут. А во Владимире как — тьфу!.. А этот мозгляк незатейливый, мерзавец и мозгляк, только что тряпку не сосет!

Я пытался оправдаться: «Прости, я чувствую себя...!»

Веня: Ты себя чувствуй, чувствуй! Себя надо чувствовать! И вести себя надо. Ты себя — веди.

Вадя: Ты — подумай! Ты — подумал?

Мне наливали, но и избивали, поносили, оскорбляли, унижали, загоняли в угол. Я уже потом понял, что это был ритуал. Бессердечно остроумные, немилосердно парадоксальные обвинения обрушивались на новичка. Неофит барахтался: обижался, гневался, заносился от гордости и срывался в отчаянье. Не одного слабака, дурака, стукача — заплеванного и измордованного выплескивали, как помои, за порог, и он исчезал.

Греки напаивали незнакомца, чтобы вывернуть его нутро, ну, а в наше время так глубоко въелась гордость — в безличность, искренность — в двуличность, срослась харя с ликом, омертвел человек до последней изнанки, что, пока до подмышек доберешься и чтобы он над собой, да с тобой неумолимым, вместе рассмеялся... Теперь у всех комплекс величия и мания неполноценности (острота «сектанта» Валеры Маслова).

На каком-то стаканчике и после очередного выверта издевательств я с кухонным ножом бросился на Веню. Тихонов точно выбил нож. Веня сидел задумчивый, мял пальцами кончик носа. Очнулся и лениво протянул: «Ну-ну! Зачем ты, Вадя, помешал дура-

* Древнейший Рождественский монастырь в центре Владимира — гордость интуристовского Золотого кольца — до сих пор запретная зона, даже для упоминания в печати. — *Примеч. авт.*

ку. Может, у него единственный в его жизни искренний взлет». Младенец заплакал.

На протяжении Вениной жизни на него бросались с кулаками, замахивались ножом, стреляли из ружья... Тихонов всегда оказывался рядом. Веня всегда был нелицеприятен, а достоинств, которые он ценил в человеке, он находил все меньше.

Я обмяк, сгорел и уплелся вон на избы. Ночью стужною ношу тащить по бесконечным сугробам в Петушки? Я вернулся в сени. С сеновала сверкали кошачьи глаза. Провалился на двор. Зашуршала коза. Я открыл какую-то дверь, пролез в темень, лег в уголке, натащил на себя пыльное старье-рванье и забылся.

Утром я проснулся от пристального взгляда. На меня скосил глаза профиль в коричневой беретке. Рядом с ним бородач и глядеть на меня не хотел. Другой в тоненьких очках вообще отвернулся в светающее окошко. По бревенчатым заиндевевшим стенам висели портреты — Вагнер, Сибелиус, Брамс, Дворжак... Я узнал Мусоргского и успокоился.

О Мусоргский! Посредством нот
Исполнил все на свете...

Мусоргский смотрел на меня с сочувствием. Я запахнулся в цветастый половик. И увидел ящик, который мне служил подушкой. Ящик был доверху набит тетрадями и блокнотами. Я взял одну тетрадь, другую... Гекзаметры, ямбы, рондели, газели, хокку, дольники, верлибр, триолеты...

Одна тетрадь была переполнена «Сатириконом» — Евгений Венский, Иван Козьмич Прутков, Василий Князев, Сергей Горный, Саша Черный...

Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.
У ног, как воплощенный миф,
Лежала Суламифь...
В двадцатом веке по рождении Мессии
Молодые человеки возродят твой стиль в России...

Надежда Тэффи...

Он ночью приплывет на черных парусах,
Серебряный корабль с пурпурною каймою,
Но люди не поймут, что он пришел за мною,
И скажут: «Вот луна играет на волнах!»

Как черный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною.
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,
И скажут: «Вот она сегодня умерла...»

В другой тетради — Леконт де Лиль, Франсуа Коппе, Франсуа Претерен, Махтум-Кули, Иоаннес Иоаннисиан, Вагиф, Юсуп, Шабенде, Зелили, Сеид-Назар Сеиди, Keминэ, Молла-Непес, Тань Сы-тунь, Эдвин Робинсон, Карл Сэндберг, Вэчел Линдзи.

...Мумбо-Джумбо вас задушит.
Мумбо-Джумбо вас задушит.
Мумбо-Джумбо вас задушит.

Тетрадей было множество, блокнотиков — не счесть. Тут была антология всей-всей мировой поэзии. Стихи были выписаны с такой любовью к каждой буковке, будто писал их суфист-каллиграф, переписчик «Манъесю» или князь Мышкин. Тетради с набросками «философии для детей»... Тетради с «мировой историей для детей»: гирлянды исторических дат, причудливо развешанные и переплетенные, затейливо прокомментированные («с поросячьим подтекстом», как сказал бы Веня). «История литературы для детей». И блокнотики-блокнотики...

Я облагоговел. С моим владимирским интеллектом и только зародившимся чердачным тщеславием я уже позволил себе иметь наклонности к кухонному ножу. И замахнулся на «товарища из центра»! Теперь Веня казался мне «товарищем из центра Вселенной». Дрожа от холода и благоговения, я вполз в теплую залу избы.

Веня был скрыт где-то на печи как «разумное, доброе, вечное». Тихонов у окна резвился, как молодой античный бог, и розовоперстая Эос гладила его кудри. Боря, как Антоний Падуанский, что-то проповедовал рыбам, плеща, размахивал стаканом. Зимачиха хохотала. Младенец скулил. Теща Кузьминична ворчала: «У вшивого Тришки — одни паршивые книжки».

— Кузьминична-а-а-а! — хохотала Зимачиха.

— А вы, ребятишки, заметили, — смеялся Веня, — когда кошки нет — Кузьминична здесь. Или вот — Зимачиха здесь, а пойдите посмотрите, козы в сарае — нет! Вот сейчас Кузьминична выйдет, и кошка придет.

— А! Шарлотта Бронте пришла.

— Тихонов, Шарлотта Корде. Хорошо еще, ты не путаешь ни с кем Хуана де Мариана. Я представляю, с кем бы ты мог перепутать Хуана де Мариана.

— Хуана де Мариана я ни с кем не спутаю. Только с Сорокиным, да и то по пьянке.

— А вот интересно, кто кровожадней: Шарлотта Корде или Шарлотта Буфф. Ведь Гёте благодаря последней сколько народу в Европе укокошил...

Веня на мгновение задумался и тут же замял, перевел разговор. Впоследствии я эти заминки у Вени старался подмечать и острее запомнить — ждал, как они преложатся в каком-нибудь опусе.

— Кстати, о Сорокине. Я Сорокина тоже со всеми фальсификаторами и террористами путаю. А вы заметили, фамилии всех великих хромцов на «н» оканчиваются: Талейран, Тамерлан, Байрон, Сорокин. О них сказал кто-то из латинян:

Ты свихнулся. И ногу свихнул. Ведь поистине верно,
Что у природы внутри, то и снаружи у ней.

Вадя: А Седакова — тоже ведьма, как Зимачиха.

Боря: Ну что ты врешь! Веня, что он все врет!

Зимачиха: Инфернально как!

Веня: Ведьмы должны быть косенькими, как Наталья Гончарова. Из косеньких мужичков наиболее известные два Саньки — Македонский и Ульянов. Зимачиха уже окосела, да и Боря тоже. Тихонов, не наливать им больше. Стоп! Налейте юному мозгляку — душа, довольная настоящим, не будет думать о будущем, а о прошлом и не вспомнит.

Я выпил, оттаял и стал сентиментальным. Мне захотелось плакать: от тепла, печного и человеческого, от раскаяния в дурном и алкания блага. Мне захотелось рассказать Вене свою душу. Как я потом понимал девок, влюблявшихся в Веню опрометью, сломя голову и всей душой!

Скоро стали плясать под Грига и Дворжака. Зимачиха плясала, подбрасывая валенки с ног под потолок. Тихонов меланхолично крутил бедрами па рок-н-ролла. Я скакал, тормоша Борю. Младенец подпрыгивал в кроватке. Веня задумчиво и неодобрительно смотрел с печи и потом обронил:

— Я не плясал уже лет этак двадцать пять. Да, лет двадцать пять тому я еще мог сплясать. И вообще, мне уже лет с двенадцати стало не смешно то, что очень смешит всех моих современников. Никогда этого не пойму. И они — не поймут. Посмотрел бы Пушкин на нынешнее Лукоморье:

Идешь направо — дурь находит,
Налево — Брежнев говорит.

Потом мы пели свои любимые. Я — «Среди долины ровныя», Вадя — «То не ветер ветку клонит», Боря — «Иль на щите, иль со щитом вернусь к тебе из Палестины».

Веня просил: «Спойте душку Гурилева на слова молодчаги Кольцова «Грусть девушки». «Отчего, скажи, мой любимый серп, почернел ты весь». Или на слова Грекова: «Вьется ласточка сизокрылая, под окном моим одинешенька»... Или на слова Губера «Сердце-игрушка».

Спели «Матушку-голубушку». Боря запевал, мы втроем — Вадя, Зимачиха и я — портили. Веня хохотал: «Бедный Ниркомский! И слова-то все переврали. О му..звончики мои! По ассоциации спели на слова Макарова «Колокольчик».

— Нет! — отрезал Веня. — Вам не понять моей печали!

Водочка кончилась. Надо было бежать или в Поломы два километра, или в Караваево — три. Кому бежать? Решили читать стихи — кто ошибется, тому бежать.

Вадя читал себя — ему прощалось. Боря читал все подряд, но напирал на поляков: Галчинского, Кохановского, Ясиньского, Залесского, Словацкого. После каждого своего прочтения кричал: «Еще Польска не сгиннела!..» — и отпивал глоток, растягивая свой стакан. Веня, помню, читал Валерия Брюсова, «Конь Блед», импровизацию из «Египетских ночей» о Клеопатре с добавками Брюсова, еще много чего. Никто не уступал. Правда, Боря попробовал читать «Оленьку Седакову». Но Веня комически осерчал: «Это что еще! Сорокин — фальсификатор и пройдоха! Сейчас один пойдешь в Караваево, и волки скушают первого и последнего почитателя Седаковой».

Решили читать поэмы. Тихонов, вызвавшись первым, прочел Брюсова: «О, закрой свои бледные ноги...»

— Ну-ну, Тихонов, — одобрил Веня и стал читать «Медного всадника».

— Ну, хватит, в магазин опоздаем.

Я сдался; поэм я наизусть не знал, и тихоновской смекалки у меня не было — пока.

Боря стал читать Заболоцкого «Лодейников». Но переврал. Посылать Борю в магазин по его тихоходности было поздно. И мы сорвались с Веней в снежную даль.

Веня: Ты длинный, как зимняя ночь!

Я: А ты, Веня, как белая ночь!

Веня: А помнишь?

Вдоль деревни
От избы и до избы,
Зашагали торопливые столбы...

Вот и мы с тобой!..

Я запел: «Выхожу я на быструю речку...»

И почему так? «В деревне хочется столицы, в столице хочется глуши?» Почему так? Вот Любчикова — жена Тихонова — сопрано, а обожает в ванной петь шаляпинским басом, да еще с «кровавыми мальчиками» в модуляциях. А я так люблю петь «...всем уступаю я, всем уступаю я, всем и во всем» — ведь и уступать-то я не люблю, и сопрано у меня, мягко говоря, непоставленное. И тут среди зимы я запел:

...Сяду я да на крут бережок.
Посмотрю на родную сторонку,
На зеленый приветный лужок.
Ты, сторонка, сторонка родная,
Нет на свете привольней тебя —
Уж ты нива моя золотая,
Да высокие наши хлеба.
Эх ты, русское наше приволье,
Краю нет — все поля да луга.
Ты широкое наше приволье!
Ты родимая матерь земля!

Веня плакал.

Я часто потом замечал, что Веню до слез трогают самые простые стихи, самые немудрящие мелодии. Все бы прошли и ухом не повели. Веня слушал сердцем. Если бы меня спросили — в какое время Вене было бы уютно, я бы, подумав, ответил: в конце восемнадцатого века! Может быть, оттого поэму «Москва — Петушки» норовят сравнивать с «Путешествием» Радищева, а это чушь бредовая. Но все же Вене Карамзин, Фонвизин или Державин — такие родные!

Я отвернулся, будто ничего не заметил.

— Послушай, Веня! «Посмотрю на родную сторонку...» Я так понимаю, что родная сторонка, русское приволье, родимая матерь — все на другом берегу. А я сижу на крутом бережку, с которого хоть головой в омут.

— Ну-ну! А нам сидеть — как на реках вавилонских. Вот Малер писал: я — еврей по рождению, немец — по воспитанию, чех — по жительству. А мы все евреи — по рождению на этой земле, по воспитанию, по судьбе, по черт знает чему...

Я задумался над словами Вени. На годы задумался. Наверно, об этом писал еврей Мандельштам: «Мы живем, под собою

не чуя страны...» Наверно, об этом ему вторила русская Ахматова:

Я была на краю чего-то,
Чему верного нет названья...
А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достается всем, но разною ценой...
На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей страной.

Иисус Христос ругал евреев: жестоковыйные, жестокосердные, слепые, нерадивые, дети ехидны... Но Веня всю жизнь сокровенно мучался (как, впрочем, и Василий Розанов): «Из Назарета может ли быть что доброе», но, подойдя ко Господу, услышал бы от Него: «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства» (Ин I, 47).

Когда Веня исписывал свои блокнотики? Когда он написал свою поэму «Москва — Петушки»? Веня был человек сокровенный. Писал он, сидя под смоковницей, только Господь тому свидетель. Много в нашем веке евреев или русских под смоковницей, на которых Господу смотреть не противно?

Как-то я спросил Веню: «Веня, вот ты писал поэму. И в ней ничего не выдумано?»

— Ничего! Я писал, чтобы вы, обормоты немилые, десять страниц посмеялись, а потом страничек шесть — задумались. Новалис говорил: «Я уже написал целую небольшую библиотечку для моих друзей». Вот и я! Сначала даже имена были полностью указаны, но потом, отправляя тетрадку на очень Ближний Восток, я имена убрал или сократил.

— Веня, я чуть-чуть о другом! А вот ангелы — были?

Веня рассердился: «И ангелы были! Были ангелы! Я ничего не выдумывал».

Так что Господь показывал Вене ангелов восходящих и нисходящих. А Веня, убитый в поэме, ожил евреем в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

Жизнь пуста, бездумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ — победно и влюбленно —
В снежной мгле поет рожок...

А тогда мы добежали с Веней сквозь вечерние сумерки в Караваево. Мы все купили, все разлили и все выпили. Мы пили кок-

тейль «Божья роса». Что это за коктейль? Теперь этих компонентов не купишь — что зря душу травить.

Веня эти две недели у него в Мышлине казался мне великой тайной. Спустя десятилетия могу сознаться, что я проникся Веней насквозь, но в тайну не только не проник, но и всякий рассказ, воспоминание, рассуждение о Вене воспринимаю с любопытством, стараясь угадать — муравей ползал по хвосту, по уху или хоботу? И к этим скромным запискам прошу относиться не как к проникновению, а как к проникновенности.

У Венички был довольно широкий разброс друзей. Может, и не было человека ближе меня, поскольку я его знал лет тридцать пять.

Наша разность мне никогда не мешала, ему, по-видимому, тоже, да и разными мы были скорее по образу жизни, чем по образу мышления. Под конец жизни он даже принял католическое крещение, я думаю, не без моего влияния. Сам я, как католик, что-то старался ему объяснить, сравнивал. Объяснения были очень простые: что религия только одна, что никакой национальной религии быть не может, что православная церковь в России была и остается в подчинении у государства и что вероучение католическое отчетливее, понятнее и несколько разумнее. А он был большим поклонником разума (отсюда у него такое тяготение к абсурду). Несколько упрощая, я ему представлял католичество как соединение рассудка и чувства юмора. Честертон говорил: «В религию людей без чувства юмора я не верю». Я тоже думаю, что Савонарола был просто сумасшедший, а не верующий человек, а у Иисуса Христа, как мы решили с Веничкой, было очень тонкое и изощренное чувство юмора. «Ну, может быть, иногда чересчур тонкое!» Веничка говорил, что за одно предложение не прелюбодействовать можно дать человеку премию за чувство юмора.

У самого Венички всегда был очень сильный религиозный потенциал. Вообще, религиозный потенциал заложен в душе каждого человека, он может найти применение и созидательное, и разрушительНое. А чаще — и то и другое. У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни, он разрушал ее, и его разрушительство отчасти действительно имело религиозный от-

тенок. Как, кстати, и у декадентов, которые были ему близки. Но, несмотря на свой религиозный потенциал, Веничка совершенно не стремился жить по христианским законам. Его религиозность — в постоянном ощущении присутствия высшей силы, попытка ей соответствовать и отвержение законнического способа соответствия путем выполнения инструкций. В нем было ощущение совершения греха, было и раскаяние. Но и это становилось элементом действа. Например, «Москва — Петушки» — глубоко религиозная книга, но там он едет, во-первых, к любовнице, а во-вторых, к жене с ребенком. И что, он раскаивается? Да ему это в голову не приходит.

Когда Ерофеев приехал с Кольского полуострова, в нем еще не было ничего, кроме через край бьющей талантливости и открытости к словесности. Он всю жизнь читал, читал очень много. Мог месяцами просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная. Но читал не все, что угодно. У него был очень сильный избирательный импульс, массу простых вещей он не читал, например, не уверен, что он перечитывал когда-нибудь «Анну Каренину». Не знаю, была ли она вообще ему интересна. Он, как собака, искал «свое». Вот еще в общежитии попались ему под руку «Мистерии» Гамсуна, и он сразу понял, что это — его. И уж «Мистерии» он знал почти наизусть. Данные его были великолепны: великолепная память, великолепная, незамутненная восприимчивость. И он совершенно был не обгажен социалистической идеологией.

Мы жили с ним вместе в общежитии университета на Стромынке — больше полутора лет наши койки стояли рядом. Как раз там написана добрая половина «Записок психопата» — его первой прозы. Нам было весело и интересно вместе, но пиетета никакого не было. Он записывал что-то из того, что я говорил, я записывал то, что говорил он. Было общее взаимное влияние. Но у меня не было его привычки постоянно вести записные книжки. А Веничка потом к ним возвращался многократно и писал по этим материалам. Жили весело. Ставили оперу «Апрельские тезисы» — придумывали ее все вместе. Был у нас такой человек — Леня Михайлов, он говорил: «Я гожусь только на роль броневика». И изображал броневик, у него была даже ариетта.

Что касается вылета Ерофеева из университета, то здесь мне приходится разрушить легенду о гонениях — его вышибли за постоянный отказ сдавать что-нибудь, посещать что-нибудь и так далее. Веничка самым насмешливым образом говорил, что, мол, его

исключили. Время от времени ему импонировала роль страдальца. Его никто не исключал, с ним бились бог знает как, хотели его оставить, он первую сессию сдал с полным блеском, и вообще было понятно, что он прирожденный филолог. (И действительно он филолог, но в другом смысле — не ученый.) Была даже такая история: его встретил Роман Михайлович Самарин (не тем будь помянут) — был такой профессор — на лестнице в МГУ: «Ну, Ерофеев, вы когда собираетесь сдавать сессию?» — на что Веничка, проходя, ткнул его в брюхо пальцем и сказал: «Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?» — и пошел наверх. Надо сказать, что даже после этого его не исключили. Но ситуация была совершенно безвыходной, потому что он уже совсем перестал сдавать экзамены, вообще ходить... Первую сессию он сдал на пятерки для себя без всякого напряжения. И вторую сдал, уже с некоторым скрипом, но его тогдашняя пассия выгоняла его на экзамены (он ей этого не простил). На зимней сессии второго курса его вышибли.

Из Орехово-Зуевского пединститута он ко мне в Москву сам приезжал — я туда не ездил. Когда было Орехово-Зуево, когда — Владимир и все остальное, я уже не разбирал. Он приезжал ко мне и высыпал, как из рога изобилия: «Давай я тебе составлю списки русских городов. Ты их читай по-разному: сначала по алфавиту, потом — в обратном направлении». Из него сыпало все, что угодно: Коломенское, Павлово-Посад, Владимир-на-Клязьме. Он говорил: «Я люблю двойные имена». Приезжая, сообщал: «Я привез тебе рапорт о достижениях».

Переходил он из института в институт оттого, что ему негде было жить. Он вообще мечтал весь век учиться, быть школьником или сидеть с книжечкой в библиотеке. Потом ему часто снилось, что он опаздывает на экзамен. Веничка говорил: «Я придумал еще раз поступить. Как ты думаешь, мне немецкий нужно подгонять?» Я отвечал: «Ну, давай проверим. — Нет, вполне пристойный уровень». И он поступал куда-то еще с полным блеском.

Он заявлял: «Твой британский я люблю только вчуже, в переводе на русский язык. А немецкий люблю». Но ни один язык он так и не одолел. Занимался языком пунктуально, говорят, на занятиях немецким в последние годы был первым учеником, это он мог, а чтобы действительно превзойти язык... Ему нужен был близкий барьер, там, где сразу виден результат. Как говорят: «Социализм сегодня», результат сегодня.

Помню, принес он как-то тетрадку. (Мы встречались у Кобяковых — это наш однокурсник.) И вот Веничка пришел и объявил мне, что он написал забавную штуку. «Вот, если хочешь, посмот-

ри, пока пошел покурить». Это была «Москва — Петушки». Я ему сказал тогда: «Сейчас ты ее обратно не получишь». — «Как не получу? А я обещал ее во Владимире, Орехово-Зуеве, Павлово-Посаде». — «А я ничего не обещал, у меня совесть чиста перед всем Владимиром. Я на чужую собственность не покушаюсь. Когда это будет перепечатано, получишь обратно». Я тогда посмотрел несколько мест и увидел, что это не исповедальная проза, не любительская, а уже работа. Тогда, конечно, о ксерокопии и речи не было. И я договорился с женой Левы Кобякова перепечатать — лучше всего к завтрему. Хотя тогда и речи не было о том, чтобы заплатить. И она напечатала. А Венька исчез. Когда приехал, злобно меня спросил: «Где тетрадка?» — на что я с торжествующим видом сказал: «Вот она». — «И можно взять?» Очень глупо, что я не сделал тогда простой вещи (по молодости): нужно было мне взять перепечатку и тогда же скорректировать по рукописи. Я эту работу отложил на 30 лет. Рукопись лежит сейчас у меня — вернулась через столько лет, и пришлось теперь, когда выходила книга в «Прометее», просидеть трое суток, выправляя ее (да еще и по рукописи и с лупой). В «Прометее» вышел первый аутентичный текст, в вестинской публикации (и в имка-прессовской тоже) на 130 страницах текста нашлось 1862 не опечатки, а смысловых сдвига, перестановки слов и так далее. Например, всюду было «не болтай ночами, малый», хотя ясно, что «не болтай ногами». А инверсии? Знаки препинания расставляли просто как хотели.

Реально первая проза Ерофеева — это «Записки психопата», они сейчас у меня. Это пять тетрадок, они представляют собой лирический дневник 17—18-летнего юноши. Я спрашивал Веничку: «А ты хотел бы, чтобы это было опубликовано?» — «Ты с ума сошел, что ли?» Не думайте, что это произведение вроде Гоголя или Толстого. Это записки, проба пера за двенадцать лет до того, как он нашел свою прозу. Кое-что очень смешно, кое-что — наоборот.

Там много проку: есть, например, вроде бы этюды, несколько пародий, но ограниченного хождения. На меня, например, есть пародия — не на писания, а на поведение, восприятие. Но целиком публиковать это невозможно. Веничка оттуда, кстати сказать, много повырезал, он, гад, у меня брал тетрадки, потом возвращал, понимая, что у него они пропадут. Он вырезал много откровенного, даже душевных помоев (куда же еще их выплескивать, если не в дневник, писалось ведь не для того, чтобы читали). В общем, с одной стороны, это дневник, с другой — отработка слога. Такая экспериментальная проза юного гения.

С этими пятью томами была очень смешная история: их у меня конфисковали при очередном обыске и забрали в КГБ, а потом

вернули обратно как материал, не представляющий интереса для органов. Еще мне вернули зарубежное издание прозы Цветаевой, мои собственные письма и дневники — тоже как не представляющие интереса. А забрали перепечатку уже напечатанного «Одного дня Ивана Денисовича». Совсем уже другое дело было, когда меня вызвали туда и спрашивали: «Насколько вы близко знакомы с Ерофеевым?» Тогда уже книжка его вышла, наверное, год 1975, 76-й. Я говорю: «Друг он мой университетский». — «Ну и что вы с ним делаете?» — «По этому делу упражняемся. А что, нельзя?» — «Нет, почему же с другом не выпить. Давайте так: если он к вам придет, вы поставьте ему что-нибудь, мы потом вам возместим, а сами спуститесь (из дома не звоните) — и по этому телефончику...» Всякий нормальный романтический герой плюнул бы... Я сказал: «Да, хорошо». Рассказал Веньке, а он говорит: «Когда все это было?» Я говорю: «Такого-то числа». — «Вот, — говорит, — дураки. Я в это самое время сидел на Лубянке у них на приступочке и пил пиво».

Поймать его очень трудно было. Дома-то у него не было. Они пытались его в Петушках отловить. Веничка рассказывал (он всегда мистифицировал немножко, поэтому нужно относиться осторожней к тому, что он говорит, но все равно): «Мы едем на автобусе и смотрим: «Волга» черная застряла, ее пихают пять мужиков. Автобус ее объехал и дальше поехал, а потом мы узнали, что она ко мне в гости приезжала».

Вернемся к Вениным произведениям. Я знаю, что была еще одна проза — «Благая весть», но тот отрывок, что напечатали в «Комсомольской правде», никакой чести Ерофееву не делает. Хотя это похоже на него. Это экспериментальная проза худшего толка. Она писалась «в чьем-то духе» — декадентско-религиозная тягомотина. На Пшибышевского немножко похоже.

Вероятно, он до «Петушков» что-то писал, но до меня ничего не доходило. До «Петушков» я знал: замечательный друг, умный, прелестный, но не писатель. А как прочел «Петушки» (уже считывал напечатанный текст, без рукописи, как последний идиот) тут понял — писатель. А потом машинопись пошла гулять в диссидентских кругах и имела бешеный «самиздатский» успех. Про первый экземпляр, кстати, написана полная чушь; я, когда первый раз это прочел, расхохотался. Да не было там никакой купюры! Мне даже из Испании звонили, не пожалели денег: нельзя ли восстановить? «Веничка, неужели, она...? Ну конечно, она... Как же она не...!» Это гениальный текст! Или: «Веничка, хорошо у меня...? — Тридцать лет живу, никогда не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо...» Да сюда даже ничего придумать нельзя! А иностранцы го-

ворят: «Проклятая советская цензура, как она изуродовала этот гениальный и поэтичный текст!»

Ерофеев очень любил своих персонажей, как Гоголь, — никого он не обличал, потому и пластика вышла. И Тихонова любил, как Грибоедов — Булгарина. Тем более что Тихонов не имеет недостатков Булгарина. Тихонов теперь увековечен совершенно. Никто не понимает, что у Ерофеева «первенец» — это первый ученик, первый, кто воспринял и тому подобное. А был такой комментарий, что Ерофеев посвятил свое гениальное произведение своему первому сыну. Пишут про него на Западе, надо сказать, глупее некуда.

Одно время Веничка работал грузчиком, общежитие его было возле Красной Пресни. Когда я туда пришел, все простые рабочие на задних лапках перед ним танцевали, а главное — все они принялись писать стихи, читать, разговаривать о том, что им несвойственно. (Веничка эти стихи обрабатывал, а потом сделал совершенно потрясающую «Антологию стихов рабочего общежития». Кое-что, конечно, сам написал.) Я спрашивал у Венички, как удалось так на них повлиять, но в этом не было ничего намеренного. Он просто заражал совершенно неподдельным, настоящим и внутренним интересом к литературе. Он действительно был человеком литературы, слова. Рожденным словом, существующим со словесностью. При этом словесность рассматривалась как некая ипостась музыки. У него было обостренное ощущение мелодически-смысловой стороны слова, интерес к внутренней форме слова, если угодно. Для него вообще необыкновенно важна была музыка, он совершенно жил в ее стихии, он знал, понимал и умел ее слушать. Он воспринимал именно звучание. То же для него и звучащее слово. Смысл ведь не некая особая стихия, он входит в состав звучания слова. Смысл как словесная мелодия ему особенно был близок. Еще будут писать о мелодических структурах «Петушков» и «розановской» прозы.

Что касается истории работы над «Розановым», ему действительно негде было жить. Он очень смешно и обстоятельно рассказывал, как ему предложили: мы тебе дадим на два летних месяца дачу, а ты пиши. Потом он приезжал и говорил: «Мне в окошечко давали бутылку кефиру и два куска хлеба на блюдечке». Название, кстати, — «Василий Розанов глазами эксцентрика» — не его. «Глазами эксцентрика...» Что за бред? Человек сам, что ли, пишет про себя, что он эксцентрик? Это просто эссе о Розанове. И даже не о Розанове. И даже не эссе. Рассказ, который начинается без

всякого Розанова. Я, кстати, там фигурирую (поскольку Розанова он брал у меня), в качестве пучеглазого (что во мне до сих пор сохранилось) фармацевта Павлика. Это просто Вторая проза, нет, Третья. А может быть, даже Четвертая, если первой считать «Записки психопата».

Ерофеев жил и мыслил по законам рассудка, а не потому, что у него левая пятка зачесалась. Очевидная анархичность его лишь означает, что он жил не под диктовку рассудка. Борение между сердцем и рассудком было. Разум говорил: нет, ты не выпьешь ни грамма, а сердце... как в пьесах Пьера Корнеля. Как у всякого рассудочного человека, если он при этом не дурак (а бывает и так), у него было тяготение к четким структурам, а не расплывчатым, к анализу. Веничка был человеком очень ясного ума. И поразительного вкуса. Вкус он в себе воспитывал и воспитал великолепно. Я помню, как он в 16—17 лет очень язвительно насмехался над Цветаевой, видимо, ему претила ее эмоциональная перенапряженность. Тогда его больше устраивало бряцание в бальмонтовском духе. Потом он уже стал ее большим поклонником. А Ахматову так и не полюбил. Трезвость мысли, ясность мысли, рассудок. И я и Веничка терпеть не могли романтической расхристанности. Кстати, он прошел хорошую школу. В этом смысле Ерофеев похож на Честертона, который говорил, что в поисках религии он ходил в притоны декадентов, вместо того чтобы пойти в ближайший храм, — он шел окольным путем. Так же и Веничка прошел очень сильный декадентский искус в 50-х годах. Любимыми у него были Бальмонт и Северянин, к которому он сохранил привязанность до конца дней своих. Он как-то хвастался мне, что знает наизусть 172 стихотворения Северянина. Очень любил точные цифры. Думаю, что так оно и было. Он, кстати, никогда не врал. Мог фантазировать, сочинять, но врать — никогда. Сочинял пародии на Северянина. Например, такая, написанная летом 1957 года по тогдашним международным событиям:

Я снова, опьяненный маем,
на опьяняющем фрегате
впиваю майскую гуманность
с полупрезрительной гримасой.
Вдыхаю сладость океана,
симпатизируя Пикассо,
и нарочито нелояльно
внимаю треску делегатов.
«Молле — апофеоз жеманства», —
Жюль Мок убийственно итожит.

Его агрессия жантильна,
как дуновение нарцисса.
А Кристиан в пандан премьеру
пленен кокетством чернокожих,
компрометируя Тореза
лишь компонентом компромисса.
О, катастрофа Будапешта
была изящным менуэтом,
она, как декольте Сильваны,
сорвала русские муары.
Для нас служила оппонентом
декоративность пируэта,
для них — трагедия Суэца —
своеобразным писсуаром.
Я, очарованно загрезив,
постиг рентабельность агрессий
и, разуверившись в комфорте
республиканского фрегата,
неподражаемо эффектно
сымпровизировал позессив,
пленив пикантностью Жюль Мока
и деликатных делегатов.

Чтобы понять, о чем речь, нужно вспомнить все реалии тех лет, кто такой Жюль Мок, Торез. Вряд ли это будет понятно молодежи. Веничка говорил: «Я хочу написать стихотворение, в котором не будет ни одного русского слова. Мне надоели русские слова».

А вот прутковщина:

Граждане, все обратитесь в слух!
Я вам прочитаю очаровательный стих.
Если вы скажете — я оглох,
я вам скажу — ах!..
Если кто от болезни слёх,
немедленно поезжайте на юх.
Правда, туда не берут простых.
Ну, да ладно, останемся — эх!

Из скандинавов он особенно любил Ибсена и Гамсуна. В какой-то степени они остались с ним на всю жизнь. Он рассказывал: «Вечером все собираются у подножия моего ложа (хорошо еще, если я при этом трезвый), и я вещаю». — «А что ты вещаешь?» —

«Я простые вещи делаю, все больше их Ибсеном забираю». Ибсен у него был почти весь на слуху. Читал он каждый день непременно. А в конце жизни даже говорил: «Я на большую философию не покушаюсь, но Аверинцев мне вполне по зубам». А на советскую литературу он просто не обращал внимания. Да и на что было тогда обращать внимание? Про Солженицына он сразу сказал: «Что интересно, я и так знаю, а что не знаю, мне не интересно». Но когда году в 1977-м Веничка прочел «ГУЛАГ», был просто убит: закрыл дверь, задвинул шторы и долго так сидел.

Платонова он почти не читал, но «Котлован» ему очень понравился. Любил обэриутов. Я ему еще в начале 80-х читал перепечатку рассказов Хармса. Ну, Алейникова он всегда любил, Галя говорила, сам его одним пальцем печатал, Заболоцкого тоже. Булгакова на дух не принимал, «Мастера и Маргариту» ненавидел так, что его трясло. Многие писали, что у него есть связи с этой книгой, а сам он говорил: «Дурак Гаспаров. Да, я не читал «Мастера», я дальше 15-й страницы не мог прочесть!» «Театральный роман» ему больше нравился. Еще год назад я его уговаривал, что «Театральный роман» ничего. Я-то тоже не большой поклонник «Мастера», считаю, что это роман для гимназистов, но добротная литература. Евангелие пародировать, может быть, и не надо было, нехорошо.

Кстати, мало кто подозревает, что Веничка очень любил Салтыкова-Щедрина, который, с одной стороны, был совершеннейший дурак, клеврет прогрессивных сил и дрался оглоблей, а с другой — гениальный писатель. Рабле он всегда читывал и даже у меня как-то замотал пересказ Заболоцкого Рабле. Очень любил Козьму Пруткова, мы с ним начинали читать наперебой, и он заливался таким счастливым смехом, когда слышал:

> Два голубя, как два родные брата, жили.
> А есть ли у тебя с наливкою бутыли?

Кого еще мы с ним очень любили — это Некрасова.

Ерофеев очень любил открытия в литературе, ее неожиданные стороны. И действительно, если по-настоящему читать «Войну и мир», можно, как Веня, найти совершенные перлы юмора. Но надо постараться: у Льва Николаевича, чувства юмора было мало. Веня, например, собирался написать про шестидесятников. Он усмотрел, что дневники Чернышевского и дневники Добролюбова — еще не оцененные источники. Вот уж в ком была душевная грязь, так в этой публике. Когда я приходил к Веничке в общежитие на Красной Пресне, у него валялся четырехтомник Писаре-

ва, почему-то без третьего тома. Но Писарева он любил, потому что в нем был элемент юмора и игры, а не пропаганды.

Что же касается Чернышевского с Добролюбовым, то это характерная для Ерофеева неожиданность в манере подхода к литературе — он заходил к ним с тыла. Ему очень нравился набоковский эксперимент: Чернышевский с тыла. «Набоков, гадина, меня обскакал!» Он хотел так же и к Добролюбову зайти. У него есть выписки из дневника Добролюбова — это такая картина, что ой-ой-ой, по принципу «Моей маленькой ленинианы». Но «Лениниана» — игра и не может претендовать на биографию. Для Добролюбова он тоже намечал общую тему: у Добролюбова были страшно сложные отношения с женщинами, причем сразу с несколькими, и все они были абсолютнейшими шлюхами. Я не понимаю, как все это публиковалось, и, кстати, никто этого не замечал.

Веничка очень любил заходить с тыла не потому, что ему что-то не нравилось с лица, не для разоблачения. Его страшно шокировали, раздражали и доводили до зубной и головной боли вульгарность, пошлость и прямолинейность. Нужно не разоблачение, а дополнительные аспекты, чтобы видеть вещь со всех сторон. Кушнер в одном стихотворении предполагает, что бессмертие в том и состоит, что обычно мы видим вещи с одной стороны, а тут мы увидим их со всех сторон. Если угодно — то, что Веня мог видеть вещи со всех сторон, — это земное явление бессмертия.

Самым главным в Ерофееве была свобода. Он достиг ее: видимо, одной из акций освобождения и был его уход из университета. Состоянием души свобода быть не может, к ней надо постоянно пробиваться, и он работал в этом направлении очень напряженно всю жизнь. Сколько он пил — видит бог, это был способ поддержания себя то ли в напряжении, то ли в расслаблении — не одурманивающий наркотик, а подкрепление. Конечно, этим он свой организм разрушил, а не рак его доконал. В апреле прошлого года я его спросил: «Как тебя лечат?» Он отвечал: «Мне показывали по телевизору мою печень — 600 секунд!» Печень у него и поехала.

Конечно, он сам себя разрушил. Ну, что ж — он так и считал, что жизнь — это саморазрушение, самосгорание. Это цена свободы. И не надо воспринимать Ерофеева как разнесчастного алкоголика, жертву гримас советской действительности. Не был он жертвой. Он был в советской действительности, как рыба в воде. Он говорил в одном интервью, что совершенно не желает жить ни в ка-

кой другой. И порядок здесь его тоже устраивает, и власть. Пожалуй, Веничка был в жизни так же свободен, как и в писании. Но он не шел, глядя в небо. Он видел границу, через которую переступал, когда другие останавливались. Он вообще очень был приметлив и внимателен к жизни и к ее деталям и, кстати, ничего не имел против бытового комфорта. (Душевного, может быть, ему и не надо было: как только он достигал видимости душевного комфорта, так тут же его и разрушал.) Поначалу Ерофеев жил по декадентской программе эпатажа буржуазии — буржуазность как способ поселиться в клетке была ему совершенно чужда. Он по природе своей был очень бездомным человеком, не любил ритуалы, их пошлость, обыденность, автоматизм, потому что настоящая игра — это нарушение автоматизма. Конечно, всякому свободному человеку, пусть он знает, что правильней идти по ночной улице под холодным ветром, иногда хочется в теплый уголок. Недаром Веничка сажал цветы и за ними ухаживал. Но это появилось уже позднее.

В нем была достоевщина. У каждого человека есть подполье в душе, чтобы было что преодолевать. И Веничка играл с темными силами, которые выходят из подполья души. Людям, которые подходили к нему на очень близкое расстояние, было нелегко. При всей нашей дружбе мы с Веничкой всегда были на таком расстоянии, что разговор чрезвычайно откровенный, наверное, ни с моей, ни с его стороны был невозможен. Мы оба этого не допускали. Такая была между нами спасительная дистанция. А человеку, который эту дистанцию нарушал, я не могу позавидовать. Возлюбленным его университетским не позавидуешь никак. Тут включались разрушительные силы. Близко подошедшие становились объектами почти издевательских экспериментов. А вокруг него всегда был хоровод. Многое он провоцировал. Жизнь его была непрерывным действом, которое он режиссировал, — отчасти сочинял, отчасти был непредсказуем, и все становились соучастниками этого действа.

В нем никогда не было потенциала зла. Он мог принести много зла невольно, но стремления причинить кому-то зло в нем совершенно не было. Он никого не воспринимал как врага. Может быть, абстрактно. Мы с ним страшно радовались, например, когда застрелили Чаушеску. Не удивляйтесь: религия совершенно чужда суеверному отношению к смерти. Она рассматривает смерть как дело житейское и совершенно не склонна преувеличивать ее значение. А расстрел можно рассматривать как хорошее отноше-

ние к человеку: значит, он принял возмездие. Страшнее всего приходится таким, как Джугашвили: он не принял возмездия, и что сейчас с ним там делают — страшно подумать. А Бухарину, Зиновьеву и прочим очень повезло. Они имели возможность раскаяться.

Было у Венички однажды столкновение. Есть такая темная личность — писатель Лимонов, который, как это ни забавно, пришел к социалистической идеологии. Прямая противоположность Веничке. Так вот, Лимонов вызывал Веничку на лестницу морду бить. Тот про Лимонова слышать потом не мог — руки тряслись. «Я писатель Лимонов! Ерофеев, пойдем на лестницу, я тебе всю морду побью!» Да нет, это были не принципиальные разногласия, а по пьянке, но на самом деле, когда Ерофеев прочел кусок лимоновской прозы, он сказал: «Это нельзя читать: мне блевать нельзя». Но и это тоже была не ненависть, а скорее смесь презрения и омерзения. Редкий случай. Другого такого не могу припомнить. Впрочем, людей, о ком бы он всегда говорил особенно тепло, из друзей и знакомых — тоже не было, только далекие. Он говорил: «У меня грибоедовский комплекс: мне требуются Булгарины в неограниченном количестве».

Что касается многочисленных людей, которые его окружали, он знал им цену. Но они были ему интересны, причем интерес этот был довольно своекорыстный. Ему интересен был каждый человек именно в качестве соучастника игрища жизни как действа. Но в этом не было чрезмерной гордыни (мол, ему все равно, кто вокруг), в которой его укоряли. Он был как рыцарь бедный: «Он-де Богу не молился,/ Он не ведал-де поста,/ Не путем-де волочился/ Он за матушкой Христа». Он действительно волочился за матушкой Христа. Но ведь кончается тем, что «Пречистая сердечно заступилась за него...» Это тоже о Веничке. Вот уж про кого я нимало не сомневаюсь, что он, разумеется, в чистилище.

Теперь любят рассказывать, что перед Ерофеевым все трепетали. Сколько раз Веничка мне жаловался на одно и то же; ему говорили: груда нечистот — твои «Петушки», порицали его со всех сторон, все время как-нибудь обижали. И он начинал сомневаться. В этом смысле я был ему реально нужен, так как Веничка постановил, что не сомневается в моем вердикте. Он всегда мне жаловался: «Ты один мне говоришь, что это хорошо, а остальные говорят: «Ерофеев, перестань, ты написал совершеннейшую ерунду, не соответствующую твоим задаткам, больше того — эта ерунда антихристианская, унизительная и т. д.». Кто уж это ему говорил — не знаю. И всеобщее признание очень ему было нужно. Я очень рад, что оно пришло, хотя ему все время не хватало. Нет, ни-

когда вокруг него не танцевали, наоборот, ему страшно любили говорить гадости, грубости. И часто воспринимали его как шута горохового. Это задним числом кажется: ах, Ерофеев! Вот когда он, всемирно известный писатель, лежал на одре болезни — тут действительно вокруг него ходили — «друзья последнего набора» — смотрели ему в рот и выясняли, какой он был гениальный. Это было смешно. А все, что смешно, — ему нравилось.

Конечно, Ерофеев был больше своих произведений. Какая бы могла получиться третья пьеса! Сколько было незаписанных импровизаций! Только давайте не будем считать Ерофеева автором несуществующих произведений: рукописей, сгоревших в печке у тещи, съеденных козой, потерянных. До сих пор он то автор первого издания «Москвы — Петушков», которое было в одном экземпляре, но пропало, то автор «Дмитрия Шостаковича», который он то ли с Борей, то ли с Вадей, то ли с Авдиевым оставили в сеточке в автомате, когда забежали за угол распить. Это обычная история. Так, однажды Веня увидел у меня «Самопознание» Бердяева с заметками на полях не кого-нибудь, а Ахматовой и Надежды Яковлевны Мандельштам. «Ну, — говорит, — дай мне». — «Вень, ну, может, у меня?» — «Нет, я ухожу, мне нужно ехать». А у меня есть очень опасный зарок, еще мамой завещанный: можно отказать людям в куске хлеба, но в книге — нельзя. Через три дня Ерофеев звонит и сообщает с объяснениями, почему, кто и где потерял. На что я посылаю его необычайно далеко — нет нужды в объяснении, если ничего сделать нельзя. Так же и тут. Не нужно делать Ерофеева автором потерянных гениальных произведений. Достаточно с него и тех, что есть.

Веня по-настоящему любил музыку — уж я-то это понимаю. Прежде всего любитель музыки должен знать ее и чувствовать. Когда я разговариваю с человеком, я сразу могу это определить. А Веня меня поразил тем, что, происходя из простых людей, к музыке относится по-настоящему интеллигентно.

Мы познакомились в дачном поселке Абрамцево, Веня жил у Делоне, крупного математика, члена-корреспондента. Потом Борис Николаевич умер, и следующие хозяева выгнали Ерофеева, потом он жил у Грабарей. А Грабари — наши соседи, и когда Веня увидел, что у меня не только дома, но и на даче огромная коллекция пластинок, то стал приходить слушать музыку, а кроме того, брал у меня пластинки. Таким образом я мог воочию убедиться, какие у него вкусы. Скажем, часто он брал Шуберта, очень любил Брукнера. На мой взгляд, Брукнер — один из самых великих композиторов, он отражает то, что отразил Достоевский в литературе, — чудовищную внутреннюю противоречивость — но это мало кто чувствует. Мы однажды с Веней вместе слушали его Четвертую симфонию. Но у него были неординарные вкусы, например, он очень прохладно относился к Моцарту. Галя говорила, что он казался Вене легкомысленным, что меня удивляет. Сам он вообще никогда не говорил о своих пристрастиях, особенно когда ему что-нибудь не нравилось. Только если он был уж очень пьян. А обычно он скрывал непосредственность своих чувств, выражая их только иносказаниями или мимикой. Он был очень сдержан. Но я же видел, как он реагировал на хорошую музыку. Если человек по-настоящему слушает музыку, то она его прошибает. Веня очень волновался. Сжимался весь и сидел

в напряжении. Настоящее слушание ведь требует нервов. Он очень любил Сибелиуса, что меня тоже очень поразило. Немногие знают, что Сибелиус — действительно гениальный композитор. Но, правда, не всегда вкус Ерофеева меня удовлетворял. Например, Высоцкого я резко не люблю. А он его отстаивал. Правда, Веня никак это не аргументировал, он вообще никогда не спорил, если с ним не соглашались, — он просто замолкал.

Самое тяжелое в общении с Ерофеевым для меня, как ученого, была невозможность ничего обсуждать. Если его пытались вытянуть на спор, было только хуже: он замыкался, и тогда его уже никуда нельзя было сдвинуть — он отключался. Мне кажется, в нем вообще не было стремления к анализу.

Эстраду он не любил. Но кое-какие советские песни — видимо из его детства — ему нравились. В этом, по-моему, проявлялась недостаточность его вкуса. К року он тоже относился плохо, во всяком случае, в последний год, когда мы обычно вместе проводили вечера пятницы и субботы и смотрели «Взгляд», где рок перемежался со всякими полезными вещами, Веня очень был доволен, когда я закручивал звук во время рока.

Я пробовал исследовать упоминание музыки в «Москве — Петушках». Я вообще считаю, что «Москва — Петушки» — это экскурс во всю культуру человечества, особенно в русскую. И музыка как элемент культуры здесь тоже участвует. Мне кажется, что ассоциации, которые возникают, когда Ерофеев упоминает музыку, играют очень большую роль в поэме, но поскольку музыка — это второй язык, который мало кто знает, то очень многое нужно пояснять. (С Мусоргским, например, ассоциируется сам Веня.) У меня кое-что записано — могу рассказать.

Уже на второй странице повествования имеется косвенный намек не только на Пушкина, но и на Мусоргского: «Царь Борис убил царевича Димитрия». Это уже настраивает на трагический лад. На «Площади Курского вокзала» появляются поющие ангелы. Они появляются и дальше, и, начиная с этого эпизода, для активного восприятия необходимо вызывать в воображении музыку, ассоциируемую с описанной в поэме. Ангелы ассоциируются с такой музыкой, как «Ave Maria» и «Stabat mater», например, Перголези.

Следующая глава, «Ресторан Курского вокзала», начинается с упоминания Россини и Козловского. Козловский производит на рассказчика мерзкое впечатление. И правда, есть у него такие не совсем приятные интонации. Когда электричка проезжает через пролетарские районы Москвы, в частности «Серп и Молот», музыке нет места, сплошной мат. А после Карачарова возникает трагик

Шаляпин, что опять возвращает нас к Мусоргскому и «Борису Годунову» (Веня любил Шаляпина). При выезде за черту Москвы опять появляются светлые ангелы.

Глава «Салтыковская — Кучино» особенно полна музыкальными намеками, может быть из-за того, что именно в ней он встречается со своей любимой из Петушков и сыном. Сначала шуточная поросячья фарандола, потом он упоминает Девятую симфонию Дворжака. Здесь мало кто понимает, что имеется в виду. Путаница с номерами симфоний Дворжака сопоставляется с путаницей выпитых рюмок. Дело в том, что у Дворжака по абсолютной нумерации это действительно девятая симфония, но еще 30 лет назад она считалась пятой, потому что при жизни Дворжака его ранние симфонии не были номерными и после его смерти их стали перенумеровывать. У разных издателей была разная нумерация, и потому с номерами симфоний Дворжака всегда была путаница.

В «43 километре — Храпуново» — итальянское бельканто сопоставляется с икотой. У него обычный прием — сопоставление высокого и самого низкого. Но, по-моему, он вообще не любил бельканто.

Далее: «Но довольно слез». Я подозреваю, что это тоже связано с музыкой. Дело в том, что в «Иоланте» есть место, которое так и начинается: «Не надо слез», после того как обнаруживается, что Иоланта слепая. Снова снижение темы «потеря» (потеря зрения и потеря бутылки). Потом упоминается этюд «Шум леса» Листа до диез минор. У Вагнера есть этюд «Шелест леса», а Вагнер позже появляется, так что, может быть, и здесь есть связь с Вагнером.

Затем эпизод с Римским-Корсаковым и Мусоргским. На самом деле никогда не было у Римского-Корсакова ни смокинга, ни бамбуковой трости — вы почитайте его воспоминания. Тут возникает «Хованщина» — еще более трагическая опера, чем «Борис Годунов». Она совершенно безнадежна, поскольку оканчивается самосожжением. Все, что происходит у нас сейчас, — уже есть в «Хованщине». Мусоргский вообще Ерофееву очень близок: для обоих Россия — кровавая тема.

А вот у него ошибка, правда в другом: что Евгения Онегина от брусничной воды понос пробрал. А мне медики говорили, что брусничная вода — мочегонное.

Дальше он вспоминает «Блоху» из «Фауста». Здесь двойной намек, поскольку неясно, о какой «Блохе» он говорит: может быть Мусоргского, может быть и Бетховена, поскольку у обоих она есть.

А потом история об Эрдели. И снова снижение. Я думаю, он выбрал Эрдели еще и оттого, что арфа — традиционный инструмент ангелов.

И вот он непосредственно приступает к Вагнеру в рассказе о председателе по имени Лоэнгрин. В современной эстетике, мне кажется, не может быть другого отношения к Вагнеру, кроме иронического. Его мифология полностью лишена самоиронии... (Вот Римский-Корсаков не делает серьезной мины по поводу славянской мифологии — он просто принял такой стиль.) Да и как можно относиться к Лоэнгрину не иронично, каков там конфликт? Она хочет узнать его имя, а он, видите ли, уперся. А когда она узнала, он страшно обиделся и обратно уехал. На той же моторной лодке.

В рассказе о том, как Веничка в Венеции смотрел гребные гонки, тоже есть музыкальный намек, поскольку у Россини есть дуэт «Гребные гонки в Венеции». А когда рассказчик себя уподобляет Шахерезаде, это снова ассоциируется с Римским-Корсаковым. Потом Сальери, связанный не только с Пушкиным, но и еще и с Римским-Корсаковым.

А дальнейшие главы и весь тот кошмар, который там начинает твориться, кончающийся смертью героя, по чудовищной силе выразительности у меня ассоциируется (но это уже мои собственные фантазии) с финалом Четвертой симфонии Брамса. Там просто лава идет. И, главное, во время всего этого кошмара чисто музыкальные упоминания уже начисто исчезают, настолько все плохо. Здесь музыку напоминает уже только само течение поэмы.

«Шаги Командора» тоже можно таким образом исследовать. Там же все время говорится, что пьеса должна идти под музыку Брукнера, только никто этого не делает.

Вообще, у Вени пластинок было немного. Он же был человек безалаберный. Что было — он раздаривал. К сожалению, он так и не приобрел хорошего проигрывателя — тот всегда был отвратительный, и пластинки заезжены. В материальном отношении он был абсолютный бессребреник. Музыкальная память у него была такая же потрясающая, как и простая. Он вообще был невероятно талантлив, и я думаю, что реализовался хорошо, если на один процент. Моя жена говорила ему по поводу «Петушков»: «Ты, как Терешкова, полетал один раз — и все». Он прямо весь изворачивался — ему было очень обидно, — но ничего не отвечал.

Ольга СЕДАКОВА

Я думаю, для каждого, кто знал Венедикта Ерофеева, встреча с ним составляет событие жизни. Прощание не так заметно: Веня, «простившись, остался» со своими знакомыми. Можно уточнить: и оставаясь, он прощался. Много лет — да, собственно, все годы, что я его знала (а это, страшно сказать, двадцать лет), — Веничка прожил на краю жизни. И дело не в последней его болезни, не в обычных для пьющего человека опасностях, а в образе жизни, даже в образе внутренней жизни — «ввиду конца». Остаются все ушедшие, но в Венином случае это особенно ясно: он слишком заметно изменил наше сознание, стал его частью, стал каким-то органом восприятия и оценки.

— Это бы Веничке понравилось... А на это бы он сказал... — так мы, знавшие его, по разным поводам говорим друг другу. Интересно, что воображаемые нами Венины отзывы не очень расходятся. Споров не возникает. Позиция его, причудливая или просто чудна́я — как он говорил: «с моей потусторонней точки зрения», — глубоко последовательна. То, что на одну́ тему он мог говорить противоположные вещи, тоже входит в эту последовательность. При всей эксцентричности и как будто крайней субъективности, его потусторонняя точка зрения близка к тому, что называют «голосом совести». Не знаю, какие у него были отношения с самим собой, то есть ставил ли он себя перед тем судом, какому подвергал происходящее. Но его обыкновенно безапелляционные суждения почему-то принимались без сопротивления. Почему-то мы признавали за ним власть судить так решительно. Чем-то это было оплачено. Может быть, как раз этим его потусторонним, прощающимся положением. Во всяком случае, право «последнего сужде-

ния» он приобрел не литературными достижениями. Я познакомилась с ним до того, как были написаны всемирно известные «Петушки», — и уже тогда меня поразило, что все присутствующие как бы внутренне стояли перед ним навытяжку, ждали его слова по любому поводу — и, не споря, принимали. Сначала мне показалось, что они какие-то заколдованные, но очень быстро такой же заколдованной стала и я. Он судил — мы чувствовали, — как невовлеченный свидетель, как человек, отвлеченный от суеты собственных «интересов». Легко сказать, что отвлечен он был прежде всего своим главным интересом — алкогольной страстью.

— Это все ерунда, — обрывал он, бывало, какой-нибудь разговор, — а вот у меня есть идея...

Идею все знали: скинуться или собрать посуду — и в ближайший винный отдел. Я вспоминаю мысль Александра Попа (Веня бы сразу назвал даты жизни этого английского классициста и перечислил его сочинения в хронологическом порядке; его энтузиазм по поводу точных знаний всегда меня поражал; любую путаницу в датах, именах и т.п. он переживал как катастрофу) — мысль о том, что борьба со страстями состоит не в их тотальном упразднении, как в стоической атараксии, а в выдвижении одной, ведущей страсти, которая займет все существо и не оставит ни сил, ни времени для других страстей. Вот такой, в своем роде возвышающей страстью был Венин алкоголь. Чувствовалось, что этот образ жизни — не тривиальное пьянство, а какая-то служба. Служба Кабаку? Мучения и труда в ней было несравненно больше, чем удовольствия. О таких присущих этому занятию удовольствиях, как «развеяться», «забыться», «упростить общение» — не говоря уже об удовольствии от вкуса алкогольного напитка (тому, кто хвалил вкус вина, Веня говорил: «Фу, пошляк!»), — в этом случае и речи не шло. Я вообще не встречала более яростного врага любого общеизвестного «удовольствия», чем Веничка. Получать удовольствие, искать удовольствий — гаже вещи для него, наверное, не было. Должно быть плохо, «все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек...» — как помнят читатели «Петушков». Впрочем, Венин список «пошляков» и «ненавистных» обширен, и я не уверена, что искатели хорошей жизни занимают в нем первое место. Много там еще чего: самонадеянность и фразерство (во фразерство попадали вообще высокие и неприкрытые слова), погруженность в «дела», бездумная жестокость, азарт, бойкость, суетливость, расчетливость, поклонение авторитетам — и непризнание авторитетов, любознайство — и умственная лень, «чрезмерная склонность к обобщениям» — и неспособность к обобщению... Всего не назовешь...

«Сердца необрезанные» — цитировал он по названным и еще многим поводам. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что любил он больше всего кротость. Всякое проявление кротости его сражало.

— Встречаю человека, он говорит: наверное, вы меня не помните... А мы провели вместе целый вечер и совсем недавно.

— И что тут особенного? — удивляюсь я.

— Что? Другие говорят: ну хорош ты, видно, был, если меня не помнишь!

Известно, что в результате коммунистического воспитания чего-чего, а смущение, стыдливость и кротость — вещи у нас почти забытые, и человеку не до того, чтобы, как хотел бы Веничка, «глядеть в какую-нибудь пустячную даль» — или глядеть на себя из этой пустячной дали. Все близко, все под рукой, не зевай, а то другой схватит! Веню мутило от вездеприсутствующих «озабоченных придурков», от их начинаний, продолжений и свершений.

— Зачем это делается? — говорил он с пафосом ветхозаветного пророка, — зачем человек подходит — нет, подползает к письменному столу, чтобы сочинять такие стихи? У, ненавистные...

Себя он как-то назвал «кротчайшей тварью Божьей», и это не такое безумное хвастовство, как может показаться тем, кто знал его меньше. Я могу привести примеры его никем не воспитанной кротости.

Однажды, обидевшись за действительно скверную выходку, я собрала все вещи, какие Веня забывал у нас, сложила в забытый же им портфель, и мой муж отнес это владельцу с объявлением конца знакомства. Вернувшись, он рассказал:

— Веничка лежит, молчит. Мрачный. Мне стало его жалко, я говорю: «Не обижайся на Ольгу, она не святая. Святой бы тебя простил». Тут Веня повернулся: «Ты отличный парень, но в святых ты ничего не понимаешь. Святой бы меня еще не так осудил».

Или такая история. Однажды Веничка остался ночевать, в кухне, на раскладушке. Среди ночи мы проснулись от невероятной стужи. Оказывается: балконная дверь на кухне настежь открыта (а мороз под 30°), задувает ветер, вьется снег, а Веня лежит не шевелясь.

— Почему ты не закрыл дверь?

— Я думал, у вас так принято. Проветривать ночью.

Я не могу вспомнить другого человека среди тех, кого знаю, который мог бы в этих условиях так подумать и сделать (точнее, не сделать: не закрыть дверь без спроса и не разбудить хозяев, чтобы спросить). Это Венино свойство, нечто противоположное борьбе за место под солнцем, противоположное плебейскому

«Имею право!», «Мне это нужно!» и плебейской агрессивной самозащите, — его глубокое смущение перед всем и желание оберечь все это от себя — восхищало меня бесконечно. Когда он был долго трезв, рядом с ним нельзя было не почувствовать собственной грубости: контраст был впечатляющим.

Вот еще история о Вениной кротости. Однажды мы долго и дружелюбно болтали, втроем или вчетвером: дело дошло даже до чтения стихов. И вдруг, под конец, мне зачем-то понадобилось похвалиться подаренными духами.

— Ну, покажи, — благодушно сказал Веня.

Но духов на месте не было.

— Ты выпил их, — сказала я, глядя на Веню, как с красноармейских плакатов. — И еще издеваешься: покажи. Это низость и коварство. И зачем нужно было пить французские, когда рядом советские?

— Не пил я, — уверял Веня. — Не пил. Хочешь, побожусь?

Не разубедив меня, Веня, уходя, сказал:

— Отличная кода поэтического вечера. Ты извинишься, когда узнаешь, что все не так.

Вернулся мой муж и сообщил, что, зная о Венином приходе, он загодя спрятал духи, опасаясь, что тот их выпьет. Я позвонила Вене извиняться.

— Да полно, — засмеялся он, — я, как вышел, подумал: до чего же я довел Ольгу, что она такое предполагает. Так что это ты прости.

Конечно, я видела много непонятного и неприятного мне в Вениной жизни. С годами я реже и реже заходила к нему, чтобы не встретить каких-нибудь гостей. Эти вальпургиевы гости, их застолья, напоминающие сон Татьяны, отвадили и от самого Венички, который с невыразимым страданием на лице, корчась, как на сковородке, иногда — после особо вредных для окружающей среды реплик, — издавая тихие стоны, слушал все, что несут его сомнительные поклонники — и не обрывал.

Быть может, эти застолья были частным случаем общего принципа: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно...» Среди лимериков, которые я когда-то сочиняла, Веня указал: вот этот про меня:

Однажды в гостях у Бодлера
Наклюкались три офицера.
Друг другу в затылки
Кидали бутылки,
Но все попадали в Бодлера.

И в самом деле, все глупости и пошлости, которыми обменивались посетители, попадали в Веничку; обыкновенно лежа, из своего непрекрасного далека он обозревал собравшихся взглядом, описание которого я нашла у Хлебникова:

> Безумно русских глаз игла
> Вонзилась в нас, проста, светла.
> В нем взор разверзнут
> Каких-то страшных деревень.
> И лица других после него — ревень.

Бывало, впрочем, что и его потусторонней терпимости приходил конец. Он рычал: «Молчи, дура!» И дважды при мне выдворил новых знакомцев: одного за скабрезный анекдот, другого за кощунство. Оба старались этим угодить хозяину: ведь, по расхожему представлению о Веничке, и то и другое должно было быть ему приятно. Они не учли одного: человеку перед концом это нравиться не может. А Веня, как я говорила, жил перед концом. Смертельная болезнь не изменила агонического характера его жизни, только прибавила мучений. Так что, узнав о его смерти, все, наверное, первым словом сказали: «Отмучился».

Его отпевали, и мне это показалось странно: к Церкви — в общепринятом смысле — Веня не имел отношения. Нет, он имел свое, очень напряженное, болезненно, десятилетиями не прояснявшееся отношение. Быть может, слишком серьезное, чтобы просто пойти и стать добрым прихожанином, как многие его знакомые в начале нашего «религиозного ренессанса». О его католическом крещении — уже вблизи смерти — я ничего не могу сказать: этой слишком интимной для себя темы он в разговорах не касался. Политический поступок? Любовь к латыни и Риму? (Веня говорил: «Латынь для меня — род музыки». А выше музыки для него, кажется, ничего не было; разве только трагедия, из духа этой музыки родившаяся, как утверждал хорошо прочитанный им Ницше.) Стилизованное благочестие православных неофитов, нестерпимое самодовольство, которое они приобрели со скоростью света — и стали спасать других «соборностью» и «истиной», которые у них уже как будто были в кармане — все это, несомненно, добавило к Вениным сомнениям в церковности. Он как-то сказал:

— Они слезут с этого трамвая, помяни мое слово.

— С трамвая?

— Ну да. Я хотел пройти пешком, а они вскочили на трамвай.

Так вот, отпевание в православном храме совершенно не вязалось с Веничкой и было до неприличия «в духе момента»: отпевание русского писателя, диссидента, дожившего до «победы» либеральных идей, реабилитированного народного героя в реабилитированной Церкви. «Все в порядке, пьяных нет». И так, не без смущения смотрела я на происходящее... Но когда дошло до Заповедей Блаженства, с первого их стиха, я с полной отчетливостью поняла, что если к кому это имеет отношение, то как раз к Веничке. Многие, многие из людей, несомненно, добропорядочных, вряд ли посмеют спросить себя: правда ли эти страшные блаженства и суть блаженства, которых — говоря высоким слогом — ищет их душа? Правда ли если уж они такого блаженства не просят, то не будут спорить, если оно случится? Веничка не спорил, это точно. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно...»

Однажды я читала ему перевод рассказа о св. Франциске — как тот, узнав от врача, что дни его сочтены, вытянулся на постели, помолчал и сказал радостно: «Добро пожаловать, сестра наша смерть!» Оторвавшись от чтения и поглядев на Веню (я ожидала, что это его также радует), я увидела, что он мрачнее мрачного.

— Что такое? Чем ты недоволен? (Я думала — моим переводом.)

— Тем, что мы не такие, — с отчаянием сказал Веня.

Вначале, заведя речь о «ведущей страсти», я имела в виду идейный «всемирный запой», по Блоку.

А у поэта всемирный запой
И мало ему конституций.

Но это поверхностно. Настоящей страстью Вени было горе. Он предлагал писать это слово с прописной буквы, как у Цветаевой: Горе. О чем это Горе, всегда как будто свежее, только что настигшее? Веня описывал его в «Петушках» (эпизод с вдовой из «Неутешного горя»), говорил о нем и так. Он сравнивал это с тем, что всем понятно:

— Когда человек только что похоронил отца, многое ли ему нужно и многое ли интересно? А у меня так каждый день.

Но о чем это Горе, чьи это ежедневные похороны, вряд ли кто из Вениных знакомых слышал от него. Не слышала и я...

Но, поскольку его Горе не было бытовым горем, он был скорее веселым человеком, и уж совсем не угрюмым. Его необыкновенно легко можно было рассмешить, и смеялся он до упаду,

до слез, приговаривая: «Матушка Царица Небесная!» Кто-то заметил:

— Ты, Веничка, смеешься, как будто у тебя ни одного смертного греха за душой.

И Вадя Тихонов, «любимый первенец», нашелся:

— У него все грехи бессмертные.

Веня любил всех нелюбимых героев истории, литературы и политики. Все «черные полковники», Моше Даяны, какие-то африканские диктаторы-людоеды (Сомоса, что ли, его звали?) — были его любимцы. В Библии ему был особенно мил Царь Саул. Давиду он многое прощал за случай с Вирсавией. Апостола Петра с любовью вспоминал в эпизоде отречения у костра. Ему нравилось все антигероическое, все антиподвиги, и расстроенное фортепьяно — больше нерасстроенного. На его безумном фортепьяно, не поддающемся ремонту, где ни один звук не похож был на себя — и хорошо еще, если он был один: из отдельно взятой клавиши извлекался обычно целый мерзкий аккорд — на этом фортепьяно игрывали, к великому удовольствию хозяина, видные пианисты и композиторы. Всех гадких утят он любил — и не потому, что провидел в них будущих лебедей: от лебедей его как раз тошнило. Так, прекрасно зная русскую поэзию, всем ее лебедям он предпочитал Игоря Северянина — за откровенный моветон.

Во всем совершенном и стремящемся к совершенству он подозревал бесчеловечность. Человеческое значило для него несовершенное, и к несовершенному он требовал относиться «с первой любовью и последней нежностью», чем несовершеннее — тем сильнее так относиться. Самой большой нежности заслуживал, по его мнению (цитирую), «тот, кто при всех опысался».

Не могу сказать, что мне до конца был понятен этот крайний гуманизм. «Да, — говорил по этому поводу Веня, неожиданно переходя на высокий стиль, — снисхождение не постучится в твое сердце».

Еще непонятнее мне была другая сторона этого гуманизма: ненависть и к героям, и к подвигам. Чемпионом этой ненависти стала у него несчастная Зоя Космодемьянская: за свое поклонение этой Прекрасной Даме он дорого заплатил (говорят, что он был отчислен из Владимирского пединститута за издевательский венок сонетов, посвященный Зое). Даже Буревестник с его «Человек — это звучит гордо» и подобными афоризмами не возбуждал такого гнева: в Буревестнике Веня находил что-то комичное. Буревестник был низок и двоедушен, а это уже примиряло с ним. Но бе-

зупречная Зоя, мученица Зоя! При мысли о Зое Веничку покидало даже чувство юмора.

— А не думаешь ли ты, — спросила как-то я, — что герои коммунистической пропаганды — просто перелицованные образцы подвижников из святцев? Что ты скажешь о настоящих мучениках? Они тоже, по-твоему, извратили человеческое?

Веня поморщился и ничего не ответил.

Он часто говорил не только о простительности, но о нормальности и даже похвальности малодушия, о том, что человек не должен быть испытан крайними испытаниями. Был ли это бунт против коммунистического стоицизма, против мужества и «безумства храбрых», за которое пришлось расплатиться не только храбрым и безумным, но миллионам разумных и нехрабрых? (Ведь такому мужеству на чужой счет нас обучали со школьных лет: «ничего, потерпят», ничего, что за прекрасную Зою расстреляют всех жителей Петрищева, а за усердного Стаханова с его коллег сдерут еще по семь шкур — главное, чтобы на земле всегда было место подвигам!) Или мужество и жертвенность и в своем чистом виде были для Вени непереносимы? Я так и не знаю...

Среди заметок Паскаля (Вениного любимца) есть такая: «Стоит пожелать сделать из человека ангела, и получишь зверя». Можно добавить: «Стоит пожелать найти в человеке ангела, и наткнешься на зверя». «Ангеличность» — несчастный плод европейского идеализма прошлого века в отношении к человеку. Озверение двадцатого века — и теоретическое (философия «жизни») и практическое (ГУЛАГи, Треблинки, да и мирное массовое общество) — отомстило за эту «ангелизацию», за попытку представить человека тем, что вовсе не в его силах. И, не встретив в ком-нибудь искомого ангела, мы, любители «идеалов», уже видим на его месте нечто нестерпимо низкое; не встретив этого ангела в себе, решаем, что жить не стоит. Веня очень не любил мои бесповоротные разочарования в людях, авторах и сочинениях и называл их «комплексом Клеопатры».

— Ничего, — говорил он после моих безудержных похвал в чей-нибудь адрес, — скоро «глава счастливца отпадет».

В бенином преувеличении «слишком человеческого» как «человеческого по преимуществу» (а не звериного или подонческого) было что-то терапевтическое. Не могу, однако, сказать, что в моем случае этот курс лечения от «ангеличности» оказался успешным. Например, я думаю, Веня больше бы полюбил Мандельштама, узнав о его последних сталинских стихах. Для меня же открытие «Савеловских тетрадей» — глубокое огорчение. Лучше бы все

кончалось, как мы знали до этого... Снисходительность так и не стучится мне в сердце — разве что в рассудок...

В этой точке — «полюбите нас черненькими» — Веня нашел родную душу: Василия Васильевича Розанова. С Розановым его сближало и остро национальное самосознание.

— Ведь это не обо мне, это о нас они судят, — говорил он, читая зарубежную статью о себе.

У него вообще была очень сильная русская идентификация. Для него оставались реальными такие категории, как «мы» и «они» («они» — это Европа). Он всерьез говорил: «*Мы* научили их писать романы (Достоевский), музыку (Мусоргский) и т.п.» Но тянуло его, кажется, как многих очень русских людей, — к «ним». Он не любил «древлего благочестия» и не потрудился даже узнать его поближе. Христианская цивилизация для него воплощалась в Данте, в Паскале, в Аквинате, в Честертоне, а не здесь. Сколько раз он говорил: «Никогда не пойму, что находят в «Троице» Рублева!» (Впрочем, так же он говорил: «Никогда не пойму, почему носятся с Бахом!» — но когда я играла баховские прелюдии, он слушал совсем не как тот, кому до Баха нет дела.) В его русскости не было ничего почвенного, домостроевского, того, что в ходу сейчас. Он не испытывал умиления перед «народом» и «русское» не значило для него «крестьянское». Мужика Марея Веничка не встречал, из того, что относят к «культурному наследию» —

Небылицы, были́ны
Православной старины, —

он предпочитал небылицы. Народ же исторический, конкретный был для него чем-то «совершенно другим», он уверял, что и общаться с ним не умеет, и из так называемых «простых людей» жаловал только крайние случаи — спившихся, дурачков и т.п. Русское значило для него, скорее всего, — достоевское: в кругу героев Достоевского нетрудно представить и главного героя «Петушков». В самом Вене мерещилось иногда что-то версиловское, иногда — ставрогинское. Он очень сочувствовал Дмитрию Писареву — притом что Чернышевского и Добролюбова ненавидел, почти как Зою. Это парадоксальное разделение разночинской когорты — не пустой каприз.

И я думаю, что Венино Горе с большим основанием можно было бы назвать Русским Горем и точнее: Новейшим Русским Горем. Кошмар коммунистической эпохи был тем Горем, которое он переживал ежедневно. Он как будто не сводил глаз со всей лавины

зверства, тупости, надругательства, совершенного его народом. От такого зрелища можно свихнуться серьезнее, чем Гамлет, и оставшееся время «симулировать вменяемость», как Веничка назвал собственное поведение. И страшнее всего, что это и не собиралось кончаться.

— Мы помрем, а они так и будут дышать на ладан, — говорил он, когда кто-нибудь уверял, что режим дышит на ладан. Все метаморфировало из одного безобразия в другое и обещало продолжаться вечно, до полной победы. Отщепенец тех лет (которые лукаво назвали «застоем») — а Веничка в высшей степени был отщепенцем, тем, кто в доме повешенного говорит о веревке и говорит о ней в доме вешателя, — был окружен страшным обществом. Оно было, быть может, пострашнее легендарного ГБ — как помнят все отщепенцы. В ненависти к «ненашему» и «непонятному» в готовности топить любого, кому «больше всех надо», оно опережало приказы сверху. И при этом лояльный член такого общества был убежден в собственной правоте и непогрешимости с силой необыкновенной. Сомнения были ему неведомы.

Теперь, когда эти крепости самоутверждения, эта «вера», эти «идеалы» и «принципы» полетели, как карточный домик, я оглядываюсь и ищу: где они? где наши обличители? где эти «честные люди»? (С тяжелым укором они говорили: «я честный человек», «я прожил достойную жизнь».) Эти «патриоты»? Эти «мудрецы»? (Они говорили: «жизнь надо знать», «если б ты пожил с мое».) Эти «хорошие семьянины»? «Скромные и ответственные работники»? Где эти лица, явно опасные и втайне опасающиеся, готовые дать отпор кому нужно? Ими были полны улицы и магазины, учебные заведения и конторы... Где их задушевные и бодрые песни, фильмы, стихи?..

Растерянность, несчастье, простая детская озлобленность (но не прежняя, взрослая, хозяйская) — вот что теперь на этом месте... Неужели что-нибудь новое вернет им пресловутую «веру» и «идеалы» — то есть возможность отвернуться от совести и реальности: ради «духовности», ради еще чего-нибудь...

Венина ненависть к «добродетели» («Вы, алмазы, потонете, а мы, дерьмо, поплывем») может быть правильно понята лишь в том повороте событий. Он ненавидел добродетели коллаборационистов (а коллаборационистским было, в общем-то, все общество), потому что это была самая жуткая пародия на добродетель, какую можно вообразить. О том, как активный соучастник преступления может считать себя и считаться всеми «лично порядочным человеком» — да и быть порядочным человеком во всем, кро-

ме главного, — история узнала после Нюрнберга. Что такое жить среди таких порядочных людей, может рассказать только отщепенец. И в мире, где за все требовалось платить продажей души (кстати, Веня долго обдумывал план «Русского Фауста», наброски к которому пропали), участием в сатанизме или потворством ему или, на худой конец, молчанием на его счет — какой образ жизни оказался бы хоть немного приемлемым для совести? Погибание, если уж говорить всерьез.

Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Но, конечно, это не все о Венином Горе. Он как-то спросил меня:

— Для тебя как будто какие-то вещи остаются серьезными. Как это возможно?

— А почему нет?

— Что может быть серьезным, если главное уже произошло — 194... (у меня нет Вениной памяти на даты) лет назад?

— Но то, что ты имеешь в виду, еще не конец, — возразила я, — ты как будто дальше Пятницы не читал.

— Зато ты, — ответил Веня, — прочитала про Рождество и сразу про Пасху, а все между этим пропустила.

Навязшая у всех в зубах ницшева фраза: «Бог умер» — в Вениной редакции звучала бы так: «Бог убит».

Но таких тем мы вообще-то никогда не касались и в тот раз коснулись по неосмотрительности. «Пей да помалкивай» — цитатой из Блока Веня прерывал обычно любой «концептуальный» разговор. Или без Блока: «Лучше ешь свое яблоко, ешь, это тебе больше идет, чем говорить про умное»... Он, кстати, очень любил кормить всех — уже с порога спрашивал: «Голодные небось?»

Веня меньше всего был для меня писателем. Это кажется странным, но все, кто знал его достаточно хорошо, я думаю, согласятся со мной. Веня сам был значительнее своих сочинений. Точнее, если они стали значительными, то как раз благодаря присутствию его личности — в тексте, за текстом, над текстом (нужно ли говорить, что личность писателя par exellence может быть совсем неинтересна читателю? В его замыслах действует иная энергия). Но присутствует там, конечно, не вся личность. Те, кто знал Веню, видели то, чего в принципе не может быть в сочинении: реакции на обстоятельства, которые приходят извне, на всякую встречную мелочь. Не обязательно в словах (а у Вени, чура-

ющегося всех высоких и прямых слов, чаще всего не в словах): в жесте, интонации, взгляде, молчании. И все эти непересказываемые ответы жизни — живые, непредвзятые, поразительно деликатные и точные — это незабываемое в Вене. И этого не расскажешь.

И — что же бы сказал Веня, поглядев на эти записки?

— Молчи уж лучше, дуреха! — Или:

— Ничегошеньки ты не поняла. — Или:

— Это все ерунда, а вот у меня есть идея...

И мы бы пошли выпрашивать талон на водку...

Галина ЕРОФЕЕВА*

Я Ерофеева буквально на помойке нашла. Жила у меня тогда в Камергерском подруга, Нина Козлова (у меня там были две хорошие комнаты на четвертом этаже, а на третьем Прокофьев жил). Нинка тогда ждала Ерофеева из экспедиции в Среднюю Азию, оставила ему мой адрес и расписала: «Прекрасная хозяйка прекрасного дома». Она сама его пихнула в эту экспедицию, продала свои туфли, чтобы купить туда билет на поезд. Он был тогда без документов, скитался — нигде не жил, вернее, жил повсюду. Когда-то, в 16 лет, он получил паспорт, но что такое паспорт для Ерофеева — так, бумажка. Он теперь оказался в очень трудной ситуации, и все пытались ему помочь, отправляли в экспедиции, надеясь, что, может быть, в какой-то из них удастся выписать паспорт. В этот раз он был в паразитологической экспедиции лаборантом по борьбе с «окрыленным кровососущим гнусом», то есть с комарами. Он говорил: надо было выставить руку, чтобы садились комары, и считать, сколько их.

В общем, что такое в 1974 году в СССР человек без документов? И не просто без документов, он никогда не состоял на военном учете, у него никогда не было прописки...

Короче говоря, он приехал ко мне с Игорем Авдиевым и со Свиридовым, к тому моменту уже месяц промотавшись по Москве. И Нинка сказала: «Пусть писатель поживет». Я тогда знала, кто такой Ерофеев, хотя «Петушки» еще не читала. Но я дружила с Айхенвальдом, и однажды на мой вопрос «что нового в литературе?» он сказал (учтите, что это московский интеллигент, не пил, не курил, матом не ругался): «Есть

* Вторая жена писателя.

такое гениальное произведение «Москва — Петушки», но ты этого не поймешь». Я стала, как дура, спрашивать, в чем там дело, а моя знакомая отвечает: «Да просто пьяница едет в электричке». Я потом то же отвечала, когда пришлось Вене оформлять военный билет. Врачиха в психоневрологическом диспансере как узнала, что он автор «Петушков», все выспрашивала: ну что там? Ну, хоть в одной главе? — Да ничего особенного: едет пьяница в электричке.

Конечно, мнение Айхенвальда для меня очень много значило.

У нас была коридорная система, и когда он появился, я осталась у двери, а он шел по коридору. И пока он прошел, мне стало ясно, какая у меня будет фамилия. Глаза голубые, волосы темные. Он, конечно, ниже Авдяшки, но если учесть, что в Игоре метр девяносто семь, а в Вене было метр восемьдесят семь (он обычно говорил: метр восемьдесят восемь)... Он был не просто высоким, а гибким, стройным. Любчикова на 50-летие написала ему поздравление в дантовском стиле, где назвала его «кедром». В нем было совпадение всего, что по теории вероятности почти невозможно в одном человеке. Сама природа сейчас чешет в затылке, как же это она так... Он был в семье младший, шестой, но пятый ребенок умер. Все другие — обычные люди, а он... Я не видела его родителей, но думаю, что на отца он был немного похож. У отца, мне сестры говорили, тоже был замечательный голос (он не пел, хотя отец пел). Отец тоже был высокого роста и хорош собой, но Венька был гармоничен. Ну, может быть, немного нос был курносый — это мамочкин нос. К матери своей, мне кажется, Венька относился плохо, вернее, была между ними какая-то черта. Он не мог ей простить, что тогда она их детьми бросила, а с сестрами общался, Тамаре Васильевне даже письма писал.

В общем, сначала все выглядело так, что я сдала свои комнаты писателю. Десятого октября он появился у меня, а двадцать четвертого у него был день рождения. Стали приходить люди, все спрашивали, что у него с паспортом. Как я ему потом добыла паспорт — это отдельная история. Я тогда способна была пробивать всякие стены. А со стороны, наверное, выглядело, что Ерофеев женился на мне из-за прописки. Но я знала, что то, что сделаю я, — не сделает никто. Пустить в дом Ерофеева — все равно что пустить ветер, это не мужик, а стихия. И в житейском отношении я ничем не отличаюсь от большинства русских баб: и у меня муж был пьяница, и у меня он все пропивал. Когда за границей вышли «Петушки» — это ничего в нашей бедности не изменило. Но потом, когда Вадим Делоне с Ириной уехали во Францию, Венька дал им доверенность на получение гонорара, и Ирка несколько лет

(с семьдесят седьмого по восьмидесятый) присылала вещи, художественные альбомы, а я их продавала в букинистическом. Это, конечно, была помощь.

В доме я была добытчицей, но с переменным успехом. Как он тогда сострил (я это только сейчас в записной книжке прочла): «Она нищая, я нищий — судьба свела нас, как концы с концами». Мы начинали с нуля. У меня была московская прописка: две комнаты, кровать и письменный стол.

Как я понимаю, всю жизнь Ерофеева преследовал голод. Родился в голоде, в год чуть не умер (семья уже собиралась у колыбельки прощаться), а в 41-м — война. Они добывали из-под снега, как верблюды, кожуру от картошки и ели. И голод во время скитаний. Он вел такую жизнь: придет к кому-нибудь в гости: глоток вина, то да се. А наедаться-то он не будет — неудобно. Он во всем был тонким. Мы прожили вместе 15 лет, и я не помню, чтобы он жадно ел. Обычно баба радуется, когда мужик ест, а у меня этого никогда не было: накормить его было невозможно. Я варила курицу, думала: бульон-то он может попить? А Тихонов меня считал буржуазной и раскулачивал; приезжал специально и жрал курицу вместе с бульоном.

Я перестала работать за год до его смерти, когда совсем уж ему стало плохо. Тогда деньги стали появляться, и пьеса пошла в театрах. А то, что я работала, — этими деньгами только за квартиру платить. А был период, когда я была в больнице, — нечем было и за квартиру платить, Тогда мать моя ездила отвозить ему еду. Все бывало. Все русские варианты мы прошли.

Ему все было интересно. Даже радио, газеты — читал и слушал он, а потом рассказывал. Он ничего не пропускал. Муравьев все удивлялся: Ерофеев Штирлица смотрит! А он смотрел и был в восторге, сколько раз ни передавали — раза три, наверное, — каждый раз смотрел. Или «Место встречи изменить нельзя»... Тем более что там Высоцкий. И программу «Время» всегда смотрел. Я и до сих пор ее смотрю. Даже Муравьев, когда жил с нами, на даче, стал смотреть программу «Время». А когда шли то ли «Дети капитана Гранта», то ли «Таинственный остров», Муравьев прибегал: «Ну, где там вторая серия?» А раньше он до телевизора не опускался. А что было, когда был первый съезд! Ерофеев был болен, из комнаты не выходил и говорил: «У меня работа. С десяти часов я на съезде». Он всегда был в курсе всего — связан был со «Свободой» и газеты мне читал: «Вот, девка, смотри». Он всех называл «девка» или «дурочка», большинство падало в обморок: «Я дурочка?»

Радио тоже любил слушать, всегда замечал, когда неправильно ударение делали. Но всеядным не был — «Правду» не читал.

Когда у него была возможность, он ходил в консерваторию, но в основном слушал записи. Музыку он не просто любил, а обнимал, поглощал. А в театр он вообще не ходил и на то, что получилось в театре с его пьесами, реагировал с удивлением. Один раз мы с ним в цирке были. Как же он был счастлив — буквально как ребенок, особенно когда медведей увидел.

Еще он по библиотекам любил ходить. Даже когда мы сюда переехали, на Флотскую, в 1977 году, он тут же пошел и записался в районную библиотеку. И, кстати, Ленина взял какие-то тома. Так что в «Моей маленькой лениниане» все цитаты — реальные (теперь за это отвечает Евтушенко — он проверял). Но за Ерофеевым можно ничего не проверять, поскольку он все делал со знаком качества. Читал он все и очень быстро — сколько есть записных книжек да сколько еще потеряно, исписанных по поводу того, что он читал. Но рабочему ведь трудно объяснить, как это человек не идет на работу и целыми днями лежит дома и читает. Соседи постоянно писали на него доносы, к тому же поначалу у него не было прописки — оттого мы и оказались впервые в Абрамцеве и даже скрывали его местопребывание. Но КГБ не реагировал и вообще относился к Ерофееву странно: держал в поле зрения, но не трогал. Есть легенда, что таково было указание самого Брежнева иди Андропова.

Людей, которые были ровней ему, практически не было. Один Муравьев, наверное. Ну и Аверинцева он очень чтил, сказал это в одном интервью. А потом Аверинцев написал ему записку с благодарностью (в 1989 году), и Венька успел ее прочитать. Он очень гордился, но, конечно, не хвастался ею, не показывал другим. Она у меня до сих пор цела. Не надо объяснять, что такое Аверинцев, который говорит о признании «Петушков». И для Веньки это было очень важно. А Муравьев на Веньку огромное влияние оказал. Он его духовный отец, хотя и немного моложе. Муравьев, я думаю, даже не подозревал, до какой степени Ерофееву важно было общение с ним, а уж как он дорожил этой дружбой! Конечно, они совершенно разные: академический Муравьев, москвич, библиотеки, книги и т.д. и Ерофеев с его образом жизни, буквально «вышедший из леса». Но в какое бы время они ни встречались, их разговор был таким, как будто они только вчера расстались. Трудно себе представить, что было бы с Ерофеевым, если бы не было Муравьева на его пути. Он буквально Веньку родил.

Ерофеев все время говорил, что если креститься, то только в католичество — из-за Муравьева (тот был католик с корнями, а Венька крестился к 1987 году). В детстве его не крестили, пото-

му что это было опасно, но религия в нем всегда была. Наверное, нельзя так говорить, но я думаю, что он подражал Христу. В то же время он прекрасно знал, что такое наша церковь. Третья из его пьес должна была быть посвящена православной церкви. А ребята — тот же Авдяшка, Сорокин — его просили и буквально заставляли креститься, но он не хотел. Муравьев, конечно, до такого не доходил, Венька сам решил. Муравьев и ксендза привел причастить его перед смертью.

Память у них обоих была потрясающая, они знали всю русскую поэзию, начиная с какого-то Сковороды. Даже не знаю, у кого память лучше: у Ерофеева еще вся музыка, а у Муравьева — языки. После всех операций, числа второго мая (Венька еще до четвертого мог говорить) Сережа Толстов принес листы из какого-то журнала, и неясно было, чьи это стихи. Ерофеев посмотрел и сказал: «Что-то вроде Брюсова. Сейчас Муравьев придет, он скажет». И действительно, приходит Муравьев, я ему даю: «Это Брюсов или его последователь».

У него не было режима, не было понятия времени, но он совсем не был рассеянным профессором. Была и аккуратность, и математические способности. Он все записывал, все подчеркивал. В записных книжках у него осталось: запись температуры, сколько грибов собрал, когда мы в Абрамцеве жили, — целая табличка. Все пересчитает, сам почистит и сам засолит, и делал это, как и все, прекрасно, хотя вообще готовкой никогда не занимался. У него мечта была — быть на земле, он сам грядки копал, и сажал что-то, и даже за навозом ходил за коровой для огурцов. Тогда в Абрамцеве еще была одна или две коровы. Он лучше всего себя чувствовал именно в Абрамцеве: казалось, ему только это и нужно: печка, книги и лес. Там красиво, как в сказке. И, живя там, Венька мог месяцами почти не пить. Он мечтал иметь там свой маленький домик. Боже мой, как он этого хотел! Я никогда не видела, чтобы человек так мечтал о доме.

Есть у нас сейчас такой расхожий термин: «быть невостребованным». Когда он писал, этим никто не интересовался. «Петушки» случайно выскочили благодаря Муравьеву. И потом у него был миллион планов, и все готово, но в голове. Ему все казалось, что сейчас у него будет две свободных недели — он сядет и напишет. Но сил уже не было.

У нас всегда бывало очень много народу, и, хотя он знал, кто чего стоит, — никого не изгонял. Они были ему нужны и интересны ровно настолько, насколько Христу были интересны его двенадцать штучек. Ерофеев не мог заниматься собой. Не писать же себе не лбу: «Я гениальный!» Хоть он и написал где-то: «меня те-

тешкать надо», но это в шутку. Тихонов говорил мне: «Цыц, баба! Мы друзья!» Венька же не скажет: «Я великий писатель, мне надо побыть одному». Великий писатель — значит, хлебай эту чашу до конца. И даже когда у него появился свой угол, оказалось, что он появился для того, чтобы люди знали адрес, по которому можно приходить. У него была как бы такая маска: обаятельный человек, который сидит, пьет да еще может что-то интересное рассказать.

Он все время мечтал (даже когда мы жили в Абрамцеве в прошлом году), что вот сейчас он останется один и будет писать. Из его записных книжек видно это постоянное желание — быть в одиночестве. Где бы он ни был, он постоянно был окружен людьми. Есть у него такая фраза: «Мое нормальное положение — закрытое, как у шлагбаума».

Он был очень хрупким, незащищенным, буквально как цветочек (я сейчас и на балкон не выхожу — он все ходил смотреть, сколько там у его цветочков лепестков раскрылось). Человек, которого действительно надо и огораживать и тетешкать. Я не понимаю девок, которые так на него наседали. А ему тоже хотелось побыть мужиком. А я все время боялась за него, я же и сумки таскала, у меня была одна мысль: спасать, сохранять. Известно, как обычно мужики носятся со своим здоровьем, — у него этого никогда не было. Он был невероятно застенчив даже перед собой. Он как посмотрит на лица наших писателей — мурло! Ну кто, когда из русских писателей мог позволить себе быть таким гладким? А он никогда не жаловался, даже с этой проклятой болезнью. Забыть не могу, как он однажды от боли сорвал со стены крест и швырнул его. Я все гадала, когда он перейдет на чай, — не получилось.

Действительно, рядом с нами жил необыкновенный человек, а мы все время делаем вид: да подумаешь, это же Ерофеев... Ерофейчик — свой в доску... В этом смысле получилось, что он и не побыл самим собой.

Наталья ШМЕЛЬКОВА

С Венедиктом Ерофеевым я была знакома в течение последних лет его жизни и благодарна судьбе за встречу с этим замечательным писателем и необыкновенным человеком.

Видясь с ним часто, я всегда записывала отдельные его высказывания, замечания, рассказы о себе, о друзьях, об отношении к различным событиям.

* * *

1987 год. В Москве собирается книга о шестидесятых — светлом десятилетии, когда честные, одаренные художники творили бесконъюнктурно, хотя и без надежды на прижизненное признание. Желателен был текст Ерофеева, и по просьбе составителя книги я обратилась к нему. «Ну хоть несколько страничек из биографии, ну, например, о поступлении во Владимирский педагогический институт...» Ерофеев, обложенный номерами «Огонька», за которым он пристально следит, отказывается: «Писать не буду. Меня предупредили ни с кем не связываться. Издатель должен быть с безукоризненным вкусом» и т.д. Аргументируя, что он не только читатель, но и писатель, продолжаю упрашивать: «Представь себе, что твой любимый Шостакович, вместо того чтобы сочинять музыку, каждый день сидит в консерватории, слушая чью-то чужую». Ерофеев смеется: «Дд-да, например Дунаевского, и при этом отбивает такт ногой». В результате — «сделка»: за страницу рукописного текста — бутылка шампанского. Итак: «Из 60-х беру наобум только один: с июля 61-го по июнь 62-го, и предельно документально. Если хоть одна душа усомнится в подлинности — это ее дело.

Июль 61-го. Город Владимир. Приемные испытания во Владимирский педагогический институт имени Лебедева-Полянского. Подхожу

к столу и вытягиваю билет: 1. Синтаксические конструкции в прямой речи и связанная с ней пунктуация. 2. Критика 1860-х гг. о романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?».

Трое за экзаменационным столом смотрят на меня с повышенным аппетитом. Декан филологического факультета Раиса Лазаревна — с хроническою улыбкою:

— Вам, судя по вашему сочинению о Маяковском, которое все мы расценили по самому высшему баллу, — вам, наверное, и не надо готовиться к ответу. Присаживайтесь.

Само собой, ни о каких синтаксических конструкциях речь не идет.

— Кем вы сейчас работаете? Тяжело ли вам?

— Не слишком, — говорю, — хотя работа из самых беспрестижных и препаскуднейших: грузчик на главном цементном складе.

— Вы каждый день в цементе?

— Да, — говорю. — Каждый день в цементе.

— А почему вы поступаете на заочное отделение? Вот мы все, и сидящие здесь, и некоторые отсутствующие, решили единогласно: вам место в стационаре, мы все убеждены, что экзамены у вас пройдут без единого «хор», об этом не беспокойтесь, да вы вроде и не беспокоитесь. Честное слово, плюйте на ваш цемент, идите к нам на стационар. Мы обещаем вам самую почетную стипендию института, стипендию имени Лебедева-Полянского. Вы прирожденный филолог. Мы обеспечим вас научной работой. Вы сможете публиковаться в наших «Ученых записках», с тем чтобы подкрепить себя материально. Все-таки вам двадцать два, у вас есть определенная сумма определенных потребностей.

— Да, да, да, вот эта сумма у меня, пожалуй, есть.

В кольце ободряющих улыбок: «Так будет ко мне хоть какой-нибудь пустяшный вопрос, ну, хоть о литературных критиках 60-х гг.?»

— Будет. Так. Кто, по вашему разумению, оценил роман Николая Гавриловича самым точным образом?

— По-моему, Аскоченский и чуть-чуть Скабичевский. Все остальные валяли дурака более или менее, от Афанасия Фета до Боткина.

— Позвольте, но как вам может нравиться мнение Аскоченского, злостного ретрограда тех времен?

Раиса Лазаревна: «О, на сегодня достаточно. Я, с согласия сидящего перед нами уникального абитуриента, считаю его зачисленным не дневное отделение под номером один, поскольку экзамены на дневное отделение еще на начались. У вас остались история и Sprechen Sie Deutsch? Ну, это для вас безделки. Уже с первого сентября мы должны становиться друзьями».

Сентябрь 61-го года. Уже четвертая палата общежития института и редчайшая для первокурсника честь — стипендия имени Лебедева-Полянского...»

* * *

Как известно из опубликованных интервью с Венедиктом Ерофеевым, менее чем через год он был выдворен не только из института, а вообще — из города Владимира. Формулировка институтского приказа? «За моральное, нравственное и идейное разложение студентов Института имени Лебедева-Полянского». Основная причина? Обнаруженная в тумбочке Библия — книга, которую он знал наизусть и без которой не мог жить...

Ерофеев был верующим. Христианские принципы были для него священными уже с семнадцатилетнего возраста. Проповедовал их «по мере сил» и среди студенчества, за что и был изгнан из Владимирского désinstitutа.

Исповедуя католицизм, принял крещение в костеле Святого Людовика на Пасху — 17 апреля 1987 года.

Вспоминаю, как он, имея обыкновение всегда опаздывать, пришел в этот день в точно назначенный срок — в 10 утра. Он был, как никогда, подтянут, чисто выбрит, в белоснежной рубашке. При всем умении казаться бесстрастным, не мог скрыть своего волнения.

* * *

Еще с юношеского возраста Ерофеев знал и любил русскую поэзию. С шестнадцати лет сам писал стихи, подражая некоторым поэтам, особенно Северянину.

Непонимание и досаду у него вызывали поэты, не признающие, а то и просто «оплевывающие» своих знаменитых предшественников: и Пушкина, и Лермонтова, и Цветаеву, и многих других. «Какой же русский не заплачет от их строк? — возмущался Ерофеев. — Ведь они должны быть благодарны тем, из кого вышли!» Перед Цветаевой он преклонялся: «Что бы они без нее все делали?» Как-то, говоря о стихах одной поэтессы, сказал: «После того, как Марина намылила петлю, женщинам в поэзии вообще делать больше нечего». Сказав это, он все же назвал несколько достойных, по его мнению, имен.

К Ерофееву часто обращались молодые поэты с просьбой их послушать. В оценках он был беспредельно строг, порой беспощаден. Если стихи нравились, слушал внимательно, не прерывая, если нет, то сразу делал выразительный жест рукой, чтобы чтение прекратить. В самых безнадежных ситуациях — мог перейти и на резкость. Однажды, смеясь, рассказывал про одного поэта, специально приехавшего к нему, чтобы почитать свои стихи. Прослушав всего несколько строк,

Ерофеев отрезал: «Достаточно. Это настолько мерзко и паскудно, что слушать дальше нету мочи». Разъяренный посетитель вскочил со стула и с возгласом: «Вы убиваете русских поэтов, и теперь я понимаю, почему вы живете в ведомственном доме», — выбежал из квартиры.

По поводу ведомственного дома. Как-то при мне сценарист Олег Осетинский, беря у Ерофеева интервью для фильма о нем, спросил: «Многие люди удивляются, почему вы, написав такую книгу как «Москва — Петушки», не побывали, к примеру, в Сибири?» Ерофеев ответил: «Я и сам до сих пор удивляюсь, что был избавлен от этого. Меня, видимо, никогда не вызывали в КГБ просто потому, что вызывать было неоткуда. У меня не было постоянного местожительства. А одного моего приятеля, который занимал довольно крупный пост, году в 73—74-м все-таки вызвали и спросили: «Чем сейчас занят Ерофеев?» И он ответил: «Как чем? Просто, как всегда, пьет и пьет целыми днями». Они были настолько удивлены его ответом, что больше не трогали ни его, ни меня. Мол, человек занялся наконец делом».

* * *

Своими литературными учителями Ерофеев считал Салтыкова-Щедрина, раннего Достоевского, Гоголя, Стерна и некоторых других. Про Гоголя, например, говорил: «Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя тоже не было, и в этом не стыдно признаться». Современную отечественную прозу обсуждать не любил — мало кого в ней признавал и из тех немногих особенно выделял Василя Быкова и Алеся Адамовича.

Преклонялся перед Василием Гроссманом. Как-то, попросив меня привезти ему перечитать «Жизнь и судьбу», сказал: «Перед Гроссманом я встал бы на колени и поцеловал бы ему руку».

В литературе (как и вообще в людях) не переносил бездушия. Как-то сказал: «Я хоть и сам люблю позубоскалить, но писать нужно с дрожью в губах, а у них этого нет». Во многих писателях его коробила «победоносная самоуверенность» — «писатели должны ходить с опущенной головой», не признавал напыщенности — «писать надо как говоришь».

К себе был особенно строг. Помню, как 8 июня 1987 года хозяйка московского квартирного салона Наташа Бабасян пригласила нас с Веней на прослушивание его пьесы «Вальпургиева ночь». Читал профессиональный артист. Ерофеев слушал очень внимательно. По окончании чтения на мой вопрос, как ему понравилось исполнение, он с неподдельной мрачностью ответил: «Писать надо лучше».

А писал он легко и быстро, когда накатывало вдохновение. Потом мог подолгу молчать. В одном из интервью Ерофееву за-

дали вопрос, удалось бы ему больше сделать при более благоприятных обстоятельствах. На что он ответил: «А здесь ничто ни от чего не зависит. У меня случалась очень сносная жизнь, и что же? Я молчал. Никто — ни цензор, ни деньги, ни голод — не способны продиктовать ни одной угодной им строчки, если ты, конечно, согласен писать прозу, а не диктант».

По поводу периодов его долгого молчания один из друзей как-то спросил Ерофеева: «А ты не боишься, Веничка, что появится кто-то такой, что ты станешь вторым?» И сам ответил: «Такого быть не может, ты уже заслужил бессмертие и можешь вообще больше не писать». А писать ему хотелось всегда. Но мешала болезнь (рак горла), тяжелейшая операция. Когда многие чуть ли не до последних дней его жизни обращались к писателю с различными просьбами — дать письменное интервью, написать предисловие к авторскому сборнику стихов и т.д., он часто отказывал, порою отшучиваясь: «Времени нет, оно все уходит на то, чтобы не умереть». Тем не менее, ложась в мае 88-го на вторую операцию, на благополучный исход которой не надеялся, Ерофеев берет в больницу необходимые материалы для работы над «Фанни Каплан». «Как жаль, если я не закончу свою самую смешную вещь!»

Когда я усомнилась в том, что он сможет работать в таком тяжелом состоянии, ответил: «Ты меня плохо знаешь, ведь я человек сюрпризный». И, немного помолчав, добавил: «Наверное, Господь от меня еще чего-то ждет, и, скорее всего, еще две вещи, а иначе зачем все это тянуть?»

* * *

Ерофеев рассказывал, как один из его знакомых назвал «Москву — Петушки» «полуфабрикатом» (назвал так, конечно, задолго до того, как книга была переведена на многие языки мира). Как-то вспомнив об этом, я спросила: «А как ты думаешь, много у тебя завистников?» Ерофеев ответил: «Я думаю, что многим бы хотелось, чтобы меня не было». Кому он так мешал жить и кого имел в виду, я не спросила, но была свидетелем трех телефонных звонков в его квартиру. Тяжело писать об этом, но молчать не могу.

3 марта 1988 года. В трубке голос, передразнивающий ерофеевский (говорил он с помощью специального аппарата): «...ну когда же ты, гадина, подохнешь?»

22 мая 1988 года: «Ну, как здоровье? Говорите, что ничего. Так, так...»

30 сентября 1988 года: «Ерофеев, если вы не оставите свои семитские штучки, мы и вас не пожалеем, когда сила будет на нашей стороне».

Чуждый зоологического национализма, Ерофеев реагировал на его проявления в людях с отвращением. Иногда мог и пошутить: «Если начнутся еврейские погромы, то в знак протеста переименую себя в Венедикта Моисеевича», или: «Кого-то могу спрятать в шкаф, но при случае и выдать, если предложат, например, хорошую закуску».

* * *

Ерофеев любил и хорошо знал музыку, каждый день заводил пластинки любимых композиторов. Отдавая предпочтение классике, не отрицал и другие жанры — было бы только талантливо. Както сказал: «Я был бы счастлив, если бы написал две-три хорошие русские песни». Одним из любимых его композиторов был Сибелиус. Особенно часто слушал его музыку в последнее время, говоря, что неотвязно-постоянно снится ему Кольский полуостров. Помню, как за день до второй операции он непрерывно заводил Четвертую симфонию композитора. Сказал: «Послушаю мою Родину...»

В августе 1988 года из Польши приезжает его друг — концертмейстер и прекрасный пианист Янош. Ерофеев в это время находился в очень тяжелом состоянии. По просьбе Вени Янош сыграл его любимый полонез Шопена (ля-бемоль мажор). Сыграл на подъеме, блестяще, несмотря на сильно расстроенный инструмент. Ерофеев попросил повторить. В глазах его стояли слезы. Спустя время поделился: «Я не выдержал бы первой операции, когда на меня не подействовал наркоз, если бы не слышал эти звуки».

* * *

Любил Ерофеев и живопись, был знаком со многими художниками. Относился к ним несколько скептично. «Я за ними часто наблюдал, — как-то сказал он, — как правило, их, кроме своей работы, ничего больше не интересует». Допускаю, что это было сказано в плохом настроении. В сентябре 1987 года мы были с ним на ретроспективной выставке «художников-шестидесятников». Понравились Ерофееву немногие. Особенно выделил графику Бориса Свешникова (лагерные рисунки), Леонида Берлина и Вадима Сидура. Сказал про них: «Думающие».

* * *

Ерофеев интересовался политикой, пристально следил за происходящими в мире событиями.

Он успевал просматривать многие газеты и журналы, а когда проходил съезд народных депутатов СССР — не отрывался от телевизора. Среди выступавших депутатов выделил немногих, большинство произвели на него самое гнетущее впечатление. Как-то

с мрачной иронией сказал: «Впрочем, в этом зале пусть и поприсутствуют, но в более достойное место я их не допустил бы». Никаких принципиальных перемен в сторону лучшего он не ожидал, но все происходящее в стране считал важным и исключительно интересным. Однажды сказал: «Меня-то скоро не будет, а ты когда-нибудь испытаешь гордость за то, что жила в это время».

Ерофеев не оставался равнодушным к любым трагическим событиям. Помню, как 5 мая 1989 года по телевизору передали, что в районе Уфы сошел с рельсов поезд. Как ему показалось, я прослушала это сообщение с несколько рассеянным видом. Он возмутился: «Ты как будто посторонняя, как будто по ту сторону, а я, как всегда, рыдаю».

* * *

Невозможно забыть, как ироничен и остроумен был Ерофеев. Он любил шутку, веселую историю, удачный каламбур. Даже самая короткая беседа с ним всегда была праздником. Юмор не покидал его в самых тяжелых ситуациях.

Как многие талантливые люди, он не утратил детской непосредственности. Однажды рассказывал о своем посещении цирка в 1981 году, куда пошел со своей знакомой и ее дочкой. Вспоминал, как маленький дрессированный медвежонок, играя на гармошке, все время падал со стула. Рассказывая, сотрясаясь от смеха, никак не мог дойти до финала. Из глаз его катились слезы. Зимой в Абрамцеве (1990) как-то попросил меня покатать его на санках. Попросил заговорщицки: «Только когда стемнеет, чтобы никто не видел».

* * *

В одном из интервью ему задали вопрос: «А как вы относитесь к женщинам?» На что он коротко ответил: «Противоречиво отношусь». Натурой он был увлекающейся. Считая себя «врагом всякого эстетизма», любил женскую красоту и даже придавал значение одежде: «У вас, женщин, внешний вид очень зависит от того, что вы носите, а на нас, что ни надень...» Сам одевался скромно, не любил обновок, чувствуя себя уютнее в привычной одежде. Он не признавал в женщинах вульгарности, бестактности, озлобленности. Ценя женственность, говорил: «К чему все остальное? Уж я-то в стиле кое-что понимаю». Он никогда не забывал даже о самых малых добрых проявлениях по отношению к себе. Однажды, рассказывая про свои школьные годы в Кировске, с благодарностью вспоминал одноклассницу Белоусову, взявшую его под защиту (в школе он был «страшным тихоней», и многие мальчишки часто порывались его избить, хотя бы за одни пятерки). Ерофеев не

переносил, когда о женщинах говорили непристойности. Рассказывал, как, будучи свидетелем какого-то циничного разговора, ушел, «чуть ли не набив морду». «Как можно так говорить о женщине!» — эмоционально жестикулируя, возмущался он. По его рассказам, еще с юношества — не признавал кратковременных увлечений, ценил преданность, не прощал измен.

* * *

Неприхотливый, не придающий большого значения бытовым условиям, Ерофеев очень страдал от своей урбанизированности Мечтал жить за городом: «Хоть в каком-нибудь самом маленьком домике на берегу хотя бы самой ничтожной речки». Летом 87-го и осенью 88-го, уже после второй тяжелейшей операции, ему наконец предоставилась эта возможность. На природе он преображался, сам порою удивляясь, что может пилить и колоть дрова, перелезать через заборы, совершать дальние прогулки в лес за грибами. Грибы были особой его страстью, и он по-детски расстраивался, если не находил хотя бы одной чернушки. Ерофеев любил цветы и с большим вкусом составлял из них букеты, мог подолгу наблюдать за сидящей на ветке птицей, любил разводить огород, проверяя по утрам, появились ли новые ростки, топить печку — что проделывал по всем правилам. Живя за городом, в Москву выбирался в случае крайней необходимости, например получить пенсию, аккуратно выплачиваемую государством в размере пятидесяти, а потом — двадцати шести рублей по случаю перевода его со второй группы инвалидности на третью. В медицинской справке так и написали: «Может заниматься канцелярско-конторской работой, а также согласно профессиональным навыкам».

* * *

Ерофеев постоянно вел дневники, записи в которых были самого разнообразного содержания. Как-то поделился: «У меня есть список людей, которые перестали со мной общаться после операции, и некоторые из них откровенно мне в этом признались».

Сразу он оказался всем нужным с лета 1989 года, когда в альманахе «Весть» были опубликованы «Москва — Петушки». Не проходило и дня, чтобы дом его не атаковало множество людей — отечественных и зарубежных журналистов, издателей, просто восторженных почитателей. Ерофеев, независимо от чинов и званий, встречал приветливо-гостеприимно, со всеми вел себя просто. Людей он любил, но часто от них уставал — хотелось побыть одному. Иногда просто раздражался: «В доме каждый день гости! Я от них очень устал. Как правило, им от меня что-то нужно.

Редко бывает, когда кто-то приносит мне радость... Даже пописать некогда, а потом меня спрашивают, что же я сделал за неделю?»

Только осенью 1989 года он наконец вырывается из Москвы в свое любимое Абрамцево, где его друг Сергей Толстов предоставляет ему до весны свой дом. Несмотря на плохое самочувствие, он берет туда все необходимое для работы, собираясь закончить «Фанни Каплан».

3 ноября узнаю от него о возобновлении метастазов, вернее, возобновились они, оказывается, еще летом, о чем он никому не говорил. Поражаюсь его самообладанию, ведь все это время он вел себя как обычно, ровно, без тени паникерства.

В Абрамцеве он последний раз встречает свой любимый праздник — Новый год... 23 марта возвращается в Москву. Врачи обнаруживают увеличение лимфатического узла. Считая положение безнадежным, предлагают все же сделать несколько сеансов облучения. Ерофеев сопротивляется: «Не буду, ничего не хочу, хочу в Абрамцево». 28-го вызывается машина, чтобы повезти его на рентген. Он еще шутит: «Не надо такси, поеду на метрополитене, надо копить на домик». В больнице сообщают результат: «Это фатально, ничего не поможет».

10 апреля Ерофеев последний раз выходит из своего дома... Говоря, что «на этот раз я уже не выкарабкаюсь», берет в больницу книги, последние дневниковые записи...

Врачи назначают капельницу. При всей нелюбви к лечению он не отказывается и терпеливо ее переносит.

Ежедневно навещают родные, друзья, знакомые. Он всем рад. «Гости действуют на душу анестезирующе». Когда боли немного отпускают, даже шутит: «Если меня совсем недавно передергивало от мысли о коньяке, то сейчас совершенно спокойно мог бы наблюдать, как вы бы все выпивали, а сам — закусил бы».

23 апреля Ерофеева навещает приехавший из Парижа писатель Владимир Максимов — главный редактор журнала «Континент», в котором с нетерпением ждут «Фанни Каплан». Ерофеев: «Сейчас говорить об этом уже бесполезно». Уходя, стараясь придать голосу спокойствие, Максимов выразил уверенность в его выздоровлении. Ерофеев прошептал: «Я постараюсь поправиться».

С 26 апреля наступают самые тяжелые дни...

А теперь — последние записи из моих дневников.

27 апреля

Звоню в панике Нине Васильевне. «Не слушайте Галю, — говорит она. — У нее монополия на Веню. Для нее не существует ни сестер, никого. Она уже 10 лет вызывает Тамару из Кировска хоронить его».

Рассказала, что из Кировска приехал Веничкин брат Борис, который не видел его после операции. Предупредила его, чтобы глаза его не расширились при виде брата...

Вечером звонок мне домой Тихонова. Рассказал, как в Абрамцеве Веничка с ним поделился: «Жить мне осталось совсем мало...» Галю ненавидит. Считает, что она Ерофеева погубила, лишив его, во всем угождая, элементарного инстинкта самосохранения.

«А Ерофееву, — сказал он, — это было очень удобно, а он для нее — как самоутверждение».

28 апреля

Приезжаю к 12-ти дня с розами и книгой — «Письма Константина Леонтьева Василию Розанову». У Венички — Тамара Васильевна. Ему чуть-чуть получше. Даже с удовольствием съел манную кашу.

Приезд Муравьева. Очень поддержал Веничку своим появлением: попили чаю, интересно побеседовали...

Ко мне Веничка очень внимателен: «Не кури на балконе без пальто — простудишься». Погладил по щеке. Поцеловал руку...

29 апреля

Утренний обход. (10 врачей). У Вени опять ухудшение: сильные боли, раздражителен. Заезжает Галя. Вся в делах — покупает цветной телевизор, готовится к строительству домика, которое намечено на третье мая. Со мною весьма любезна. Уезжает.

Приезд с большим пакетом Визиных фотографий Фроликова. Хотел подняться к Веничке, чтобы его еще поснимать, но он уже крепко спал.

Вечером, перед уколом, — две таблетки радедорма. Просит не говорить об этом врачу.

Уезжаю в 12. Звонок Авдиева. На Первое мая собирается в деревню. Дает телефон Валентина Асмуса. Умоляет привезти его к Вене для исповеди.

30 апреля

Приезжаю к 8 вечера. В коридоре Галя с Толей Лейкиным. Привез из деревни для Вени трехлитровую бутыль с клюквенным морсом. Галя уезжает. Звоню Тамаре Васильевне. Несу какой-то бред: «Не волнуйтесь. Ночь пройдет спокойно, хотя она сегодня и Вальпургиева». Поздно вечером подхожу к дежурной медсестре: «Можно из дома принести свежее постельное белье, а то от капельниц простыня вся в крови?» Краснеет и тут же выдает комплект чистого белья.

Ночь, как и ожидала, прошла спокойно. До утра крепко спал. Дыхание ровное. Температура — 37,1.

1 мая

Проснулся в 7 утра. Праздничный завтрак — манная каша, яйцо, кофе и бутерброд с красной икрой! Самочувствие получше. Почти все съел. Звоню Тамаре Васильевне и Клавдии Андреевне (по ее просьбе). Сообщила, что послала мне с Галей винегрет, рыбу и пробные духи «Красная Москва» — подарок к 1 Мая! Говорит: «Как-нибудь заезжай ко мне. Я тебя подкормлю».

Днем приезжает Лён. Долго обсуждает с Галей, как трудно ставить «Петушки». Предлагает ей начать писать о Вене воспоминания!

Оказывается, он приезжал к Ерофееву поздно вечером 30 апреля с бутылкой вина и тортом «Птичье молоко», чтобы в его палате отметить «Вальпургиеву ночь». Из-за поздноты не пустили. Все время восторженно повторяет: «Вальпургиева ночь» на 23 этаже!!!

Галя отказывается сразу всем показывать фильм о Ерофееве Поля Павликовски. Говорит: «Он должен пройти мою цензуру. Я, во всяком случае, отказываюсь быть в одних кадрах с Тихоновым».

В 6 вечера — приезд Тамары Васильевны. На некоторое время отлучилась к живущей по соседству в Коломенском Нине Дудинской. Она очень трогательно пригласила меня к себе на часдва немного отдохнуть перед очередным ночным дежурством у Вени. Оставила Гале ее телефон.

Через час Галин звонок: «Ерофеев весь в испарине. Привези чистую рубашку». Пожертвовал свою Игорь Дудинский — Нинин муж.

Вернулась с рубашкой к девяти вечера. Внизу, у выхода встретила Тамару Васильевну. Еле сдерживает рыдания...

В палате у Венички Галя и Яна. Он спит. Уезжают.

2 мая

Проснулся в 7.30. Температуры нет. Сильная слабость, но лицо спокойное. Весь день спит. Даже не стали ставить капельницу.

Приезд Виктора Тимачева. Привез газету с каким-то интервью с Веней. Уехал рано, чтобы не сталкиваться с Галей.

Вслед за ним — Тамара Васильевна. Очень трогательно — привезла мне для подкрепления вкусные бутерброды. Показала старую семейную фотографию: на ней три брата — Веничка, Юрий и Борис. Веничке на ней 20 лет.

Позвонила Гале, чтобы привезла мне что-то теплое. За окном — жуткий холодный ветер. Привезла очень красивый свитер и даже предложила мне его подарить.

К вечеру — приезд Леонида Прудовского. Галя почему-то к нему очень агрессивна. Обрушилась за то, что он, входя в палату,

громко хлопнул дверью. Прудовский сообщил, что сдал свое интервью с Веней в «Континент». Бросился искать врача, чтобы выяснить у него о нужных для Ерофеева лекарствах. Сказал, что собирается сообщить об этом в телепередаче «Взгляд», которую смотрят во многих странах.

4 мая

Утром звонок Гали. Голос тихий, усталый. «Ты приедешь?» — «Да, конечно». Вечером звонит Игорь Авдиев.

«Ерофееву очень плохо, — говорю. — Выдернул из вены иглу от капельницы... Причащаться отказался». Игорь чуть не плачет: «Ты — крестная мать. Муравьев — крестный отец. Возьми все на себя. Позвони Асмусу. Я не переживу, если он так уйдет». Рассказывает, как два месяца тяжело умирала от рака его жена. Обещаю ему поговорить с Веней.

Приезжаю в больницу к 4-м дня. В палате Тамара Васильевна и Сережа Толстов. Веня в полудреме. Капельницу сегодня не ставят. Просит у меня две таблетки радедорма.

Долго беседуем с Сережей на балконе. С домиком что-то откладывается. Не дождавшись Галю, уезжает.

9 вечера. Веничка крепко спит. Лицо спокойное.

5 мая

Утро. В тяжелой дремоте. Третий день не ставят капельницы. Шумное появление с недопитой бутылкой водки Тихонова. Пытается Ерофеева растормошить. Возбужденно сообщает, что «Паша» (Поль Павликовски) приглашает его с Авдяшкой в Лондон. Пытаюсь его как-то угомонить. Цыкает на меня.

Приезд Галины. К Тихонову агрессивна. Но перед его отъездом предлагает ему 25 рублей и какие-то продукты. Целует ей руку. Провожаю его до лифта. Вадик: «Носова отвечает на хамство любезностью не по доброте душевной».

Галя привезла Веничке два письма. Одно из них от Петра Вайля и Александра Гениса. Зачитываю ему вслух: «Дорогой Венедикт! Мы собираемся быть в Москве во второй половине мая. Один из мотивов поездки — повидать Вас. Мы столько раз Вас читали и столько раз о Вас писали, что взглянуть разок — очень хотелось бы. Если не возражаете — напишите две строчки. Всего хорошего, надеемся, до встречи...»

В другом конверте — справка о посмертной реабилитации отца Венички — Василия Ерофеева, пробывшего несколько лет в лагерях и выпущенного после смерти Сталина «за неимением состава преступления...»

Зачитываю:
«Министерство юстиции РСФСР.
Мурманский областной суд.
г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 18,
т. 7-22-62
20.04.90
№ 449-125

Дело по обвинению Ерофеева Василия Васильевича, 1900 г. рождения, уроженца дер. Елшанка Николаевского района Мурманской области, до ареста работавшего дежурным на станции Хибины, осужденного по ст. 58-10ч УК РСФСР (редакция 1926 г.) к 5 годам лишения свободы с последующим поражением в правах сроком на 3 года, пересмотрено президиумом Мурманского областного суда 22 февраля 1990 г.

Приговор Военного Трибунала Кировской железной дороги от 25.09. 1945 г. в отношении Ерофеева Василия Васильевича отменен, и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Ерофеев В.В. полностью реабилитирован.

Председатель областного суда — Л.С. Мирошникова».

Ерофеев слушает с закрытыми глазами, не шелохнувшись. Лицо сурово-непроницаемо и, как мне кажется, — даже торжественное. А мы с Галей, не стесняясь слез своих, рыдаем. Чувствует она себя ужасно — усталость, давление, тошнота. Все время повторяет: «Зачем мне эти деньги?» Говорит, что попросит Асмуса освятить домик в Абрамцеве, как храм.

Приезд Сергея Толстова. О чем-то тихо говорят с Галей на балконе. Наверное, опять о домике... К шести вечера приезжают Ольга Седакова и «Булгачата» — Марк и Люся. Веня спит. Ольга повесила над изголовьем Вени католический (?) образок. Так и уехали, не дождавшись его пробуждения. Чуть позже заезжают Яна с Ирой Леонтьевой.

Вечером — сильные боли. Дежурный санитар Женя сделал укол. Позвонила Муравьеву по поводу причастия. Договорились созвониться на следующий день.

6 мая

Самочувствие, как и вчера. Плохо... Галя должна приехать утром, но вот уже два часа дня, а ее все нет. Наконец появляется, Галя, оживленная, с перекрашенными волосами, в новой, модной заграничной кофте. Никак не реагирую. Наверное, думаю, — все это для поддержания нервов. Бодрится. Галя насильно вручает мне привезенные с рынка огромные помидоры, огурцы, духи «Красная Москва» от Клавдии Андреевны.

Приезд Тамары Васильевны. Незаметно от всех плачет... Чуть

позже — Саша и Лиза Величанские. Долго и тихо сидят у Вениной постели. Ни слова. Веня в полудреме. На секунду приоткрыл глаза и, увидя Величанского, кивнул ему. Прощально...

Появление С. Мельниковой с каким-то бородачом. Как мне потом сказали — с Владимиром Ильичом (?). Руководит воздвижением для Вени домика в Абрамцеве. Ушли быстро. «Душно. Много народу», — уходя изрекла Мельникова.

Уезжаю. Галя: «Приезжай теперь, когда захочешь. Я теперь буду здесь каждый день». Позвонила вечером Муравьеву. Сказал, что приедет к Вене с ксендзом Петром, который крестил Ерофеева.

7 мая

У Вени Галя, Тамара Васильевна (тайно плачет) и Сергей Толстов. Узнаю: приезжал Муравьев с ксендзом Петром. Причаститься — проглотить облатку — не удалось. Был в беспамятстве. Грехи, как поняла Галя, отпустил (немая исповедь).

Появление Сорокина. Настаивает на приезде Асмуса, с согласия Ерофеева, конечно. Обещает поймать момент.

К вечеру — страшные боли. С трудом выловила медсестру сделать укол. Галя ведет себя как-то странно: уже почти все вывезла из палаты, включая снотворное, кипятильник, бритвенный прибор и др. Просит меня остаться с нею на ночь.

8 мая

В 3 часа дня снова у Вени. Меняется на глазах... Приход врача: «Необходимо внутреннее вливание для поддержки сердца». Приезжают сестры — Тамара и Нина. Вслед за ними Сорокин и Яна. Сорокин рассказывает полудремлющему Вене и всем нам о своей поездке в Германию: «Какая чистота! Как аккуратно подстрижены газоны» и т.д.

Узнаю, что перед Днем победы на очередной «летучке» разгневанно выступал дежурящий по ночам медбрат, жалуясь врачам, что приходит много народу, что в палате не продохнуть, что до 9-го можно еще и потерпеть, а там...

На пять минут с букетом сирени заезжает Лён: «Если что — срочно звони мне и Козлову. Машина наготове». Не совсем поняла — какая машина? И зачем она, даже «если что...»

Тамара Васильевна уезжает последней. Впервые рассказывает мне об их отце: «Все было, как описано у Солженицына — карцер, допросы, обливание ледяной водой...

Ночь страшная. Тяжелое дыхание. Удушье. С трудом разыскала дежурную медсестру. Попросила специальный аппарат для облегчения дыхания. Принесла только утром.

9 мая

Веня спит. Галя уехала по делам. Приезжает Лён. Во весь голос обсуждает в палате, где Ерофеева отпевать и хоронить. Мне кажется, что во сне Веничка все слышит. Лён предлагает три варианта: Немецкое, Востряковское и Ваганьковское кладбища. «Лучше всего Ваганьковское, — говорит он. — Центр, а пробивать будет Любимов».

Звонила из больницы Муравьеву. Сказал, что уже разговаривал с ксендзом и тот дал согласие на отпевание в православной церкви. Приезжали Величанские, Леша Сосна, Сорокин (привез бутылку святой воды) и уже к вечеру — Галя. Веня в беспамятстве. Галя в сверхвозбужденном состоянии во весь голос выкрикивает строки из «Вальпургиевой»:

Этот день победы!!
Прохором пропах!
Это счастье с беленою на устах!
Это радость с ПЯТАКАМИ НА ГЛАЗАХ!
День победы!..

Состояние Венички с каждой минутой резко ухудшается. Задыхается. Поздно вечером в палату заходит молоденькая, очень внимательная медсестра Наташа. Советует отказаться от всяких антибиотиков — лишние мучения, обезболивающие — другое дело. «Не шумите. Он может уйти и сегодня, даже во сне».

10 мая

Только к 6 утра задремал. Приезжают сестры — Тамара и Нина, сын Веничка-младший, Сорокин, Валя Еселева и Сергей Толстов. Остались втроем — Галя, Веня и я. Врачи предупреждают, что предстоящая ночь — последняя. Галя в тяжелом, болезненно-перевозбужденном состоянии. Все время судорожно переставляет цветы — в каждую банку — четное число: «Цветы сами знают, как им стоять». Причитает в полный голос, какую она с Ерофеевым прожила страшную жизнь. Вспоминает первого мужа... То плач, то короткий, надрывный хохот... Умоляю: «Выйдем из палаты. Ведь во сне Веня может все слышать». Бесполезно. Только к утру она пошла подремать на диван в коридор.

11 мая

На рассвете, в полудреме услышала резкое, отрывистое дыхание... Ерофеев лежал, повернувшись к стене... Заглянула ему в лицо, в его глаза... Попросила Веничку-младшего срочно разбудить Галю. Она, еще не совсем проснувшись и ничего не понимая, вошла в палату... Через несколько минут, в 7.45, Венедикта Ерофеева не стало...

СОДЕРЖАНИЕ

Венедикт Васильевич
ЕРОФЕЕВ
МОЙ ОЧЕНЬ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Редактор
А.Л.Костанян
Художественный редактор
Т.Н.Костерина
Технолог
С.С.Басипова
Оператор компьютерной верстки
М.Е.Басипова
Компьютерная верстка переплета
и блока иллюстраций
В.М.Драновский
П. корректоры
В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский

Подписано в печать 18.09.2003
Формат 60x100/16
Тираж 5 000 экз.
Заказ № 4129

Издательство «Вагриус»
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1
E-mail: vagrius@vagrius.com
Интернет: http://www.vagrius.com

Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14





«Любимый первенец» Вадим Тихонов
и Наталья Шмелькова на могиле
Венедикта Ерофеева на Кунцевском кладбище


ЭР2Т-7153



90

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГРЕХ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЖНЕМУ – ГОВОРИТЬ ЕМУ ТО, ЧТО ОН ПОЙМЕТ С ПЕРВОГО РАЗА

ОСТАВЬТЕ МОЮ ДУШУ В ПОКОЕ

---

*НАДО НЕ ДЕНЬГИ ЧЕКАНИТЬ,
НАДО ЧЕКАНИТЬ АФОРИЗМЫ*

---

*И ЕСЛИ УЖ ГНАТЬСЯ, ТО НЕ МЕНЬШЕ,
КАК ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ*

---

*ЧЕГО СТОИТ МИР, ЕСЛИ НАД НИМ НЕ ТЯГОТЕЕТ
НИ ОДНО ПРОКЛЯТИЕ?*

У МЕНЯ НЕТ АДРЕСОВ, У МЕНЯ ТОЛЬКО ЯВКИ

ВЕСЕЛИТЬСЯ Я НЕ ЛЮБЛЮ. Я ЧЕЛОВЕК БЕСШАЛОСТНЫЙ

ВСЕ ПРОПЬЕМ. ГАРМОНИЮ ОСТАВИМ

---

*ЦВЕТЫ Я ЛЮБЛЮ ЗА ХОРОШИЕ МАНЕРЫ,
А ПТИЧЕК – ЗА НАКЛОННОСТЬ К МОНОГАМИИ*

---

*В ЭТОМ МИРЕ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ ЧТО ДЕЛАТЬ
МНЕ, ЛЮБЯЩЕМУ ГОВОРИТЬ НЕПРАВДУ?*